

ISSN 0130-7673

НОВАЯ МИР

7

1990

НОВАЯ МИР

1990

7



НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с января 1925 г.

№ 7 (787)

Июль, 1990 г.

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е Й С С С Р

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ВЛАДИМИР СОКОЛОВ — «Когда я был слаб и затерт...», стихотворение	3
МИХАИЛ ПОЗДНЯЕВ — Дитя человеческое, стихи	4
АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН — Раковый корпус, повесть. Продолжение	7
НАТАН ЗЛОТНИКОВ — Жребий, стихи	90
ЛАРИСА СУШКОВА — Подарки, стихотворение	92
БОРИС ЕКИМОВ — «Пресвятая дева-богородица...», рассказ	93
ВАДИМ АНТОНОВ — Гадюки, стихотворение	113

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

«ЖИЛИ, СОБСТВЕННО, РОССИЕЙ...» Из наследия Юрия Казакова. Публикация, подготовка текста, предисловие и примечания Т. Судник и И. Кузьмичева	114
---	-----

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

КОРНЕЙ ЧУКОВСКИЙ — Дневник. Вступительное слово Мирона Петровского. Подготовка текста, публикация и комментарии Елены Чуковской	140
---	-----

ПУБЛИЦИСТИКА

ЛЕВ СИМКИН — Правосудие и власть	173
----------------------------------	-----

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

Из истории русской общественной мысли

Е. Н. ТРУБЕЦКОЙ — О христианском отношении к современным событиям. Статьи. Письма. Составление, вступительная статья, публикация архивных материалов и примечания Александра Носова	195
---	-----

(См. на обороте)

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

Стр.

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ГАЛИНА ГОРДЕЕВА — Свободная тайна, или Давай улетим 230

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Литература и искусство 240

Александр Агеев. Скепсис и надежда Леонида Добычина.

Ю. Кублановский. Аналитическая исповедь Лидии Гинзбург.

А. Чудаков. «В России надо жить долго».

Политика и наука 250

Александр Доброхотов. Ряд мозаичный и прерывистый...

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Ю. ЧАЙКОВСКИЙ — Крайности сходятся 253

Р. Е. МАЙБОРОДА — Стоит ли Откровение подкреплять научными доводами? 257

Ю. ШРЕЙДЕР — Неправомерная альтернатива 259

Ю. А. ИЗРАЭЛЬ — Письмо в редакцию 265

Г. У. МЕДВЕДЕВ — Дозы правды и совести 266

КОРОТКО О КНИГАХ:

Сергей Костырко.— Маро Маркарян. Из огня любви и печали. Книга стихов. ◆

Илья Фоныков.— Молодая поэзия 89. Стихи, статьи, тексты; Порыв. Новые имена. Сборник стихов. ◆

А. Иглицкий.— Ю. В. Емельянов. Заметки о Бухарине. Революция, история, личность 268

К ПОДПИСЧИКАМ «НОВОГО МИРА» 1990 ГОДА 271

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ 272

В БЛИЖАЙШИХ НОМЕРАХ:

АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН. Бодался телёнок с дубом. Очерки литературной жизни.

ВЛАДИМИР МАКАНИН. Там была пара... Рассказ; Лаз. Повесть.

А. ПЕТРУШЕВСКАЯ. Песни восточных славян.

АНАТОЛИЙ КРИВОНОСОВ. Я человек исторический, Повесть.

ГЕОРГИЙ ОБОЛДУЕВ. Устойчивое неравновесие. Стихи. Публикация Владимира Глоцера.

Б. Д. БРУЦКУС. Социалистическое хозяйство. Теоретические мысли по поводу русского опыта.

А. АВТОРХАНОВ. Загадка смерти Сталина. Главы из книги.

КСЕНИЯ МЯЛО. Посвящение в небытие.

В. НЕПОМНЯЩИЙ. Номо iber (Юрий Домбровский).

ВЛАДИМИР СОКОЛОВ

* * *

О Байрон!..
Когда я был слаб и затерт
Друзьями, которым поверил,
Один демонический лорд
Мне долгие годы отмерил.

Сказал он: «Придуманый рай
Не лучше душевного ада.
За Грецию не умирай,
За Англию тоже не надо.

Друзья будут дружно стареть,
А ты — молодеть в одиночку.
А если за что умереть
И стоит, так это за строчку».

На том и поставить бы точку,
Когда б на него не смотреть...



МИХАИЛ ПОЗДНЯЕВ

*

ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ

* * *

И вспомнил Варлама Шаламова я —
как враскачку он шел по Тверской:
руки за спину круто заламывая,
макинтош то и дело запахивая
и авоськой плетеной помахивая
с замороженной насмерть треской.

С того часа, когда предо мною возник
сей Летучий голландец в людской толчее,
с боку на бок со скрипом кренясь,—
отчего-то все время являлся он мне
в тот же час и на месте одном:
где стоят Моссовет, и на мерине князь,
и табачный киоск на углу...
Что я видел: качаемый ветром тростник
иль сошедшую с места скалу?

Это после уже, по прошествии лет,
он прошел — и приятель спросил:
«Знаешь — кто?»

..и я долго глядел ему вслед —
как он шел по Тверской и мотал головой,
будто лошадь — по шею в траве луговой,
на исходе невысказанных сил.

На винтах, на шарнирах, на слове честном,
на пределе, на грани сознания и тьмы —
и мычит, и клекочет орлом, и хрустит,
и хрустит, как кустарник в костре...
Что я видел, скажите? Что видели мы?
Воскрешение Лазаря? Дантову тень?
Что нам явлено было? Бог весть...

Но теперь стоит мне перед сном произнести:
«Се ми гроб предлежит, се ми смерть предстоит»,—
говорю — и не вем отчего
вспоминаю тот солнечный день и его.
И — о ужас кромешный. И стыд.

СТИХИ О ПОЧВЕ

Эта — с которой меня хотели сровнять,
дабы смешать и заживо погребсти,
трижды перепахать, асфальтом залить
и замостить, а там — трава не расти,

эта — по коей ветром меня несло,
 будто перекаати-поля пыльный клубок,
 а между тем вражье семя на ней росло,
 корни пуская в нее глубоко, глубоко,

эта — где места чужого не занимал
 и не особенно ратовал за свое,
 зная — чего никому бы не пожелал,—
 как ее мало надо на все про все,

эта — в которую я тебя опустил,
 ангел залетный, мальчик мой золотой,
 и, на коленях стоя, ее простил
 с низменною, земною ее тщетой...

О, как хотел бы я рассказать о той —
 нет, не носимой в ладанке на шнурке,—
 в сердце стучащей, сочащейся из-под ногтей,
 горящей спину и вязнущей на языке,

о, как хотел бы я написать о ней —
 той, из которой вылепил меня Бог,—
 я, не имущий родины и корней,
 в чем уличить меня взялся чертополох...

Хмурый Антей, очертивший себя штыком,
 в землю ушедший по грудь, зубами скрипя,
 тычущий пальцем во все, что растет кругом,—
 о, как мне стыдно и о, как мне жаль тебя.

Ибо лишь молча и втайне и всех любя
 и лишь себя одного обвиняя во всем —
 вынесем крест сей
 и, попусту не скорбя,
 сами спасемся
 и землю эту спасем.

ВОСПОМИНАНИЕ О ПЯТИ ХЛЕБАХ

В Ч.

Человек, у которого все позади,
 с человеком,
 у которого все впереди, на груди,—
 он стоит среди булочной с выбитым чеком,
 в конце очереди.
 Посуди —

каково ему в эту минуту, когда
 пред лицом продавщицы по имени Света
 все алчбы и обиды его отступили куда-то туда —
 далеко-далеко, где когда еще надобно будет предстать
 для ответа.

Это там все зачтется ему и вменится в вину —
 человеку,
 по счастью или несчастью, в нашем мире,
 расчётливом и нелепом,
 испытавшему все,
 даже атомную, между прочим, войну,
 чтобы нынче
 пристроиться наконец к этой очереди за хлебом.

АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН

*

РАКОВЫЙ КОРПУС

Повесть

16

Он полз. Он полз какой-то бетонной трубой — не трубой, а тоннелем, что ли, где из боков торчала незаделанная арматура, и за неё он цеплялся иногда и как раз правой стороной шеи, больной. Он полз на груди и больше всего ощущал тяжесть тела, прижимающего его к земле. Эта тяжесть была гораздо больше, чем вес его тела, он не привык к такой тяжести, его просто плющило. Он думал сперва, что это бетон сверху придавливает — нет, это такое тяжёлое было его тело. Он ощущал его и тащил его как мешок железного лома. Он подумал, что с такой тяжестью и на ноги пожалуй не встанет, но главное бы — выползти из этого прохода, хоть вздохнуть, хоть на свет посмотреть. А проход не кончался, не кончался, не кончался.

Тут чей-то голос — но без голоса, а передавая одни мысли, скомандовал ему ползти вбок. Как же я туда поползу, если там стена? — подумал он. Но с той тяжестью, с какой плющилось его тело, ему была и неотвратимая команда ползти влево. Он закричал и пополз — и правда, так же и полз, как и раньше прямо. Всё было одинаково тяжело, а ни света, ни конца не проглядывало. Только он приноровился сюда — тот же внятный голос велел ему заворачивать вправо, да побыстрей. Он заработал локтями и ступнями, и хотя справа была непроницаемая стена — а полз, и как будто получалось. Всё время он цеплялся шейей, а в голову отдавалось. Так тяжело он ещё никогда не попадал в жизни, и обидней всего будет, если он так и умрёт тут, не доползая.

Но вдруг полегчали его ноги — стали лёгкие, как будто их воздухом надули, и стали ноги подниматься, а грудью и головой он был по-прежнему прижат к земле. Он прислушался — команды ему никакой не было. И тогда он придумал, что вот так можно и выбраться: пусть ноги поднимутся из трубы, а он за ними назад поползёт, и вылезет. И действительно, он стал пятиться и, выжимаясь на руках, — откуда сила взялась? — стал лезть вслед за ногами назад, через дыру. Дыра была узкая, но главное — вся кровь прилила в голову, и он думал, что тут и умрёт, голова разорвётся. Но ещё немножко руками оттолкнулся от стенок — обдирало его со всех сторон — и вылез.

И оказался на трубе, среди какого-то строительства, только безлюдного, очевидно рабочий день кончился. Вокруг была грязная топкая земля. Он сел на трубе передохнуть — и увидел, что рядом сидит девушка в рабочей испачканной одежде, а с головой непокрытой, соломенные волосы распущены, и ни одного гребня, ни шпильки. Девушка не смотрела на него, просто так сидела, но ждала от него вопроса, он знал. Он сперва испугался, а потом понял, что она его

боится ещё больше. Ему совсем было не до разговоров, но она так ждала вопроса, что он спросил:

— Девушка, а где твоя мать?

— Не знаю,— ответила девушка, смотрела себе под ноги и ногти кусала.

— Ну, как не знаешь? — он начинал сердиться. — Ты должна знать. И ты должна откровенно сказать. И написать всё, как есть... Что ты молчишь? Я ещё раз спрашиваю — где твоя мать?

— А я у вас хочу спросить,— взглянула девушка.

Она взглянула — и глаза её были водянистые. И его сразу пробрало, и он несколько раз догадался, но не одно за другим, а сразу все несколько раз. Он догадался, что это — дочь прессовщицы Груши, посаженной за болтовню против Вождя Народов. И что эта дочь принесла ему неправильную анкету, скрыла, а он вызывал её и грозил судить за неправильную анкету, и тогда она отравилась. Она отравилась, но сейчас-то по волосам и глазам он догадался, что она утопилась. И ещё он догадался, что она догадалась, кто он. И ещё догадался, что если она утопилась, а он сидит с ней рядом — так он тоже умер. И его всего пробило потом. Он вытер пот, а ей сказал:

— Ну, и жарница! А где б воды выпить, ты не знаешь?

— Вон,— кивнула девушка.

Она показала ему на какое-то корыто или ящик, наполненный застоявшейся дождевой водой вперемешку с зеленоватой глиной. И тут он ещё раз догадался, что вот этой-то воды она тогда и наглоталась, а теперь хочет, чтобы и он захлебнулся. Но если так она хочет, значит, он ещё жив?

— Вот что,— схитрил он, чтоб от неё отделаться. — Ты сходи и позови мне сюда прораба. И пусть он для меня сапоги захватит, а то как же я пойду?

Девушка кивнула, соскочила с трубы и похлопала по лужам такой же простоволосой неряхой, а в комбинезоне и в сапогах, как ходят девушки на строительствах.

Ему же так пить хотелось, что он решил выпить и из этого корыта. Если немножко выпить, так ничего. Он слез и с удивлением заметил, что по грязи ничуть не скользит. Земля под ногами была какая-то неопределённая. И всё вокруг было неопределённое, не было ничего видно вдаль. Он мог бы так и идти, но вдруг испугался, что потерял важную бумагу. Проверил карманы — все сразу карманы, и ещё быстрее, чем управлялись руки, понял, что — да, потерял.

Он испугался сразу, очень испугался, потому что по теперешним временам таких бумаг людям читать не надо. Могут быть большие для него неприятности. И сразу он понял, где потерял — когда вылезал из трубы. И он быстро пошёл назад. Но не находил этого места. Совсем он не узнавал места. И трубы никакой не было. Зато ходили туда-сюда рабочие. И это было хуже всего: они могли найти!

Рабочие были все незнакомые, молодые. Какой-то парень в брезентовой куртке сварщика, с крылышками на плечах, остановился и смотрел на него. Зачем он так смотрел? Может, он нашёл?

— Слушай, парень, у тебя спичек нет? — спросил Русанов.

— Ты ж не куришь,— ответил сварщик.

(Всё знают! Откуда знают?)

— Мне для другого спички нужны.

— А для чего для другого? — присматривался сварщик.

И действительно, как глупо он ответил! Это же типичный ответ диверсанта. Могут его задержат — а тем временем найдётся бумага. А спички ему вот для чего — чтобы сжечь ту бумагу.

А парень ближе, ближе к нему подходил — Русанов очень перепугался, предчувствуя. Парень заглянул глазами в глаза и сказал чётко, раздельно:

— Судя по тому, что Ельчанская как бы завещала мне свою дочь, я заключаю, что она чувствует себя виноватой и ждёт ареста.

Русанов задрожал в перезнобе:

— А вы откуда знаете?

(Это он так спросил, а понятно было, что парень только что прочёл его бумагу: слово в слово было оттуда!)

Но сварщик ничего не ответил и пошёл своей дорогой. И Русанов заметался! Ясно было, что где-то тут близко лежит его заявление, и надо найти скорей, скорей!

И он кидался между какими-то стенами, заворачивал за углы, сердце выскакивало вперёд, а ноги не успевали, ноги совсем медленно двигались, отчаяние! Но вот уже он увидел бумажку! Он так сразу и подумал, что это она. Он хотел бежать к ней, но ноги совсем не шли. Тогда он опустился на четвереньки и главные толчки давая руками, пошёл к бумаге. Только бы кто-нибудь не захватил раньше! Только б не опередили, не выхватили! Ближе, ближе... И наконец, он схватил бумагу! Она!! Но даже в пальцах уже не было сил рвать, и он лёг ничком отдохнуть, а её поджал под себя.

И тут кто-то тронул его за плечо. Он решил не оборачиваться и не выпускать из-под себя бумаги. Но его трогали мягко, это женская была рука, и Русанов догадался, что это была сама Ельчанская.

— Друг мой! — мягко спросила она, наверно наклоняясь к самому его уху. — А, друг мой! Скажите, где моя дочь? Куда вы её дели?

— Она в хорошем месте, Елена Фёдоровна, не беспокойтесь! — ответил Русанов, но головы к ней не повернул.

— А в каком месте?

— В детприёмнике.

— А в каком детприёмнике? — Она не допрашивала, её голос звучал печально.

— Вот, не скажу, право. — Уж он искренне хотел ей ответить, но сам не знал: не он сдавал, а из того места могли переслать.

— А — под моей фамилией? — почти нежно звучали её вопросы за плечом.

— Нет, — посочувствовал Русанов. — Такой уж порядок: фамилию меняют. Я ни при чём, такой порядок.

Он лежал и вспоминал, что Ельчанских обоих он почти даже любил. Он никакого не имел против них зла. И если пришлось написать на старика, то лишь потому, что просил Чухненко, которому Ельчанский мешал работать. И после посадки мужа, Русанов искренне заботился о жене и дочери, и тогда, ожидая ареста, она поручила ему дочь. Но как вышло, что он и на неё написал, — он не мог вспомнить.

Теперь он обернулся с земли посмотреть на неё, но её не было, совсем не было (да ведь она же и умерла, как она могла быть?), а вместо этого сильно кольнуло в шее, в правой стороне. И он выровнял голову и продолжал лежать. Ему надо было отдохнуть — он так устал, как никогда не уставал! Всё тело ему ломало.

Это был какой-то шахтный проход, где он лежал, штольня, но глаза его привыкли к темноте, и он заметил рядом с собой, на земле, засыпанной мелким антрацитом, телефонный аппарат. Вот это его очень удивило — откуда здесь мог взяться городской аппарат? и неужели он подключён? Тогда можно позвонить, чтобы принесли ему попить. И вообще бы взяли его в больницу.

Он снял трубку, но вместо гудка услышал бодрый деловой голос:

— Товарищ Русанов?

— Да, да, — живо подобрался Русанов (как-то сразу чувствовалось, что это голос — сверху, а не снизу).

— Зайдите в Верховный Суд.

— В Верховный Суд? Есть! Сейчас! Хорошо! — И уже клал трубку, но опомнился: — Да, простите, а какой Верховный Суд — старый или новый?

— Новый,— ответили ему холодно.— Поторопитесь.— И положили трубку.

И он всё вспомнил о смене Суда! — и проклял себя, что сам первый взял трубку. Матулевича не было... Клопова не было... Да, и Берии ж не было! — ну, времена!

Однако, надо было идти. Сам бы он не имел сил встать, но потому что вызывали — надо было подняться. Он напрягался четырьмя конечностями, привставал и падал, как телёнок, ещё не научившийся ходить. Правда, ему не назначили точного времени, но сказали: «Поторопитесь!» Наконец, держась за стенку, он встал на ноги. И так побрёл на расслабленных, неуверенных ногах, всё время держась за стенку. Почему-то и шея болела справа.

Он шёл и думал: неужели его будут судить? Неужели возможна такая жестокость: по прошествии стольких лет его судить? Ах, эта смена Суда! Ах, не к добру!

Ну что ж, при всём его уважении к Высшей Судебной Инстанции ему ничего не остаётся, как защищаться и там. Он осмелится защищаться!

Вот что он им скажет: не я осуждал! и следствия вёл тоже не я! Я только сигнализировал о подозрениях. Если в коммунальной уборной я нахожу клочок газеты с разорванным портретом Вождя — моя обязанность этот клочок принести и сигнализировать. А следствие на то и поставлено, чтобы проверить! Может быть это случайность, может быть это не так. Следствие для того и поставлено, чтобы выяснить истину! А я только исполнял простой гражданский долг.

Вот что он им скажет: все эти годы важно было оздоровить общество! морально оздоровить! А это невозможно без чистки общества. А чистка невозможна без тех, кто не брезгует совком.

Чем больше в нём разворачивались аргументы, тем больше он накалялся, как он им сейчас выскажет. Он даже хотел скорее дойти, чтоб его скорее вызвали, и он им просто выкрикнет:

— Не я один это делал! Почему вы судите именно меня? А кто этого не делал? А как бы он на посту удержался, если бы не помогал?! Гузун? Так и сам сел!

Он напрягся, будто уже кричал — но заметил, что не кричит совсем, а только надулось горло. И болело.

Он шёл уже будто не по штольне, а просто по коридору, а сзади его окликнули:

— Пашка! Ты что — больной? Чего это еле тащишься?

Он подбодрился и, кажется, пошёл как здоровый. Обернулся, кто ж его окликал — это был Звейнек, в юнштурме, с португеей.

— А ты куда, Ян? — спросил Павел и удивился, почему тот такой молодой. То есть, он и был молодой, но сколько ж с тех пор прошло?

— Как куда? Куда и ты, на комиссию.

На какую ж комиссию? — стал соображать Павел. Ведь он был вызван в какое-то другое место, но уже не мог вспомнить — в какое.

И он подтянулся к шагу Звейнека и пошёл с ним бодро, быстро, молодо. И почувствовал, что ему ещё нет двадцати, что он холостой парень.

Они стали проходить большое служебное помещение, где за многими канцелярскими столами сидела интеллигенция — старые бухгалтеры с бородами, как у попов, и с галстуками; инженеры с молоточками в петлицах; пожилые дамы, как барыни; и машинистки молоденькие накрашенные в юбках выше колен. Как только они со Звейнеком вошли, чётко выстукивая в четыре сапога, так все эти человек тридцать обернулись к ним, некоторые привставали, другие кланялись сидя, — и все вращали головами за ними, пока они шли, и на лицах у всех был испуг, а Павлу с Яном это льстило.

Они зашли в следующую комнату и здоровались с другими членами комиссии и рассаживались за столом, папки на красную скатерть.

— Ну, запускайте! — распорядился Венька, председатель.

Запустили. Первая вошла тётя Груша из прессового цеха.

— Тётя Груша, а ты чего? — удивился Венька. — Ведь мы — *аппарат* чистим, а ты чего? Ты в аппарат, что ли, пролезла?

И все рассмеялись.

— Да нет, видишь, — не робела тётя Груша. — У меня дочка подрастает, надо бы дочку в садик устроить, а?

— Хорошо, тётя Груша! — крикнул Павел. — Пиши заявление, устроим. Дочку — устроим! А сейчас не мешай, мы интеллигенцию чистить будем!

И потянулся налить себе воды из графина — но графин оказался пустой. Тогда он кивнул соседу, чтобы передали ему графин с того конца стола. Передали, но и он был пустой.

А пить хотелось так, что всё горло жгло.

— Пить! — попросил он. — Пить!

— Сейчас, — сказала доктор Гангарт, — сейчас принесут воды.

Русанов открыл глаза. Она сидела около него на постели.

— У меня в тумбочке — компот, — слабо произнёс Павел Николаевич. Его знобило, ломало, а в голове стучало тяжело.

— Ну, компота вам нальём, — улыбнулась Гангарт тоненькими губами. Она сама открыла тумбочку, доставая бутылку компота и стакан. В окнах угадывался вечерний солнечный свет.

Павел Николаевич покосился, как Гангарт наливает ему компот. Чтоб чего-нибудь не подсыпала.

Кисло-сладкий компот был пронизывающе приятный. Павел Николаевич с подушки из рук Гангарт выцедил весь стакан.

— Сегодня плохо мне было, — пожаловался он.

— Нет, вы ничего перенесли, — не согласилась Гангарт. — Просто сегодня мы увеличили вам дозу.

Новое подозрение кольнуло Русанова.

— И что, каждый раз будете увеличивать?

— Теперь всё время будет такая. Вы привыкнете, вам будет легче.

А опухоль-жаба сидела под челюстью, как и сидела.

— А Верховный...? — начал он и подрезался.

Он уже путал, о чём в бреду, о чём наяву.

17

Вера Корнильевна беспокоилась, как Русанов перенесёт полную дозу, за день навевалась несколько раз и задержалась после конца работы. Она могла бы так часто не приходить, если бы дежурила Олимпиада Владиславовна, как было по графику, но её-таки взяли на курсы профказначеев, вместо неё сегодня днём дежурил Тургун, а он был слишком беспечен.

Русанов перенёс укол тяжело, однако в допустимых пределах. Вслед за уколом он получил снотворное и не просыпался, но беспокойно ворочался, дёргался, стонал. Всякий раз Вера Корнильевна оставалась понаблюдать за ним и слушала его пульс. Он корчился и снова вытягивал ноги. Лицо его покраснело, взмокло. Без очков да ещё на подушке голова его не имела начальственного вида. Редкие белые волосики, уцелевшие от облысения, были разлизаны по темени.

Но столько раз ходя в палату, Вера Корнильевна заодно делала и другие дела. Выписывался Поддуев, который считался старостой палаты, и хотя должность эта существовала ни для чего, однако полагалась. И от койки Русанова перейдя по соседству к следующей, Вера Корнильевна объявила:

— Костоготов. С сегодняшнего дня вы назначаетесь старостой палаты.

Костоготов лежал поверх одеяла одетый и читал газету (уж второй раз Гангарт приходила, а он всё читал газету). Всегда ожидая от

него какого-нибудь выпада, Гангарт сопровождала свою фразу лёгкой улыбкой, как бы объясняя, что и сама понимает, что всё это ни к чему. Костоготов поднял от газеты весёлое лицо и, не зная, как лучше выразить уважение к врачу, подтянул к себе слишком вытянутые по кровати длинные ноги. Вид его был очень благожелательный, а сказал он:

— Вера Корнильевна! Вы хотите нанести мне непоправимый моральный урон. Никакой администратор не свободен от ошибок, а иногда и впадает в соблазн власти. Поэтому я после многолетних размышлений дал себе обет никогда больше не занимать административных должностей.

— А вы занимали? И высокие? — Она входила в забаву разговора с ним.

— Самая высокая была — помкомвзвода. Но фактически даже ещё выше. Моего командира взвода за полную тупость и неспособность отправили на курсы усовершенствования, откуда он должен был выйти не ниже, как командиром батареи — но уже не к нам в дивизион. А другого офицера, которого вместо него прислали, сразу пристегнули к политотделу сверх штата. Комдив мой не возражал, потому что я приличный был топограф, и ребята меня слушались. И так я в звании старшего сержанта два года был и. о. комвзвода — от Ельца до Франкфурта-на-Одере. И кстати, это были лучшие годы всей моей жизни, как ни смешно.

Всё-таки и с поджатыми ногами получалось невежливо, он спустил их на пол.

— Ну, вот видите, — улыбка расположения не сходила с лица Гангарт и когда она слушала его и когда сама говорила. — Зачем же вы отказываетесь? Вам опять будет хорошо.

— Славненькая логика! — мне хорошо! А демократия? Вы же попираете принципы демократии: палата меня не выбирала, избиратели не знают даже моей биографии... Кстати, и вы не знаете...

— Ну что ж, расскажите.

Она вообще негромко говорила, и он снизил голос для неё одной. Русанов спал, Зацырко читал, койка Поддуева была уже пуста, — их почти и не слышали.

— Это очень долго. И потом я смущён, что я сижу, а вы стоите. Так не разговаривают с женщинами. Но если я, как солдат, стану сейчас в проходе, будет ещё глупей. Вы присядьте на мою койку, пожалуйста.

— Вообще-то мне идти надо, — сказала она. И села на краешек.

— Видите, Вера Корнильевна, за приверженность демократии я больше всего в жизни пострадал. Я пытался насаждать демократию в армии — то есть, много рассуждал. За это меня в 39-м не послали в училище, оставили рядовым. А в 40-м уже доехал до училища, так сдержал начальству там, и оттуда отчислили. И только в 41-м кой-как кончил курсы младших командиров на Дальнем Востоке. Честно говоря, очень досадно было мне, что я не офицер, все мои друзья пошли в офицеры. В молодости это как-то переживаешь. Но справедливость я ценил выше.

— У меня один близкий человек, — сказала Гангарт, глядя в одеяло, — тоже имел такую судьбу: очень развитой — и рядовой. — Полпаузы, миг молчания, пролетел меж их головами, и она подняла глаза. — Но вы и сегодня таким остались.

— То есть: рядовым или развитым?

— Дерзким. Как, например, вы всегда разговариваете с врачами? Со мной особенно.

Она строго это спросила, но странная была у неё строгость, вся пропитанная мелодичностью, как все слова и движения Веры Гангарт.

— Я — с вами? Я с вами разговариваю исключительно почтительно. Это у меня высшая форма разговора, вы ещё не знаете. А если

вы имеете в виду первый день, так вы не представляете, в каких же я был клещах. Еле-еле меня, умирающего, выпустили из области. Приехал сюда — тут вместо зимы дождь-проливняк, а у меня — валенки под мышкой, у нас же там морозяра. Шинель намокла, хоть отжимай. Валенки сдал в камеру хранения, сел в трамвай ехать в старый город, там у меня ещё с фронта адрес моего солдата. А уже темно, весь трамвай отговаривает: не идите, зарежут! После амнистии 53-го года, когда всю шпану выпустили, никак её опять не выловят. А я ещё не был уверен, тут ли мой солдат, и улица такая, что никто её не знает. Пошёл по гостиницам. Такие красивые вестибюли в гостиницах, просто стыдно моими ногами входить, и кое-где даже места были, но вместо паспорта протяну своё ссыльное удостоверение — «нельзя!», «нельзя!». Ну, что делать? Умирать я был готов, но почему же под забором? Иду прямо в милицию: «Слушайте, я — в а.ш. Устраивайте меня ночевать». Перемялись, говорят: «Идите в чайхану и почайте, мы там документов не проверяем». Но не нашёл в чайхане, поехал опять на вокзал. Спать нельзя, милиционер ходит-гоняет. Утром — к вам в амбулаторию. Очередь. Посмотрели — сейчас же ложиться. Теперь двумя трамваями через весь город — в комендатуру: Так рабочий день по всему Советскому Союзу — а комендант ушёл и наплевать. И никакой запиской он ссыльных не удостоивает: может придёт, может нет. Тут я сообразил: если я ему удостоверение отдам — мне, пожалуй, валенок на вокзале не выдадут. Значит, двумя трамваями опять на вокзал. Каждая поездка — полтора часа.

— Что-то я у вас валенок не помню. Разве были?

— Не помните, потому что я тут же, на вокзале, эти валенки продал какому-то дядьке. Рассчитал, что эту зиму долежу в клинике, а до следующей не доживу. Теперь опять в комендатуру! — на одних трамваях червонец проездил. Там ещё километр грязюкой перетреться, а ведь у меня боли, я еле иду. И всюду мешок свой ташу. Слава тебе, пришёл комендант. Отдаю ему в залог разрешение моей областной комендатуры, показываю направление вашей амбулатории, отмечает: можно лечь. Теперь еду... не к вам ещё, в центр. По афишам вижу, что идёт «Спящая красавица».

— Ах вот как! Так вы ещё — по балетам? Ну, знала б — не положила б! Не-ет!

— Вера Корнильевна, это — чудо! Перед смертью последний раз посмотреть балет! Да и без смерти я его в своей вечной ссылке никогда не увижу. Так нет же, чёрт! — заменён спектакль! Вместо «Спящей красавицы» пойдёт «Агу-Балы».

Беззвучно смеясь, Гангарт качала головой. Вся эта затея умирающего с балетом ей, конечно, нравилась, очень нравилась.

— Что делать? В консерватории — фортепьянный концерт аспирантки. Но — далеко от вокзала, и угла лавки не захвачу. А дождь всё лупит, всё лупит! Один выход: ехать сдаваться к вам. Приезжаю — «мест нет, придётся несколько дней подождать». А больные говорят, тут и по неделе ждут. Где ждать? Что мне оставалось? Без лагерной хватки пропадёшь. А тут вы ещё бумажку у меня из рук уносите?.. Как же я должен был с вами разговаривать?

Теперь весело вспоминалось, обоим было смешно.

Он это всё рассказывал без усилия мысли, а думал вот о чём: если мединститут она кончила в 46-м году, то ей сейчас не меньше тридцати одного года, она ему почти ровесница. Почему же Вера Корнильевна кажется ему моложе двадцатитрёхлетней Зои? Не по лицу, а по повадке: по несмелости, по застыдчивости. В таких случаях бывает можно предположить, что она... Внимательный взгляд умеет выделять таких женщин по мелочам поведения. Но Гангарт — замужем. Так почему же...?

А она смотрела на него и удивлялась, почему он вначале показался ей таким недоброжелательным и грубым. У него, правда, тём-

ный взгляд и жёсткие складки, но он умеет смотреть и говорить очень дружелюбно и весело, вот как сейчас. Вернее, у него всегда наготове и та, и другая манера, и не знаешь, какую ждать.

— О балеринах и о валенках я теперь всё усвоила, — улыбалась она. — Но — сапоги? Вы знаете, что ваши сапоги — это небывалое нарушение нашего режима?

И она сузила глаза.

— Опять режим, — скривился Костоготов, и шрам его скривился. — Но ведь прогулка даже в тюрьме положена. Я без прогулки не могу, я тогда не вылечусь. Вы ж не хотите лишить меня свежего воздуха?

Да, Гангарт видела, как подолгу он гулял сторонними одинокими аллеями медгородка: у кастелянши выпросил женский халат, которых мужчинам не давали, не хватало; морщ халата стонял под армейским поясом с живота на бока, а полы халата всё равно раздёргивались. В сапогах, без шапки, с косматой чёрной головой он гулял крупными твёрдыми шагами, глядя в камни под собой, а дойдя до намеченного рубежа, на нём поворачивался. И всегда он держал руки сложенными за спиной. И всегда один, ни с кем.

— Вот на днях ожидается обход Низамутдина Бахрамовича и знаете, что будет, если он увидит ваши сапоги? Мне будет выговор в приказе.

Опять она не требовала, а просила, даже как бы жаловалась ему. Она сама удивлялась тому тону даже не равенства, а немного и подчинения, который установился между ними и которого у неё с большими вообще никогда не бывало.

Костоготов, убеждая, тронул своей лапой её руку:

— Вера Корнильевна! Стопроцентная гарантия, что он у меня их не найдёт. И даже в вестибюле никогда в них не встретит.

— А на аллееке?

— А там он не узнает, что я — из его корпуса! Даже вот хотите, давайте для смеху напишем анонимный донос на меня, что у меня сапоги, и он с двумя санитарками придёт здесь шарить — и никогда не найдут.

— А разве это хорошо — писать доносы? — Она опять сузила глаза.

Ещё вот: зачем она губы красила? Это было грубовато для неё, это нарушало её тонкость. Он вздохнул:

— Да ведь пишут, Вера Корнильевна, как пишут! И получается. Римляне говорили: *testis unus — testis nullus*, один свидетель — никакой не свидетель. А в двадцатом веке и один — лишний стал, и одного-то не надо.

Она увела глаза. Об этом трудно ведь было говорить.

— И куда ж вы их тогда спрячете?

— Сапоги? Да десятки способов, сколько будет времени. Может быть, в холодную печку кину, может быть, на верёвочке за окно повешу. Не беспокойтесь!

Нельзя было не засмеяться и не поверить, что он действительно вывернется.

— Но как вы умудрились не сдать их в первый день?

— Ну, это уж совсем просто. В той конуре, где переодевался, поставил за створку двери. Санитарка всё остальное сгребла в мешок с биркой и унесла на центральный склад. Я из бани вышел, в газетку их обернул и понёс.

Разговаривали уже о какой-то ерунде. Шёл рабочий день, и почему она тут сидела? Русанов беспокойно спал, потный, но спал, и рвоты не было. Гангарт ещё раз подержала его пульс и уж было пошла, но тут же вспомнила, опять обернулась к Костоготову:

— Да, вы дополнительного ещё не получаете?

— Никак нет, — наострился Костоготов.

— Значит, с завтрашнего дня. В день два яйца, два стакана молока и пятьдесят грамм масла.

— Что-что? Могу ли я верить своим ушам? Да ведь меня никогда в жизни так не кормили!.. Впрочем, знаете, это справедливо. Ведь я за эту болезнь даже по бюллетеню не получу.

— Как это?

— Очень просто. Оказывается, я в профсоюзе ещё не состою шести месяцев. И мне ничего не положено.

— Ай-я-яй! Как же это получилось?

— Да отвык я просто от этой жизни. Приехал в ссылку — как я должен был догадаться, что надо скорей вступить в профсоюз?

С одной стороны такой ловкий, а с другой — такой неприспособленный. Этого дополнительного именно Гангарт ему добивалась, очень настойчиво, было не так легко... Но надо идти, идти, так можно проговорить целый день.

Она подходила уже к двери, когда он с насмешкой крикнул:

— Подождите, да вы меня не как старосту подкупаете? Теперь я буду мучиться, что впал в коррупцию с первого дня!..

Гангарт ушла.

Но после обеда больных ей было неизбежно снова навещать Русанова. К этому времени она узнала, что ожидаемый обход главного врача будет именно завтра. Так появилось и новое дело в палатах — идти проверять тумбочки, потому что Низамутдин Бахрамович ревнивей всего следил, чтобы в тумбочках не было крошек, лишних продуктов, а в идеале и ничего, кроме казённого хлеба и сахара. И ещё он проверял чистоту, да с такой находчивостью, что и женщина бы не догадалась.

Поднявшись на второй этаж, Вера Корнильевна запрокинула голову и зорко смотрела по самым верхним местам их высоких помещений. И в углу над Сибгатовым ей повиделась паутина (стало больше света, на улице проглянуло солнце). Гангарт подозвала санитарку — это была Елизавета Анатольевна, почему-то именно на неё выпадали все авралы, объяснила, как надо сейчас всё мыть к завтрашнему дню, и показала на паутину.

Елизавета Анатольевна достала из халата очки, надела их, сказала:

— Представьте, вы совершенно правы. Какой ужас!— Сняла очки и пошла за лестницей и щёткой. Убирала она всегда без очков.

Дальше Гангарт вошла в мужскую палату. Русанов был в том же положении. распаренный, но пульс снизился, а Костоготов как раз надел сапоги и халат и собирался гулять. Вера Корнильевна объявила всей палате о завтрашнем важном обходе и просила самим просмотреть тумбочки прежде, чем она их тоже проверит.

— А вот мы начнём со старосты,— сказала.

Начинать можно было и не со старосты, она не знала, почему опять пошла именно в этот угол.

Вся Вера Корнильевна была — два треугольника, поставленных вершина на вершину: снизу треугольник пошире, а сверху узкий. Перехват её стана был до того узенький, что просто руки тянулись наложить пальцы и подкинуть её. Но ничего подобного Костоготов не сделал, а охотно растворил перед ней свою тумбочку:

— Пожалуйста.

— Ну-ка, разрешите, разрешите,— добиралась она. Он посторонился. Она села на его кровать у самой тумбочки и стала проверять.

Она сидела, а он стоял над ней сзади и хорошо видел теперь её шею — беззащитные тонкие линии, и волосы средней тёмности, положенные просто в узелок на затылке без всякой претензии на моду.

Нет, надо было как-то освобождаться от этого наплыва. Невозможно, чтобы каждая милая женщина вызывала полное замутнение

головы. Вот посидела с ним, поболтала, ушла — а он все эти часы думал о ней. А ей что? — она придёт вечером домой, её обнимет муж.

Надо было освобождаться! — но невозможно было и освободиться иначе, как через женщину же.

И он стоял и смотрел ей в затылок, в затылок. Сзади воротник халата поднялся колпачком и открылась кругленькая косточка — самая верхняя косточка спины. Пальцем бы её обвести.

— Тумбочка, конечно, из самых безобразных в клинике, — комментировала тем временем Гангарт. — Крошки, промасленная бумага, тут же и махорка, и книга, и перчатки. Как вам не стыдно? Это вы всё-всё сегодня уберёте.

А он смотрел ей в шею и молчал.

Она вытянула верхний выдвижной ящик и тут, между мелочью, заметила небольшой флакон с бурой жидкостью, миллилитров на сорок. Флакон был туго заткнут, при нём была пластмассовая рюмочка, как в дорожных наборах, и пипетка.

— А это что? Лекарство?

Костоглотов чуть свистнул.

— Так, пустяки.

— Что за лекарство? Мы вам такого не давали.

— Ну что ж, я не могу иметь своего?

— Пока вы лежите в нашей клинике и без нашего ведома — конечно нет!

— Ну, мне неудобно вам сказать... От мозолей.

Однако, она вертела в пальцах безымянный ненадписанный флакон, пытаясь его открыть, чтобы понюхать, — и Костоглотов вмешался. Обе жёсткие горсти сразу он наложил на её руки и отвёл ту, которая хотела вытянуть пробку.

Вечное это сочетание рук, неизбежное продолжение разговора...

— Осторожно, — очень тихо предупредил он. — Это нужно уметь. Нельзя пролить на пальцы. И нюхать нельзя.

И мягко отобрал флакон.

В конце концов это выходило за границы всяких шуток!

— Что это? — нахмурилась Гангарт. — Сильное вещество?

Костоглотов опустил ся, сел рядом с ней и сказал деловито, совсем тихо:

— Очень. Это — иссык-кульский корень. Его нельзя нюхать — ни в настойке, ни в сухом виде. Поэтому он так и заткнут. Если корень перекаладывать руками, а потом рук не помыть и забывши лизнуть — можно умереть.

Вера Корнильевна была испугана:

— И зачем он вам?

— Вот беда, — ворчал Костоглотов, — откопали вы на мою голову. Надо было мне его спрятать... Затем, что я им лечился и сейчас подлечиваюсь.

— Только для этого? — испытывала она его глазами. Сейчас она ничуть их не сужала, сейчас она была врач и врач.

Она-то смотрела как врач, но глаза-то были светло-кофейные.

— Только, — честно сказал он.

— Или это вы... про запас? — всё ещё не верила.

— Ну, если хотите, когда я ехал сюда — такая мысль у меня была. Чтoб лишнего не мучиться... Но боли прошли — это отпало. А лечиться я им продолжал.

— Тайком? Когда никто не видит?

— А что человеку делать, если не дают вольно жить? Если везде режим?

— И по сколько капали?

— По ступенчатой схеме. От одной капли до десяти, от десяти до одной и десять дней перерыв. Сейчас как раз перерыв. А честно

говоря, я не уверен, что боли упали у меня от одного рентгена. Может, и от корня тоже.

Они оба говорили приглушённо.

— Это на чём настойка?

— На водке.

— Вы сами делали?

— У-гм.

— И какая же концентрация?

— Да какая... Дал мне охалку, говорит: вот это — на три поллитра. Я и разделил.

— Но весит-то сколько?

— А он не взвешивал. Он так, на глазок принёс.

— На глазок? Такой ядище! Это — аконитум! Подумайте сами!

— А что мне думать?— начал сердиться Костоглоотов. — Вы бы попробовали умирать одна во всей вселенной, да когда комендатура вас за черту посёлка не выпускает, вот тогда б и думали — аконитум! да сколько весит! Мне эта пригоршня корня, знаете, сколько могла потянуть? Двадцать лет каторжных работ! За самовольную отлучку с места ссылки. А я поехал. За полтораста километров. В горы. Живёт такой старик, Кременцов, борода академика Павлова. Из поселенцев начала века. Чистый знахарь! — сам корешок собирает, сам дозы назначает. В собственной деревне над ним смеются, в своём ведь отечестве нет пророка. А из Москвы и Ленинграда приезжают. Корреспондент «Правды» приезжал. Говорят, убедился. А сейчас слухи, что старика посадили. Потому что дураки какие-то развели на поллитре и открыто в кухне держали, а позвали на ноябрьские гостей, тем водки не хватило, они без хозяев и выпили. Трое насмерть. А ещё в одном доме дети отравились. А старик при чём? Он предупредал...

Но, заметив, что уже говорит против себя, Костоглоотов замолк. Гангарт волновалась:

— Так вот именно! Содержание сильнодействующих веществ в общих палатах — запрещено! Это исключается — абсолютно! Возможен несчастный случай. Дайте-ка сюда флакончик.

— Нет,— уверенно отказался он.

— Дайте!— она соединила брови и протянула руку к его сжатой руке.

Крепкие, большие, много работавшие пальцы Костоглоотова застыли так, что и пузырька в них видно не было.

Он улыбнулся:

— Так у вас не выйдет.

Она расслабила брови:

— В конце концов я знаю, когда вы гуляете, и могу взять флакончик без вас.

— Хорошо, что предупредили, теперь запрячу.

— На верёвочке за окно? Что ж мне остаётся, пойти и заявить?

— Не верю. Вы же сами сегодня осудили доносы!

— Но вы мне не оставляете никакого средства!

— И значит нужно доносить? Недостойно. Вы боитесь, что настойку выпьет вот товарищ Русанов? Я не допущу. Заверну и упакую. Но я буду уезжать от вас — ведь я опять начну корнем лечиться, а как же! А вы в него не верите?

— Совершенно! Это тёмные суеверия и игра со смертью. Я верю только в научные схемы, испытанные на практике. Так меня учили. И так думают все онкологи. Дайте сюда флакон.

Она всё-таки пробовала разжать его верхний палец.

Он смотрел в её рассерженные светло-кофейные глаза, и не только не хотелось ему упорствовать или спорить с ней, а с удовольствием он отдал бы ей этот пузырёк, и всю даже тумбочку. Но поступиться убеждениями ему было трудно.

— Э-эх, святая наука! — вздохнул он. — Если б это было всё так безусловно, не опровергало само себя каждые десять лет. А во что должен верить я? В ваши уколы? Вот зачем мне новые уколы ещё назначили? Что это за уколы?

— Очень нужные! Очень важные для вашей жизни! Вам надо ж и з н ь спасти! — она выговорила это ему особенно настойчиво, и светлая вера была в её глазах. — Не думайте, что вы выздоровели!

— Ну, а точней? В чём их действие?

— А зачем вам точней! Они вылечивают. Они не дают возникать метастазам. Точней вы не поймёте... Хорошо, тогда отдайте мне флакон, а я даю вам честное слово, что верну его, когда будете уезжать!

Они смотрели друг на друга.

Он прекомично выглядел — уже одетый для прогулки в бабий халат и перепоясанный ремнём со звездой.

Но до чего ж она настаивала! Шут с ним, с флаконом, не жалко и отдать, дома у него ещё вдесятеро этого аконитума. Беда в другом: вот милая женщина со светло-кофейными глазами. Такое светящееся лицо. С ней так приятно разговаривать. Но ведь никогда невозможно будет её поцеловать. И когда он вернётся в свою глушь, ему даже поверить будет нельзя, что он сидел рядом вплоть вот с такой светящейся женщиной, и она хотела его, Костоглотова, спасти во что бы то ни стало!

Но именно спасти его она и не может.

— Вам тоже я опасаясь отдать, — пошутил он. — У вас кто-нибудь дома выпьет.

(Кто! Кто выпьет дома?! Она жила одна. Но сказать это сейчас было неуместно, неприлично.)

— Хорошо, давайте вничью. Давайте просто выльем.

Он рассмеялся. Ему жаль стало, что он так мало может для неё сделать.

— Ладно. Иду во двор и выливаю.

А всё-таки, губы она красила зря.

— Нет уж, теперь я вам не верю. Теперь я должна сама присутствовать.

— Но вот идея! Зачем выливать? Лучше я отдам хорошему человеку, которого вы всё равно не спасёте. А вдруг ему поможет?

— Кому это?

Костоготов показал кивком на койку Вадима Зацырко и ещё снизил голос:

— Ведь меланобластома?

— Вот теперь я окончательно убедилась, что надо выливать. Вы тут кого-нибудь мне отравите обязательно! Да как у вас духу хватит дать тяжелобольному яд? А если он отравится? Вас не будет мучить совесть?

Она избегала как-нибудь его называть. За весь долгий разговор она не назвала его никак ни разу.

— Такой не отравится. Это стойкий парень.

— Нет-нет-нет! Пойдёмте выливать!

— Просто я в ужасно хорошем настроении сегодня. Пойдёмте, ладно.

И они пошли между коек и потом на лестницу.

— А вам не будет холодно?

— Нет, у меня кофточка поддета.

Вот, она сказала — «кофточка поддета». Зачем она так сказала? Теперь хотелось посмотреть — какая кофточка, какого цвета. Но и этого он не увидит никогда.

Они вышли на крыльцо. День разгулялся, совсем был весенний, приезшему не поверить, что только седьмое февраля. Светило солнце. Высоковетвенные тополя и низкий кустарник изгородей — всё ещё было голо, но и редкие уже были клочки снега в тени. Между де-

ревьями лежала бурая и серая прилежшая прошлогодняя трава. Алеи, плиты, камни, асфальт были влажны, ещё не высохли. По скверу шло обычное оживлённое движение — навстречу, в обгон, вперекрест по диагоналям. Шли врачи, сёстры, санитарки, обслуга, амбулаторные больные и родственники клинических. В двух местах кто-то даже присел на скамьи. Там и здесь, в разных корпусах, уже были открыты первые окна.

Перед самым крыльцом тоже было странно выливать.

— Ну, вон туда пойдёте! — показал он на проход между раковым корпусом и ухогорлоновым. Это было одно из его прогулочных мест.

Они пошли рядом плитчатой дорожкой. Врачебная шапочка Гангарт, шитая по фасону пилотки, приходилась Костоготову как раз по плечо.

Он покосился. Она шла вполне серьёзно, как бы делать важное дело. Ему стало смешно.

— Скажите, как вас в школе звали? — вдруг спросил он.

Она быстро взглянула на него.

— Какое это имеет значение?

— Да никакого, конечно, а просто интересно.

Несколько шагов она прошла молча, чуть пристукивая по плитам. Её газельи тонкие ноги он заметил ещё в первый раз, когда лежал умирающий на полу, а она подошла.

— Вега, — сказала она.

(То есть, и это была неправда. Неполная правда. Её так в школе звали, но один только человек. Тот самый развитой рядовой, который с войны не вернулся. Толчком, не зная почему, она вдруг доверила это имя другому.)

Они вышли из тени в проход между корпусами — и солнце ударило в них, и здесь тянул ветерок.

— Вега? В честь звезды? Но Вега — ослепительно белая.

Они остановились.

— А я — не ослепительная, — кивнула она. — Но я — ВЕ-ра ГА-нгарт. Вот и всё.

В первый раз не она перед ним растерялась, а он перед ней.

— Я хотел сказать... — оправдывался он.

— Всё понятно. Выливайте! — приказала она.

И не давала себе улыбнуться.

Костоготов расшатал плотно загнанную пробку, осторожно вытянул её, потом наклонился (это очень смешно было в его халате-юбке сверх сапог) и отвалил небольшой камешек из тех, что остались тут от прежнего мощения.

— Смотрите! А то скажете — я в карман перелил! — объявил он с короточек у её ног.

Её ноги, ноги её газельи, он заметил ещё в первый раз, в первый раз.

В сырую ямку на тёмную землю он вылил эту мутно-бурую чью-то смерть. Или мутно-бурое чьё-то выздоровление.

— Можно закладывать? — спросил он.

Она смотрела сверху и улыбалась.

Было мальчишеское в этом вылипании и закладывании камнем. Мальчишеское, но и похожее на клятву. На тайну.

— Ну, похвалите же меня, — поднялся он с короточек.

— Хвалю, — улыбнулась она. Но печально. — Гуляйте.

И пошла в корпус.

Он смотрел ей в белую спину. В два треугольника, верхний и нижний.

До чего ж его стало волновать всякое женское внимание! За каждым словом он понимал больше, чем было. И после каждого поступка он ждал следующего.

Ве-Га, Вера Гангарт. Что-то тут не сошлось, но он сейчас не мог понять. Он смотрел ей в спину.

— Вера! Ве-га! — вполголоса проговорил он, стараясь внушить издали. — Вернись, слышишь? Вернись! Ну, обернись!

Но не внушилось. Она не обернулась.

18

Как велосипед, как колесо, раз покотившись, устойчивы только в движении, а без движения валятся, так и игра между женщиной и мужчиной, раз начавшись, способна существовать только в развитии. Если же сегодня нисколько не сдвинулось от вчера, игры уже нет.

Еле дождался Олег вечера вторника, когда Зоя должна была прийти на ночное дежурство. Весёлое расцвеченное колесо их игры непременно должно было прокатиться дальше, чем в первый вечер и в воскресенье днём. Все толчки к этому качению он ощущал в себе и предвидел в ней и, волнуясь, ждал Зою.

Сперва он вышел встречать её в садик, зная по какой кривой аллейке она должна прийти, выкурил там две махорочные скрутки, но потом подумал, что в бабьем халате будет выглядеть глупо, не так, как хотел бы ей представиться. Да и темно. И он пошёл в корпус, снял халат, стянул сапоги и в пижаме — ничуть не менее смешной — стоял у низа лестницы. Его торчливые волосы были сегодня по возможности пригнетены.

Она появилась из врачебной раздевалки, опаздывая и спеша. Но кивнула бровями, увидев его, — впрочем не с выражением удивления, а как бы отметив, что так и есть, правильно, тут она его и ждала, тут ему и место, у низа лестницы.

Она не остановилась и, чтобы не отстать, он пошёл с нею рядом, долгими ногами шагая через ступеньку. Ему это не было сейчас трудно.

— Ну, что новенького? — спросила она на ходу, как у адъютанта.

Новенького! Смена Верховного Суда! — вот что было новенького. Но чтоб это понять — нужны были годы подготовки. И не это было сейчас Зое нужно.

— Вам — имя новенькое. Наконец я понял, как вас зовут.

— Да? Как же? — а сама проворно перебирала по ступенькам.

— На ходу нельзя. Это слишком важно.

И вот они уже были наверху, и он отстал на последних ступеньках. Вослед ей глядя, он отметил, что ноги её толстоваты. К её плотной фигурке они, впрочем, подходили. И даже в этом был особый вкус. А всё-таки другое настроение, когда невесомые. Как у Веги.

Он сам себе удивлялся. Он никогда так не рассуждал, не смотрел, и считал это пошлым. Он никогда так не перебрасывался от женщины к женщине. Его дед назвал бы это, пожалуй, *женобесием*. Но сказано: ешь с голоду, люби смолоду. А Олег смолоду всё пропустил. Теперь же, как осеннее растение спешит вытянуть из земли последние соки, чтоб не жалеть о пропущенном лете, так и Олег в коротком возврате жизни и уже на скате её, уже конечно на скате, — спешил видеть и вбирать в себя женщин — и с такой стороны, как не мог бы им высказать вслух. Он острее других чувствовал, что в женщинах есть, потому что много лет не видел их вообще. И близко. И голосов их не слышал, забыл, как звучат.

Зоя приняла дежурство и сразу закружилась волчком — вкруг своего стола, списка процедур и шкафа медикаментов, а потом быстро неслась в какую-нибудь из дверей, но ведь и волчок так носится.

Олег следил и когда увидел, что у неё выдался маленький пережок, был тут как тут.

— И больше ничего нового во всей клинике? — спрашивала Зоя, своим лакомым голоском, а сама кипятила шприцы на электрической плитке и вскрывала ампулы.

— О! В клинике сегодня было величайшее событие. Был обход Низамутдина Бахрамовича.

— Да-а? Как хорошо, что без меня!.. И что же? Он отнял ваши сапоги?

— Сапоги-то нет, но столкновение маленькое было.

— Какое же?

— Вообще это было величественно. Вошло к нам в камеру, то есть, в палату сразу халатов пятнадцать — и заведующие отделениями, и старшие врачи, и младшие врачи, и каких я тут никогда не видел, — и главврач, как тигр, бросился к тумбочкам. Но у нас агентурные сведения были, и мы кое-какую подготовочку провели, ничем он не поживился. Нахмурился, очень недоволен. А тут как раз обо мне докладывали, и Людмила Афанасьевна допустила маленькую оплошность: вычитывая из моего дела...

— Какого дела?

— Ну, истории болезни. Назвала, откуда первый диагноз и невольно выяснилось, что я — из Казахстана. «Как? — сказал Низамутдин. — Из другой республики? У нас не хватает коек, а мы должны чужих лечить? Сейчас же выписать!»

— Ну? — насторожилась Зоя.

— И тут Людмила Афанасьевна, я не ожидал, как квочка за цыплёнка — так за меня взъерошилась: «Это — сложный важный научный случай! Он необходим нам для принципиальных выводов...» А у меня дурацкое положение: на днях же я сам с ней спорил и требовал выписки, она на меня кричала, а тут так заступается. Мне стоило сказать Низамутдину — «ага, ага!» — и к обеду меня б уж тут не было! И вас бы я уже не увидел...

— Так это вы из-за меня не сказали «ага-ага»?

— А что вы думаете? — поглушел голос Костоглотова. — Вы ж мне адреса своего не оставили. Как бы я вас искал?

Но она возилась, и нельзя было понять, насколько поверила.

— Что ж Людмилу Афанасьевну подводить, — опять громче рассказывал он. — Сижую, как чурбан, молчу. А Низамутдин: «Я сейчас пойду в амбулаторию и вам пять таких больных приведу! И всех — наших. Выписать!» И вот тут я, наверно, сделал глупость — такой шанс потерял уйти! Жалко мне стало Людмилу Афанасьевну, она моргнула, как побитая, и замолчала. Я на коленях локти утвердил, горлышко прочистил и спокойно спрашиваю: «Как это так вы можете меня выписать, если я с целинных земель?» «Ах, целинник! — перепугался Низамутдин (ведь это ж политическая ошибка!). — Для целины страна ничего не жалеет». И пошли дальше.

— У вас хваточка, — покрутила Зоя головой.

— Это я в лагере изнахалился, Зоенька. Я таким не был. Вообще, у меня много черт не моих, а приобретенных в лагере.

— Но весёлость — не оттуда?

— Почему не оттуда? Я — весёлый, потому что привык к потерям. Мне дико, что тут на свиданиях все плачут. Чего они плачут? Их никто не ссылает, конфискации нет...

— Итак, вы у нас остаётесь ещё на месяц?

— Типун вам на язык... Но неделки на две очевидно. Получилось, что я как бы дал Людмиле Афанасьевне расписку всё терпеть...

Шприц был наполнен разогретой жидкостью, и Зоя ускакала.

Ей предстояла сегодня неловкость, и она не знала, как быть. Ведь надо было и Олегу делать новоназначенный укол. Он полагался в обычное всё терпящее место тела, но при тоне, который у них установился, укол стал невозможен: рассыпалась вся игра. Терять эту игру и этот тон Зоя так же не хотела, как и Олег. А ещё далеко им надо

было прокатить колесо, чтоб укол стал снова возможен — уже как у людей близких.

И вернувшись к столу и готовя такой же укол Ахмаджану, Зоя спросила:

— Ну, а вы уколам исправно поддаётесь? Не брыкаетесь?

Так спросить — да ещё Костоглотова! Он только и ждал случая обясниться.

— Вы же знаете мои убеждения, Зоенька. Я всегда предпочитаю не делать, если можно. Но с кем как получается. С Тургуном замечательно: он всё ищет, как бы ему в шахматы подучиться. Договорились: мой выигрыш — нет укола, его выигрыш — укол. Но дело в том, что я и без лады с ним играю. А с Марией не поиграешь: она подходит со шприцем, лицо деревянное. Я пытаюсь шутить, она: «Больной Костоглотов! Обнажите место для укола!» Она же слова лишнего, человеческого, никогда не скажет.

— Она ненавидит вас.

— Меня??

— Вообще — вас, мужчин.

— Ну, в основе это, может быть, и за дело. Теперь новая сестра — с ней я тоже не умею договориться. А вернётся Олимпиада — тем более, уж она ни йоточку не отступит.

— Вот и я так буду! — сказала Зоя, уравнивая два кубических сантиметра. Но голос её явно отпугал.

И пошла колоть Ахмаджана. А Олег опять остался около столика.

Была ещё и вторая, более важная причина, по которой Зоя не хотела, чтоб Олегу эти уколы делались. Она с воскресенья думала, сказать ли ему об их смысле.

Потому что если вдруг проступит серьёзным всё то, о чём они в шутку перебрасываются — а оно могло таким проступить. Если в этот раз всё не кончится печальным собиранием разбросанных по комнате предметов одежды — а состроится что-то долговечное, и Зоя действительно решится быть пчёлкой для него и решится поехать к нему в ссылку (а в конце концов он прав — разве знаешь, в какой глуши подстерегает тебя счастье?). Так вот в этом случае уколы, назначенные Олегу, касались уже не только его, но и её.

И она была — против.

— Ну! — сказала она весело, вернувшись с пустым шприцем. — Вы, наконец, расхрабрились? Идите и обнажите место укола, больной Костоглотов! Я сейчас приду!

Но он сидел и смотрел на неё совсем не глазами больного. Об уколах он и не думал, они уже договорились.

Он смотрел на её глаза, чуть выкаченные, просящиеся из глазниц.

— Пойдёмте куда-нибудь, Зоя, — не выговорил, а проурчал он низко.

Чем глуше становился его голос, тем звонче её.

— Куда-нибудь? — удивилась и засмеялась она. — В город?

— Во врачебную комнату.

Она приняла, приняла, приняла в себя его неотступный взгляд, и без игры сказала:

— Но нельзя же, Олег! Много работы.

Он как будто не понял:

— Пойдёмте!

— Правильно, — вспомнила она. — Мне нужно наполнить кислородную подушку для... — Она кивнула в сторону лестницы, может быть назвала и фамилию больного, он не слышал. — А у баллона кран тугο отворачивается. Вы мне поможете. Пойдёмте.

И она, а следом он, спустились на один марш до площадки.

Тот жёлтенький, с обвострившим носом несчастный, доедаемый раком лёгких, всегда ли такой маленький или съёженный теперь от

болезни, такой плохой, что на обходах с ним уже не говорили, ни о чём его не спрашивали — сидел в постели и часто вдыхал из подушки, со слышимым хрипом в груди. Он и раньше был плох, но сегодня гораздо хуже, заметно и для неопытного взгляда. Одну подушку он кончал, другая пустая лежала рядом.

Он был так уже плох, что и не видел совсем людей — проходящих, подходящих.

Они взяли от него пустую подушку и спуускались дальше.

— Как вы его лечите?

— Никак. Случай иноперабельный. А рентген не помог.

— Грудной клетки вообще не вскрывают?

— В нашем городе ещё нет.

— Так он умрёт?

Она кивнула.

И хотя в руках была подушка — для него, чтоб он не задохнулся, они тут же забыли о нём. Потому что интересное что-то вот-вот должно было произойти.

Высокий баллон с кислородом стоял в отдельном запертом сейчас коридоре — в том коридоре около рентгеновских кабинетов, где когда-то Гангарт впервые уложила промокшего умирающего Костоглотава. (Этому «когда-то» ещё не было трёх недель...)

И если не зажигать второй по коридору лампочки (а они и зажгли только первую), то угол за выступом стены, где стоял баллон, оказывался в полутьме.

Зоя была ростом ниже баллона, а Олег выше.

Она стала соединять вентиль подушки с вентиляем баллона.

Он стоял сзади и дышал её волосами — выбросными из-под шапочки.

— Вот этот кран очень тугой, — пожаловалась она.

Он положил пальцы на кран и сразу открыл его. Кислород стал переходить с лёгким шумом.

И тогда, безо всякого предлога, рукой, освободившейся от крана, Олег взял Зою за запястье руки, свободной от подушки.

Она не вздрогнула, не удивилась. Она следила, как надувается подушка.

Тогда он поскользился рукой, оглаживая, охватывая, от запястья выше — к предлокотью, через локоть — к плечу.

Бесхитростная разведка, но необходимая и ему, и ей. Проверка слов, так ли были они все поняты.

Да, так.

Он ещё чёлку её трепанул двумя пальцами, она не возмутилась, не отпрянула — она следила за подушкой.

И тогда сильно охватив её по запячьям, и всю наклонив к себе, он, наконец, добрался до её губ, столько ему смеявшихся и столько болтавших губ.

И губы Зои встретили его не раздвинутыми, не расслабленными — а напряжёнными, встречными, готовными.

Это всё выяснилось в один миг, потому что за минуту до того он ещё не помнил, он забыл, что губы бывают разные, поцелуи бывают разные, и один совсем не стоит другого.

Но начавшись клевок, это теперь тянулось, это был всё один ухват, одно долгое слитие, которое никак нельзя было кончить, да незачем было кончать. Переминая и переминая губами, так можно было остаться навсегда.

Но со временем, через два столетия, губы всё же разорвались — и тут Олег в первый раз увидел Зою и сразу же услышал её:

— А почему ты глаза закрываешь, когда целуешься?

Разве у него были ещё глаза? Он этого не знал.

— Кого-нибудь другого хочешь вообразить?..

Он и не заметил, что закрывал.

Как, едва отдышавшись, ныряют снова, чтобы там, на дне, на дне, на самом доньшке выловить залегшую жемчужину, они опять сошлись губами, но теперь он заметил, что закрыл глаза, и сразу же открыл их. И увидел близко-близко, невероятно близко, наискос, два её жёлто-карих глаза, показавшихся ему хищными. Одним глазом он видел один глаз, а другим другой. Она целовалась всё теми же уверенно-напряжёнными, готовно-напряжёнными губами, не выворачивая их, и ещё чуть-чуть покачивалась — и смотрела, как бы выверяя по его глазам, что с ним делается после одной вечности, и после второй, и после третьей.

Но вот глаза её скозились куда-то в сторону, она резко оторвалась и вскрикнула:

— Кран!

Боже мой, кран! Он выбросил руку на кран и быстро завернул. Как подушка не разорвалась!

— Вот что бывает от поцелуев! — ещё не уравнив дыхания, сорванным выдохом сказала Зоя. Чёлка её была растрёпана, шапочка сбилась.

И хотя она была вполне права, они опять сомкнулись ртами и что-то перетянуть хотели к себе один из другого.

Коридор был с остеклёнными дверьми, может быть кому-нибудь из-за выступа и были видны поднятые локти, ну — и шут с ним.

А когда всё-таки воздух опять пришёл в лёгкие, Олег сказал, держа её за затылок и рассматривая:

— Золотóнчик! Так тебя зовут. Золотончик!

Она повторила, играя губами:

— Золотончик?.. Пончик?..

Ничего. Можно.

— Ты не испугалась, что я ссыльный? Преступник?..

— Не, — она качала головой легкомысленно.

— А что я старый?

— Какой ты старый!

— А что я больной?..

Она ткнулась лбом ему в грудь и стояла так.

Ещё ближе, ближе к себе он её притянул, эти тёплые эллиптические кронштейники, на которых так и неизвестно, могла ли улежать тяжёлая линейка, и говорил:

— Правда, ты поедешь в Уш-Терек?.. Мы женимся... Мы построим себе там домик.

Это всё и выглядело, как то устойчивое продолжение, которого ей не хватало, которое было в её натуре пчёлки. Прижатая к нему и всем лоном ощущая его, она всем лоном хотела угадать: он ли?

Потянулась и локтем опять обняла его за шею:

— Олежек! Ты знаешь — в чём смысл этих укулов?

— В чём? — тёрся он щекой.

— Эти укулы... Как тебе объяснить... Их научное название — гормонотерапия... Они применяются перекрестно: женщинам вводят мужские гормоны, а мужчинам — женские... Считается, что так подавляют метастазирование... Но прежде всего подавляются вообще... Ты понимаешь?..

— Что? Нет! Не совсем! — тревожно отрывисто спрашивал перебившийся Олег. Теперь он держал её за плечи уже иначе — как бы вытрясая из неё скорее истину. — Ты говори, говори!

— Подавляются вообще... половые способности... Даже до появления перекрестных вторичных признаков. При больших дозах у женщины может начать расти борода, у мужчин — грвли...

— Так подожди! Что такое? — проревел, только сейчас начиная

понимать, Олег.— Вот эти уколы? Что делают мне? Они что? — всё подавляют?

— Ну, не всё. Долгое время остаётся *либидо*.

— Что такое — *либидо*?

Она прямо смотрела ему в глаза и чуть потрепала за вихор:

— Ну, то, что ты сейчас чувствуешь ко мне... Желание...

— Желание — остаётся, а возможности — нет? Так? — допрашивал он, ошеломлённо.

— А возможности — очень слабеют. Потом и желание — тоже. Понимаешь? — она провела пальцем по его шраму, погладила по выбритой сегодня щеке.— Вот почему я не хочу, чтоб ты делал эти уколы.

— Здрó-ро-во! — опоминался и выпрямлялся он.— Вот это здо-ро-во! Чуюло моё сердце, ждал я от них подвоху — так и вышло!

Ему хотелось ядрёно обругать врачей, за их самовольное распоряжение чужими жизнями,— и вдруг он вспомнил светло-уверенное лицо Гангарт — вчера, когда с таким горячим дружелюбием она смотрела на него: «Очень важные для вашей жизни! Вам надо жизнь спасти!»

Вот так Вега! Она хотела ему добра? — и для этого обманом вела к такой участи?

— И ты такая будешь? — скопился он на Зою.

Да нет, за что ж на неё! Она понимала жизнь, как и он: без этого — зачем жизнь? Она одними только алчными огневатыми губами протащила его сегодня по Кавказскому хребту. Вот она стояла, и губы были вот они! И пока это самое *либидо* ещё струилось в его ногах, в его поясище, надо было спешить целоваться!

— ...А наоборот ты мне что-нибудь можешь вколоть?

— Меня тогда выгонят отсюда...

— А есть такие уколы?

— Эти же самые, только не перекрестно...

— Слушай, Золотончик, пойдём куда-нибудь...

— Ну, мы ж уже пошли. И пришли. И надо идти назад...

— Во врачебную комнату — пойдём!..

— Там санитарка, там ходят... Да не надо торопиться, Олежек! Иначе у нас не будет *завтра*...

— Какое ж «завтра», если завтра не будет *либидо*?.. Или наоборот, спасибо, *либидо* будет, да? Ну, придумай, ну пойдём куда-нибудь!

— Олежек, надо что-то оставить и наперёд... Надо подушку нести.

— Да, правда, подушку нести. Сейчас понесём...

.....

— ...Сейчас понесём...

.....

— По-не-сём... Се-час...

Они поднимались по лестнице, не держась за руки, но держась за подушку, надутую, как футбольный мяч, и толчки ходьбы одного и другой передавались через подушку.

И было всё равно как за руки.

А на площадке лестницы, на проходной койке, мимо которой день и ночь сновали больные и здоровые, занятые своим, сидел в подушках и уже не кашлял, а бился головой о поднятые колени, головой с остатками благоприличного пробора — о колени, жёлтый, высохший, слабогрудый человек, и может быть свои колени он ощущал лбом как круговую стену.

Он был жив ещё — но не было вокруг него живых.

Может быть именно сегодня он умирал — брат Олега, ближний Олега, покинутый, голодный на сочувствие. Может быть, подсев к его кровати и проведя здесь ночь, Олег облегчил бы чем-нибудь его последние часы.

Но только кислородную подушку они ему положили и пошли дальше. Его последние кубики дыхания, подушку смертника, которая для них была лишь повод уединиться и узнать поцелуи друг друга.

Как привязанный поднимался Олег за Зоей по лестнице. Он не думал о смертнике за спиной, каким сам был полмесяца назад, или будет через полгода, а думал об этой девушке, об этой женщине, об этой бабе, и как уговорить её уединиться.

И ещё одно совсем забытое, тем более неожиданное, поющее ощущение губ, намятых поцелуями до огрублости, до опухлости — передавалось молодым по всему его телу.

19

Не всякий называет маму — мамой, особенно при посторонних. Этого стыдятся мальчики старше пятнадцати лет и моложе тридцати. Но Вадим, Борис и Юрий Запырко никогда не стыдились своей мамы. Они дружно любили её при жизни отца, а после его расстрела — особенно. Мало разделённые возрастом, они росли как трое равных, всегда деятельные и в школе и дома, не подверженные уличным шатаньям — и никогда не огорчали овдовевшую мать. Повелось у них от одного детского снимка и потом для сравнения, что раз в два года она вела их всех в фотографию (а потом уж и сами своим аппаратом), и в домашний альбом ложился снимок за снимком: мать и трое сыновей, мать и трое сыновей. Она была светлая, а они все трое чёрные — наверно, от того пленного турка, который когда-то женился на их заповоржской прабабушке. Посторонние не всегда различали их на снимках — кто где. С каждым снимком они заметно росли, крепчали, обгоняли маму, она незаметно старела, но выпрямлялась перед объективом, гордая этой живой историей своей жизни. Она была врач, известная у себя в городе, и пожавшая много благодарностей, букетов и пирогов, но даже если б она ничего полезного больше в жизни не сделала — вырастить таких троих сыновей оправдывало жизнь женщины. Все трое они пошли в один и тот же политехнический институт, старший кончил по геологическому, средний по электротехническому, младший кончал сейчас строительный, и мама была с ним.

Была, пока не узнала о болезни Вадима. В четверг едва не сорвалась сюда. В субботу получила телеграмму от Донцовой, что нужно коллоидное золото. В воскресенье откликнулась телеграммой, что едет добывать золото в Москву. С понедельника она там, вчера и сегодня наверно добывается приёма у министров и в других важных местах, чтобы в память погибшего отца (он оставлен был в городе под видом интеллигента, обиженного советской властью, и расстрелян немцами за связь с партизанами и укрытие наших раненых) дали бы визу на фондовое коллоидное золото для сына.

Все эти хлопоты были отвратительны и оскорбительны Вадиму даже издали. Он не переносил никакого блата, никакого использования заслуг или знакомств. Даже то, что мама дала предупредительную телеграмму Донцовой, уже тяготило его. Как ни важно было ему выжить, но не хотел он пользоваться никакими преимуществами даже перед хारेю раковой смерти. Впрочем, понаблюдав за Донцовой, Вадим быстро понял, что и без всякой маминой телеграммы Людмила Афанасьевна уделила бы ему не меньше времени и внимания. Только вот телеграмму о коллоидном золоте не пришлось бы давать.

Теперь, если мама достанет это золото — она прилетит с ним, конечно, сюда. И если не достанет — то тоже прилетит. Отсюда он написал ей письмо о чаге — не потому, что уверовал, а чтобы маме дать лишнее дело по спасению, насытить её. Но если будет расти отчаяние, то вопреки всем своим врачебным знаниям и убеждениям, она поедет и к этому знахарю в горы за иссык-кульским корнем. (Олег

Костоготов вчера пришёл и повинулся ему, что уступил бабе и вылил настойку корня, но впрочем там было всё равно мало, а вот адрес старика, если же старика уже посадили, то Олег берётся уступить Вадиму из своего запаса.)

Маме теперь уже не жизнь, если старший сын под угрозой. Мама сделает всё, и больше, чем всё, она даже и лишнее сделает. Она даже в экспедицию за ним поедет, хотя там у него есть Галка. В конце концов, как Вадим понял из отрывков прочтённого и услышанного о своей болезни, сама-то опухоль вспыхнула у него из-за маминой слишком большой озабоченности и предусмотрительности: с детства было у него на ноге большое пигментное пятно, и мама, как врач, видимо знала опасность перерождения; она находила поводы щупать это пятно, и однажды настояла, чтобы хороший хирург произвёл предварительную операцию — а вот её-то как раз, очевидно, и не следовало делать.

Но даже если его сегодняшнее умирание началось от мамы — он не может её упрекнуть ни за глаза, ни в глаза. Нельзя быть таким слишком практичным, чтобы судить по результатам, — человечнее судить по намерениям. И несправедливо раздражаться теперь виною мамы с точки зрения своей неоконченной работы, прерванного интереса, неисполненных возможностей. Ведь и интереса этого, и возможностей, и порыва к этой работе не было бы, если б не было его самого, Вадима. От мамы.

У человека — зубы, и он ими грызёт, скрежещет, стискивает их. А у растений вот — нет зубов, и как же спокойно они растут, и спокойно как умирают!

Но, прощая маме, Вадим не мог простить обстоятельствам! Он не мог уступить им ни квадратного сантиметра своего эпителия! И не мог не стискивать зубов.

Ах, как же пересекла его эта проклятая болезнь! — как она подрезала его в самую важную минуту.

Правда, Вадим и с детства как будто всегда предчувствовал, что ему не хватит времени. Он нервничал, если приходила гостя или соседка и болтала, отнимая время у мамы и у него. Он возмущался, что в школе и в институте всякие сборы — на работу, на экскурсию, на вечер, на демонстрацию, всегда назначают на час или на два часа раньше, чем нужно, так и рассчитывая, что люди обязательно опоздают. Никогда Вадим не мог вынести получасовых известий по радио, потому что всё, что там важно и нужно, можно было уместить в пять минут, а остальное была вода. Его бесило, что идя в любой магазин, ты с вероятностью одна десятая рискуешь застать его на учёте, на переучёте, на передаче товара — и этого никогда нельзя предвидеть. Любой сельсовет, любое почтовое сельское отделение могут быть закрыты в любой рабочий день — и за двадцать пять километров этого никогда нельзя предвидеть.

Может быть жадность на время заронил в нём отец. Отец тоже не любил бездеятельности, и запомнилось, как он трепал сына между коленями и сказал: «Вадька! Если ты не умеешь использовать минуту, ты зря проведёшь и час, и день, и всю жизнь».

Нет, нет! Этот бес — неутолимая жажда времени, и без отца сидела в нём с малых лет. Чуть только игра с мальчишками начинала становиться тягучей, — он не торчал с ними у ворот, а уходил сейчас же, мало обращая внимания на насмешки. Чуть только книга ему казалась водянистой — он её не дочитывал, бросал, ища поплотней. Если первые кадры фильма оказывались глупы (а заранее почти никогда ничего о фильме не знаешь, это нарочно делают) — он презревал потерянные деньги, стучал сидением и уходил, спасая время и незагрязнённость головы. Его изводили те учителя, которые по десять минут нудили класс нотациями, потом не справлялись с объяснениями, одно

размазывали, другое комкали, а задание на дом давали после звонка. Они не могли представить, что у ученика перемена может быть распланирована почище, чем у них урок.

А может быть, не зная об опасности, он с детства ощущал её, неведомую, в себе? Ни в чём не виновный, он с первых же лет жизни был под ударом этого пигментного пятна! И когда он так берёт время мальчишкой и скупость на время передавал своим братьям, когда взрослые книги читал ещё до первого класса, а шестиклассником устроил дома химическую лабораторию — это он уже гнался наперегонки с будущей опухолью, но втёмную гнался, не видя, где враг, — а она всё видела, кинулась и вонзилась в самую горячую пору! Не болезнь — змея. И имя её змеиное: меланобластома.

Когда она началась — Вадим не заметил. Это было в экспедиции у Алайского хребта. Началось затвердение, потом боль, потом прорвало и полегчало, потом опять затвердение, и так натиралось от одежды, что почти невыносимо стало ходить. Но ни маме он не написал, ни работы не бросил, потому что собирал первый круг материалов, с которыми обязательно должен был съездить в Москву.

Их экспедиция занималась просто радиоактивными водами, и никаких рудных месторождений с них не спрашивали. Но не по возрасту много прочтя и особенно близкий с химией, которую не каждый геолог знает хорошо, Вадим то ли предвидел, то ли предчувствовал, что здесь выудляется новый метод нахождения руд. Начальник экспедиции скрипел по поводу этой его склонности, начальнику экспедиции нужна была выработка по плану.

Вадим попросил командировку в Москву, начальник для такой цели не давал. Тогда-то Вадим и предъявил свою опухоль, взял бюллетень и явился в этот диспансер. Тут он проведаль диагноз, и его медленно клали, сказав, что дело не терпит. Он взял назначение лечь и с ним улетел в Москву, где как раз сейчас на совещании надеялся повидать Черегородцева. Вадим никогда его не видел, только читал учебник и книги. Его предупредили, что Черегородцев больше одной фразы слушать не будет, он с первой фразы решает, нужно ли с человеком говорить. Весь путь до Москвы Вадим слаживал эту фразу. Его представили Черегородцеву в перерыве, на пороге буфета. Вадим выстрелил своей фразой, и Черегородцев повернул от буфета, взял его повыше локтя и повёл. Сложность этого пятиминутного разговора — Вадиму он казался накалённым — была в том, что требовалось стремительно говорить, без пропуска впитывать ответы, достаточно блеснуть своей эрудицией, но не высказать всего до конца, главный задел оставить себе. Черегородцев сразу ему насыпал все возражения, из которых ясно было, почему радиоактивные воды признак косвенный, но не могут быть основным, и искать по ним руды — дело пустое. Он так говорил — но кажется охотно бы дал себя разуверить, он минуту ждал этого от Вадима и, не дождавшись, отпустил. И ещё Вадим понял, что кажется, и целый московский институт топчется около того, над чем он один ковырялся в камешках Алайских гор.

Лучшего пока нельзя было и ждать! Теперь-то и надо было навалиться на работу!

Но теперь-то и надо было ложиться в клинику... И открыться маме. Он мог бы ехать и в Новочеркасск, но здесь ему понравилось, и к своим горам поближе.

В Москве он узнавал не только о водах и рудах. Ещё он узнал, что с меланобластомой умирают — всегда. Что с нею редко живут год, а чаще — месяцев восемь.

Что ж, как у тела, несущегося с предсветовой скоростью, его время и его масса становились теперь не такими, как у других тел, как у других людей: время — ёмче, масса — пробивней. Годы вбирались для него в недели, дни — в минуты. Он и всю жизнь спешил, но толь-

ко сейчас он начинал спешить по-настоящему! Прожив шестьдесят лет спокойной жизни — и дурак станет доктором наук. А вот — к двадцати семи?

Двадцать семь — это лермонтовский возраст. Лермонтову тоже не хотелось умирать. (Вадим знал за собой, что немного похож на Лермонтова: такой же невысокий, смоляной, стройный, лёгкий, с маленькими руками, только без усов.) Однако, он врезал себя в нашу память — и не на сто лет, навсегда!

Перед смертью, перед пантерой смерти, уже виляющей чёрным телом, уже бьющей хвостом, уже прилегшей рядом, на одну койку с ним, Вадим, человек интеллекта, должен был найти формулу — как жить с ней по соседству? Как плодотворно прожить вот эти оставшиеся месяцы, если это — только месяцы? Смерть как внезапный и новый фактор своей жизни он должен был проанализировать. И, сделав анализ, заметил, что кажется уже начинает привыкать к ней, а то даже и усваивать.

Самая ложная линия рассуждения была бы — исходить из того, что он теряет: как мог бы он быть счастлив, и где побывать, и что сделать, если бы жил долго. А верно было — признать статистику: что кому-то надо умирать и молодым. Зато умерший молодым остаётся в памяти людей навсегда молодым. Зато вспыхнувший перед смертью остаётся сиять вечно. Тут была важная, на первый взгляд парадоксальная черта, которую разглядел Вадим в размышлениях последних недель: что таланту легче понять и принять смерть, чем бездарности. А ведь талант теряет в смерти гораздо больше, чем бездарность! Бездарности обязательно подавай долгую жизнь.

Конечно, завидно было думать, что продержаться надо бы только три-четыре года, и в наш век открытий, всеобщих бурных научных открытий, непременно найдут и лекарство от меланобластомы. Но Вадим постановил для себя не мечтать о продлении жизни, не мечтать о выздоровлении — даже ночных минут не тратить на эти бесплодности, — а сжаться, работать и оставить людям после себя новый метод поиска руд.

Так, испушив свою раннюю смерть, он надеялся умереть успокоенным.

Да и не испытал он за двадцать шесть лет никакого другого ощущения более наполняющего, насыщающего и стройного, чем ощущение времени, проводимого с пользой. Именно так всего разумнее и было провести последние месяцы.

И с этим рабочим порывом, держа несколько книг под мышками, Вадим вошёл в палату.

Первый враг, которого он ждал себе в палате, было радио, громкоговоритель — и Вадим готов был бороться с ним всеми легальными и нелегальными средствами: сперва убеждением соседей, потом закорачиванием проводов иголкой, а там и вырыванием розетки из стены. Обязательное громковещание, почему-то зачтённое у нас повсюду как признак широты культуры, есть, напротив, признак культурной отсталости, поощрение умственной лени, — но Вадим почти никогда никого не успевал в этом убедить. Это постоянное бубнение, чередование незапрощенной тобою информации и невыбранной тобою музыки, было воровство времени и энтропия духа, очень удобно для вялых людей, непереносимо для инициативных. Глупец, заполучив вечность, вероятно не мог бы протянуть её иначе, как только слушая радио.

Но со счастливым удивлением Вадим, войдя в палату, не обнаружил радио! Не было его и нигде на втором этаже. (Упущение это объяснялось тем, что с года на год предполагался переезд диспансера в другое, лучше оборудованное помещение, и уж там-то должна была быть сквозная радификация.)

Второй ожидаемый враг Вадима была темнота — раннее тушение света, позднее зажигание, далёкие окна. Но великодушный Дёмка уступил ему место у окна, и Вадим с первого же дня приспособился: ложиться со всеми, рано, а по рассвету просыпаться и начинать занятия — лучшие и самые тихие часы.

Третий возможный враг была слишком обильная болтовня в палате. И оказалось не без неё. Но в общем Вадиму состав палаты понравился, с точки зрения тишины в первую очередь.

Самым симпатичным ему показался Егенбердиев: он почти всегда молчал и всем улыбался улыбкой богатыря — раздвижкой толстых губ и толстых щёк.

И Мурсалимов с Ахмаджаном были неназойливые, славные люди. Когда они говорили по-узбекски, они совсем не мешали Вадиму, да и говорили они рассудительно, спокойно. Мурсалимов выглядел мудрым стариком, Вадим встречал таких в горах. Один только раз он что-то разошёлся и спорил с Ахмаджаном довольно сердито. Вадим попросил перевести — о чём. Оказывается, Мурсалимов сердился на новые придумки с именами, соединение нескольких слов в одно имя. Он утверждал, что существует только сорок истинных имён, оставленных пророком, все другие имена неправильные.

Не вредный парень был и Ахмаджан. Если его попросить тише, он всегда становился тише. Как-то Вадим рассказал ему о жизни эвенков и поразил его воображение. Два дня Ахмаджан обдумывал совершенно непредставимую жизнь и задавал Вадиму внезапные вопросы:

— Скажи, а какое ж у этих эвенков обмундирование?

Вадим наскоро отвечал, на несколько часов Ахмаджан погружался в размышление. Но снова прихрамывал и спрашивал:

— А распорядок дня у них какой, у эвенков?

И ещё на другой день утром:

— Скажи, а какая перед ними задача поставлена?

Не принимал он объяснения, что эвенки «просто так живут».

Тихий, вежливый был и Сибгатов, часто приходивший к Ахмаджану играть в шашки. Ясно было, что он необразован, но почему-то понимал, что громко разговаривать неприлично и не надо. И когда с Ахмаджаном они начинали спорить, то и тут он говорил как-то успокоительно:

— Да разве здесь настоящий виноград? Разве здесь дыни настоящие?

— А где ещё настоящие? — горячился Ахмаджан.

— В Крыму-у, где-е... Вот бы ты посмотрел...

И Дёмка был хороший мальчик, Вадим угадывал в нём не пустозвона, Дёмка думал, занимался. Правда, на лице его не было светлой печати таланта, он как-то хмуровато выглядел, когда воспринимал неожиданную мысль. Ему тяжело достанется путь учёбы и умственных занятий, но из таких медлительных иногда вырабатываются крепыши.

Не раздражал Вадима и Русанов. Это был всю жизнь честный работника, звёзд с неба не хватал. Суждения его были в основном правильные, только не умел он их гибко выразить, а выражал затверженно.

Костоглов вначале не понравился Вадиму: грубый крикун. Но оказалось, что это — внешнее, что он не заносчив, и даже подельчив, а только несчастно сложилась жизнь, и это его раздражило. Он, видимо, и сам был виноват в своих неудачах из-за трудного характера. Его болезнь шла на поправку, и он ещё всю жизнь мог бы свою поправить, если бы был более собран и знал бы, чего он хочет. Ему в первую очередь не доставало собранности, он разбрасывался временем, то шёл бродить бессмысленно по двору, то хватался читать, и очень уж вязался за юбками.

А Вадим ни за что бы не стал на переднем краю смерти отвлекаться на девок. Ждала его Галка в экспедиции и мечтала выйти за него замуж, но и на это он уже права не имел, и ей он уже достанется мало.

Он уже никому не достанется.

Такова цена, и платить сполна. Одна страсть, захватив нас, измещает все прочие страсти.

Кто раздражал Вадима в палате — это Поддуев. Поддуев был зол, силён, и вдруг раскис и поддался слащаво-идеалистическим штучкам. Вадим терпеть не мог, он раздражался от этих разжижающих басенок о смирении и любви к ближнему, о том, что надо поступиться собой, и рот раззявая только и смотреть, где и чем помочь встречному-поперечному. А этот встречный-поперечный, может быть, лентяй небритый или жулик небитый! Такая водянистая блеклая правдёнка противоречила всему молодому напору, всему сжигающему нетерпению, которое был Вадим, всей его потребности разжаться, как выстрел, разжаться и отдать. Он тоже ведь готовился и обрёл себя не брать, а отдать — но не по мелочам, не на каждом заплетающемся шагу, а вспышкой подвига — сразу всему народу и всему человечеству!

И он рад был, когда Поддуев выписался, а на его койку перелёг белобрысый Федерату из угла. Вот уж кто был тихий! — уж тише его в палате не было. Он мог за целый день слова не сказать — лежал и смотрел грустно. Как сосед, он был для Вадима идеален, — но уже послезавтра, в пятницу, его должны были взять на операцию.

Молчали-молчали, а сегодня всё-таки зашло что-то о болезнях, и Федерату сказал, что он болел и чуть не умер от воспаления мозговой оболочки.

— Ого! Ударились?

— Нет, простудился. Перегрелся сильно, а повезли с завода на машине домой, и продуло голову. Воспалилась мозговая оболочка, видеть перестал.

Он спокойно это рассказывал, даже с улыбкой, не подчёркивая, что трагедия была, ужас.

— А отчего ж перегрев? — Вадим спросил, однако сам уже косился в книжку, время-то шло. Но разговор о болезни всегда найдёт слушателей в палате. От стенки к стенке Федерату увидел на себе взгляд Русанова, очень сегодня размягчённый, и рассказывал уже отчасти и ему:

— Случилась в котле авария, и надо было сложную пайку делать. Но если спускать весь пар и котёл охлаждать, а потом всё снова — это сутки. Директор ночью за мной машину прислал, говорит: «Федерату! Чтоб работы не останавливать, надень защитный костюм, да лезь в пар, а?» — «Ну, я говорю, если надо — давайте!» А время было предвоенное, график напряжённый — надо сделать. Полез и сделал. Часа за полтора... Да как отказать? Я на заводской доске почёта всегда был верхний.

Русанов слушал и смотрел с одобрением.

— Поступок, которым может гордиться и член партии, — похвалил он.

— А я и... член партии, — ещё скромней, ещё тише улыбнулся Федерату.

— Был и? — поправил Русанов. (Их похвали, они уже всерьёз принимают.)

— И есть, — очень тихо выговорил Федерату.

Русанову было сегодня не до того, чтобы вдумываться в чужие обстоятельства, спорить, ставить людей на место. Его собственные обстоятельства были крайне трагичны. Но нельзя было не поправить совершенно явную чушь. А геолог ушёл в книги. Слабым голосом, с ти-

хой отчётливостью (зная, что напрягутся — и услышат), Русанов ска- зал:

— Так быть не может. Ведь вы — немец?

— Да,— кивнул Федерату и, кажется, сокрушённо.

— Ну? Когда вас в ссылку везли — партбилеты должны были отобрать.

— Не отобрали,— качал головой Федерату.

Русанов скривился, трудно ему было говорить:

— Ну так это просто упущение, спешили, торопились, запута- лись. Вы должны сами теперь сдать.

— Да нет же! — на что был Федерату робкий, а упёрся.— Четыр- надцатый год я с билетом, какая ошибка! Нас и в райком собирали, нам разъясняли: остаётесь членами партии, мы не смешиваем вас с общей массой. Отметка в комендатуре — отметкой, а членские взно- сы — взносами. Руководящих постов занимать нельзя, а на рядовых постах должны трудиться образцово. Вот так.

— Ну, не знаю,— вздохнул Русанов. Ему и веки-то хотелось опу- стить, ему говорить было совсем трудно.

Позавчерашний второй укол нисколько не помог — опухоль не опала, не размягчилась, и железным желваком всё давила ему под челюсть. Сегодня, расслабленный и предвидя новый мучительный бред, он лежал в ожидании третьего укола. Договаривались с Капой после третьего укола ехать в Москву — но Павел Николаевич потерял всю энергию борьбы, он только сейчас почувствовал, что значит об- речённость: третий или десятый, здесь или в Москве, но если опухоль не поддаётся лекарству, она не поддастся. Правда, опухоль ещё не была смерть: она могла остаться, сделать инвалидом, уродом, боль- ным — но всё-таки связи опухоли со смертью Павел Николаевич не усматривал до вчерашнего дня, пока тот же Оглоед, начитавшийся медицинских книжек, не стал кому-то объяснять, что опухоль пуска- ет яды по всему телу — и вот почему нельзя её в теле терпеть.

И Павла Николаевича защищало, и понял он, что отмахнуться от смерти не выходит. Вчера на первом этаже он своими глазами ви- дел, как на послеоперационного натянули с головой простыню. Теп- ерь он осмыслил выражение, которое слышал между санитарками: «этому скоро под простынку». Вот оно что! — смерть представляется нам чёрной, но это только подступы к ней, а сама она — белая.

Конечно, Русанов всегда знал, что поскольку все люди смертны, когда-нибудь должен сдать дела и он. Но — когда-нибудь, но не сей- час же! Когда-нибудь не страшно умереть — страшно умереть вот сейчас.

Белая равнодушная смерть в виде простыни, обволакивающей никакую фигуру, пустоту, подходила к нему осторожно, не шумя, в шлёпанцах, — а Русанов, застигнутый этой подкрадкой смерти, не только бороться с нею не мог, а вообще ничего о ней не мог ни поду- мать, ни решить, ни высказать. Она пришла незаконно, и не было правила, не было инструкции, которая защищала бы Павла Нико- лаевича.

И жалко ему было себя. Жалко было представить такую целе- устремлённую, наступательную и даже, можно сказать, красивую жизнь, как у него, — сшибленной камнем этой посторонней опухолью, которую ум его отказывался осознать как необходимость.

Ему было так жаль себя, что напывали слёзы, всё время засти- лали зрение. Днём он прятал их то за очками, то за насморком будто, то накрываясь полотенцем, а эту ночь тихо и долго плакал, ничуть не стыдясь перед собой. Он с детства не плакал, он забыл, как это — плакать, а ещё больше, совсем забыл он, что слёзы, оказывается, по- могают. Они не отодвигали от него ни одной из опасностей и бед — ни раковой смерти, ни судебного разбора старых дел, ни предстоя- щего укола и нового бреда, и всё же они как будто поднимали его на

какую-то ступеньку от этих опасностей. Ему будто светлей становится.

А ещё он — ослаб очень, ворочался мало, нехотя ел. Очень ослаб — и даже приятное что-то находил в этом состоянии, но худое приятное: как у замерзающего не бывает сил шевелиться. И как будто параличом взяло или ватой глухой обложило его всегдашнюю гражданскую горячность — не мириться ни с чем уродливым и неправильным вокруг. Вчера Оглоед с усмешечкой врал про себя главному, что он — целинник, и Павлу Николаевичу стоило только рот раскрыть, два слова сказать — и уже б Оглоеда в помине тут не было.

А он — ничего не сказал, промолчал. Это было с гражданственной точки зрения нечестно, его долг был — разоблачить ложь. Но почему-то Павел Николаевич не сказал. И не потому, что не хватило дыхательных сил выговорить или бы он боялся мести Оглоеда — нет. А даже как-то и не хотелось говорить — как будто не всё, что делалось в палате, уже касалось Павла Николаевича. Даже было такое странное чувство, что этот крикун и грубиян, то не дававший свет тушить, то по произволу открывавший форточку, то лезший первый схватить нетроганную чистую газету, в конце концов взрослый человек, имеет свою судьбу, может не очень счастливую, и пусть живёт как хочет.

А сегодня Оглоед ещё отличился. Пришла лаборантка составлять избирательные списки (их тут тоже готовили к выборам) и у всех брала паспорта, и все давали их или колхозные справки, а у Костоглотова ничего не оказалось. Лаборантка естественно удивилась и требовала паспорта, так Костоглотов завёлся шуметь, что надо мол знать политграмоту, что разные есть виды ссыльных, и пусть она звонит по такому-то телефону, а у него мол избирательное право есть, но в крайнем случае он может и не голосовать.

Вот какой мутный и испорченный человек оказался сосед по койке, верно чувствовалось сердце Павла Николаевича! Но теперь вместо того, чтобы ужаснуться, в какой вертеп он здесь попал, среди кого лежал, Русанов поддался заливающему безразличию: пусть Костоглотов; пусть Федерату; пусть Сибгатов. Пусть они все вылечиваются, пусть живут — только б и Павлу Николаевичу остаться в живых.

Маячил ему капюшон простыни.

Пусть они живут, и Павел Николаевич не будет их расспрашивать и проверять. Но чтоб они его тоже не расспрашивали. Чтoб никто не лез ковыряться в старом прошлом. Чтo было — то было, оно кануло, и несправедливо теперь выискивать, кто в чём ошибся восемнадцать лет назад.

Из вестибюля послышался резкий голос санитарки Нэлли, один такой во всей клинике. Это она без всякого даже крика спрашивала кого-то метров за двадцать:

— Слушай, а лакированные эти почём стоят?

Что ответила другая — не было слышно, а опять Нэлля:

— Э-э-эх, мне бы в таких пойти — вот бы хахали табунились!

Та, вторая, возразила что-то, и Нэлля согласилась отчасти:

— Ой, да! Я когда капроны первый раз натянула — души не было. А Сергей бросил спичку и сразу прожёт, сволочь!

Тут она вошла в палату со щёткой и спросила:

— Ну, мальчики, вчера, говорят, скребли-мыли, так сегодня слегка?.. Да! Новосты! — вспомнила она и, показывая на Федерату, объявила радостно: — Вот этот-то ваш накрылся! Дуба врезал!

Генрих Яковович уж какой был выдержанный, а повёл плечами, ему стало не по себе.

Не поняли Нэллю, и она дояснила:

— Ну, конопатый-то! Ну, обмотанный! Вчера на вокзале. Около кассы. Теперь на вскрытие привезли.

— Боже мой! — нашёл силы выговорить Русанов. — Как у вас не хватает тактичности, товарищ санитарка! Зачем же распространять мрачные известия?

В палате задумались. Много говорил Ефрем о смерти и казался обречённым, это верно. Поперёк вот этого прохода останавливался и убеждал всех, цедя:

«Так что си-ки-верное наше дело!..»

Но всё-таки последнего шага Ефрема они не видели и, уехав, он оставался у них в памяти живым. А теперь надо было представить, что тот, кто позавчера топтал эти доски, где все они ходят, уже лежит в морге, разрезанный по осевой передней линии, как лопнувшая сарделька.

— Ты б нам что-нибудь весёленького! — потребовал Ахмаджан. — Могу и весёленького, расскажу — обгрохочетесь. Только неприлично будет...

— Ничего, давай! Давай!

— Да! — ещё вспомнила Нэлля. — Тебя, красюк, на рентген зовут! Тебя, тебя! — показывала она на Вадима.

Вадим отложил книгу на окно. Осторожно, с помощью рук, спустил больную ногу, потом другую. И с фигурой совсем балетной, если б не эта нагрублая берегомая нога, пошёл к выходу.

Он слышал о Поддуеве, но не почувствовал сожаления. Поддуев не был ценным для общества человеком, как и вот эта развязная санитарка. А человечество ценно, всё-таки, не своим гроздящимся количеством, а вызревающим качеством.

Тут вошла лаборантка с газетой.

А сзади неё шёл и Оглоед. Он вот-вот мог перехватить газету.

— Мне! мне! — слабо сказал Павел Николаевич, протягивая руку.

Ему и досталась.

Ещё без очков он видел, что на всю страницу идут большие фотографии и крупные заголовки. Медленно подмостясь и медленно надев очки, он увидел, как и предполагал, что это было — окончание сессии Верховного Совета: сфотографирован президиум и зал, и крупно шли последние важные решения.

Так крупно, что не надо было листать и искать где-то мелкую многозначащую заметку.

— Что?? что??? — не мог удержаться Павел Николаевич, хотя ни к кому здесь в палате он не обращался, и неприлично было так удивляться и спрашивать над газетой.

Крупно, на первой полосе, объявлялось, что председатель Совета Министров Г. М. Маленков просил уволить его по собственному желанию, и Верховный Совет единодушно выполнил эту просьбу.

Так кончилась сессия, от которой Русанов ожидал одного бюджета!..

Он вконец ослабел, и руки его уронили газету. Он дальше не мог читать.

К чему это — он не понимал. Он перестал понимать инструкцию, общедоступно распространяемую. Но он понимал, что — круто, слишком круто!

Как будто где-то в большой-большой глубине заурчали геологические пласты и чуть-чуть шевельнулись в своём ложе — и от этого трягнуло весь город, больницу и койку Павла Николаевича.

Но не замечая, как колебнулась комната и пол, от двери к нему шла ровно, мягко, в свежевыглаженном халате доктор Гангарт с ободряющей улыбкой, держа шприц.

— Ну, будем колоться! — приветливо пригласила она.

А Костоглотов стянул с ног Русанова газету — и тоже сразу увидел и прочёл.

Прочёл и поднялся. Усидеть он не мог.

Он тоже не понимал точно полного значения известия.

Но если позавчера сменили весь Верховный Суд, а сегодня — премьер-министра, то это были шаги Истории!

Шаги истории, и не моглось думать и верить, что они могут быть к худшему.

Ещё позавчера он держал выскакивающее сердце руками и запрещал себе верить, запрещал надеяться!

Но прошло два дня — и всё те же четыре бетховенских удара напоминающе громнули в небо как в мембрану.

А больные спокойно лежали в постелях — и не слышали!

И Вера Гангарт спокойно вводила в вену эмбихин.

Олег выметнулся, выбежал — гулять!

На простор!

20

Нет, он давно запретил себе верить! Он не смел разрешить себе обрадоваться!

Это в первые годы срока верит новичок каждому вызову из камеры с вещами — как вызову на свободу, каждому шёпоту об амнистии — как архангельским трубам. Но его вызывают из камеры, прочитывают какую-нибудь гадкую бумажку и заталкивают в другую камеру, этажом ниже, ещё темней, в такой же передышанный воздух. Но амнистия перекаладывается — от годовщины Победы до годовщины Революции, от годовщины Революции до сессии Верховного Совета, амнистия лопаается пузырьём или объявляется ворами, жуликам, дезертирам — вместо тех, кто воевал и страдал.

И те клеточки сердца, которые созданы в нас природой для радости, став ненужными, — отмирают. И те кубики груди, в которых ютится вера, годами пустеют — и иссыхают.

Вдосыть уже было поверено, вдоволь пождали освобождения, вещички складывали — наконец хотел он только в свою Прекрасную Ссылку, в свой милый Уш-Терек! Да, м и л ы й! — удивительно, но именно таким представлялся его ссыльный угол отсюда, из больницы, из крупного города, из этого сложно заведенного мира, к которому Олег не ощущал умения пристроиться, да пожалуй и желания тоже.

Уш-Терек значит «Три тополя». Он назван так по трём старинным тополям, видимым по степи за десять километров и дальше. Тополя стоят смежно. Они не стройны по-тополинному, а кривоваты даже. Им, может быть, уж лет и по четыреста. Достигнув высоты, они не погна-ли дальше, а раздались по сторонам и сплели мощную тень над главным арыком. Говорят, и ещё были старые деревья в ауле, но в 31-м году, когда Будённый давил казахов, их вырубил. А больше такие не принимают. Сколько сажали пионеры — обгадывают их козы на первом возрасте. Лишь американские клёны взялись на главной улице перед райкомом.

То ли место любить на земле, где ты выполз кричащим младенцем, ничего ещё не осмысливая, даже показаний своих глаз и ушей? Или то, где первый раз тебе сказали: ничего, идите без конвоя! сами идите!

Своими ногами! «Возьми постель твою и ходи!»

Первая ночь на полусвободе! Пока ещё присматривалась к ним комендатура, в посёлок не выпустили, а разрешили вольно спать под сенным навесом во дворе МВД. Под навесом неподвижные лошади всю ночь тихо хрупали сено — и нельзя было выдумать звука слаще!

Но Олег полночи заснуть не мог. Твёрдая земля двора была вся белая от луны — и он пошёл ходить, как шальной, наискось по двору. Никаких вышек не было, никто на него не смотрел — и, счастливо спотыкаясь на неровностях двора, он ходил, запрокинув голову, лицом в белое небо — и куда-то всё шёл, как будто боясь не успеть — как будто не в скудный глухой аул должен был выйти завтра, а в про-

сторный триумфальный мир. В тёплом воздухе ранней южной весны было совсем не тихо: как над большой разбросанной станцией всю ночь перекликаются паровозы, так со всех концов посёлка всю ночь до утра из своих загонов и дворов трубно, жадно и торжествующе ревели ишаки и верблюды — о своей брачной страсти, об уверенности в продолжении жизни. И этот брачный рёв сливался с тем, что ревели в груди у Олега самого.

Так разве есть место милей, чем где провёл ты такую ночь?

И вот в ту ночь он опять надеялся и верил, хоть столько раз урекался.

После лагеря нельзя было назвать ссыльный мир жестоким, хотя и здесь на поливе дрались кетменями за воду и рубали по ногам. Ссыльный мир был намного просторней, легче, разнообразней. Но жестковатость была и в нём, и не так-то легко пробивался корешок в землю, и не так-то легко было напитать стебель. Ещё надо было извернуться, чтоб комендант не заслал в пустыню глубже километров на полтора-ста. Ещё надо было найти глино-соломенную крышу над головой и что-то платить хозяйке, а платить не из чего. Надо было покупать ежедневный хлеб и что-то же в столовой. Надо было работу найти, а, намахавшись киркою за семь лет, не хотелось всё-таки брать кетмень и идти в поливальщики. И хотя были в посёлке вдовы женщины уже с мазанками, с огородами и даже с коровами, вполне готовые взять в мужья одинокого ссыльного — продавать себя в мужья мнилось тоже рано: ведь жизнь как будто не кончалась, а начиналась.

Раньше, в лагере, прикидывая, скольких мужчин не достаёт на воле, уверены были арестанты, что только конвоир от тебя отстанет — и первая женщина уже твоя. Так казалось, что ходят они одинокие, рыдая по мужчинам, и ни о чём не думают о другом. Но в посёлке было великое множество детей, и женщины держались как бы наполненные своей жизнью, и ни одинокие, ни девушки ни за что не хотели так, а обязательно замуж, по-честному, и строить домок на виду посёлка. Уш-терекские нравы уходили в прошлое столетие.

И вот конвоиры давно отстали от Олега, а жил он всё так же без женщины, как и годы за колючей проволокой, хотя были в посёлке писанные воронье гречанки и трудолюбивые светленькие немочки.

В накладной, по которой прислали их в ссылку, написано было *и а в е ч н о*, и Олег разумом вполне поддался, что будет навечно, ничего другого нельзя было вообразить. А вот жениться здесь — что-то в груди не пускало. То свалили Берию с жестяным грохотом пустого истукана — и все ждали крутых изменений, а изменения приползали медленные, малые. То Олег нашёл свою прежнюю подругу — в красноярской ссылке, и обменялся письмами с ней. То затеял переписку со старой ленинградской знакомой — и сколько-то месяцев носил это в груди, надеясь, что она придет сюда. (Но кто бросит ленинградскую квартиру и придет к нему в дыру?) А тут выросла опухоль, и всё розняла своей постоянной необоримой болью, и женщины уже не стали ничем привлекательнее просто добрых людей.

Как охватил Олег, было в ссылке не только угнетающее начало, известное всем хоть из литературы (не та местность, которую любишь; не те люди, которых бы хотелось), но и начало освобождающее, мало известное: освобождающее от сомнений, от ответственности перед собой. Несчастны были не те, кто посылался в ссылку, а кто получал паспорт с грязной 39-й паспортной статьёй и должен был, упрекая себя за каждую оплошность, куда-то ехать, где-то жить, искать работу и отовсюду изгоняться. Но полноправно приезжал арестант в ссылку: не он придумал сюда ехать, и никто не мог его отсюда изгнать! За него подумало начальство, и он уже не боялся упустить где-то лучшее место, не суетился, изыскивая лучшую комбинацию. Он знал, что идёт единственным путём, и это наполняло его бодростью.

И сейчас, начав выздоравливать, и стоя опять перед неразбираемо-запутанной жизнью, Олег ощущал приятность, что есть такое блаженное местечко Уш-Терек, где за него подумано, где всё очень ясно, где его считают как бы вполне гражданином, и куда он вернётся скоро как *домой*. Уже какие-то нити родства тянули его туда и хотелось говорить: у нас.

Три четверти того года, который Олег пробыл до сих пор в Уш-Тереке, он болел — и мало присмотрелся к подробностям природы и жизни, и мало наслаждался ими. Больному человеку степь казалась слишком пыльной, солнце слишком горячим, огороды слишком выжженными, замес саманов слишком тяжёлым.

Но сейчас, когда жизнь, как те кричащие весенние ишаки, снова затрубила в нём, Олег расхаживал по аллеям медгородка, изобилующего деревьями, людьми, красками и каменными домами, — и с умилением восстанавливал каждую скупую умеренную чёрточку уш-терекского мира. И тот скупой мир был ему дороже — потому что он был свой, до гроба свой, навеки свой, а этот — временный, проткатный.

И вспоминал он степной *жусан* — с горьким запахом, а таким родным! И опять вспоминал *жантак* с колкими колючками. И ещё колче того *джингиль*, идущий на изгороди — а в мае цветёт он фиолетовыми цветами, благоухающими совсем как сирень. И одурманивающее это дерево *джигу́* — с запахом цветов до того избыточно-пряным, как у женщины, перешедшей меру желанья и надушенной без удержу.

Как это удивительно, что русский, какими-то лентами душевными припеленатый к русским перелескам и полям, к тихой замкнутости среднерусской природы, а сюда присланный помимо воли и навсегда, — вот он уже привязался к этой бедной открытости, то слишком жаркой, то слишком продуваемой, где тихий пасмурный день ощущается как отдых, а дождь — как праздник, и вполне уже, кажется, смирился, что будет жить здесь до смерти. И по таким ребятам, как Сарымбетов, Телегенов, Маукеев, братья Скоковы, он, ещё и языка их не зная, кажется, и к народу этому привязался; он под налётом случайных чувств, когда смешивается ложное с важным, под наивной преданностью древним *родам*, понял его как в корне простодушный народ и всегда отвечающий на искренность искренностью, на расположение расположением.

Олегу — тридцать четыре года. Все институты обрывают приём в тридцать пять. Образование ему уже никогда не получить. Ну, не вышло — так не вышло. Только недавно от изготовщика саманов он сумел подняться до помощника землеустроителя (не самого землеустроителя, как соврал Зое, а только помощника, на триста пятьдесят рублей). Его начальник, районный землеустроитель, плохо знает цену деления на рейке, поэтому работать бы Олегу всласть, но и ему работы почти нет: при розданных колхозам актах на вечное (тоже вечное) пользование землёй, ему лишь иногда достаётся отрезать что-нибудь от колхозов в пользу расширяющихся посёлков. Куда ему до *мираба* — до властителя поливов мираба, спиной своей чувствующего малейший наклон почвы! Ну, вероятно, с годами Олег сумеет устроиться лучше. Но даже и сейчас — почему с такой теплотой вспоминает он об Уш-Тереке, и ждёт конца лечения, чтоб только вернуться туда, дотянуться туда хоть вполздорова?

Не естественно ли было бы озлобиться на место своей ссылки, ненавидеть и проклинать его? Нет, даже то, что взывает к батогу сатиры, — и то видится Олегу лишь анекдотом, достойным улыбки. И новый директор школы Абен Берденов, который сорвал со стены «Грачей» Саврасова и закинул их за шкаф (там церковь он увидел и счёл это религиозной пропагандой). И заврайздравом, бойкая русачка, которая с трибуны читает доклад районной интеллигенции, а из-под по-

лы загоняет местным дамам по двойной цене новый крепдешиң, пока не появится такой и в Раймаге. И машина скорой помощи, носящаяся в клубах пыли, но частенько совсем не с больными, а по нуждам райкома как легковая, а то развозя по квартирам начальства муку и сливочное масло. И «оптовая» торговля маленького розничного Орембаева: в его продуктовом магазинчике никогда ничего нет, на крыше — гора пустых ящиков от проданного товара, он премирован за перевыполнение плана и постоянно дремлет у двери магазина. Ему лень взвешивать, лень пересыпать, заворачивать. Снабдивши всех сильных людей, он дальше намечает по его мнению достойных, и тихо предлагает: «Бери ящик макарон — только целый», «бери мешок сахара — только целый». Мешок или ящик отправляются прямо со склада на квартиру, а записываются Орембаеву в розничный оборот. Наконец, и третий секретарь райкома, который возжелал сдать экстерном за среднюю школу, но не зная ни одной из математик, прокрался ночью к ссыльному учителю и поднёс ему шкурку каракуля.

Это всё воспринимается с улыбкой потому, что это всё — после волчьего лагеря. Конечно, что не покажется после лагеря — шуткой? что не покажется отдыхом?

Ведь это же наслаждение — надеть в сумерках белую рубашку (единственную, уже с продраным воротником, а уж какие брюки и ботинки — не спрашивай) и пойти по главной улице посёлка. Около клуба под камышёвой кровлей увидеть афишу: «новый трофейно-художественный фильм...» и юродивого Васю, всех зазывающего в кино. Постараться купить самый дешёвый билет за два рубля — в первый ряд, вместе с мальчишками. А раз в месяц кутнуть — за два с полтиной выпить в чайной, между шофёров-чеченов, кружку пива.

Это восприятие ссыльной жизни со смехом, с постоянной радостью у Олега сложилось больше всего от супругов Кадминых — гинеколога Николая Ивановича и жены его Елены Александровны. Что бы ни случилось с Кадмиными в ссылке, они всегда повторяют:

— Как хорошо! Насколько это лучше, чем было! Как нам повезло, что мы попали в это прелестное место!

Досталась им буханка светлого хлеба — радость! Сегодня фильм хороший в клубе — радость! Двухтомник Паустовского в книжный магазин привезли — радость! Приехал техник и зубы вставил — радость! Прислали ещё одного гинеколога, тоже ссыльную, — очень хорошо! Пусть ей гинекология, пусть ей незаконные аборт, Николай Иванович общую терапию поведёт, меньше денег, зато спокойно. Оранжево-розово-ало-багряно-багровый степной закат — наслаждение! Стройнейший седенький Николай Иванович берёт под руку круглую, тяжелеющую не без болезни Елену Александровну, и они чинным шагом выходят за крайние дома смотреть закат.

Но жизнь как сплошная гирлянда цветущих радостей начинается у них с того дня, когда они покупают собственную землянку-развалюшку с огородом — последнее прибежище в их жизни, как они понимают, последний кров, где им вековать и умирать. (У них есть решение — умереть вместе: один умрёт, другой сопроводит, ибо зачем и для кого ему оставаться? Мебели у них — никакой, и заказывается старику Хомратовичу, тоже ссыльному, выложить им в углу параллелепипед из саманов. Это получилась супружеская кровать — какая широкая! какая удобная! Вот радость-то! Шьётся широкий матрасный мешок и набивается соломой. Следующий заказ Хомратовичу — стол, и притом круглый. Недоумевает Хомратович: седьмой десяток на свете живёт, никогда круглого стола не видел. Зачем круглый? «Нет уж, пожалуйста! — чертит Николай Иванович своими белыми ловкими гинекологическими руками. — Уж обязательно круглый!» Следующая забота — достать керосиновую лампу не жестяную, а стеклянную, на высокой ножке, и не семилинейную, а обязательно десятилинейную — и чтоб ещё стёкла к ней были. В Уш-Тереке такой

нет, это достаётся постепенно, привозится добрыми людьми издалека,— но вот на круглый стол ставится такая лампа, да ещё под самодельным абажуром — и здесь, в Уш-Тереке, в 1954 году, когда в столицах гоняются за торшерами и уже изобретена водородная бомба — эта лампа на круглом самодельном столе превращает глинобитную землянку в роскошную гостиную предпрошлого века. Что за торжество! Они втроем садятся вокруг, и Елена Александровна говорит с чувством:

— Ах, Олег, как хорошо мы сейчас живём! Вы знаете, если не считать детства — это самый счастливый период всей моей жизни!

Потому что ведь — она права! — совсем не уровень благополучия делает счастье людей, а — отношения сердец и наша точка зрения на нашу жизнь. И то и другое — всегда в нашей власти, а значит, человек всегда счастлив, если он хочет этого, и никто не может ему помешать.

До войны они жили под Москвой со свекровью, и та была настолько непримирима и пристальна к мелочам, а сын к матери настолько почтителен, что Елена Александровна — уже женщина средних лет, самостоятельной судьбы и не первый раз замужем, чувствовала себя постоянно задавленной. Эти годы она называет теперь своим «средневековьем». Нужно было случиться большому несчастью, чтобы свежий воздух хлынул в их семью.

И несчастье обрушилось — сама же свекровь и потянула ниточку: в первый год войны пришёл человек без документов и попросил укрытия. Совмещая крутость к семейным с общими христианскими убеждениями, свекровь приютила дезертира — и даже без совета с молодыми. Две ночи переночевал дезертир, ушёл, где-то был пойман и на допросе указал дом, который его принял. Сама свекровь была уже под восемьдесят, её не тронули, но сочтено было полезным арестовать пятидесятилетнего сына и сорокалетнюю невестку. На следствии выясняли, не родственник ли им дезертир, и если б оказался родственник, это сильно смягчило бы следствие: это было бы простым шкурничеством, вполне понятным и даже извинимым. Но был дезертир им — никто, прохожий, и получили Кадмины по десятке не как пособники дезертира, но как враги отечества, сознательно подрывающие мощь Красной армии. Кончилась война — и тот дезертир был отпущен по великой сталинской амнистии 1945 года (историки будут голову ломать — не поймут, почему именно дезертиров простили прежде всех — и без всех ограничений). Он и забыл, что в каком-то доме ночевал, что кого-то потянул за собой. А Кадминых та амнистия нисколько не коснулась: ведь они были не дезертиры, они были враги. Они и по десятке отбыли — их не отпустили домой: ведь они не в одиночку действовали, а группой, организацией — муж да жена! — и полагалось им в вечную ссылку. Предвидя такой исход, Кадмины заранее подали прошения, чтобы хоть в ссылку-то их послали в одно место. И как будто никто прямо не возражал, и как будто просьба была довольно законная — а всё-таки мужа послали на юг Казахстана, а жену — в Красноярский край. Может, их хотели разлучить как членов одной организации?.. Нет, это не в кару им сделали, не на зло, а просто в аппарате министерства внутренних дел не было же такого человека, чья обязанность была бы соединять мужей и жён — вот и не соединили. Жена, под пятьдесят лет, но с опухающими руками и ногами, попала в тайгу, где ничего не было кроме лесоповала, уже так знакомого по лагерю. (Но и сейчас вспоминает енисейскую тайгу — какие пейзажи!) Год ещё писали они жалобы — в Москву, в Москву, в Москву — и тогда только пришёл спецконвой — и повёз Елену Александровну сюда, в Уш-Терек.

И ещё бы было им теперь не радоваться жизни! не полюбить Уш-Терек! и свою глинобитную хибарку! Какого ещё им было желать другого доброденствия?

Вечно — так вечно, пусть будет так! За вечность можно вполне изучить климат Уш-Терека! Николай Иванович вывешивает три термометра, ставит банку для осадков, а за силой ветра заходит к Инне Штрём — десятикласснице, ведущей государственный метеопункт. Ещё что там будет на метеопункте, а уж у Николая Иваныча заведен метеожурнал с завидной статистической строгостью.

Ещё ребёнком он воспринял от отца, инженера путей сообщения, жажду постоянной деятельности и любовь к точности и порядку. Да уж педант ли был Короленко, но и тот говорил (а Николай Иваныч цитирует), что «порядок в делах соблюдает наш душевный покой». И ещё любимая поговорка доктора Кадмина: «Вещи знают свои места». Вещи сами знают, а мы только не должны им мешать.

Для зимних вечеров есть у Николая Ивановича любимое досужное занятие: переплётное ремесло. Ему нравится претворять лохматые, разлезлые, гибнущие книги в затянутый радостный вид. Даже и в Уш-Тереке сделали ему переплётный пресс и преострый обрезной ножичек.

Едва только куплена землянка — и месяц за месяцем Кадмины на всём экономят, донашивают всё старенькое, а деньги копят на батарейный радиоприёмник. Ещё надо договориться в культмаге с продавцом-курдом, чтоб он задержал им батареи, когда будут, батареи отдельно приходят и не всегда. Ещё надо переступить немой ужас всех ссыльных перед радиоприёмником: что подумает оперуполномоченный? не для Би-Би-Си ли вся затея? Но ужас переступлен, батареи доставлены, приёмник включён — и музыка, райская для арестантского уха и чистая при батарейном питании — Пуччини, Сибелиус, Бортнянский — каждый день по выбору из программы включается в кадминской халупке. И вот — наполнен и переполнен их мир, уже не всасывать ему извне, но выдавать избыточное.

А с весны — вечера для радио короче, да зато заботит огород. Десять соток своего огорода разбивает Николай Иванович с такой замысловатостью и энергией, что куда там старый князь Болконский со всеми Лысыми Горами и особым архитектором. По больнице Николай Иванович в шестьдесят лет ещё очень жив, исполняет полторы ставки и в любую ночь бежит принимать роды. По посёлку он не ходит, а носится, не стесняясь седой бороды, и только развеивает лапами парусиновой пиджачка, сшитого Еленой Александровной. А вот к лопате у него уже сил мало — полчаса утром, и начинае задыхаться. Но пусть отстают руки и сердце, а планы стройны до идеала. Он водит Олега по голому своему огороду, счастливо отмеченному двумя деревцами по задней меже, и хвалится:

— Вот тут, Олег, сквозь весь участок пройдет прешпект. По левую сторону, вы когда-нибудь увидите, три урюка, они уже посажены. По правую руку будет разбит виноградник, он несомненно примется. В конце же прешпект упрётся в беседку — в самую настоящую беседку, которой ещё не видел Уш-Терек! Основы беседки уже заложены — вот этот полукруглый диван из саманов — (всё тот же Хомратович: «зачем полукруглый?») — и вот эти прутья — по ним поднимется хмель. Рядом будут благоухать табаки. Днём мы будем здесь прятаться от зноя, а вечерами — пить чай из самовара, милости прошу! — (Впрочем, и самовара ещё нет.)

Что там в будущем вырастет у них — неизвестно, а чего уже сегодня нет — картошки, капусты, огурцов, помидоров и тыкв, того, что есть у соседей. «Но ведь это же купить можно!» — возражают Кадмины. Поселенцы Уш-Терека — народ хозяйственный, держат коров, свиней, овец, кур. Не вовсе чужды животноводству и Кадмины, но беспрактичное у них направление фермы: одни только собаки да кошки. Кадмины так понимают, что и молоко, и мясо можно принести с базара — но где купишь собачью преданность? Разве за деньги будут так прыгать на тебя лопухий чёрно-бурый Жук, огромный, как мед-

ведь, и острый пронырливый маленький Тобик, весь белый, но с подвижными чёрными ушками?

Любовь к животным мы теперь не ставим в людях ни в грош, а над привязанностью к кошкам даже непременно смеёмся. Но разлюбив сперва животных — не неизбежно ли мы потом разлюбиваем и людей?

Кадмины любят в каждом своём звере не шкурку, а личность. И та общая душевность, которую излучают супруги, безо всякой дрессировки почти мгновенно усваивается и их животными. Животные очень ценят, когда Кадмины с ними разговаривают, и подолгу могут слушать. Животные дорожат обществом своих хозяев и горды их повсюду сопровождать. Если Тобик лежит в комнате (а доступ в комнаты собакам не ограничен) и видит, что Елена Александровна надевает пальто и берёт сумку, — он не только сразу понимает, что сейчас будет прогулка в посёлок — но срывается с места, бежит за Жуком в сад и тотчас возвращается с ним. На определённом собачьем языке он там ему передал о прогулке — и Жук прибежал возбуждённый, готовый идти.

Жук хорошо знает протяжённость времени. Проводив Кадминых до кино, он не лежит у клуба, уходит, но к концу сеанса всегда возвращается. Один раз картина оказалась совсем короткой — и он опоздал. Сколько было горя сперва, и сколько потом прыжков!

Куда псы никогда не сопровождают Николая Ивановича — это на работу, понимая, что было бы нетактично. Если в предвечернее время доктор выходит за ворота своим лёгким молодым шагом, то по каким-то душевным волнам собаки безошибочно знают — пошёл ли он проведать роженицу (и тогда не идут) или купаться — и тогда идут. Купаться далеко — в реке Чу, за пять километров. Ни местные, ни ссыльные, ни молодые, ни средолетние не ходят туда ежедневно — далеко. Ходят только мальчишки да доктор Кадмин с собаками. Собственно, это единственная из прогулок, не доставляющая собакам прямого удовольствия: дорожка по степи жёсткая и с колючками, у Жука большие изрезанные лапы, а Тобик, однажды искупанный, очень боится снова попасть в воду. Но чувство долга — выше всего, и они продельвают с доктором весь путь. Только за триста безопасных метров от реки Тобик начинает отставать, чтоб его не схватили, извиняется ушами, извиняется хвостом и ложится. Жук идёт до самого обрыва, здесь кладёт своё большое тело и, как монумент, наблюдает купание сверху.

Долг провожать Тобик распространяет и на Олега, который часто бывает у Кадминых. (Так, наконец, часто, что это тревожит оперуполномоченного, и он порознь допрашивает: «а почему вы так близки? а что у вас общего? а о чём вы разговариваете?») Жук может и не провожать Олега, но Тобик обязан и даже в любую погоду. Когда на улице дождь и грязно, лапам будет холодно и мокро, очень Тобику не хочется, он потянется на передних лапах и потянется на задних — а всё-таки пойдёт! Впрочем, Тобик же — и почтальон между Кадмиными и Олегом. Нужно ли сообщить Олегу, что сегодня интересный фильм, или очень хорошая будет музыкальная передача, или что-то важное появилось в продуктово́м, в универмаге — на Тобика надевается матерчатый ошейник с запиской, пальцем ему показывают направление и твёрдо говорят: «К Олегу!» И в любую погоду он послушно семенит к Олегу на своих тонких ногах, а придя и не застав дома, дожидается у двери. Самое удивительное, что никто его этому не учил, не дрессировал, а он с первого раза всё понял и стал так делать. (Правда, подкрепляя его идейную твёрдость, Олег всякий раз выдаёт ему за почтовый рейс и материальное поощрение.)

Жук — ростом и статью с немецкую овчарку, но нет в нём овчаровской настороженности и злобности, его затопляет добродушие

крупного сильного существа. Ему уж лет немало, он знал многих хозяев, а Кадминых выбрал сам. Перед тем он принадлежал духанщику (заведующему чайной). Тот держал Жука на цепи при ящиках с пустой посудой, иногда для забавы отвязывал и натравливал на соседских псов. Жук дрался отважно и наводил на здешних жёлтых вялых псов ужас. Но в одно из таких отвязываний он побывал на собачьей свадьбе близ дома Кадминых, что-то почувствовал душевное в их дворе — и стал сюда бегать, хоть тут его не кормили. Духанщик уезжал и подарил Жука своей ссыльной подружке Эмилии. Та сытно кормила Жука — а он всё равно срывался и уходил к Кадминым. Эмилия обижалась на Кадминых, уводила Жука к себе, опять сажала на цепь — а он всё равно срывался и уходил. Тогда она привязала его цепью к автомобильному колесу. Вдруг Жук увидел со двора, что по улице идёт Елена Александровна, даже нарочно отвернувшись. Он рванулся — и как ломовая лошадь, хрипя, протасил автомобильное колесо метров сто на своей шее, пока не свалился. После этого Эмилия отступилась от Жука. И у новых хозяев Жук быстро перенял доброту как главную норму поведения. Все уличные собаки совсем перестали его бояться, и с прохожими Жук стал приветлив, хотя не искателен.

Однако, любители стрелять в живое были и в Уш-Терек. Не промышляя лучшей дичи, они ходили по улицам и, пьяные, убивали собак. Дважды стреляли уже в Жука. Теперь он боялся всякого наведенного отверстия — и фотообъектива тоже, не давался фотографировать.

Были у Кадминых ещё и коты — избалованные и капризные, и любящие искусство — но Олег, гуляя сейчас по аллеям медгородка, представил себе именно Жука, огромную добрую голову Жука, да не просто на улице — а в заслон своего окна: внезапно в окне Олега появляется голова Жука — это он встал на задние и заглядывает как человек. Это значит — рядом прыгает Тобик и уже на подходе Николай Иванович.

И с удивлением Олег почувствовал, что он вполне доволен своей долей, что он вполне смирен со ссылкой, и только здоровья одного он просит у неба, и не просит больших чудес.

Вот так и жить, как Кадмины живут — радоваться тому, что есть! Тот и мудрец, кто доволен немногим.

Кто — оптимист? Кто говорит; вообще в стране всё плохо, везде — хуже, у нас ещё хорошо, нам повезло. И счастлив тем, что есть и не терзается. Кто — пессимист? Кто говорит: вообще в нашей стране всё замечательно, везде — лучше, только у нас случайно плохо.

Сейчас — только бы лечение как-нибудь перетерпеть! Как-нибудь выскочить из этих клещей — рентгенотерапии, гормонотерапии — не до конца уродом. Как-нибудь сохранить *либидо* и там что ещё полагается! — потому что без этого, без этого...

И — ехать в Уш-Терек. И больше впрохолость не жить! Жениться! Зоя вряд ли поедет. А если б и поехала — то через полтора года. Ждать опять, ждать опять, всю жизнь ждать!

Жениться можно на Ксане. Что за хозяйка! — тарелки простые перегирает, полотенце через плечо перебросит — царица! — глаз не оторвать. С ней прочно можно жить — и дом будет на славу, и дети будут виться.

А можно — на Инне Штрём. Немного страшно, что ей только семнадцать лет. Но ведь это и тянет! Ещё у неё улыбка какая-то рассеянно-дерзкая, задумчиво-вызывающая. Но ведь это и тянет...

Так не верить же никаким всплескам, никаким бетховенским ударам! Это всё — радужные пузыри. Сердце сжать — и не верить! Ничего не ждать от будущего — лучшего!

То, что есть — будь рад тому!

Вечно — так вечно.

Олегу посчастливилось встретить её в самых дверях клиники. Он посторонился, придерживая для неё дверь, но если б и не посторонился — она с таким порывом шла, чуть наклонясь вперёд, что пожалуй и сшибла бы.

Он сразу охватил: на шоколадных волосах голубой берет, голову, поставленную как против ветра, и очень уж своенравного покроя пальто — какой-то длинный невероятный хляст, застёгнутый у горла.

Если б он знал, что это — дочь Русанова, он наверно бы вернулся. А так — пошёл вышагивать по своей отобцённой тропке.

Авиета же без труда получила разрешение подняться наверх в палату, потому что отец её был очень слаб, а день четверг — посетительный. Пальто она сняла, и на бордовый свитер ей накинули белый халатик, такой маленький, что разве в детстве она могла бы надеть его в рукава.

После вчерашнего третьего укола Павел Николаевич, действительно, очень ослабел и без крайней нужды совсем уже не выбирал ног из-под одеяла. Он и ворочался мало, очков не надевал, не встречал в разговоры. В нём пошатнулась его постоянная воля, и он отдался своей слабости. Опухоль, на которую он сперва досадовал, потом боялся её, теперь вошла в права — и уже не он, а она решала, что же будет.

Павел Николаевич знал, что Авиета прилетает из Москвы, сегодня утром ждал её. Он ждал её, как всегда, с радостью, но сегодня отчасти и с тревогой: решено было, что Капа расскажет ей о письме Миняя, о Родичеве и Гузуне всё, как оно есть. До сих пор ей это было знать ни к чему, но теперь нужна была её голова и совет. Авиета была разумница, никогда ни в чём она не думала хуже, чем родители, а всё-таки немножко было и тревожно: как она воспримет эту историю? сумеет ли перенестись и понять? не осудит ли с беззаботного плеча?

И в палату Авиета вошла как против ветра, с порывом, хотя одна рука у неё занята была тяжёлой сумкой, а другая удерживала халат на плечах. Свежее молодое лицо её было сияющим, не было того постного сострадания, с которым подходят к постелям тяжело больных и которое Павлу Николаевичу больно было бы видеть у дочери.

— Ну, отец! Ну, что же ты, отец! — оживлённо здоровалась она, садясь к нему на койку и искренно, без усилия, целуя и в правую, и в левую уже несвежие зарастающие щёки. — Ну? Как ты сегодня чувствуешь? Ну-ка скажи точно! Ну-ка, скажи!

Её цветущий вид и бодрая требовательность поддали немного сил Павлу Николаевичу, и он слегка оживился.

— Ну, как тебе сказать? — размеренно, слабо говорил он, сам с собой выясняя. — Пожалуй, она не уменьшилась, нет. Но вот такое есть ощущение, будто стало немного свободнее двигать головой. Немного свободнее. Меньше давит, что ли.

Дочь, не спрашивая, но и нисколько не причиняя боли, раздвинула у отца воротник и ровно посередине смотрела — так смотрела, будто она врач и каждый день имела возможность сравнивать.

— Ну, и ничего ужасного! — определила она. — Увеличенная железа и только. Мама мне такого написала, я думала здесь — ой! Вот, говоришь, стало свободнее. Значит, уколы помогают. Значит, помогают. А потом ещё меньше станет. А станет в два раза меньше — тебе она и мешать не будет, ты можешь хоть выписаться.

— Да, действительно, — вздохнул Павел Николаевич. — Если бы в два раза меньше, так можно было б и жить.

— И дома лечиться!

— Ты думаешь, дома можно было б уколы?

— А почему нет? Ты к ним привыкнешь, втянешься — и сможешь продолжать дома. Мы это обговорим, мы это подумаем!

Павел Николаевич повеселел. Уж там разрешат ли уколы дома или нет, но сама решимость дочери идти на штурм и добиваться наполняла его гордостью. Авиета была склонена к нему, и он без очков хорошо видел её прямое честное открытое лицо, такое энергичное, живое, с подвижными ноздрями, с подвижными бровями, чутко вздрагивающими на всякую несправедливость. Кто это? — кажется Горький, сказал: если дети твои не лучше тебя, то зря ты родил их, и жил ты тоже зря. А вот Павел Николаевич жил не зря.

Всё-таки он беспокоился, знает ли она о том и что скажет сейчас.

Но она не спешила переходить к тому, а ещё спрашивала о лечении, и что тут за врачи, и тумбочку его проверила, посмотрела, что он съел, а что испортилось, и заменила новым.

— Я тебе вина укрепляющего привезла, пей по рюмочке. Красной икрицы привезла, ведь хочешь? И апельсинчиков, московских.

— Да пожалуй.

Тем временем она оглядела всю палату и кто тут в палате, и живым движением лба показала ему, что — убожество невыносимое, но надо рассматривать это с юмористической точки зрения.

Хотя никто их, как будто, не слушал, всё же она наклонилась к отцу близко, и так стали они говорить друг для друга только.

— Да, папа, это ужасно, — сразу подступила Авиета к главному. — В Москве это уже не новость, об этом много разговоров. Начинается чуть ли не массовый пересмотр судебных дел.

— Массовый?!

— Буквально. Это сейчас какая-то эпидемия. Шараханье! Как будто колесо истории можно повернуть назад! Да кто это может! И кто это смеет! Ну хорошо, — правильно, неправильно их когда-то осудили, — но зачем же теперь этих отдалённых возвращать сюда? Да пересаживать их сейчас в прежнюю жизнь — это болезненный мучительный процесс, это безжалостно прежде всего по отношению к ним самим! А некоторые умерли — и зачем же шевелить тени? Зачем и у родственников возбуждать необоснованные надежды, мстительные чувства?.. И потом, что значит само слово «реабилитирован»? Ведь это ж не может значить, что он полностью невиновен! Что-то обязательно там есть, только небольшое.

Ах, какая ж умница! С какой горячностью правоты она говорила! Ещё не дойдя до своего дела, Павел Николаевич уже видел, что в дочери он встретит поддержку всегда. Что Алла не могла откачнуться.

— И ты знаешь прямо случаи возвратов? Даже в Москву?

— Даже в Москву! — вот именно. А они в Москву-то и лезут теперь, им там как мёдом намазано. И какие бывают трагические случаи! Представляешь, один человек живёт совершенно спокойно, вдруг его вызывают — *гуга*. На очную ставку! — представляешь?..

Павла Николаевича повело, как от кислого. Алла заметила, но она всегда доводила мысль до конца, она не могла остановиться.

— ...И предлагают повторить, что там было сказано двадцать лет назад, воображаешь? Кто это может помнить? И кому от этого тепло? Ну, если уж так вам приспичило — так реабилитируйте, но без очных ставок! Но не треплите же нервы людям! Ведь человек вернулся домой — и чуть не повесился!

Павел Николаевич лежал в испарине. Ещё эта только мысль ему не приходила в голову — что с Родичевым или с Ельчанским, или ещё с кем-нибудь потребуют очную ставку!

— А кто этих дураков заставлял подписывать на себя небылицы? Пусть бы не подписывали! — гибкая мысль Аллы охватывала все стороны вопроса. — Да вообще как можно ворошить этот ад, не поду-

мав о людях, кто тогда *работал*. Ведь о них-то надо было подумать! Как им перенести эти внезапные перемены!

— Тебе мама — рассказала?..

— Да, папочка! Рассказала. И тебя здесь ничто не должно смутить! — уверенными сильными пальцами она взяла отца за оба плеча. — Вот хочешь, я скажу тебе, как понимаю: тот, кто идёт и *сигнализирует* — это передовой, сознательный человек! Он движим лучшими чувствами к своему обществу, и народ это ценит и понимает. В отдельных случаях такой человек может и ошибиться. Но не ошибается только тот, кто ничего не делает. Обычно же он руководится своим классовым чутьём — а оно никогда не подведёт.

— Ну, спасибо, Алла! Спасибо! — Павел Николаевич почувствовал даже, что слёзы подходят к горлу, но освобождающие, добрые слёзы. — Это хорошо ты сказала: народ — ценит, народ — понимает.

Только глупая привычка пошла — искать н а р о д где-то обязательно в н и з у.

Потной кистью он погладил прохладную кисть дочери.

— Это очень важно, чтобы молодые поняли нас, не осудили. Скажи, а как ты думаешь... А в законе не найдут такой статьи, чтоб ещё теперь нас же... вот, меня... привлекать, значит, за... ну, неправильные показания?

— Представь себе, — очень живо отозвалась Алла, — в Москве случайно я была свидетельницей разговора, где обсуждались вот... подобные же опасения. И был юрист, и он объяснил, что статья за так называемые ложные показания и всего-то гласит до двух лет, а с тех пор два раза уже была под амнистией и — совершенно исключено, чтобы кто-нибудь кого-нибудь привлёк за ложные показания! Так что Родичев и не пикнет, будь уверен!

Павлу Николаевичу показалось даже, что опухоль у него ещё посвободнела.

— Ах, ты моя умница! — счастливо облегчённо говорил он. — И всё ты всегда знаешь! И везде ты всегда успеваешь. Сколько ты мне сил вернула!

И уже двумя руками взяв руку дочери, поцеловал её благоговейно. Павел Николаевич был бескорыстный человек. Интересы детей всегда были для него выше своих. Он знал, что сам ничем не блещет, кроме преданности, аккуратности и настойчивости. Но истинный расцвет он переживал в дочери — и согрелся в её свете.

Алле надоело всё время удерживать на плечах условный белый халатик, он сваливался, и теперь она, рассмеявшись, бросила его на спинку кровати сверх температурного графика отца. Ни врачи, ни сёстры не входили, такое было время дня.

И осталась Алла в своём бордовом свитере — новом, в котором отец её ещё не видел. Широкий белый весёлый зигзаг шёл по этому свитеру с обшлага на обшлаг через два рукава и грудь, и очень приходился этот энергичный зигзаг к энергичным движениям Аллы.

Никогда отец не ворчал, если деньги шли на то, чтоб хорошо одевалась Алла. Доставали вещи с рук, и импортные, — и была одета Алла смело, гордо, вполне выявляя свою крупную ясную привлекательность, так совмещённую с твёрдым ясным умом.

— Слушай, — тихо спрашивал отец, — а помнишь, я тебя просил узнать: вот это странное выражение... нет-нет да встретится в чьей-нибудь речи или статье — к у л ь т л и ч н о с т и ?.. Это — неужели намекают на...?

Даже воздуха не хватало Павлу Николаевичу вымолвить ещё слово дальше.

— Боюсь, что да, папа... Боюсь, что да... На писательском съезде, например, несколько раз так говорили. И главное, никто не говорит прямо — а все делают вид, что понимают.

— Слушай, но это же просто — кощунство!.. Как же смеют, а?

— Стыд и позор! Кто-то пустил — и вот вьётся, вьётся... Ну, правда, говорят и «культ личности», но одновременно говорят и «великий продолжатель». Так что надо не сбиться, ни туда ни сюда... Вообще, папа, нужно гибко смотреть. Нужно быть отзывчивым к требованиям времени. Я огорчу тебя, папа, но — нравится нам, не нравится — а каждому новому периоду мы должны быть созвучны! Я там сейчас посмотрелась! Я побывала в писательской среде, и немало, — ты думаешь, писателям легко перестраиваться, вот за эти два года? Оч-чень сложно! Но какой это опытный, какой это тактичный народ, как многому у них научишься!

За четверть часа, что Авиета сидела перед ним и быстрыми точными своими репликами разила мрачных чудовищ прошлого и освобождала светлый простор впереди, Павел Николаевич зримо поздоровел, подбодрился, и ему совсем сейчас не хотелось разговаривать с своей постылой опухолы, и казалось уже ненужным хлопотать о переводе в другую клинику, — а только хотелось слушать радостные рассказы дочери, вдыхать этот порыв ветра, исходящий от неё.

— Ну говори же, говори, — просил он. — Ну, что в Москве? Как ты съездила?

— Ах! — Алла покружила головой, как лошадь от слепня. — Разве Москву можно передать? В Москве нужно жить! Москва — это другой мир! В Москву съездишь — как заглянешь на пятьдесят лет вперёд! Ну, во-первых, в Москве все сидят смотрят телевизоры...

— Скоро и у нас будут.

— Скоро!.. Да это ж не московская программа будет, что это за телевизоры! Ведь прямо жизнь по Уэллсу: сидят, смотрят телевизоры! Но я тебе шире скажу, у меня такое ощущение, я это быстро схватываю, что подходит полная революция быта! Я даже не говорю о холодильниках, или стиральных машинах, гораздо сильнее всё изменится. То там, то здесь какие-то сплошь стеклянные вестибюли. В гостиницах ставят столики низкие — совсем низкие, как у американцев, вот так. Сперва даже не знаешь, как к нему приладиться. Абажуры матерчатые, как у нас дома — это теперь позор, мещанство, только стеклянные! Кровати со спинками — это теперь стыд ужасный, а просто — низкие широкие софы или тахты... Комната принимает совсем другой вид. Вообще, меняется весь стиль жизни... Ты этого не можешь представить. Но мы с мамой уже говорили — придётся многое нам решительно менять. Да ведь у нас и не купишь, из Москвы ж и везти... Ну, есть, конечно, и очень вредные моды, достойные только осуждения. Лохматые причёски, прямо нарочно лохматые, как будто с постели только встала.

— Это всё Запад! Хочет нас растрить.

— Ну конечно. Но это отражается сразу и в культурной сфере, например в поэзии.

По мере того, как от вопросов сокровенных Авиета переходила к общедоступным, она говорила громче, нестеснённо, и её слышали все в палате. Но из этих всех один только Дёмка оставил свои занятия и отвлекаясь от нылой боли, всё неотменно тянущей его на операционный стол, слушал Авиету в оба уха. Остальные не выказывали внимания или не было их на койках, и ещё лишь Вадим Зацырко иногда поднимал глаза от чтения и смотрел в спину Авиете. Вся спина её, выгнутая прочным мостом, крепко обтянутая неразношенным свитером, была равномерно густо-бордовая и только одно плечо, на которое падал вторичный солнечный зайчик, отблеск открытого где-то окна, — плечо было сочно-багряное.

— Да ты о себе больше! — просил отец.

— Ну, папа, я съездила — очень удачно. Мой стихотворный сборник обещают включить в план издательства!! Правда, на следующий год. Но быстрее — не бывает. Быстрее представить себе нельзя!

— Да что ты! Что ты, Алка? Да неужели через год мы будем в руках держать..?

Лавиной радостей засыпала его сегодня дочь. Он знал, что она повезла в Москву стихи, но от этих машинописных листиков до книги с надписью Алла Русанова казалось непроходимо далеко.

— Но как же тебе это удалось?

Довольная собой, твердо улыбалась Алла.

— Конечно, если пойти просто так в издательство и предложить стихи — кто там с тобой будет разговаривать? Но меня Анна Евгеньевна познакомила с М*, познакомила с С*, я прочла им два-три стиха, им обоим понравилось — ну, а дальше там кому-то звонили, кому-то записку писали, всё было очень просто.

— Это замечательно, — сиял Павел Николаевич. Он нашарил на тумбочке очки и надел их, как если бы прямо сейчас предстояло ему взглянуть на заветную книгу.

Первый раз в жизни Дёмка видел живого поэта, да не поэта даже, а поэтессу. Он и рот раскрыл.

— Вообще, я насмотрелась на их жизнь. Какие у них простые между собой отношения! Лауреаты — а друг друга по именам. И какие сами они люди не чванные, прямодушные. Мы представляем себе, что писатель — это сидит где-то там за облаками, бледный лоб, не подойди! А — ничего подобного. Всем радостям жизни они открыты, любят выпить, закусь, прокатиться — и всё это в компании. Разыгрывают друг друга, да сколько смеха! Я бы сказала, они именно весело живут. А подходит время писать роман — замыкаются на даче, два-три месяца и, пожалуйста, получите! Нет, я все усилия приложу, чтобы попасть в Союз!

— А что ж, по специальности и работать не будешь? — немного встревожился Павел Николаевич.

— Папа! — Авиета снизила голос: — У журналиста что за жизнь? Как хочешь, лакейская должность. Дают задание — вот так и так надо, никакого простора, бери интервью с разных этих... знатных людей. Да разве можно сравнить!..

— Алла, всё-таки я боюсь: вдруг у тебя не получится?

— Да как может не получиться? Ты наивный. Горький говорил: любой человек может стать писателем! Трудом можно достичь всего! Ну, а в крайнем случае стану детским писателем.

— Вообще это очень хорошо, — обдумывал Павел Николаевич. — Вообще это замечательно. Конечно, надо, чтоб литературу брали в руки морально-здоровые люди.

— И фамилия у меня красивая, не буду псевдонима брать. Да и внешние качества у меня для литературы исключительные!

Но была и ещё опасность, которой дочь в порыве могла недооценивать.

— А представь себе — критика начнёт тебя ругать? Ведь это у нас как бы общественное порицание, это опасно!

Но с откинутыми прядями шоколадных волос бесстрашно смотрела Авиета в будущее:

— То есть, очень серьёзно меня ругать никогда не будут, потому что у меня не будет идейных вывихов! По художественной части — пожалуйста, пусть ругают. Но важно не пропускать повороты, какими полна жизнь. Например, говорили: «конфликтов быть не должно!» А теперь говорят: «ложная теория бесконфликтности». Причём, если б одни говорили по-старому, а другие по-новому, заметно было бы, что что-то изменилось. А так как все сразу начинают говорить по-новому, без перехода — то и не заметно, что поворот! Вот тут не зевай! Самое главное — быть тактичной и отзывчивой к дыханию времени. И не попадёшь под критику... Да! Ты ж книг просил, папочка, я тебе книг принесла. Сейчас тебе и почитать, а то когда же?

И она стала доставать из сумки.

— Ну вот, «У нас уже утро», «Свет над землёй», «Труженики мира», «Горы в цвету»...

— Подожди, «Горы в цвету» я уже, вроде, читал...

— Ты читал «Земля в цвету», а это — «Горы в цвету». И вот ещё — «Молодость с нами», это обязательно, прямо с этого начинай. Тут названия сами поднимают сердце, я уж тебе такие подбирала.

— Это хорошо,— сказал Павел Николаевич.— А чувствительного ничего не принесла?

— Чувствительного? Нет, папочка. Но я думала... у тебя такое настроение...

— Это я всё сам знаю,— двумя пальцами махнул Павел Николаевич на стопку.— Ты мне чего-нибудь поищи, ладно?

Она собралась уже уходить.

Но Дёмка, который в своём углу долго мучился и хмурился, то ли от неперетягивающих болей в ноге, то ли от робости вступить в разговор с блестящей девушкой и поэтессой,— теперь отважился и спросил. Спросил непрочищенным горлом, ещё откашлявшись посреди фразы:

— Скажите, пожалуйста... А как вы относитесь к требованиям искренности в литературе?

— Что, что?— живо обернулась к нему Авиета, но с дарящей полуулыбкой, потому что хриплость голоса достаточно выказывала Дёмкину робость.— И сюда эта искренность пролезла? Целую редакцию за эту искренность разогнали, а она опять тут?

Авиета посмотрела на Дёмкино непросвещённое неразвитое лицо. Не оставалось у неё времени, но и под дурным влиянием оставлять этого пацана не следовало.

— Слушайте, мальчик!— звонко, сильно, как с трибуны объявила она.— Искренность никак не может быть главным критерием книги. При неверных мыслях или чуждых настроениях искренность только усиливает вредное действие произведения, искренность — вредна! Субъективная искренность может оказаться против правдивости показа жизни — вот эту диалектику вы понимаете?

Трудно доходили мысли до Дёмки, он взморщил весь лоб.

— Не совсем,— сказал он.

— Ну хорошо, я вам объясню.— У Авиеты широко были расставлены руки, и белый зигзаг, как молния, бежал с руки на руку через грудь.— Нет ничего легче взять унылый факт, как он есть, и описать его. Но надо глубоко вспахать, чтобы показать те ростки будущего, которые не видны.

— Ростки...

— Что??

— Ростки сами должны прорасти,— торопился вставить Дёмка,— а если их пропахать, они не вырастут.

— Ну хорошо, мы не о сельском хозяйстве говорим. Мальчик! Говорить народу правду — это совсем не значит говорить плохое, тыкать в недостатки. Можно бесстрашно говорить о хорошем — что оно стало ещё лучше! Откуда это фальшивое требование так называемой «суровой правды»? Да почему вдруг правда должна быть суровой? Почему она не должна быть сверкающей, увлекательной, оптимистической! Вся литература наша должна стать праздничной! В конце концов людей обижает, когда об их жизни пишут мрачно. Им нравится, когда о ней пишут, украшая её.

— Вообще с этим можно согласиться,— раздался сзади приятный чистый мужской голос.— А зачем, правда, уныние нагонять?

Авиета не нуждалась, конечно, ни в каком союзнике, но по удачливости своей знала, что если кто что и выскажет, то будет в её пользу. Она обернулась, сверкнув и к окну, навстречу зайчику, разворо-

том белого зигзага. Выразительный молодой человек, её сверстник, постукивал о зубы кончиком чёрного гранёного автокарандаша.

— А для чего литература?— размышлял он то ли для Дёмки, то ли для Аллы.— Литература — чтобы развлечь нас, когда у нас настроение плохое.

— Литература — учитель жизни,— прогудел Дёмка, и сам же покраснел от неловкости сказанного.

Вадим закачнулся головой на затылок:

— Ну уж, и учитель, скажешь! В жизни мы как-нибудь и без неё разберёмся. Что ж, писатели умней нас, практиков, что ли?

Он и Алла померялись взглядами. Во взглядах они были равны: хоть подходили по возрасту, и не могли не понравиться друг другу наружностью, но каждый из них настолько шёл своей уставленной дорогой жизни, что ни в каком случайном взгляде не мог искать начала приключения.

— Роль литературы вообще сильно преувеличивают,— рассуждал Вадим.— Превозносят книги, которые того не заслуживают. Например — «Гаргантюа и Пантагрюэль». Не читавши, думаешь — это что-то грандиозное. А прочтёшь — одна похабщина, потерянное время.

— Эротический момент есть и у современных авторов. Он не лишний,— строго возразила Авиета.— В сочетании и с самой передовой идейностью.

— Лишний,— уверенно отвёл Вадим.— Не для того печатное слово, чтобы щекотать страсти. Возбуждающее в аптеках продают.

И, не глядя больше на бордовый свитер, не ожидая, что она его переубедит, опустил голову в книгу.

Авиету всегда огорчало, когда людские мысли не делились на две чётких группы верных и неверных доводов, а расплзались по неожиданным оттенкам, вносящим только идейную путаницу, и вот, как сейчас, нельзя было понять: что ж этот молодой человек — за неё или против? спорить с ним или оставить так?

Она оставила так, и закончила опять Дёмке:

— Так вот, мальчик, пойми. Описывать то, что есть, гораздо легче, чем описывать то, чего нет, но ты знаешь, что оно будет. То, что мы видим простыми глазами сегодня — это не обязательно правда. Правда — то, что должно быть, что будет завтра. Наше чудесное «завтра» и нужно описывать!..

— А что ж будут завтра описывать? — морщил лоб туповатый мальчишка.

— Завтра?.. Ну, а завтра будут описывать послезавтра.

Авиета уже поднялась и стояла в проходе — крепкая, ладная, здоровая русановская порода. Павел Николаевич с удовольствием послушал и всю её лекцию, прочтённую Дёмке.

Уже поцеловав отца, Алла ещё теперь бодро подняла расставленную пятерню:

— Ну, отец, борись за здоровье! Борись, лечись, сбрасывай опухоль — и ни о чём не беспокойся! Всё-всё-всё будет отлично!

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

3 марта 1955

Дорогие Елена Александровна и Николай Иванович!

Вот вам загадочная картинка, что это и где? На окнах — решетки (правда, только на первом этаже, от воров, и фигурные — как лучи из одного угла, да и намордников нет). В комнатах — койки с постельными принадлежностями. На каждой койке — перепуганный человек. С утра — пайка, сахар, чай (нарушение в том, что ещё и

завтрак). Утром — угрюмое молчание, никто ни с кем разговаривать не хочет, зато вечерами — гул и оживлённое общее обсуждение. Споры об открытии и закрытии форточек, и кому ждать лучшего, и кому худшего, и сколько кирпичей в Самаркандской мечети. Днём «дёргают» поодиночке — на беседы с должностными лицами, на процедуры, на свидания с родственниками. Шахматы, книги. Приносят и передачи, получившие — гужуются с ними. Выписывают кой-кому и дополнительное, правда — не стукачам (уверенно говорю, потому что сам получаю). Иногда производят шмоны, отнимают личные вещи, приходится утаивать их и бороться за право прогулки. Баня — крупнейшее событие и одновременно бедствие: будет ли тепло? хватит ли воды? какое бельё получишь? Нет смешней, когда приводят новичка, и он начинает задавать наивные вопросы, ещё не представляя, что его ждёт...

Ну, догадаться?.. Вы, конечно, укажете, что я заврался: для пересыльной тюрьмы — откуда постельные принадлежности? а для следственной — где же ночные допросы? Предполагая, что это письмо будут проверять на уш-терекской почте, уж я не вхожу в иные аналогии.

Вот такого житья-бытья в раковом корпусе я отбыл уже пять недель. Минутами кажется, что опять вернулся в прежнюю жизнь, и нет ей конца. Самое томительное то, что сижу — без срока, *до особого распоряжения*. (А от комендатуры разрешение только ведь на три недели, формально я уже просрочил, и могли бы меня судить как за побег.) Ничего не говорят, когда выпишут, ничего не обещают. Они по лечебной инструкции должны, очевидно, выжать из больного всё, что выжимается, и отпустят только когда кровь уже будет совсем «не держать».

И вот результаты: то лучшее, как вы его в прошлом письме называли — «эвфорическое» состояние, которое было у меня после двух недель лечения, когда я просто радостно возвращался к жизни — всё ушло, ни следа. Очень жалею, что не настоял тогда выписаться. Всё полезное в моём лечении кончилось, началось одно вредное.

Глушат меня рентгеном по два сеанса в день, каждый двадцать минут, триста «эр» — и хотя я давно забыл боли, с которыми уезжал из Уш-Терека, но узнал рентгеновскую тошноту (а может быть и от уколов, тут всё складывается). Вот разберёт грудь — и часами! Курить, конечно, бросил — само бросилось. И такое противное состояние — не могу гулять, не могу сидеть, одно только хорошее положение выискал (в нём и пишу вам сейчас, оттого карандашом и не очень ровно): без подушки, навзничь, ноги чуть приподнять, а голову даже чуть свесить с койки. Когда зовут на сеанс, то, входя в аппаратную, где «рентгеновский» запах густой, просто боишься извергнуться. Ещё от этой тошноты помогают солёные огурцы и квашеная капуста, но ни в больнице, ни в медгородке их конечно не достать, а из ворот больных не выпускают. Пусть, мол, вам родные приносят. Родные!.. Наши родные в красноярской тайге на четвереньках бегают, известно! Что остаётся бедному арестанту? Надеваю сапоги, перепоясываю халат армейским ремнём и крадусь к такому месту, где стена медгородка полуразрушена. Там перебираюсь, перехожу железную дорогу — и через пять минут на базаре. Ни на базарных улочках, ни на самом базаре мой вид ни у кого не вызывает удивления или смеха. Я усматриваю в этом духовное здоровье нашего народа, который ко всему привык. По базару хожу и хмуро торгуюсь, как только зэки, наверно, умеют (на жирную бело-жёлтую курицу прогундосить: «сколько ж, тётка, за этого туберкулёзного цыплёнка просишь?». Какие у меня рублики? а достались как?.. Говорил мой дед: копейка рубль бережёт, а рубль — голову. Умный был у меня дед.

Только огурами и спасаюсь, ничего есть не хочется. Голова тя-

жёлая, один раз кружилась здорово. Ну, правда, и опухоли половинны не стало, края мягкие, сам её прощупываю с трудом. А кровь тем временем разрушается, поят меня специальными лекарствами, которые должны повысить лейкоциты (а что-то ж и испортить!) и хотят «для провокации лейкоцитоза» (так у них и называется, вó язычок!) делать мне... молочные уколы! Ну чистое же варварство! Да вы поднесите мне кружечку парного так! Ни за что не дамся колоть.

А ещё грозятся кровь переливать. Тоже отбиваюсь. Что меня спасает — группа крови у меня первая, редко привозят.

Вообще, с заведующей лучевым отделением у меня отношения натянутые, что ни встреча — то спор. Крутая очень женщина. Последний раз стала щупать мне грудь и уверять, что «нет реакции на синэстрол», что я избегаю уколов, обманываю её. Я натурально возмущаюсь (а на самом деле, конечно, обманываю).

А вот с лечащим врачом мне труднее твёрдость проявить — и почему? Потому что она мягкая очень. (Вы, Николай Иванович, начали мне как-то объяснять, откуда это выражение — «мягкое слово кость ломит». Напомните, пожалуйста!) Она не только никогда не прикрикнет, но и бровей-то смурить как следует не умеет. Что-нибудь против моей воли назначает — и потупляется. И я почему-то уступаю. Да некоторые детали нам с ней и трудно обсуждать: она ещё молодая, моложе меня, как-то неловко спросить до конца. Кстати, и миловидная очень.

Да и школярство в ней сидит, она тоже непрошибаемо верит в их установленные методы лечения, и я не могу заставить её усумниться. Вообще, никто не снисходит до обсуждения этих методов со мной, никто не хочет взять меня в разумные союзники. Мне приходится вслушиваться в разговоры врачей, догадываться, дополнять не сказанное, добывать медицинские книги — и вот так выяснять для себя обстановку.

И всё равно трудно решить: как же мне быть? как поступить правильно? Вот щупают часто над ключицами, а насколько это вероятно, что там обнаружатся метастазы? Для чего они простреливают меня этими тысячами и тысячами рентгеновских единиц? — действительно ли, чтоб опухоль не начала снова расти? или на всякий случай, с пятикратным и десятикратным запасом прочности, как строятся мосты? или только в исполнение бесчувственной инструкции, отойти от которой они не могут, иначе лишатся работы? Но я-то мог бы и отойти! Я-то мог бы и разорвать этот круг, только скажите мне истину!.. — не говорят.

Да я б разругался с ними и уехал давно — но тогда я теряю справку от них — Богиню Справку! — а она ой-ой-ой как нужна ссыльному! Может быть завтра комендант или опер захотят заслать меня ещё на триста километров в пустыню дальше — а справочкой-то я и зацеплюсь: нуждается в постоянном наблюдении, лечении, — извините, пожалуйста, гражданин начальник! Как старому арестанту отказываться от медицинской справки? — немыслимо!

И значит — опять хитрить, прикидываться, обманывать, тянуть — и надоело же за целую жизнь!.. (Кстати, от слишком большой хитрости устаём мы и ошибаемся. Сам же я всё и накликал письмом омской лаборантки, которое просил вас прислать. Отдал — схватили его, подшили в историю болезни, и с опозданием я понял, что на этом меня обманули: теперь они с уверенностью дают гормонотерапию, а то бы, может, сомневались.) Справочку, справочку получить — и оторваться отсюда по-хорошему, не ссорясь.

А вернусь в Уш-Терек, и чтоб опухоль никуда метастазов не кинула — прибью её ещё иссык-кульским корешком. Что-то есть благородное в лечении сильным ядом: яд не притворяется невинным лекарством, он так и говорит: я — яд! берегись! или — или! И мы знаем, на что идём.

Ведь не прошу же я долгой жизни! — и что загадывать вдаль?.. То я жил всё время под конвоем, то я жил всё время под болями, — теперь я хочу немножечко прожить и без конвоя, и без болей, одновременно без того и без другого — и вот предел моих мечтаний. Не прошу ни Ленинграда, ни Рио-де-Жанейро, хочу в нашу глушь, в наш скромный Уш-Терек. Скоро лето, хочу это лето спать под звёздами на топчане, так чтоб ночью проснуться — и по развороту Лебедя и Пегаса знать, который час. Только вот это одно лето пожить так, чтобы видеть звёзды, чтоб не засвечивали их зонные фонари — а после мог бы я и совсем не просыпаться. Да, и ещё хочу, Николай Иванович, с вами (и с Жуком, разумеется, и с Тобиком), когда будет спадать жара, ходить степною тропочкой на Чу и там, где глубже, где вода выше колена, садиться на песчаное дно, ноги по течению, и долго-долго так сидеть, неподвижностью соревноваться с цаплей на том берегу.

Наша Чу не дотягивает ни до какого моря, ни озера, ни до какой большой воды. Река, кончающая жизнь в песках! Река, никуда не впадающая, все лучшие воды и лучшие силы раздарившая так, по пути и случайно, — друзья! разве это не образ наших арестантских жизней, которым ничего не дано сделать, суждено бесславно заглохнуть, — и всё лучшее наше — это один плёс, где мы ещё не высохли, и вся память о нас — в двух ладоньках водица, то, что протягивали мы друг другу встречей, беседой, помощью.

Река, впадающая в пески!.. Но и этого последнего плёса врачи хотят меня лишить. По какому-то праву (им не приходит в голову спросить себя о праве) они без меня и за меня решаются на страшное лечение — такое, как гормонотерапия. Это же — кусок раскалённого железа, которое подносят однажды — и делают калеккой на всю жизнь. И так это буднично выглядит в будничном быте клиники!

Я и раньше давно задумывался, а сейчас особенно, над тем: какова, всё-таки, верхняя цена жизни? Сколько можно за неё платить, а сколько нельзя? Как в школах сейчас учат: «Самое дорогое у человека — это жизнь, она даётся один раз». И значит — любой ценой цепляйся за жизнь... Многим из нас лагерь помог установить, что предательство, что губление хороших и беспомощных людей — цена слишком высокая, того наша жизнь не стоит. Ну, об угодничестве, лести, лжи — лагерные голоса разделялись, говорили, что цена эта — сносная, да может так и есть.

Ну, а вот такая цена: за сохранение жизни заплатить всем тем, что придаёт ей же краски, запахи и волнение? Получить жизнь с пищеварением, дыханием, мускульной и мозговой деятельностью — и всё. Стать ходячей схемой. Такая цена — не слишком ли заломлена? Не намешка ли она? Платить ли? После семи лет армии и семи лет лагеря — дважды семи лет, дважды сказочного или дважды библейского срока — и лишиться способности вызнать, где мужчина, где женщина — эта цена не лихо ли запрошена?

В своём последнем письме (дошло быстро, за пять дней) вы меня удивили: что? у нас в районе — и геодезическая экспедиция? Стоило ли за радость была — стать у теодолита! хоть годик поработать как человек! Да возьмут ли меня? Ведь обязательно пересекать коммерческие границы, и вообще это всё — трижды секретно, без этого не бывает, а я — человек запачканный.

«Мост Ватерлоо» и «Рим — открытый город», которые вы хвалите, мне теперь уже не повидать: в Уш-Тереке второй раз не покажут, а здесь, чтобы пойти в кино, надо после выписки из больницы где-то ночевать, а где же? Да ещё и не ползком ли я буду выписываться?

Вы предлагаете подбросить мне деньжишек. Спасибо. Сперва хотел отказаться: всю жизнь избегал (и избег) быть в долгах. Но

вспомнил, что смерть моя будет не совсем безнаследная: бараний уш-терекский полушубок — это ж всё-таки вещь! А двухметровое чёрное сукно в службе одеяла? А перьяная подушка, подарок Мельничуков? А три ящика, сбитых в кровать? А две кастрюли? Кружка лагерная? Ложка? Да ведро же? Остаток саксаула! Топор! Наконец, керосиновая лампа! Я просто был опрометчив, что не написал завещания.

Итак, буду вам благодарен, если пришлёте мне полторы сотни (не больше!). Ваш заказ — поискать марганцовки, соды и корицы — принял. Думайте и пишите: что ещё? Может быть, всё-таки, облегчённый уют? Я припру, вы не стесняйтесь.

По вашей, Николай Иванович, метеосводке вижу, что у вас ещё холодновато, снег не сошёл. А здесь такая весна, что даже неприлично и непонятно.

Кстати, о метео. Увидите Инну Штрём — передайте ей от меня очень большой привет. Скажите, что я о ней часто здесь...

А может быть — и не надо...

Ноют какие-то неясные чувства, сам я не знаю: чего хочу? Чего право имею хотеть?

Но когда вспоминаю утешительницу нашу, великую поговорку: «было ж хуже!» — приободряюсь сразу. Кому-кому, но не нам голову ронять! Так ещё побарахтаемся!

Елена Александровна замечает, что за два вечера написала десять писем. И я подумал: кто теперь так помнит дальних и отдаёт им вечер за вечером? Оттого и приятно писать вам долгие письма, что знаешь, как вы прочтёте их вслух, и ещё перечтёте, и ещё по фразам переберёте и ответите на всё.

Так будьте всё так же благополучны и светлы, друзья мои!

Ваш

Олег

23

Пятого марта на дворе выдался день мутный, с холодным мелким дождиком, а в палате — пёстрый, сменный: спускался в хирургическое Дёмка, накануне подписавший согласие на операцию, и подкинули двоих новичков.

Первый новичок как раз и занял Дёмкину койку — в углу, у двери. Это был высокий человек, но очень сутулый, с непрямою спиной, с лицом, изношенным до старости. Глаза его были до того отёчные, нижние веки до того опущены, что овал, как у всех людей, превратился у него в круг — и на этом круге белок выказывал нездоровую краснину, а светло-табачное радужное кольцо выглядело тоже крупней обычного из-за оттянутых нижних век. Этими большими круглыми глазами старик будто разглядывал всех с неприятным постоянным вниманием.

Дёмка последнюю неделю был уже не свой: ломило и дёргало его ногу неутешно, он не мог уже спать, не мог ничем заниматься и еле крепился, чтобы не вскрикивать, соседям не досаждать. И так его доняло, что нога уже перестала ему казаться драгоценной для жизни, а проклятой обузой, от которой избавиться бы полегче да поскорей. И операция, месяц назад представлявшаяся ему концом жизни, теперь выглядела спасением.

Но хотя со всеми в палате пересоветовался Дёмка, прежде чем поставить подпись согласия, он ещё и сегодня, скрутив узелок и прощаясь, наводил так, чтоб его успокаивали и убеждали. И Вадиму пришлось повторить уже говоренное: что счастлив Дёмка, что может так отделаться легко; что он, Вадим, с удовольствием бы с ним поменялся.

А Дёмка ещё находил возражения:

— Кость-то — пилой пилат. Просто пилат, как бревно. Говорят, под любым наркозом слышно.

Но Вадим не умел и не любил долго утешать:

— Ну что ж, не ты первый. Выносят другие — и ты вынесешь.

В этом, как во всём, он был справедлив и ровен: он и себе утешения не просил и не потерпел бы. Во всяком утешении уже было что-то мягкое, религиозное.

Был Вадим такой же собранный, гордый и вежливый, как и в первые дни здесь, только горную смуглость его стало сгонять желтизной, да чаще вздрагивали губы от боли и подёргивало лоб от нетерпения, от недоумения. Пока он только говорил, что обречён жить восемь месяцев, а ещё ездил верхом, летал в Москву, встречался с Черегородцевым, — он на самом деле ещё уверен был, что выскочит. Но вот уже месяц он лежал здесь — один месяц из тех восьми, и уже, может быть, не первый, а третий или четвёртый из восьми. И с каждым днём становилось больней ходить — уже трудно было мечтать сесть на коня и ехать в поле. Болело уже и в паху. Три книги из привезенных шести он прочёл, но меньше стало уверенности, что найти руды по водам — это одно единственное нужное, и оттого не так уже пристально он читал, не столько ставил вопросительных и восклицательных знаков. Всегда считал Вадим лучшей характеристикой жизни, если не хватает дня, так занят. Но вот что-то стало ему дня хватать и даже оставаться, а не хватало — жизни. Обвисла его струнная способность к занятиям. По утрам уже не так часто он просыпался, чтоб заниматься в тишине, а иногда и просто лежал, укрывшись с головой, и наплывало на него, что может быть поддаться да и кончить — легче, чем бороться. Нелепо и жутко становилось ему от здеешнего ничтожного окружения, от дурацких разговоров, и разрывая дощёную выдержку, ему хотелось по-звериному взвыть на капкан: «ну, довольно шутить, отпусти ногу-то!»

Мать Вадима в четырёх высоких приёмных не добилась коллоидного золота. Она привезла из России чагу, договорилась тут с санитаркой, чтоб та носила ему банки настоя через день, сама же опять улетела в Москву; в новые приёмные, всё за тем же золотом. Она не могла примириться, что радиоактивное золото где-то есть, а у сына метастазы будут просачиваться через пах.

Подошёл Дёмка и к Костоглову сказать последнее слово или услышать последнее. Костоглов лежал наискось на своей кровати, ноги подняв на перильца, а голову свесив с матраса в проход. Так, перевёрнутый для Дёмки и сам его видя перевёрнутым, он протянул руку и тихо напутствовал (ему трудно стало говорить громко, отдавалось что-то под лёгкими):

— Не дрефь, Дёмка. Лев Леонидович приехал, я видел. Он быстро отхватит.

— Ну? — прояснил Дёмка. — Ты сам видел?

— Сам.

— Вот хорошо бы!.. Вот хорошо, что я дотянул!

Да, стоило появиться в коридорах клиники этому верзиле-хирургу со слишком длинными свисающими руками, как больные окрепли духом, будто поняв, что вот именно этого долговязого тут и не хватало целый месяц. Если бы хирурги сперва пропускали перед больными для показа, а потом давали выбирать, — то многие записывались бы, наверно, ко Льву Леонидовичу. А ходил он по клинике всегда со скучающим видом, но и вид-то его скучающий истолковывался так, что сегодня — неоперационный день.

Хотя ничем не была плоха для Дёмки Евгения Устиновна, хотя прекрасный была хирург хрупенькая Евгения Устиновна, но совсем же другое настроение было лечь под эти волосатые обезьяньи руки. Уж чем бы ни кончилось, спасёт — не спасёт, но и своего промаха не сделает, в этом была почему-то у Дёмки уверенность.

На короткое время сродняется больной с хирургом, но сродняется ближе, чем с отцом родным.

— А что, хороший хирург? — глухо спросил от бывшей Дёмкиной кровати новичок с отёчными глазами. У него был застигнутый, растерянный вид. Он зяб, и даже в комнате на нём был сверх пиджамки бумазейный халат, распахнутый, не опоясанный, — и озирался старик, будто он был возбужден ночным стуком в одиноком доме, сошёл с кровати и не знал — откуда беда.

— М-м-м-м! — промычал Дёмка, всё больше проясняясь, всё больше довольный, как будто пол-операции с него свалилось. — Во парены! С присыпochкой! А вам — тоже операция? А что у вас?

— Тоже, — только и ответил новичок, будто не слышал всего вопроса. Лицо его не усвоило Дёмкиного облегчения, никак не изменились его большие круглые уставленные глаза — то ли слишком пристальные, то ли совсем ничего не видящие.

Дёмка ушёл, новичку постелили, он сел на койку, прислонился к стене — и опять молча уставился укрупнёнными глазами. Он глазами не водил, а уставлялся на кого-нибудь одного в палате и так долго смотрел. Потом всю голову поворачивал — на другого смотрел. А может и мимо. Он не щевелился на звуки и движения в палате. Не говорил, не отвечал, не спрашивал. Час прошёл — всего-то и вырвали из него, что он из Ферганы. Да от сестры услышали, что его фамилия — Шулубин.

Он — филин был, вот кто он был, Русанов сразу признал: эти кругло-уставленные глаза с неподвижностью. И без того была палата невесёлая, а уж этот филин совсем тут некстати. Угрюмо уставился он на Русанова и смотрел так долго, что стало просто неприятно. На всех он так уставлялся, будто все они тут были в чём-то виноваты перед ним. И уже не могла их палатная жизнь идти прежним непринуждённым ходом.

Павлу Николаевичу было вчера двенадцатый укол. Уж он втянулся в эти уколы, переносил их без бреда, но развились у него частые головные боли и слабость. Главное выяснилось, что смерть ему не грозит, конечно, — это была семейная паника. Вот уже не стало половины опухоли, а то, что ещё сидело на шее, помягчело, и хотя мешало, но уже не так, голове возвращалась свобода движения. Оставалась одна только слабость. Слабость можно перенести, в этом даже есть приятное: лежать и лежать, читать «Огонёк» и «Крокодил», пить укрепляющее, выбирать вкусное, что хотелось бы съесть, говорить бы с приятными людьми, слушать бы радио — но это уже дома. Оставалась бы одна только слабость, если бы Донцова жёстким упором пальцев не щупала б ему больно ещё под мышками всякий раз, не надавливала бы как палкой. Она искала чего-то, а месяц тут полежав, можно было догадаться, чего ищет: второй новой опухоли. И в кабинет его вызывала, клала и щупала пах, так же остро больно надавливая.

— А что, может переброситься? — с тревогой спрашивал Павел Николаевич. Затмевалась вся его радость от спада опухоли.

— Для того и лечимся, чтоб — нет! — встряхивала головой Донцова. — Но ещё много уколов надо перенести.

— Ещё столько? — ужасался Русанов.

— Там видно будет.

(Врачи никогда точно не говорят.)

Он уже был так слаб от двенадцати, уже качали головами над его анализами крови — а надо было выдержать ещё столько же? Не мытьём, так катаньем болезнь брала своё. Опухоль спадала, а настоящей радости не было. Павел Николаевич вяло проводил дни, больше лежал. К счастью, присмирел и Оглоед, перестал орать и огрызаться, теперь-то видно было, что он не притворяется, укрутила болезнь и его. Всё чаще он свешивал голову вниз и так подолгу ле-

жал, сожмунив глаза. А Павел Николаевич принимал порошки от головной боли, смачивал лоб тряпкой и глаза прикрывал от света. И так они лежали рядом, вполне мирно, не перебраниваясь — по много часов.

За это время повесили над широкой лестничной площадкой (откуда унесли в морг того маленького, что всё сосал кислородные подушки) лозунг — как полагается белыми буквами по длинному кумачёвому полотну:

Больные! Не разговаривайте друг с другом
о ваших болезнях!

Конечно, на таком кумаче и на таком видном месте приличней было бы вывесить лозунг из числа октябрьских или первомайских, — но для их здешней жизни была очень важной и этот призыв, и уже несколько раз Павел Николаевич, ссылаясь на него, останавливал больных, чтоб не травмили душу.

(А вообще-то, рассуждая по-государственному, правильной было бы опухолевых больных в одном месте не собирать, раскидывать их по обычным больницам, и они друг друга бы не пугали, и им можно бы было правды не говорить, и это было бы гораздо гуманнее.)

В палате люди менялись, но никогда не приходили весёлые, а всё пришибленные, заморенные. Один Ахмаджан, уже покинувший костылёк и скорый к выписке, скалил белые зубы, но развеселить кроме себя никого не умел, а только, может быть, вызывал зависть.

И вдруг сегодня, часа через два после угрюмого новичка, среди серенького унылого дня, когда все лежали по кроватям и стёкла, замытые дождём, так мало пропускали света, что ещё прежде обеда хотелось зажечь электричество, да чтоб скорей вечер наступал, что ли, — в палату, опережая сестру, быстрым здоровым шагом вошёл невысокий, очень живой человек. Он даже не вошёл, он ворвался — так поспешно, будто здесь были выстроены в шеренгу для встречи, и ждали его, и утомились. И остановился, удивясь, что все вяло лежат на койках. Даже свистнул. И с энергичной укоризной бодро заговорил:

— Э-э, братья, что это вы подмокли все? Что это вы ножки съёжили? — Но хотя они и не были готовы ко встрече, он их приветствовал полувоенным жестом, вроде салюта: — Чалый, Максим Петрович! Прошу любить! Воль-на!

Не было на его лице ракового истомления, играла жизнелюбивая уверенная улыбка — и некоторые улыбнулись ему навстречу, в том числе и Павел Николаевич. За месяц среди всех нытиков это, кажется, первый был человек!

— Та-ак, — никого не спрашивая, быстрыми глазами высмотрел он свою койку и вбивчиво протопал к ней. Это была койка рядом с Павлом Николаевичем, бывшая Мурсалимова, и новичок зашёл в проход со стороны Павла Николаевича. Он сел на койку, покачался, поскрипел. Определил: — Амортизация — шестьдесят процентов. Главврач мышей не ловит.

И стал разгружаться, а разгружать ему оказалось нечего: в руках ничего, в одном кармане бритва, а в другом пачка, но не папирос — а игральные, почти ещё новых карт. Он вытянул колоду, протрещал по ней пальцами и, смыслёнными глазами глядя на Павла Николаевича, спросил:

— Швыряетесь?

— Да иногда, — благожелательно признался Павел Николаевич.

— Преферанс?

— Мало. Больше в подкидного.

— Это не игра, — строго сказал Чалый. — А — штос? Винт? По-кер?

— Куда там! — смущённо отмахнулся Русанов. — Учиться было некогда.

— Здесь и научим, а где ж ещё? — вскинулся Чалый. — Как говорится: не умеешь — научим, не хочешь — заставим!

И смеялся. По его лицу у него был нос велик — мягкий, большой нос, подрумяненный. Но именно благодаря этому носу лицо его выглядело простодушным, располагающим.

— Лучше покера игры нет! — авторитетно заверил он. — И ставки — втёмную.

И уже не сомневаясь в Павле Николаевиче, оглядывался ещё за партнёрами. Но никто рядом не внушал ему надежды.

— Я! Я буду учился! — кричал из-за спины Ахмаджан.

— Хорошо, — одобрил Чалый. — Ищи вот, что б нам тут между кроватями перекинуть.

Он обернулся дальше, увидел замерший взгляд Шулубина, увидел ещё одного узбека в розовой чалме с усами свисающими, тонкими, как выделанными из серебряной нити, — а тут вошла Нэля с ведром и тряпкой для неурочного мытья полов.

— О-о-о! — оценил сразу Чалый. — Какая девка посадочная! Слушай, где ты раньше была? Мы б с тобой на качелях покатались.

Нэля выпятила толстые губы, это она так улыбалась:

— А чо ж, и час не поздно. Да ты хворый, куда те?

— Живот на живот — всё заживёт, — рапортовал Чалый. — Или ты меня робеешь?

— Да сколько там в тебе мужика! — примерялась Нэля.

— Для тебя — насквозь, не бось! — резал Чалый. — Ну скорей, скорей, становись пол мыть, охота фасад посмотреть!

— Гляди, это у нас даром, — благодушествовала Нэля и, шлёпнув мокрую тряпку под первую койку, нагнулась мыть.

Может быть, вовсе не был болен этот человек? Наружной болячки у него не было видно, не выражало лицо и внутренней боли. Или это он приказом воли так держался, показывал тот пример, которого не было в палате, но который только и должен быть в наше время у нашего человека? Павел Николаевич с завистью смотрел на Чалого.

— А — что у вас? — спросил он тихо, между ними двумя.

— У меня? — тряхнулся Чалый. — Полипы!

Что такое полипы — никто среди больных точно не знал, но у одного, у другого, у третьего частенько встречались эти полипы.

— И что ж — не болит?

— А вот только заболело — я и пришёл. Резать? — пожалуйста, чего ж тянуть?

— И где у вас? — всё с большим уважением приспрашивался Русанов.

— На желудке, что ли! — беззаботно говорил Чалый, и ещё улыбался. — В общем, желудочек оттяпают. Вырежут три четверти.

Ребром ладони он резанул себя по животу и прищурился.

— И как же? — удивился Русанов.

— Ничего-о, приспособлюсь! Лишь бы водка всачивалась!

— Но вы так замечательно держитесь!

— Милый сосед, — покивал Чалый своей доброй головой с прямодушными глазами и подрумяненным большим носом. — Чтоб не загнуться — не надо расстраиваться. Кто меньше толкует — тот меньше тоскует. И тебе советую!

Ахмаджан как раз подносил фанерную дощечку. Приладили её между кроватями Русанова и Чалого, уставилась хорошо.

— Немножко покультурно, — радовался Ахмаджан.

— Свет зажечь! — скомандовал Чалый.

Зажгли и свет. Ещё стало веселей.

— А четвёртого не найдём? И без него можно.

Четвёртый что-то не находился.

— Ничего, вы пока нам так объясните.— Русанов очень подбодрился. Вот он сидел, спустив ноги на пол, как здоровый. При поворотах головы боль в шее была куда слабее прежней. Фанерка не фанерка, а был перед ним как бы маленький игровой стол, освещённый ярким весёлым светом с потолка. Резкие точные весёлые знаки красных и чёрных мастей выделялись на белой полированной поверхности карт. Может быть, и правда, вот так, как Чалый, надо относиться к болезни — она и сползёт с тебя? Для чего киснуть? Для чего всё время носиться с мрачными мыслями?

— Что ещё будем дожидать?— спрашивал и Ахмаджан.

— Та-ак,— с быстротой киноленты перепускал Чалый всю колоду через свои уверенные пальцы: ненужные в сторону, нужные к себе.— Участвуют карты: с девятки до туза. Старшинство мастей: трефы, потом бубны, потом червы, потом пики.— И показывал масти Ахмаджану.— Понял?

— Есть понял!— с большим удовольствием отзывался Ахмаджан.

То выгибая и потрескивая отобранной колодой, то слегка тасуя её, объяснял Максим Петрович дальше:

— Сдаётся на руки по пять карт, остальные в кону. Теперь надо понять старшинство комбинаций. Комбинации так идут. Пара.— Он показывал.— Две пары. Стрит — это пять штук подряд. Вот. Или вот. Дальше — тройка. Фуль...

— Кто — Чалый? — спросили в дверях.

— Я Чалый!

— На выход, жена пришла!

— А с кошёлкой, вы не видели?.. Ладно, братья, перерыв.

И бодро беззаботно пошёл к выходу.

Тихо стало в палате. Горели лампы как вечером. Ахмаджан ушёл к себе. Быстро расшлёпывая по полу воду, подвигалась Нэлля, и надо было всем поднять ноги на койки.

Павел Николаевич тоже лёг. Он просто чувствовал на себе из угла взгляд этого филина — упорное и укоризненное давление на голову сбоку. И чтоб облегчить давление, спросил:

— А у вас, товарищ,— что?

Но угрюмый старик даже вежливого движения не сделал навстречу вопросу, будто не его спрашивали. Круглыми табачно-красными глазами смотрел как мимо головы. Павел Николаевич не дождался ответа и стал перебирать в руках лаковые карты. И тогда услышал глухое:

— То самое.

Что «то самое»? Невежа!.. Павел Николаевич теперь сам на него не посмотрел, а лёг на спину и стал просто так лежать — думать.

Отвёкся он приходом Чалого и картами, а ведь ждал газеты. Сегодня день был — слишком памятный. Очень важный, показательный день, и по газете предстояло многое угадать на будущее. А будущее страны — это и есть твоё будущее. Будет ли газета в траурной рамке вся? Или только первая страница? Будет портрет на целую полосу или на четверть? И в каких выражениях заголовки и передовица? После февральских снятий всё это особенно значит. На работе Павел Николаевич мог бы от кого-то почерпнуть, а здесь только и есть — газета.

Между кроватями толкалась и ёрзала, ни в одном проходе не помещаясь, Нэлля. Но мытьё у неё быстро получалось, вот уж она кончала и раскатывала дорожку.

И по дорожке, возвращаясь с рентгена и осторожно переноса большую ногу, подёргиваясь от боли, вошёл Вадим.

Он нёс и газету.

Павел Николаевич поманил его:

— Вадим! Зайдите сюда, присядьте.

Вадим задержался, подумал, свернул к Русанову в проход и сел, придерживая брючину, чтоб не тёрла.

Уже заметно было, что Вадим раскрывал газету, она была сложена не как свежая. Ещё только принимая её в руки, Павел Николаевич мог сразу видеть, что ни каймы нет вокруг страницы, ни — портрета на первой полосе. Но посмотря ближе, торопливо шелестя страницами, ни и дальше! он и дальше нигде не находил ни портрета, ни каймы, ни шпакли, — да вообще, кажется, никакой статьи?!

— Нет? Ничего нет? — спросил он Вадима, пугаясь, и упуская назвать, чего именно нет.

Он почти не знал Вадима. Хотя тот и был членом партии, но ещё слишком молодым. И не руководящим работником, а узким специалистом. Что у него могло быть натолкано в голове — это было невозможно представить. Но один раз он очень обнадёжил Павла Николаевича: говорили в палате о сосланных нациях, и Вадим, подняв голову от своей геологии, посмотрел на Русанова, пожал плечами и тихо сказал ему одному: «Значит, что-то было. У нас даром не сошлют».

Вот в этой правильной фразе Вадим проявил себя как умный и непоколебимый человек.

И, кажется, не ошибся Павел Николаевич! Сейчас не пришлось Вадиму объяснять, о чём речь, он уже сам искал тут. И показал Русанову на подвал, который тот пропустил в волнении.

Обыкновенный подвал. Ничем не выделенный. Никакого портрета. Просто — статья академика. И статья-то — не о второй годовщине! не о скорби всего народа! не о том, что «жив и вечно будет жить»! А — «Сталин и вопросы коммунистического строительства».

Только и всего? Только — «и вопросы»? Только — эти вопросы? Строительство? Почему — строительство? Так можно и о лесозащитных полосах написать! А где — военные победы? А где — философский гений? А где — Корифей Наук? А где — всенародная любовь?

Сквозь очки, со сжатым лбом и страдая, Павел Николаевич посмотрел на тёмное лицо Вадима.

— Как это может быть, а?.. — Через плечо он осторожно обернулся на Костоглотова. Тот, видно, спал: глаза закрыты, всё так же свешена голова. — Два месяца назад, ведь два, да? вы вспомните, — семидесятипятилетие! Всё как по-прежнему: огромный портрет! огромный заголовок — «Великий Продолжатель». Да?.. А?..

Даже не опасность, нет, не та опасность, что отсюда росла для оставшихся жить, но — неблагодарность! неблагодарность, вот что больше всего сейчас уязвило Русанова — как будто на его собственные личные заслуги, на его собственную безупречность наплевали и растолкли. Если Слава, гремящая в Веках, куцо обгрызлась уже на второй год; если Самого Любимого, Самого Мудрого, того, кому подчинялись все твои прямые руководители и руководители руководителей — свернули и замяли в двадцать четыре месяца — так что же остаётся? где же опора? И как же тут выздоравливать?

— Видите, — очень тихо сказал Вадим, — формально было недавно постановление, что годовщин смерти не отмечать, только годовщины рождения. Но, конечно, судя по статье...

Он невесело покачал головой.

Он тоже испытывал как бы обиду. Прежде всего — за покойного отца. Он помнил, как отец любил Сталина! — уж, конечно, больше, чем самого себя (для себя отец вообще никогда ничего не добивался). И больше, чем Ленина. И, наверно, больше, чем жену и сыновей. О семье он мог говорить и спокойно, и шутливо, о Сталине же — никогда, голос его задрагивал. Один портрет Сталина висел у него в кабинете, один — в столовой, и ещё один — в детской. Сколько росли, всегда видели мальчишки над собой эти густые брови, эти густые усы, устойчивое это лицо, кажется недоступное ни для страха, ни для

легкомысленной радости, все чувства которого были сжаты в перебельске бархатных чёрных глаз. И ещё, каждую речь Сталина сперва прочтя всю для себя, отец потом местами вычитывал и мальчикам, и объяснял, какая здесь глубокая мысль, и как тонко сказано, и каким прекрасным русским языком. Уже потом, когда отца не было в живых, а Вадим вырос, он стал находить, пожалуй, что язык тех речей был пресен, а мысли отнюдь не сжаты, но гораздо короче могли бы быть изложены, и на тот объём их могло бы быть больше. Он находил так, но цельней чувствовал себя, когда исповедывал восхищение, возвращённое в нём с детства.

Ещё совсем был свеж в памяти — день Смерти. Плакали старые, и молодые, и дети. Девушки надрывались от слёз, и юноши вытирали глаза. От повальных этих слёз казалось, что не один человек умер, а трещину дало всё мироздание. Так казалось, что если человечество и переживёт этот день, то уже недолго.

И вот на вторую годовщину — даже типографской чёрной краской не потратили на траурную кайму. Не нашли простых тёплых слов: «два года назад скончался...» Тот, с чьим именем, как последним земным словом, спотыкались и падали солдаты великой войны.

Да не только потому, что Вадима так воспитали, он мог и отвыкнуть, но все соображения разума требовали, что Великого Покойника надо чтить. Он был — ясность, он изучал уверенность, что завтрашний день не сойдёт с колеи предыдущего. Он возвысил науку, возвысил учёных, освободил их от мелких мыслей о зарплате, о квартире. И сама наука требовала его устойчивости, его постоянства: что никакие сотрясения не случатся и завтра, не заставят учёных рассеяться, отвлекаться от их высшего по полезности и интересу занятия — для дрязи по устройству общества, для воспитания недоразвитых, для убеждения глушцов.

Невесело унёс Вадим свою больную ногу на койку.

А тут вернулся Чалый, очень довольный, с полной сумкой продуктов. Перекладывая их в свою тумбочку, по другую сторону, не в русановском проходе, он скромно улыбался:

— Последние денёчки и покушать! А потом с одними кишками неизвестно как пойдёт!

Русанов налюбоваться не мог на Чалого: вот оптимист! вот молодец!

— Помидорчики маринованные...— продолжал выкладывать Чалый. Прямо пальцами вытащил один из банки, проглотил, прижмурился:— Ах, хороши!.. Телятина. Сочно зажарена, не пересушена.— Он потрогал и лизнул.— Золотые женские руки!

И молча, прикрыв собою от комнаты, но видно для Русанова, поставил в тумбочку поллитра. И подмигнул Русанову.

— Так вы, значит, здешний,— сказал Павел Николаевич.

— Не-ет, не здешний. Бываю наездами, в командировках.

— А жена, значит, здесь?

Но Чалый уже не слышал, унёс пустую сумку.

Вернувшись, открыл тумбочку, прищурился, примерился, ещё один помидор проглотил, закрыл. Головой потряс от удовольствия.

— Ну, так на чём мы остановились? Продолжим.

Ахмаджан за это время нашёл четвёртого, молодого казаха с лестицы, и пока на своей кровати разгорячённо рассказывал ему порусски, дополняя руками, как наши, русские, били турок (он вчера вечером ходил в другой корпус и там смотрел кино «Взятие Плевны»). Теперь они оба подтянулись сюда, опять устали дощечку между кроватями, и Чалый, ещё повеселевший, быстрыми ловкими руками перекидывал карты, показывая им образцы:

— Значит — фуль, так? Это когда сходится у тебя тройка одних, пара других. Понял, чечмек?

— Я — не чечек, — без обиды отряхнулся Ахмаджан. — Это я до армии был чечек.

— Хорошо-о. Следующий — колер. Это когда все пять придут одной масти. Дальше — карета: четыре одинаковых, пятая любая. Дальше — покер младший. Это — стрит одного цвета от девятки до короля. Ну, вот так... Или вот так.. А ещё старше — покер старший...

Не то чтоб сразу это стало ясно, но обещал Максим Петрович, что в игре будет ясней. А главное — так доброхотливо он говорил, таким задушевным чистым голосом, что потеплело очень на сердце Павла Николаевича. Такого симпатичного, такого располагающего человека он никак не надеялся встретить в общей больнице! Вот сели они сплочённым дружным коллективом, и час за часом так пойдёт, и можно каждый день, а о болезни зачем думать? И о других неприятностях — зачем? Прав Максим Петрович!

Только собрался оговориться Русанов, что пока они не освоят игру как следует — на деньги не играть. И вдруг из дверей спросили:

— Кто — Чалый?

— Я Чалый!

— На выход, жена пришла!

— Тьфу, курва! — беззлобно отплюнулся Максим Петрович. — Я ж ей сказал: в субботу не приходи, приходи в воскресенье. Как не наскочила!.. Ну, простите, братцы.

И опять развалилась игра, ушёл Максим Петрович, а Ахмаджан с казахом взяли карты себе: повторять, упражняться.

И опять вспомнил Павел Николаевич про опухоль и про пятое марта, из угла почувствовал неодобряющий упёртый взгляд Филина, а обернувшись — и открытые глаза Оглоеда. Ничуть Оглоед не спал.

Ничуть Костоглозов не спал всё это время, и когда Русанов с Вадимом шелестили газетой и шептались, он слышал каждое слово и нарочно не раскрывал глаз. Ему интересно было, как они скажут, как скажет Вадим. Теперь и газету ему не нужно было тянуть и разворачивать, уже всё было ясно.

Опять стучало. Стучало сердце. Колотилось сердце о дверь чугунную, которая никогда не должна была отпереться — но что-то поскрипывала! что-то подрагивала! И сыпалась первая ржавчина с пель.

Костоглозову невозможно было вместить, что слышал он от вольных: что два года назад в этот день плакали старые, и плакали девушки, и мир казался осиротевшим. Ему дико было это представить, потому что он помнил, как это было у них. Вдруг — не вывели на работу, и барак не отперли, держали в запертых. И — громкоговоритель за зоной, всегда слышный, выключили. И всё это вместе явно показывало, что хозяева растерялись, какая-то у них большая беда. А беда хозяев — радость для арестантов! На работу не иди, на койке лежи, папка доставлена. Сперва отсыпались, потом удивлялись, потом поигрывали на гитарах, на бандуре, ходили от вагонки к вагонке догадываться. В какую заглушку арестантов ни сажай, всё равно просачивается истина, всегда! — через хлеборезку, через кубовую, через кухню. И — поползло, поползло! Ещё не очень решительно, но ходя по бараку, садясь на койки: «Э, ребята! Кажись — Людоед накрылся...» — «Да ну???» — «Никогда не поверю!» — «Вполне поверю!» — «Давно порал!» И — смех хоровой! Громче гитары, громче балалайки! Но целые сутки не открывали бараков. А на следующее утро, по Сибири ещё морозное, выстроили весь лагерь на линейке, и майор, и оба капитана, и лейтенанты — все были тут. И майор, чёрный от горя, стал объявлять:

— С глубоким прискорбием... вчера в Москве...

И — заскалились, только что открыто не взликовали, шершавые, остроосулые, грубые тёмные арестантские рожи. И увидав это начинающееся движение улыбок, скомандовал майор вне себя:

— Шапки! снять!!

И у сотен заколебалось всё на острие, на лезвии: не снять — ещё нельзя, и снимать — уж очень обидно. Но, всех опережая, лагерный шут, стихийный юморист, сорвал с себя шапку-«сталинку», поддельного меха, — и кинул её в воздух! — выполнил команду!

И сотни увидели! — и бросили вверх!

И подавился майор.

И после этого всего теперь узнавал Костоглов, что плакали старые, плакали девушки, и мир казался осиротевшим...

Вернулся Чалый ещё веселей — и опять с полной сумкой продуктов, но уже другой сумкой. Кто-то усмехнулся, а Чалый и открыто смеялся первый сам:

— Ну, что ты будешь с бабами делать? Если им это удовольствие доставляет? И почему их не утешить, кому это вредит?

Какая барыня ни будь,
Всё равно её...!

И расхохотался, увлекая за собой слушателей, и отмахиваясь рукой от избыточного смеха. Засмеялся искренне и Русанов, так это складно у Максима Петровича получилось.

— Так жена-то — какая? — давился Ахмаджан.

— Не говори, браток, — вздыхал Максим Петрович и перекалывал продукты в тумбочку. — Нужна реформа законодательства. У мусульман это гуманней поставлено. Вот с августа разрешили аборт делать — оч-чень упростило жизни! Зачем женщине жить одинокой? Хоть бы в годик раз да кто-нибудь к ней приехал. И командировочным удобно: в каждом городе комната с куриной лапшой.

Опять между продуктов мелькнул тёмный флакон. Чалый притворил дверцу и понёс пустую сумку. Эту бабу он, видно, не баловал — вернулся тотчас. Остановился поперёк прохода, где когда-то Ефрем, и, глядя на Русанова, почесал в кудрях затылка (а волосы у него были привольные, между льном и овсяной соломой):

— Закусим, что ли, сосед?

Павел Николаевич сочувственно улыбнулся. Что-то запаздывал общий обед, да его и не хотелось после того, как со вкусом перекалывал Максим Петрович каждый продукт. Да и в самом Максиме Петровиче, в улыбке его толстых губ, было приятное, плотоядное, отчего именно за обеденный стол тянуло с ним сесте.

— Давайте, — пригласил Русанов к своей тумбочке. — У меня тут тоже кой-что...

— А — стаканчиков? — нагнулся Чалый, уже ловкими руками переносил на тумбочку к Русанову банки и свёртки.

— Да ведь нельзя! — покачал головой Павел Николаевич. — При наших болезнях запрещено строго...

За месяц никто в палате и подумать не дерзнул, а Чалому иначе казалось и дико.

— Тебя как зовут? — уже был он в его проходе и сел колени к коленям.

— Павел Николаич.

— Паша! — положил ему Чалый дружескую руку на плечо. — Не слушай ты врачей! Они лечат, они и в могилу мечут. А нам надо жить — хвост морковкой!

Убеждённость и дружелюбие были в немудром лице Максима Чалого. А в клинике — суббота, и все лечения уже отложены до понедельника. А за сереющим окном лил дождь, отделяя от Русанова всех его родных и приятелей. А в газете не было траурного портрета, и обида мутная сгустилась на душе. Светили лампы яркие, намного опережая долгий-долгий вечер, и с этим истинно-приятным человеком можно было сейчас выпить, закусить, а потом играть в покер. (Вот новинка будет и для друзей Павла Николаевича — покер!)

А у Чалого, ловкача, бутылка уже лежала тут, под подушкой. Пробку он пальцем сковырнул и по полстакана налил у самых колен. Тут же они их и сдвинули.

Истинно по-русски пренебрег Павел Николаевич и недавними страхами, и запретами, и зарокami, и только хотелось ему тоску с души сплеснуть да чувствовать теплоту.

— Будем жить. Будем жить, Паша! — внушал Чалый, и его смешноватое лицо налилось строгостью и даже лютостью. — Кому нравится — пусть дохнет, а мы с тобой будем жить!

С тем и выпили. Русанов за этот месяц очень ослабел, ничего не пил кроме слабенького красного — и теперь его сразу обожгло, и от минуты к минуте расходилось, расплывалось и убеждало, что нечего голову нурить, что и в раковом люди живут, и отсюда выходят.

— И сильно болят эти?.. полипы? — спрашивал он.

— Да побаливают. А я не даюсь!.. Паша! От водки хуже не может быть, пойми! Водка от всех болезней лечит. Я и на операцию спирта выпью, а как ты думал? Вон, во флаконе... Почему спирта — он всосётся сразу, воды лишней не останется. Хирург желудок разворотит — ничего не найдёт, чисто! А я — пьяный!.. Ну, да сам ты на фронте был, знаешь: как наступление — так водка... Ранен был?

— Нет.

— Повезло!.. А я — два раза: сюда и сюда вот...

А в стаканах опять было два по сто.

— Да нельзя больше, — мягко упирался Павел Николаевич. —

Опасно.

— Чего опасно? Кто тебе вколотил, что опасно?.. Помидорчики бери! Ах, помидорчики!

И правда, какая разница — сто или двести грамм, если уж переступил? Двести или двести пятьдесят, если умер великий человек — и о нём замалчивают? В добрую память Хозяина опрокинул Павел Николаевич и следующий стакан. Опрокинул, как на поминках. И губы его скривились грустно. И вытягивал он ими помидорчики. И, с Максимом лоб в лоб, слушал сочувственно.

— Эх, красненькие! — рассуждал Максим. — Здесь за килограмм рубль, а в Караганду свежи — тридцать. И как хватают! А возить — нельзя. А в багаж — не берут. Почему — нельзя? Вот скажи мне — почему нельзя?..

Разволновался Максим Петрович, глаза его расширились, и стоял в них напряжённый поиск — смысла! Смысла бытия.

— Придёт к начальнику станции человечешко в пиджачке старом: «Ты — жить хочешь, начальник?» Тот — за телефон, думает — его убивать пришли... А человек ему на стол — три бумажки. Почему — нельзя? Как так — нельзя? Ты жить хочешь — и я жить хочу. Вели мои корзины в багаж принять! И жизнь побеждает, Паша! Едет поезд, называется «пассажирский», а весь — помидорный, на полках — корзины, под полками — корзины. Кондуктору — лапу, контролёру — лапу. От границы Дороги — другие контролёры, и им лапу.

Покруживало Русанова, и растеплился он очень и был сейчас сильнее своей болезни. Но что-то такое, кажется, говорил Максим, что не могло быть увязано... Увязано... Что шло вразрез...

— Это — вразрез! — упёрся Павел Николаевич. — Зачем же?.. Это — нехорошо...

— Нехорошо? — удивился Чалый. — Так малосольный бери! Так вот икорку баклажанную!.. В Караганде написано камнем по камню: «Уголь — это Хлеб». Ну, то есть, для промышленности. А помидорчиков для людей — и н-нет. И не привезут деловые люди — н-не будет. Хватают по четвертной за килограмм — и спасибо говорят. Хоть в глаза помидоры эти видят — а то б не видели. И до чего ж там долдоны, в Караганде, — ты не представляешь! Набирают охранников, лбов, и вместо того, чтоб их за яблоками послать, вагонов сорок подкинуть —

расставляют по всем степным дорогам — перехватывать, если кто повезёт яблоки в Караганду. Не допускать! Так и дежурят, охломоны!..

— Это что ж — ты? Ты? — огорчился Павел Николаевич.

— Зачем я? Я, Паша, с корзинами не езжу. Я — с портфельчиком. С чемойданчиком. Майоры, подполковники в кассу стучат: командировочное кончается! А билетов — нет! Нет!!.. А я туда не стучу, я всегда уеду. Я на каждой станции знаю: за билетом где нужно к кипятильщику обратиться, где — в камеру хранения. Учти, Паша: жизнь — всегда побеждает!

— А ты вообще — кем работаешь?

— Я, Паша, — техником работаю. Хотя техникума не кончал. Агентом ещё работаю. Я так работаю, чтобы всегда — с карманом. Где деньги платить перестают — я оттуда уйду. Понял?

Что-то замечал Павел Николаевич, что не так получается, не в ту сторону, кривовато даже. Но такой был хороший, весёлый свой человек — первый за месяц. Не было духа его обидеть.

— А — хорошо ли? — допытывался он только.

— Хорошо, хорошо! — успокаивал Максим. — И телятинку бери. Сейчас компотика твоего трахнем. Паша! Один раз на свете живём — зачем жить плохо? Надо жить хорошо, Паша!

С этим не мог не согласиться Павел Николаевич, это верно: один раз на свете живём, зачем жить плохо? Только вот...

— Понимаешь, Максим, это осуждается... — мягко напоминал он.

— Так ведь Паша, — так же душевно отвечал и Максим, держа его за плечо. — Так ведь это — как посмотреть. Где как.

В глазу порошок — и мўлит,
Кой-где пол-аршина — и ...!

— хохотал Чалый и пристукивал Русанова по колену, и Русанов тоже не мог удержаться и трясся:

— Ну, ты ж этих стихов знаешь!.. Ну, ты ж — поэт, Максим!

— А кем — ты? Ты — кем работаешь? — доведывался новый друг.

Как ни в обнимку они уже толковали, а тут Павел Николаевич невольно приосанился:

— Вообще — по кадрам.

Соскромничал он. Повыше был, конечно.

— А — где?

Павел Николаевич назвал.

— Слушай! — обрадовался Максим. — Надо одного хорошего человечка устроить! Вступительный взнос — это как полагается, не беспокойся!

— Ну, что ты! Ну, как ты мог подумать! — обиделся Павел Николаевич.

— А — чего думать? — поразился Чалый, и опять тот же поиск смысла жизни, немного расплывшийся от выпитого, задрожал в его глазах. — А если кадровикам вступительных взносов не брать — так на что им и жить? На что детей воспитывать? У тебя сколько детей?

— У вас газетка — освободилась? — раздался над ними глухой неприятный голос.

Это — Финин приобрёл из угла, с недобрыми отёчными глазами, в распахнутом халате.

А Павел Николаевич, оказывается, на газете сидел, примял.

— Пожалуйста, пожалуйста! — подхватился Чалый, вытаскивая газету из-под Русанова. — Пусти, Паша! Бери, папаша, чего другого, этого не жаль.

Шулубин сумрачно взял газету и хотел идти, но тут его задержал Костоготов. Как Шулубин упорно молча на всех смотрел, так и Костоготов начал к нему присматриваться, а сейчас видел особенно

близко и хорошо. Кто мог быть этот человек? с таким нерядовым лицом?

С развязностью пересыльных встреч, где в первую же минуту любого человека можно спросить о чём угодно, Костоглотов и сейчас из лежачего, полуопрокинутого положения спросил:

— Папаша, а кем вы работаете, а?

Не глаза, а всю голову Шулубин повернул на Костоглотов. Ещё посмотрел на него, не мигая. Продолжая смотреть, странно как-то обвёл кругообразно шеей, будто воротник его теснил, но никакой воротник ему не мешал, просторен был ворот нижней сорочки. И вдруг ответил, не отказался:

— Библиотекарем.

— А где? — не зевнул Костоглотов сунуть и второй вопрос.

— В сельхозтехникуме.

Неизвестно почему — да наверно за тяжесть взгляда, за молчание шёвное из угла, захотелось Русанову его как-нибудь унизить, на место поставить. А может, водка в нём говорила, и он громче, чем надо, легкомысленнее, чем надо, окрикнул:

— Беспартийный, конечно?

Филин посмотрел табачными глазами. Мигнул, будто не веря вопросу. Ещё мигнул. И вдруг раскрыл зев:

— Наоборот.

И — пошёл через комнату.

Он неестественно как-то шёл. Где-то ему тёрло или кололо. Он скорее ковылял с разбросанными полами халата, неловко наклонялся, напоминая большую птицу, — с крыльями, обрезанными неровно, чтоб она не могла взлететь.

24

На солнечном пригреве, на камне, ниже садовой скамейки, сидел Костоглотов, ноги в сапогах неудобно подвернув, коленями у самой земли. И руки свесил плетью до земли же. И голову без шапки уронил. И так сидел грелся в сером халате, уже наотпашь, — сам неподвижный и формы обломистой, как этот серый камень. Раскалило ему черноволосую голову и напекло в спину, а он сидел, не шевелясь, принимая мартовское тепло — ничего не делая, ни о чём не думая. Он бессмысленно-долго мог так сидеть, добирая в солнечном греве то, что не додано было ему прежде в хлебе и в супе.

И даже не видно было со стороны, чтобы плечи его поднимались и опускались от дыхания. Однако ж, он и на бок не сваливался, держался как-то.

Толстая нянечка с первого этажа, крупная женщина, когда-то гнавшая его из коридора прочь, чтобы не нарушал стерильности, сама же очень наклонная к семячкам и сейчас на аллейке, по льготе, щелкнувшая несколько, подошла к нему и базарно-добродушным голосом окликнула:

— Слышь, дядя! А, дядя!

Костоглотов поднял голову и, против солнца переморщив лицо, разглядывал её с искажающим прищуром.

— Поди в перевязочную, доктор зовёт.

Так он усиделся в своей прогретой окаменелости, такая была ему неохота двигаться, подниматься, как на ненавистную работу!

— Какой доктор? — буркнул он.

— Кому надо, тот и зовёт! — повысила голос няня. — Не обязана я вас тут по садику собирать. Иди, значит.

— Да мне перевязывать нечего. Не меня, наверно, — всё упрямился Костоглотов.

— Тебя, тебя! — между тем пропускала няня семячки. — Разве тебя, журавля долгоногого, спутаешь с кем? Один такой у нас, нещечко.

Костоглотов вздохнул, распрямил ноги и опираясь, кряхтя, стал подниматься.

Нянечка смотрела с неодобрением:

— Всё вышагивал, сил не берёг. А лежать надо было.

— Ох, няня-а,— вздохнул Костоглотов.

И поплёлся по дорожке. Ремня уже не было, военной выправки не осталось никакой, спина гнулась.

Он шёл в перевязочную на новую какую-то неприятность, готовясь отбиваться, ещё сам не зная — от чего.

В перевязочной ждала его не Элла Рафаиловна, уже дней десять как заменявшая Веру Корнильевну, а молодая полная женщина, мало сказать румяная — просто с багряными щеками, такая здоровая. Видел он её в первый раз.

— Как фамилия?— пристигла она его тут же, на пороге.

Хоть солнце уже не било в глаза, а Костоглотов смотрел так же прищуренно, недовольно. Он спешил сметить, что тут к чему, сообщить, а отвечать не спешил. Иногда бывает нужно скрыть фамилию, иногда соврать. Он ещё не знал, как сейчас правильно.

— А? Фамилия?— допытывалась врачиха с налитыми руками.

— Костоглотов,— нехотя признался он.

— Где ж вы пропадаете? Раздевайтесь быстро! Идите сюда, ложитесь на стол!

Теперь-то вспомнил Костоглотов и увидел, и сообразил всё сразу: кровь переливать! Он забыл, что это делают в перевязочной. Но во-первых, он по-прежнему стоял на принципе: чужой крови не хочу, своей не дам! Во-вторых, эта бойкая бабёнка, будто сама напившаяся донорской крови, не склоняла его к доверию. А Вега уехала. Опять новый врач, новые привычки, новые ошибки — и кой чёрт эту карусель крутит, ничего постоянного нет?

Он хмуро снимал халат, искал, куда повесить — сестра показала ему, куда,— а сам выдумывал, к чему бы прицепиться и не даётся. Халат он повесил. Курточку снял, повесил. Толкнул в угол сапоги (тут, на первом этаже, бывали и снаружи, в обуви). Пошёл босиком по чистому линолеевому полу ложиться на высокий умягчённый стол. Всё никак придумать повода не мог, но знал, что сейчас придумает.

На блестящем стальном штативе над столом высился аппарат для переливания: резиновые шланги, стеклянные трубочки, в одной из них вода. На той же стойке было несколько колец для ампул разного размера: на пол-литра, четверть литра и осмьюшкой. Зажата же была ампула с осмьюшкой. Коричневатая кровь её закрывалась отчасти накладкой с группой крови, фамилией донора и датой взятия.

По привычке лезть глазами, куда не просят, Костоглотов, пока взмачивался на стол, всё это прочёл и, не откидываясь головой на изголовье, тут же объявил:

— Хо-го! Двадцать восьмое февраля! Старая кровь. Нельзя переливать.

— Что за рассуждения?— возмутилась врачиха.— Старая, новая, что вы понимаете в консервации? Кровь может сохраняться больше месяца!

На её багряном лице сердитость была малиновая. Руки, заголённые до локтя, были полные, розовые, а кожа — с пупырышками, не от холода, а с постоянными пупырышками. И вот эти пупырышки почему-то окончательно убедили Костоглотова не даваться.

— Закатите рукав и положите руку свободно!— командовала ему врачиха.

Она уже второй год работала на переливании и не помнила ни одного больного не подозрительного: каждый вёл себя так, будто у него графская кровь и он боится подмеса. Обязательно косились больные, что цвет не тот, группа не та, дата не та, не слишком ли хо-

лодная или горячая, не свернулась ли, а то спрашивали уверенно: «Это — плохую кровь переливаете?» — «Да почему плохую?!» — «А на ней написано было не трогать». — «Ну потому что наметили, кому переливать, а потом не понадобилась». И уже даётесь больной колоть, а про себя ворчит: «Ну, значит, и оказалась некачественной». Только решительность и помогала сламывать эти глупые подозрения. К тому же она всегда торопилась, потому что норма перелива крови в один день в разных местах была ей изрядная.

Но Костоготов тоже уже повидал здесь, в клинике, и кровяные вздутия и тряску после введения, и этим нетерпеливым розовым пухлым рукам с пупырышками ему никак не хотелось довериться. Своя, измученная рентгеном, вялая больная кровь была ему всё-таки дороже свежей добавки. Как-нибудь своя потом поправится. А при плохой крови бросят раньше лечить — тем лучше.

— Нет,— мрачно отказался он, не закатывая рукав и не кладя руку свободно.— Кровь ваша старая, а я себя плохо чувствую сегодня.

Он-то знал, что сразу двух причин никогда говорить не надо, всегда одну, но сами две сказались.

— Сейчас давление проверим,— не смущалась врачиха, и сестра уже подносила ей прибор.

Врачиха была совсем новая, а сестра — здешняя, из перевязочной, только Олег с ней дела не имел раньше. Она совсем была девочка, но роста высокого, тёмненькая и с японским разрезом глаз. На голове у неё так сложно было настроено, что ни шапочка, ни даже косынка никак не могли бы этого покрыть — и потому каждый выступ волосяной башенки и каждая косма были у неё терпеливо обмотаны бинтами, бинтами — это значит, ей минут на пятнадцать раньше надо было приходить на работу, обматываться.

Всё это было Олегу совсем ни к чему, но он с интересом рассматривал её белую корону, стараясь представить причёску девушки без перекрута бинтов. Главное лицо здесь была врачиха, и надо было бороться с ней, не мешкая, возражать и отговариваться, а он терял темп, рассматривая девушку с японским разрезом глаз. Как всякая молодая девушка, уже потому, что молода, она содержала в себе загадку, несла её в себе на каждом переступе, сознавала при каждом повороте головы.

А тем временем Костоготову сжали руку чёрной змеёй и определили, что давление подходящее.

Он рот раскрыл сказать следующее, почему не согласен, но из дверей врачиху позвали к телефону.

Она дёрнулась и ушла, сестра укладывала чёрные трубки в футляр, а Олег всё так же лежал на спине.

— Откуда этот врач, а?— спросил он.

Всякая мелодия голоса тоже относилась ко внутренней загадке девушки, и она чувствовала это, и говорила, внимательно слушая свой голос:

— Со станции переливания крови.

— А зачем же она старую привозит?— проверял Олег хоть и на девчёнке.

— Это — не старая,— плавно повела девушка головой и понесла корону по комнате.

Девчёнка эта вполне была уверена, что всё нужное для неё она знает.

Да может, так оно и было.

Солнце уже завернуло на сторону перевязочной. Прямо сюда оно не попадало, но два окна светились ярко, а ещё часть потолка была занята большим световым пятном, отразившимся от чего-то. Было очень светло, и к тому же чисто, тихо.

Хорошо было в комнате.

Открылась дверь, не видимая Олегу, но вошла кто-то другая, не та.

Вошла, почти не стуча туфлями, не выстукивая каблучками своего «я».

И Олег догадался.

Никто больше так не ходил. Её и не хватало в этой комнате, её одной.

Вера!

Да, она. Она вступила в его поле зрения. Так просто вошла, будто незадолго отсюда вышла.

— Да где же вы были, Вера Корнильевна?.. — улыбался Олег.

Он не вскрикнул это, он спросил негромко, счастливо. И не поднимаясь сесть, хотя не был привязан к столу.

До конца стало в комнате тихо, светло, хорошо.

А у Веры был свой вопрос, тоже в улыбке:

— Вы — бунтуете?

Но уже расслабнув в своём намерении сопротивляться, уже наслаждаясь, что он лежит на этом столе, и его так просто не сгонишь, Олег ответил:

— Я?.. Нет, уж я своё отбунтовал... Где вы были? Больше недели.

Раздельно, как будто диктуя несмышлёнышу непривычные новые слова, она проговорила, стоя над ним:

— Я ездила основывать онкологические пункты. Вести противораковую пропаганду.

— Куда-нибудь в глубинку?

— Да.

— А больше не поедете?

— Пока нет. А вы — себя плохо чувствуете?

Что было в этих глазах? Неторопливость. Внимание. Первая проверенная тревога. Глаза врача.

Но помимо этого всего они были светло-кофейные. Если на стакан кофе налить молока пальца два. Впрочем, давно Олег кофе не пил, цвета не помнил, а вот — дружеские! очень старо-дружеские глаза!

— Да нет, чепуха. Я на солнце, наверно, перегрелся. Сидел-сидел, чуть не заснул.

— Разве вам можно на солнце! Разве вы не поняли здесь, что опухолям нагревание запрещено?

— Я думал — грелки.

— А солнце — тем более.

— Значит, черноморский пляж мне запрещён?

Она кивнула.

— Жизнь!.. Хоть ссылку меняй на Норильск...

Она подняла плечи. Опустила. Это было не только выше её сил, но и выше разумения.

Вот сейчас и спросить: а почему вы говорили, что — замужем?..

Разве безмужие — такое унижение?

Спросил:

— А зачем же вы изменили?

— Что?

— Нашему уговору. Вы обещали, что будете кровь переливать мне сами, никакому практиканту не отдадите.

— Она — не практикант, она, напротив, специалист. Когда они приезжают — мы не имеем права. Но она уже уехала.

— Как уехала?

— Вызвали.

О, карусель! В карусели же было и спасение от карусели.

— Значит — вы?

— Я. А какая вам кровь старая?

Он показал головой.

— Она не старая. Но она не вам. Вам будем двести пятьдесят переливать. Вот.— Вера Корнильевна принесла с другого столика и показала ему.— Читайте, проверяйте.

— Да Вера Корнильевна, это жизнь у меня такая окаянная: ничему не верь, всё проверяй. А вы думаете, я — не рад, когда не надо проверять?

Он так устало это сказал, будто умирал. Но своим приглядчивым глазам не мог совсем отказать в проверке. И они ухватили: «1 группа — Ярославцева И. Л. — 5 марта».

— О! Пятое марта — это нам очень подходит! — оживился Олег. — Это нам полезно.

— Ну, наконец-то вы поняли, что полезно. А сколько спорили!

Это — она не поняла. Ну, ладно.

И он закатил сорочку выше локтя и свободно положил правую руку вдоль тела.

Правда, в том и была главная ослаба для его вечно-подозрительного внимания: довериться, отдаться доверию. Сейчас он знал, что эта ласковая, лишь чуть сгущённая из воздуха женщина, тихо двигаясь и каждое движение обдумывая, не ошибётся ни в чём.

И он лежал, и как бы отдыхал.

Большое слабо-солнечное, кружево-солнечное пятно на потолке заливало неровный круг. И это пятно, неизвестно от чего отражённое, тоже было ласково ему сейчас, украшало чистую тихую комнату.

А Вера Корнильевна коварно вытянула у него из вены иглоу сколько-то крови, крутила центрифугу, разбрасывала на тарелочке четыре сектора.

— А зачем — четыре? — Он спрашивал лишь потому, что всю жизнь привык везде спрашивать. Сейчас-то ему даже и лень была знать — зачем.

— Один — на совместимость, а три — проверить станцию по группе. На всякий случай.

— А если группа совпадает — какая ещё совместимость?

— А — не свёртывается ли сыворотка большого от крови донора. Редко, но бывает.

— Вон что. А вертите зачем?

— Эритроциты отбрасываем. Всё вам надо знать.

Да можно и не знать. Олег смотрел на потолочное мреющее пятно. Всего на свете не узнаешь. Всё равно дураком помрёшь.

Сестра с белой короной вставила в защелки стойки опрокинутую пятомартовскую ампулу. Потом под локоть ему подложила подушечку. Резиновым красным жгутом затянула ему руку выше локтя и стала скручивать, следя японскими глазами, сколько будет довольно.

Странно, что в этой девочке ему повиделась какая-то загадка. Никакой нет, девчёнка как девчёнка.

Подошла Гангарт со шприцем. Шприц был обыкновенный и наполнен прозрачной жидкостью, а игла необыкновенная: трубка, а не игла, трубка с треугольным концом. Сама по себе трубка ничего, если только её тебе вгонять не будут.

— У вас вены хорошо видно, — заговаривала Вера Корнильевна, а сама подёргивала одной бровью, ища. И с усилием, со слышным, кажется, прорывом кожи, ввела чудовищную иглу. — Вот и всё.

Тут много было ещё непонятного: зачем крутили жгутом выше локтя? Зачем в шприце была жидкость как вода? Можно было спрашивать, а можно и самому голову потрудить: наверно, чтоб воздух не ринулся в вену и чтобы кровь не ринулась в шприц.

А тем временем игла осталась у него в вене, жгут ослабили, сняли, шприц ловко отъяли, сестра стряхнула над тазиком окончность прибора, сбрасывая из него первую кровь — и вот уже Гангарт приставила к игле вместо шприца этот наконечник, и держала так, а сама наверху чуть отвернула винт.

В стеклянной расширенной трубке прибора стали медленно, по одному, подниматься сквозь прозрачную жидкость прозрачные пузырьки.

Как пузырьки эти всплывали, так и вопросы, один за другим: зачем такая широкая игла? зачем стряхивали кровь? к чему эти пузырьки? Но один дурак столько задаст вопросов, что сто умных не управятся ответить.

Если уж спрашивать, то хотелось о чём-то другом.

Всё в комнате было как-то празднично, и это белесо-солнечное пятно на потолке особенно.

Игла была введена надолго. Уровень крови в ампуле почти не уменьшался. Совсем не уменьшался.

— Я вам нужна, Вера Корнильевна?— вкрадчиво спросила сестра-японочка, слушая свой голос.

— Нет, не нужны,— тихо ответила Гангарт.

— Я схожу тут... На полчаса можно?

— Мне не нужны.

И сестра почти убежала с белой короной.

Они остались вдвоём.

Медленно поднимались пузырьки. Но Вера Корнильевна тронула винт — и они перестали подниматься. Не стало ни одного.

— Вы закрыли?

— Да.

— А зачем?

— Вам опять надо знать?— улыбнулась она. Но поощрительно.

Было очень тихо в перевязочной — старые стены, добротные двери. Можно было говорить лишь чуть громче шёпота, просто выдыхать без усилия и тем говорить. Так и хотелось.

— Да характер проклятый. Всегда хочется знать больше, чем разрешено.

— Хорошо пока ещё хочется...— заметила она. Губы её никогда не оставались равнодушны к тому, что они произносили. Крохотными движениями — изгибом, не одинаковым слева и справа, чуть вывертом, чуть передёргом, они поддерживали мысль и уясняли.— Полагается после первых двадцати пяти кубиков сделать значительную паузу и посмотреть, как чувствует себя больной.— Она всё ещё одной рукой держала наконечник у иглы. И с лёгким раздвигом улыбки, приветливо и изучающе, смотрела в глаза Олегу, нависая над ним:— Как вы себя чувствуете?

— В данный момент — прекрасно.

— Это не сильно сказано — «прекрасно»?

— Нет, действительно прекрасно. Гораздо лучше, чем «хорошо».

— Озноба, неприятного вкуса во рту — не чувствуете?

— Нет.

Ампула, игла и переливание — это была их общая соединяющая работа над кем-то ещё третьим, кого они вдвоём дружно лечили и хотели вылечить.

— А — не в данный момент?

— А не в данный?— Чудесно вот так долго-долго смотреть друг другу в глаза, когда есть законное право смотреть, когда отводить не надо.— А вообще — совсем неважно.

— Но в чём именно? В чём?..

Она спрашивала с участием, с тревогой, как друг. Но — заслужила удар. И Олег почувствовал, что сейчас этот удар нанесёт. Что как ни мягки светло-кофейные глаза, а удара не избежать.

— Неважно — морально. Неважно — в сознании, что я плачу за жизнь слишком много. И что даже вы — способствуете этому и меня обманываете.

— Я??

Когда глаза неотрывно-неотрывно смотрят друг в друга, появляется совсем новое качество: увидишь такое, что при беглом скольжении не открывается. Глаза как будто теряют защитную цветную оболочку, и всю правду выбрызгивают без слов, не могут её удержать.

— Как вы могли так горячо меня уверять, что уколы — нужны, но я не пойму их смысла? А что там понимать? Гормонотерапия — что там понимать?

Это, конечно, было нечестно: вот так застигнуть беззащитные глаза. Но только так и можно было спросить по-настоящему. Что-то в них запрыгало, растерялось.

И доктор Гангарт — нет, Вега — убрала глаза.

Как утягивают с поля не до конца разбитую роту.

Она посмотрела на ампулу — но что там смотреть, ведь кровь перекрыта? Посмотрела на пузырьки — но не шли же и пузырьки.

И открыла винт. Пузырьки пошли. Пожалуй, была пора.

Она пальцами провела по резиновой трубке, свисающей от прибора к игле, — как бы помогая разогнать все задержки в трубке. Ещё — ваты подложила под наконечник, чтоб трубка не гнулась ничуть. Ещё — лейкопластырь оказался у неё тут же, и полоской пластыря она приклеила наконечник к его руке. И ещё — резиновую трубку завела меж его пальцев, пальцев этой же руки, свободно выставленных кверху как крючки, — и так стала трубка сама держаться.

И теперь Вега могла совсем не держать и не стоять около него, и не смотреть в глаза.

С лицом омрачённым, строгим, она отрегулировала пузырьки чуть чаще, сказала:

— Вот так, не шевелитесь.

И ушла.

Она не из комнаты ушла — только из кадра, охваченного его глазом. Но так как он не должен был шевелиться, то осталось в его окоёме: стойка с приборами; ампула с коричневой кровью; светлые пузырьки; верхи солнечных окон; отражения шестиклеточных окон в матовом плафоне лампы; и весь просторный потолок с мерцающим слабо-солнечным пятном.

А Веги — не стало.

Но вопрос ведь упал — как неловко переданный, небережённый предмет.

И она его не подхватила.

Доставалось Олегу же возиться с ним и дальше.

И, глядя в потолок, он стал медленно думать вслух:

— Ведь если и так уже потеряна вся жизнь. Если в самих костях сидит память, что я — вечный арестант, вечный ээк. Если судьба мне и не сулит лучшего ничего. Да ещё сознательно, искусственно убить во мне и эту возможность — зачем такую жизнь спасать? Для чего?

Вега всё слышала, но была за кадром. Может, и лучше: легче было говорить.

— Сперва меня лишили моей собственной жизни. Теперь лишают и права... продолжить себя. Кому и зачем я теперь буду?.. Худший из уродов! На милость?.. На милостыню?..

Молчала Вега.

А это пятно на потолке — оно почему-то иногда вздрагивало: пожималось краями, что ли, или какая-то морщина переходила по нему, будто оно тоже думало, и не понимало. И становилось неподвижным опять.

Булькали прозрачные весёлые пузырьки. Кровь понижалась в ампуле. Уже четвёртая часть её перелилась. Женская кровь. Кровь Ярославцевой, Ирины. Девушки? старушки? студентки? торговки? — Милостыня...

И вдруг Вега, оставаясь невидимой, — не возразила, а вся рванулась где-то там:

— Да ведь неправда же!.. Да неужели вы так думаете? Я не поверю, что это думаете вы!.. Проверьте себя! Это — заимствованные, это — несамостоятельные настроения!

Она говорила с энергией, которой он в ней не слышал ни разу. Она говорила с задетостью, которой он в ней не ждал.

И вдруг оборвалась, замолчала.

— А как надо думать? — попробовал осторожно вызвать Олег.

У, какая была тишина! — лёгкие пузырьки в закрытом баллончике — и те позванивали.

Ей трудно было говорить! Голосом изломившимся, сверх силы, она перетягивалась через ров.

— Должен кто-то думать и иначе! Пусть кучка, горсточка — но иначе! А если только так — то среди кого ж тогда жить? Зачем?.. И можно ли!..

Это последнее, перетянувшись, она опять выкрикнула с отчаянием. И как толкнула его своим выкриком. Как толкнула изо всех силёнок, чтоб он долетел, косный, тяжёлый — куда одно спасенье было долететь.

И как камень из лихой мальчишеской пращи — подсолнечного будылька, удлинившего руку; да даже и как снаряд из этих долговольных пушек последнего фронтового года — ухнувший, свистнувший, и вот хлопающий, хлопающий в высоком воздухе снаряд, — Олег взмыл и полетел по сумасшедшей параболе, вырываясь из затверженного, отменяя перенятое — над одной пустыней своей жизни, над второй пустыней своей жизни — и перенёсся в давнюю какую-то страну.

В страну детства! — он не узнал её сразу. Но как только узнал моргнувшими, ещё мутными глазами, он уже был пристыжен, что ведь и он мальчишкой так думал когда-то, а сейчас не он ей, а она ему должна была сказать как первое, как открытие.

И ещё что-то вытягивалось, вытягивалось из памяти — сюда, к случаю этому, скорее надо было вспомнить — и он вспомнил!

Вспомнил быстро, но заговорил рассудительно, перетирая:

— В двадцатые годы имели у нас шумный успех книги некоего доктора Фридлянда, венеролога. Тогда считалось очень полезным открывать глаза — и вообще населению, и молодёжи. Это была как бы санитарная пропаганда о самых неназываемых вопросах. И вообще-то, наверно, это нужно, это лучше, чем лицемерно молчать. Была книга «За закрытой дверью», ещё была — «О страданиях любви». Вам... не приходилось их читать? Ну... хотя б уже как врачу?

Булькали редкие пузырьки. Ещё может быть — дыхание слышалось из-за кадра.

— Я прочёл, признаюсь, что-то очень рано, лет наверно двенадцати. Украдкой от старших, конечно. Это было чтение потрясающее, но — опустошающее. Ощущение было... что не хочется даже жить...

— Я — читала, — вдруг было отвечено ему без выражения.

— Да? да? и вы? — обрадовался Олег. Он сказал «и вы», как будто и сейчас первый на том стоял. — Такой последовательный, логический, неотразимый материализм, что, собственно... зачем же жить? Эти точные подсчёты в процентах, сколько женщин ничего не испытывают, сколько испытывают восторг. Эти истории, как женщины... ища себя, переходят из категории в категорию... — Вспоминая всё новое, он воздух втянул, как ушибившись или ожегшись. — Эта бессердечная уверенность, что всякая психология в супружестве вторична, и берётся автор одной физиологией объяснить любое «не сошлись характерами». Ну, да вы, наверно, всё помните. Вы когда читали?

Не отвечала.

Не надо было допрашивать. И вообще, наверно, он слишком грубо и прямо всё высказал. Никакого не было у него навыка разговаривать с женщинами.

Странное бледно-солнечное пятно на потолке вдруг зарыбило, где-то сверкнуло ярко-серебряными точками, и они побежали. И по

этой бегущей ряби, по крохотным волнышкам, понял, наконец, Олег, что загадочная возвышенная туманность на потолке была просто отблеском лужи, не высохшей за окном у забора. Преображением простой лужи. А сейчас начал дуть ветерок.

Молчала Вега.

— Вы простите меня, пожалуйста!— повинился Олег. Ему приятно, даже сладко было перед ней виниться.— Я как-нибудь не так это сказал...— Он пытался вывернуть к ней голову, но не видел всё равно.— Ведь это уничтожает всё человеческое на земле. Ведь если этому поддаться, если это всё принять...— Он теперь с радостью отдавался своей прежней вере и убеждал — её!

И Вега вернулась! Она вступила в кадр — и ни того отчаяния, ни той резкости, которые ему прислышались,— не было в её лице, а обычная доброжелательная улыбка.

— Я и хочу, чтоб вы этого не принимали. Я и уверена была, что вы этого не принимаете.

И сияла даже.

Да это была девочка его детства, школьная подруга, как же он не узнал её!

Что-то такое дружеское, такое простое хотелось ему сказать, вроде: «дай пять!» И пожать руку — ну, как хорошо, что мы разговорились!

Но его правая была под иглой.

Назвать бы прямо — Вегой! Или Верой!

Но было невозможно.

А кровь в ампуле между тем уже снизилась, за половину. В чём-то чужом теле — со своим характером, со своими мыслями, она текла ещё на днях — и вот вливалась теперь в него, красно-коричневое здоровье. И так-таки ничего не несла с собой?

Олег следил за порхающими руками Вегги: как она подправила подушечку под локтем, вату под наконечником, провела пальцами по резиновой трубке и стала немного приподнимать с ампулой верхнюю передвижную часть стойки.

Даже не пожать эту руку, а — поцеловать хотелось бы ему.

25

Она вышла из клиники в праздничном настроении и тихо напевала, для себя одной слышимо, с закрытым ртом. В светло-песочном демисезонном пальто, уже без бот, потому что везде на улицах было сухо, она чувствовала себя легко, всю себя и ноги особенно — так невесомо шлось, можно было весь город наискосок.

Такой же солнечный, как день, был и вечер, хотя уже прохладнел, а очень отдавал весной. Дико было бы лезть в автобус, душиться. Хотелось только идти пешком.

И она пошла.

Ничего в их городе не бывало красивее цветущего урюка. Вдруг захотелось ей сейчас, в обгон весны, непременно увидеть хоть один цветущий урюк — на счастье, за забором где-нибудь, за дувалом, хоть издали, эту воздушную розовость не спутать ни с чем.

Но — рано было для того. Деревья только чуть отзеленивали от серого: был тот момент, когда зелёный цвет уже не отсутствует в дереве, но серого ещё гораздо больше. И где за дувалом был виден клочок сада, отстоянного от городского камня,— там была лишь сухая рыжеватая земля, вспаханная первым кетменём.

Было — рано.

Всегда, как будто спеша, Вера садилась в автобус — умащивалась на разбитых пружинах сиденья или дотягивалась пальцами до поручня, висла так и думала: нич-чего не хочется делать, вечер впереди — а ничего не хочется делать. И вопреки всякому разуму часы вечера

надо только убить, а утром в таком же автобусе спешить опять на работу.

Сегодня же она неторопливо шла — и ей всё-всё хотелось делать! Сразу выступило много дел — и домашних, и магазинных, и, пожалуй, швейных, и библиотечных, и просто приятных занятий, которые совсем не были ей запрещены или преграждены, а она почему-то избегала их до сих пор. Теперь всё это ей хотелось, даже сразу! Но она, наоборот, ничуть не спешила ехать и делать их скорей, ни одного из них, а — шла медленно, получая удовольствие от каждого переступа туфелькой по сухому асфальту.

Она шла мимо магазинов, ещё не закрытых, но ни в один не зашла купить, что ей было нужно из еды или из обихода. Проходила мимо афиш, но ни одну из них не прочла, хотя их-то и хотелось теперь читать.

Просто так вот шла, долго шла, и в этом было всё удовольствие. И иногда улыбалась.

Вчера был праздник — но подавленной и презренной ощущала она себя. А сегодня рабочий будний день — и такое лёгкое счастливое настроение.

Праздник в том, чтобы почувствовать себя правой. Твои затаённые, твои настойчивые доводы, осмеянные и непризнанные, ниточка твоя, на которой одной ты ещё висишь — вдруг оказываются тросом стальным, и его надёжность признаёт, уверенно виснет и сам на него такой бывалый, недоверчивый, неподатливый человек.

И как в вагончике подвесной канатной дороги над немыслимой пропастью человеческого непонимания, они плавно скользят, поверив друг другу.

Это просто восхитило её! Ведь мало знать, что ты — нормальная, не сумасшедшая, но и услышать, что — да, нормальная, не сумасшедшая, и от кого! Хотелось благодарить его, что он так сказал, что он сохранился такой, пройдя провалы жизни.

Благодарить, а пока что оправдываться перед ним — за гормонотерапию. Фридлянда он отвергал, но и гормонотерапию тоже. Здесь было противоречие, но логику спрашивают не с больного, а с врача.

Было здесь противоречие, не было здесь противоречия — а надо было убедить его подчиниться этому лечению! Невозможно было отдать этого человека — назад опухоли! Всё ярее разгорался у неё азарт: переубедить, переупрямить и вылечить именно этого больного! Но чтобы такого огрызливого упрянца снова и снова убеждать, надо было очень верить самой. А ей самой при его упреке вдруг прояснилось, что гормонотерапия введена у них в клинике по единой всесоюзной инструкции для широкого класса опухолей и с довольно общей мотивировкой. О том, как оправдала себя гормонотерапия в борьбе именно с семиномой, она не помнила сейчас специальной отдельной научной статьи, а их могла быть не одна, и иностранные тоже. И чтобы доказывать — надо бы все прочесть. Не так много она их вообще успевала читать...

Но теперь-то! — она всё успеет! Теперь она обязательно прочтёт.

Костогловот однажды швырнул ей, что он не видит, чем его знахарь с корешком меньше врач, что мол математических подсчётов он и в медицине не замечает. Вера тогда почти обиделась. Но потом подумала: отчасти верно. Разве, разрушая клетки рентгеном, они знают хоть приблизительно: сколько процентов разрушения падает на здоровые клетки, сколько на больные? И насколько уж это верней, чем когда знахарь зачерпывает сушёный корешок — горстью, без весов?.. А кто объяснил старинные простые горчичники? Или, все бросились лечить пенициллином — однако кто в медицине воистину объяснил, в чём суть действия пенициллина? Разве это не тёмная вода?.. Сколько тут надо следить за журналами, читать, думать!

Но теперь она всё успеет!

Вот уже — совсем незаметно, как скоро! — она была и у себя во дворе. Поднявшись на несколько ступенек на общую большую веранду с перилами, обвешанными чьими-то ковриками и половиками, пройдя по цементному полу в выбоинах, она без уныния отперла общеквартирную дверь с отодранной местами обивкой и пошла темноватым коридором, где не всякую лампочку можно было зажечь, потому что они были от разных счётчиков.

Вторым английским ключом она отперла дверь своей комнаты — и совсем не угнетающей показалась ей эта келья-камера с обрешеченным от воров окном, как все первоэтажные окна города, и где было предсумеречно сейчас, а солнце яркое заглядывало только утром. Вера остановилась в дверях, не снимая пальто, и смотрела на свою комнату с удивлением, как на новую. Здесь очень хорошо и весело можно было жить! Пожалуй только, переменить сейчас скатерть. Пыль кое-где стереть. И, может быть, на стене перевесить Петропавловскую крепость в белую ночь и чёрные кипарисы Алупки.

Но, сняв пальто и надев передник, она сперва пошла на кухню. Смутно помнилось ей, что с чего-то надо начинать на кухне. Да! Надо же было разжигать керогаз и что-нибудь себе готовить.

Однако, соседский сын, здоровый парень, бросивший школу, всю кухню перегородил мотоциклом и, свистя, разбирал его, части раскладывал по полу и мазал. Сюда падало предзакатное солнце, ещё было светло от него. Вообще-то можно было протискиваться и ходить к своему столу. Но Вере вдруг совсем не захотелось возиться тут — а только в комнате, одна с собою.

Да и есть ей не хотелось, нисколько не хотелось!

И она вернулась к себе и с удовольствием защёлкнула английский замок. Совсем ей было незачем сегодня выходить из комнаты. А в вазочке были шоколадные конфеты, вот их и грызть потихоньку...

Вера присела перед маминим комодом на корточки и потянула тяжёлый ящик, в котором лежала другая скатерть.

Но нет, прежде надо было перетереть пыль!

Но ещё прежде надо было переодеться попроще!

И каждый этот переброс Вера делала с удовольствием, как изменяющиеся в танце па. Каждый переброс тоже доставлял удовольствие, в этом и был танец.

А может быть раньше надо было перевесить крепость и кипарисы? Нет, это требовало молотка, гвоздей, а всего неприятнее делать мужскую работу. Пусть повисят пока так.

И она взяла тряпку и двигалась с нею по комнате, чуть напевая.

Но почти сразу наткнулась на приставленную к пузатому флакончику цветную открытку, полученную вчера. На лицевой стороне были красные розы, зелёные ленты и голубая восьмёрка. А на обороте чёрным машинописным текстом её поздравляли. Местком поздравлял её с международным женским днём.

Всякий общий праздник тяжёл одинокому человеку. Но невыносим одинокой женщине, у которой годы уходят, — праздник женский! Овдовелые и безмужние, собираются такие женщины хлестнуть вина и попеть, будто им весело. Тут, во дворе, бушевала вчера одна такая компания. И один чай-то муж был среди них; с ним потом, пьяные, целовались по очереди.

Желал ей местком безо всякой насмешки: больших успехов в труде и счастья в личной жизни.

Личная жизнь!.. Как личина какая-то сползающая. Как личинка мёртвая сброшенная.

Она разорвала открытку вчетверо и бросила в корзину.

Переходила дальше, перетирая то флаконы, то стеклянную пирамидку с видами Крыма, то коробку с пластинками около приёмника, то пластмассовый ребрёный чемоданчик электропроигрывателя.

Вот сейчас она могла без боли слушать любую свою пластинку. Могла поставить непереносимую:

И теперь, в эти дни,
Я, как прежде, один...

Но искала другую, поставила, включила приёмник на проигрыватель, а сама ушла в глубокое мамино кресло, ноги в чулках подобрала к себе туда же.

Пылевая тряпка так и осталась кончиком зажата в рассеянной руке и свисла вымпелом к полу.

Уже совсем было в комнате серо, и отчётливо светилась зеленоватая шкала приёмника.

Это была сюита из «Спящей красавицы». Шло адажио, потом «появление Фей».

Вега слушала, но не за себя. Она хотела представить, как должен был это адажио слушать с балкона оперного театра вымокший под дождём, распираемый болью, обречённый на смерть и никогда не видевший счастья человек.

Она поставила снова то же.

И опять.

Она стала разговаривать — но не вслух. Она воображаемо разговаривала с ним, будто он сидел тут же, через круглый стол, при том же зеленоватом свечении. Она говорила то, что ей надо было сказать, и выслушивала его: верным ухом отбирала, что он мог бы ответить. У него очень трудно предвидеть, как он вывернет, но, кажется, она привыкала.

Она досказывала ему сегодняшнее — то, что при их отношениях ещё никак сказать нельзя, а вот сейчас можно. Она развивала ему свою теорию о мужчинах и женщинах. Хемингуэевские сверх-мужчины — это существа, не поднявшиеся до человека, мелко плавают Хемингуэй. (Обязательно буркнет Олег, что никакого Хемингуэя он не читал, и даже гордо будет выставлять: в армии не было, в лагере не было.) Совсем не это надо женщине от мужчины: нужна внимательная нежность и ощущение безопасности с ним — прикрытости, укрытости.

Именно с Олегом — бесправным, лишённым всякого гражданского значения, эту защищённость почему-то испытывала Вега.

А с женщиной запутали ещё больше. Самой женственной объявили Кармен. Ту женщину объявили самой женственной, которая активно ищет наслаждения. Но это — лже-женщина, это — переодетый мужчина.

Тут ещё много надо объяснять. Но, не готовый к этой мысли, он, кажется, захвачен врасплох. Обдумывает.

А она опять ставит ту же пластинку.

Совсем уже было темно, и забыла она перетирать дальше. Всё глубже, всё значительней зеленела на комнату светящая шкала.

Зажигать света никак, ни за что не хотелось, а надо было обязательно посмотреть.

Однако эту рамочку она уверенной рукой и в полутьме нашла на стене, ласково сняла и поднесла к шкале. Если б шкала и не давала своей звёздной зелени, и даже погасла сейчас, — Вера продолжала бы различать на карточке всё: это мальчишеское чистенькое лицо; незащищённую светлость ещё ничего не выдавших глаз; первый в жизни галстук на беленькой сорочке; первый в жизни костюм на плечах — и, не жалея пиджачного отворота, ввинченный строгий значок: белый кружок, в нём чёрный профиль. Карточка — шесть на девять, значок совсем крохотный, и всё же днём отчётливо видно, а на память видно и сейчас, что профиль этот — Ленина.

«Мне других орденов не надо», — улыбался мальчик.

Этот мальчик и придумал звать её Вегой.

Цветёт агавы один раз в жизни и вскоре затем — умирает.

Так полюбила и Вера Гангарт. Совсем юненькой, ещё за партией.

А его — убили на фронте.

И дальше эта война могла быть какой угодно: справедливой, героической, отечественной, священной, — для Веры Гангарт это была последняя война. Война, на которой вместе с женихом убили и её.

Она так хотела, чтоб её теперь тоже убили! Она сразу же, бросив институт, хотела идти на фронт. Но как немку её не взяли.

Два, и три месяца первого военного лета они ещё были вместе. И ясно было, что скоро-скоро он уйдёт в армию. И теперь, спустя поколение, объяснить никому невозможно: как могли они не пожениться? Да не женясь — как могли они проронить эти месяцы — последние? единственные? Неужели ещё что-то стояло перед ними, когда всё трещало и ломилось?

Да, стояло.

А теперь этого ни перед кем не оправдаешь. Даже перед собой. «Вера! Вера моя! — кричал он с фронта. — Я не могу умереть, оставив тебя не своей. Сейчас мне уже кажется: если бы вырваться только на три дня — в отпуск! в госпиталь! — мы бы поженились! Да? Да?»

«Пусть это тебя не разрывает. Я никогда ничьей и не буду. Твоя».

Так уверенно писала она. Но — живому!

А его — не ранили, он ни в госпиталь, ни в отпуск не попал. Его — убили сразу.

Он умер, а звезда его — горела. Всё горела...

Но шёл её свет впустую.

Не та звезда, от которой свет идёт, когда сама она уже погасла. А та, которая светит, ещё в полную силу светит, но никому её свет уже не виден и не нужен.

Её не взяли — тоже убить. И приходилось жить. Учиться в институте. Она в институте даже была старостой группы. Она первая была — на уборочную, на приборочную, на воскресник. А что ей оставалось делать?

Она кончила институт с отличием, и доктор Орещенков, у которого она проходила практику, был очень ею доволен (он и посоветовал её Донцовой). Это только и стало у неё: лечить, больные. В этом было спасение.

Конечно, если мыслить на уровне Фридлянда, то — вздор, аномалия, сумасшествие: помнить какого-то мёртвого и не искать живого. Этого никак не может быть, потому что неотменимы законы тканей, законы гормонов, законы возраста.

Не может быть? — но Вера-то знала, что они в ней все отменились!

Не то, чтоб она считала себя навечно связанной обещанием: «всегда твоя». Но и это тоже: слишком близкий нам человек не может умереть совсем, а значит — немного видит, немного слышит, он — присутствует, он есть. И увидит бессильно, бессловно, как ты обманываешь его.

Да какие могут быть законы роста клеток, реакций и выделений; при чём они, если: другого такого человека нет! Нет другого такого! При чём же тут клетки? При чём тут реакции?

А просто с годами мы тупеем. Устаём. У нас нет настоящего таланта ни в горе, ни в верности. Мы сдаём их времени. Вот поглощать всякий день еду и облизывать пальцы — на этом мы неуступчивы. Два дня нас не покорми — мы сами не свои, мы на стенку лезем.

Далеко же мы ушли, человечество!

Не изменилась Вера, но сокрушилась. И умерла у неё мать, а с матерью только вдвоём они жили. Умерла же мать потому, что сокрушилась тоже: сын её, старший брат Веры, инженер, был в сороковом году посажен. Несколько лет ещё писал. Несколько лет слали ему посылки куда-то в Бурят-Монголию. Но однажды пришло невнятное

извещение с почты, и мать получила назад свою посылку, с несколькими штампами, с перечёркиванием. Она несла посылку домой как гробик. Он, когда только родился, почти мог поместиться в этой корбочке.

Это и сокрушило мать. А ещё — что невестка скоро вышла замуж. Мать этого совсем не понимала. Она понимала Веру.

И осталась Вера одна.

Не одна, конечно, не единственная, а — из миллионов одна.

Было столько одиноких женщин в стране, что даже хотелось на глазок прикинуть по знакомым: не больше ли, чем замужних? И эти женщины одинокие — они все были её ровесницы. Десять возрастов подряд. Ровесницы тех, кто лёг на войне.

Милосердная к мужчинам, война унесла их. А женщин оставила домучиваться.

А кто из-под обломков войны притащился назад неженатый — тот не ровесник уже выбирал, тот выбирал моложе. А кто был младше на несколько лет — тот младше был на целое поколение, ребёнок: по нему не проползла война.

И так, никогда не сведенные в дивизии, жили миллионы женщин, пришедшие в мир ни для чего. Огрех истории.

Но и из них ещё не обречены были те, кто был способен принимать жизнь auf die leichte Schulter.*

Шли долгие годы обычной мирной жизни, а Вега жила и ходила как в постоянном противогазе, с головой, вечно стянутой враждебной резиной. Она просто одурела, она ослабла в нём — и сорвала противогаз.

Это выглядело так, что стала она человечнее жить: разрешила себе быть приятной, внимательно одевалась, не убегала от встреч с людьми.

Есть высокое наслаждение в верности. Может быть — самое высокое. И даже пусть о твоей верности не знают. И даже пусть не ценят.

Но чтоб она двигала что-то!

А если — ничего не движет? Никому не нужна?..

Как ни велики круглые глаза противогаза — через них плохо и мало видно. Без противогазных стёкол Вега могла бы рассмотреть лучше.

Но — не рассмотрела. Безопытная, она ударилась больно. Непредосторожная, оступилась. Эта короткая недостойная близость не только не облегчила, не осветила её жизни, — но перепятнала, но унизила, но цельность её нарушила, но стройность разломила.

А забыть теперь невозможно. А стереть нельзя.

Нет, принимать жизнь лёгкими плечами — не её была участь. Чем хрупче удался человек, тем больше десятков, даже сотен совпадающих обстоятельств нужно, чтоб он мог сблизиться с подобным себе. Каждое новое совпадение лишь на немного увеличивает близость. Зато одно единственное расхождение может сразу всё развалить. И это расхождение так рано всегда наступает, так явственно выдвигается. Совсем не у кого было почерпнуть: как же быть? как же жить?

Сколько людей, столько дорог.

Очень ей советовали взять на воспитание ребёнка. Подолгу и обстоятельно она толковала с разными женщинами об этом, и уже склонили её, уже она загорелась, уже наезжала в детприёмники.

И всё-таки отступилась. Она не могла полюбить ребёнка вот так сразу — от решимости, от безвыходности. Опаснее того: она могла разлюбить его позже. Ещё опаснее: он мог вырасти совсем чужой.

Вот если бы собственную, настоящую дочь! (Дочь, потому что её можно вырастить по себе, мальчика так не вырастишь.)

* С лёгкостью (идиом.— на лёгкие плечи).

Но ещё раз пройти этот вязкий путь с чужим человеком она тоже не могла.

Она просидела в кресле до полуночи, ничего не сделав из того, что с вечера просилось в руки, и света даже не зажжа. Вполне было ей светло от шкалы приёмника — и очень хорошо думалось, глядя на эту мягкую зелень и чёрные чёрточки.

Она слушала много пластинок и самые щемящие из них выслушала легко. И — марши слушала. И марши были — как триумфы, во тьме внизу проходящие перед ней. А она в старом кресле с высокой торжественной спинкой, подобрав под себя бочком лёгкие ноги, сидела победительницей.

Она прошла через четырнадцать пустынь — и вот дошла. Она прошла через четырнадцать лет безумия — и вот оказалась права!

Именно сегодня новый законченный смысл приобрела её многолетняя верность.

Почти-верность. Можно принять как верность. В главном — верность.

Но именно теперь она ощутила умершего как мальчика, не как сегодняшнего сверстника, не как мужчину — без этой косной тяжести мужской, в которой только и есть пристанище женщине. Он не видел ни всей войны, ни конца её, ни потом многих тяжёлых лет, он остался юношей с незащищёнными чистыми глазами.

Она легла — и не сразу спала, и не тревожилась, что мало сегодня поспит. А когда заснула, то ещё просыпалась, и виделось ей много снов, что-то уж очень много для одной ночи. И некоторые из них совсем были ни к чему, а некоторые она старалась удержать при себе до утра.

Утром проснулась — и улыбалась.

В автобусе её теснили, давили, толкали, наступали на ноги, но она без обиды терпела всё.

Надев халат и идя на пятиминутку, она с удовольствием увидела ещё издали во встречном нижнем коридоре крупную сильную и мило-смешную фигуру гориллоида — Льва Леонидовича, она ещё не видела его после Москвы. Как бы непомерно тяжёлые, слишком большие руки свисали у него, чуть не перетягивая и плеч, и были как будто пороком фигуры, а на самом деле украшением её. На его эшелонированной голове с оттянутым назад куполом, и очень крупной лепкой, сидела белая шапочка-пилотка — как всегда небрежно, никчемушне, с какими-то ушками, торчащими сзади, и с пустой смятой вершинкой. Грудь же его, обтянутая неразрезным халатом, была как грудь танка, выкрашенного под снег. Он шёл, как всегда щурясь, с угрозно-строгим выражением, но Вера знала, что лишь немного надо переместиться его чертам — и это будет усмешка.

Так они и переместились, когда Вера и Лев Леонидович разом вышли из встречных коридоров и сошлись у низа лестницы.

— Как я рада, что ты вернулся! Тебя тут просто не хватало! — первая сказала ему Вера.

Он явственной улыбнулся и опущенной рукой там где-то внизу поймал её за локоть, повернул на лестницу.

— Что ты такая весёлая? Обрадуй меня.

— Да нет, просто так. Ну, как съездил?

Лев Леонидович вздохнул:

— И хорошо, и расстройство. Бередит Москва.

— Ну, расскажешь подробно.

— Пластинок тебе привёз. Три штуки.

— Что ты? Какие?

— Ты же знаешь, я этих Сен-Сансов путаю... В общем, в ГУМе теперь отдел долгоиграющих, я твой списочек отдал, она мне три штуки завернула. Завтра принесу. Слушай, Веруся, пойдём сегодня на суд.

— На какой суд?

— Ничего не знаешь? Хирурга будут судить, из третьей больницы.

— Настоящий суд?

— Пока товарищеский. Но следствие шло восемь месяцев.

— А за что же?

Сестра Зоя, сменившаяся с ночного дежурства, спускалась по лестнице и поздоровалась с обоими, крупно сверкнув жёлтыми ресницами.

— После операции умер ребёнок... Я пока с московским разгромом — обязательно пойду, чего-нибудь нашумлю. А неделю дома поживёшь — уже хвост поджимается. Пойдём?

Но Вера не успела ни ответить, ни решить: уже надо было входить в комнату пятиминуток с зачехлёнными креслицами и ярко-голубой скатертью.

Вера очень ценила свои отношения со Львом. Наряду с Людмилой Афанасьевной это был самый близкий тут ей человек. В их отношениях то было дорогое, что таких почти не бывает между неженатым мужчиной и незамужней женщиной: Лев никогда ни разу не посмотрел особенно, не намекнул, не переступил, не позарился, уж тем более — она. Их отношения были безопасно-дружеские, совсем не напряжённые: одно всегда избегалось, не называлось и не обсуждалось между ними — любовь, женитба и всё вокруг, как будто их на земле совсем не было. Лев Леонидович, наверно, угадывал, что именно такие отношения и нужны Вере. Сам он был когда-то женат, потом неженат, потом с кем-то «в дружбе», женская часть диспансера (то есть, весь диспансер) любила обсуждать его, а сейчас, кажется, подозревали, не в связи ли он с операционной сестрой. Одна молодая хирургичка — Анжелика, точно это говорила, но её самое подозревали, что она добивается Льва для себя.

Людмила Афанасьевна всю пятиминутку угловатое что-то чертила на бумаге и даже прорывала пером. А Вера, наоборот, сидела сегодня спокойно, как никогда. Небывалую уравновешенность она чувствовала в себе.

Кончилось заседание — и она начала обход с большой женской палаты. У неё там было много больных, и Вера Корнильевна всегда долго их обходила. К каждой она садилась на койку, осматривала или негромко разговаривала, не претендуя, чтобы всё это время палата молчала, потому что затяжно было получилось, да и невозможно было женщин удерживать. (В женских палатах надо было быть ещё тактичнее, ещё осмотрительнее, чем в мужских. Здесь не было так безусловно её врачебное значение и отличие. Стоило ей появиться в несколько лучшем настроении, или слишком отдалиться бодрым заверениям, что всё кончится хорошо — так, как этого требовала психотерапия — и уже ощущала она неприкрытый взгляд или косвенную завесу зависти: «Тебе-то что! Ты — здорова. Тебе — не понять»). По той же психотерапии внушала она больным потерявшимся женщинам не перестаивать следить за собой в больнице, укладывать причёски, подкрашиваться — но недобро бы встретили её, если б она увлеклась этим сама.)

Так и сегодня шла она от кровати к кровати, как можно скромнее, собраннее, и по привычке не слышала общего гулка, а только свою пациентку. Вдруг какой-то особенно расхлябанный, разляпистый голос раздался от другой стены:

— Ещё какие больные! Тут больные есть — кобелируют будь здоров! Вот этот лохматый, что ремнём подпоясан — как ночное дежурство, так Зойку, медсестру, тискает!

— Что?.. Как?.. — переспросила Гангарт свою больную. — Ещё раз, пожалуйста.

Больная начала повторять.

(А ведь Зоя дежурила сегодня ночью! Сегодня ночью, пока горела зелёная шкала...)

— Вы простите меня, я вас попрошу: ещё раз, с самого начала, и обстоятельно!

26

Когда волнуется хирург, не новичок? Не в операциях. В операции идёт открытая честная работа, известно что за чем, и надо только стараться всё вырезаемое убирать порадикальнее, чтобы не жалеть потом о недоделках. Ну, разве иногда внезапно осложнится, хлынет кровь, и вспомнишь, что Резерфорд умер при операции грыжи. Волнения же хирурга начинаются после операции, когда почему-то держится высокая температура или не спадает живот, и теперь, на хвосте упускаемого времени, надо без ножа мысленно вскрыть, увидеть, понять и исправить — как свою ошибку. Бесплезнее всего валить послеоперационное осложнение на случайную побочную причину.

Вот почему Лев Леонидович имел привычку ещё до пятиминутки забегать к своим послеоперационным, глянуть одним глазом.

В канун операционного дня предстоял долгий общий обход и не мог Лев Леонидович ещё полтора часа не знать, что с его желудочным и что с Дёмкой. Он заглянул к желудочному — всё было неплохо; сказал сестре, чем его поить и по сколько. И в соседнюю крохотную комнатку, всего на двоих, заглянул к Дёмке.

Второй здесь поправлялся, уже выходил, а Дёмка лежал серый, укрытый по грудь, на спине. Он смотрел в потолок, но не успокоенно, а тревожно, собрав с напряжением все мускулы вокруг глаз, как будто что-то мелкое хотел и не мог разглядеть на потолке.

Лев Леонидович молча остановился, чуть ноги расставив, чуть избоку к Дёмке, и развесив длинные руки, правую даже отведя немного, смотрел исподлобья, будто примерялся: а если Дёмку сейчас трахнуть правой снизу в челюсть — так что будет?

Дёмка повернул голову, увидел — и рассмеялся.

И угрозно-строгое выражение хирурга тоже легко раздвинулось в смех. И Лев Леонидович подмигнул Дёмке одним глазом как парню своему, понимающему:

— Значит, ничего? Нормально?

— Да где ж нормально?— Много мог пожаловаться Дёмка. Но, как мужчина мужчине жаловаться было не на что.

— Грызёт?

— У-гм.

— И в том же месте?

— У-гм.

— И ещё долго будет, Дёмка. Ещё на будущий год будешь за пустое место хвататься. Но когда грызёт, ты всё-таки вспоминай: не т у! И будет легче. Главное то, что теперь ты будешь ж и т ь, понял? А н о г а — т у д а!

Так облегчённо это сказал Лев Леонидович! И действительно, сразу гнетучую — туда её! Без неё легче.

— Ну, мы ещё у тебя будем!

И уметнулся на пятиминутку — уже последний, опаздывая (Низамутдин не любил опозданий), быстро расталкивая воздух. Халат на нём был спереди кругло-охватывающий, сплошной, а сзади полы никак не сходились, и поворозки перетягивались через спину пиджака. Когда он шёл по клинике один, то всегда быстро, по лестнице через ступеньку, с простыми крупными движениями рук и ног — и именно по этим крупным движениям судили больные, что он тут не околачивается и не для себя время проводит.

А дальше началась пятиминутка на полчаса. Низамутдин достойно (для себя) вошёл, достойно (для себя) поздоровался и стал с прищипкой (для себя) неторопливо вести заседание. Он явно прислу-

шивался к своему голосу и при каждом жесте и повороте очевидно видел себя со стороны — какой он солидный, авторитетный, образованный и умный человек. В его родном ауле о нём творили легенды, известен он был и в городе, и даже в газете о нём упоминали иногда.

Лев Леонидович сидел на отставленном стуле, заложив одну длинную ногу за другую, а растопыренные лапы всунул под жгут белого пояса, завязанного у него на животе. Он криво хмурился под своей шапочкой-пилоткой, но так как он перед начальством чаще всего и бывал хмур, то главврач не мог принять этого на свой счёт.

Главврач понимал своё положение не как постоянную, неусыпную и изнурительную обязанность, но как постоянное красование, награды и клавиатуру прав. Он назывался главврач и верил, что от этого названия он действительно становится главный врач, что он тут понимает больше остальных врачей, ну, может быть не до самых деталей, что он вполне вникает, как его подчинённые лечат, и только поправляя и руководя, оберегает их от ошибок. Вот почему он так долго должен был вести пятиминутку, впрочем, очевидно, приятную и для всех. И поскольку права главврача так значительно и так удачно перевешивали его обязанности, он и на работу к себе в диспансер принимал — администраторов, врачей или сестёр — очень легко: именно тех, о ком звонили ему и просили из облздрави, или из горкома, или из института, где он рассчитывал вскоре защитить диссертацию; или где-нибудь за ужином в хорошую минуту кого он пообещал принять; или если принадлежал человек к той же ветви древнего рода, что и он сам. А если начальники отделений возражали ему, что новоприятый ничего не знает и не умеет, то ещё более них удивлялся Низамутдин Бахрамович: «Так научите, товарищи! А вы-то здесь зачем?»

С той сединой, которая с известного десятка лет равнодушно-благородным нимбом окружает головы талантов и тупиц, самоотверженцев и загребал, трудяг и бездельников; с той представительностью и успокоенностью, которыми вознаграждает нас природа за неиспытанные муки мысли; с той круглой ровной смуглостью, которая особенно идёт к седине, — Низамутдин Бахрамович рассказывал своим медицинским работникам, что плохо в их работе и как вернее им бороться за драгоценные человеческие жизни. И на казённых прямоспинных диванах, на креслах и на стульях за скатертью синевы павлиньего пера, сидели и с видимым вниманием слушали Низамутдина — те, кого ещё он не управился уволить, и те, кого он уже успел принять.

Хорошо видный Льву Леонидовичу, сидел курчавый Халмухамедов. У него был вид как будто с иллюстраций к путешествиям капитана Кука, будто он только что вышел из джунглей: дремучи выросли сплелись на его голове, чёрно-угольные вкрапины отмечали бронзовое лицо, в дико-радостной улыбке открывались крупные белые зубы и лишь не было — но очень не хватало — кольца в носу. Да дело было, конечно, не в виде его, как и не в аккуратном дипломе мединститута, а в том, что ни одной операции он не мог вести, не загубя. Раза два допустил его Лев Леонидович — и навсегда закаялся. А изгнать его тоже было нельзя — это был бы подрыв национальных кадров. И вот Халмухамедов четвёртый год вёл истории болезни, какие попроще, с важным видом присутствовал на обходах, на перевязках, дежурил (спал) по ночам и даже последнее время занимал полторы ставки, уходя, впрочем, в конце одинарного рабочего дня.

Ещё сидели тут две женщины с дипломами хирургов. Одна была — Пантёхина, чрезвычайно полная, лет сорока, всегда очень озабоченная — тем озабоченная, что у неё росло шестеро детей от двух мужей, а денег не хватало, да и догляду тоже. Эти заботы не сходили с её лица и в так называемые служебные часы — то есть, те часы, которые она должна была для зарплаты проводить в помещении дис-

пансера. Другая — Анжелина, молоденькая, третий год из института, маленькая, рыженькая, недурна собой, возненавидевшая Льва Леонидовича за его невнимание к ней и теперь в хирургическом отделении главный против него интриган. Обе они ничего не могли делать выше амбулаторного приёма, никогда нельзя было доверить им скальпеля — но тоже были важные причины, по которым ни ту, ни другую главврач не уволил бы никогда.

Так числилось пять хирургов в отделении, и на пять хирургов рассчитывались операции, а делать могли только двое.

И ещё сёстры сидели тут, и некоторые были под стать этим врачам, но их тоже принял и защищал Низамутдин Бахрамович.

Порою так всё стискивало Льва Леонидовича, что работать тут становилось больше нельзя ни дня, надо было только рвать и уходить! Но куда ж уходить? Во всяком новом месте будет свой главный, может ещё похуже, и своя надутая чушь, и свои неработники вместо работников. Другое дело было бы принять отдельную клинику и в виде оригинальности всё поставить только на деловую ногу: чтобы все, кто числились — работали, и только б тех зачислять, кто нужен. Но не таково было положение Льва Леонидовича, чтобы ему доверили стать главным, или уж где-нибудь очень далеко, а он и так сюда от Москвы заехал не близко.

Да и само по себе руководить он ничуть не стремился. Он знал, что шкура администратора мешает разворотливой работе. А ещё и не забылся период в его жизни, когда он видел павших и на них познал тщету власти: он видел комдивов, мечтавших стать дневальными, а своего первого практического учителя, хирурга Корякова, вытаскивал из помойки.

Порою же как-то мягчело, сглаживалось, и казалось Льву Леонидовичу, что терпеть можно, уходить не надо. И тогда он, напротив, начинал опасаться, что его самого, и Донцову, и Гангарт вытеснят, что дело к этому идёт, что с каждым годом обстановка будет не проще, а сложней. А ему уже нелегко было переносить изломы жизни: шло всё-таки к сорока, и тело уже требовало комфорта и постоянства.

Он вообще находился в недоумении относительно собственной жизни. Он не знал, надо ли ему сделать героический рывок, или тихо плыть, как плывётся. Не здесь и не так начиналась его серьёзная работа — она начиналась с отменным размахом. Был год, когда он находился от сталинской премии уже в нескольких метрах. И вдруг весь их институт лопнул от натяжек и от поспешности, и оказалось, что даже кандидатская диссертация не защищена. Отчасти это Коряков его когда-то так наставил: «Вы — работайте, работайте! *Написать* всегда успеете». А — когда «успеете»?

— Или — на чёрта и писать?..

Лицом однако не выражая своего неодобрения главврачу, Лев Леонидович щурился и как будто слушал. Тем более, что предлагалось ему в следующем месяце провести первую операцию на грудной клетке.

Но всё кончается! — кончилась и пятиминутка. И, постепенно выходя из комнаты совещаний, хирурги собрались на площадке верхнего вестибюля. И всё так же держа лапы подсунутыми под поясok на животе, Лев Леонидович как хмурый рассеянный полководец повёл за собою на большой обход седую тростиночку Евгению Устиновну, буйно-курчавого Халмухамедова, толстую Пантёхину, рыженькую Анжелину и ещё двух сестёр.

Бывали обходы-облёты, когда надо было спешить работать. Спешить бы надо и сегодня, но сегодня был по расписанию медленный всеобщий обход, не пропуская ни одной хирургической койки. И все семеро они медленно входили в каждую палату, окунаясь в воздух, спёртый от лекарственных душных примесей, от неохотного проветривания и от самих больных, — теснились и сторонились в узких про-

ходах, пропуская друг друга, а потом смотря друг другу через плечо. И собравшись кружком около каждой койки, они должны были в одну, в три или в пять минут все войти в боли этого одного больного, как они уже вошли в их общий тяжёлый воздух,— в боли его и в чувства его, и в его анамнез, в историю болезни и в ход лечения, в сегодняшнее его состояние и во всё то, что теория и практика разрешали им делать дальше.

И если б их было меньше; и если б каждый из них был наилучший у своего дела; и если б не по тридцать больных приходилось на каждого лечащего; и если б не запорашивало им голову, что и как удобнее всего записать в прокурорский документ — в историю болезни; и если б они не были люди, то есть, прочно включённые в свою кожу и кости, в свою память и в свои намерения существа, испытывающие облегчение от сознания, что сами они этим болям не подвержены; — то, пожалуй, и нельзя было бы придумать лучшего решения, чем такой вот обход.

Но условий этих всех не было, обхода же нельзя было ни отменить, ни заменить. И потому Лев Леонидович вёл их всех по заведенному, и шурясь, одним глазом больше, покорно выслушивал от лечащего о каждом больном (и не наизусть, а по папочке) — откуда он, когда поступил (о давнишних это давно было и известно), по какому поводу поступил, какой род лечения получает, в каких дозах, какова у него кровь, уже ли намечен к операции, и что мешает, или вопрос ещё не решён. Он выслушивал, и ко многим садился на койку, некоторых просил открыть больное место, смотрел, щупал, после прощупа сам же заворачивал на больном одеяло или предлагал пощупать и другим врачам.

Истинно-трудных случаев на таком обходе нельзя было решить — для того надо было человека вызвать и заниматься им отдельно. Нельзя было на обходе и высказаться, назвать всё прямо, как оно есть, и потому понятно договориться друг с другом. Здесь даже нельзя было ни о ком сказать, что состояние ухудшилось, разве только: «процесс несколько обострился». Здесь всё называлось полунамеком, под псевдонимом (даже вторичным) или противоположно тому, как было на самом деле. Никто ни разу не только не сказал «рак» или «саркома», но уже и псевдонимов, ставших больным полупонятными, — «канцер», «канцерома», «цэ-эр», «эс-а», тоже не произносили. Называли вместо этого что-нибудь безобидное: «язва», «гастрит», «воспаление», «полипы» — а что кто под этим словом понял, можно было вполне объясниться только уже после обхода. Чтобы всё-таки понимать друг друга, разрешалось говорить такое, как: «расширена тень средостения», «тимпонит», «случай не резектабельный», «не исключён летальный исход» (а значило: как бы не умер на столе). Когда всё-таки выражений не хватало, Лев Леонидович говорил:

— Отложите историю болезни.

И переходили дальше.

Чем меньше они могли во время такого обхода понять болезнь, понять друг друга и условиться, — тем больше Лев Леонидович придавал значения подбодрению больных. В подбодрении он даже начинал видеть главную цель такого обхода.

— Status idem, — говорили ему. (Значило: всё в том же положении.)

— Да? — обрадованно откликнулся он. И уже у самой больной спешил удостовериться: — Вам — легче немножко?

— Да пожалуй, — удивляясь, соглашалась и больная. Она сама этого не заметила, но если врачи заметили, то так, очевидно, и было.

— Ну, вот видите! Так постепенно и поправитесь.

Другая больная положила:

— Слушайте! Почему у меня так позвоночник болит? Может, и там у меня опухоль?

— Это вторичное явление.

(Он правду говорил: метастаз и был вторичным явлением).

Над страшным обострившимся стариком, мертвецки-серым, и еле движущим губами в ответ, ему докладывали:

— Большой получает общеукрепляющее и болеутоляющее.

То есть: конец, лечить поздно, нечем, и как бы только меньше ему страдать.

И тогда, сдвинув тяжёлые брови и будто решаясь на трудное объяснение, Лев Леонидович приоткрывал:

— Давайте, папаша, говорить откровенно, начистоту! Всё, что вы испытываете — это реакция на предыдущее лечение. Но не торопите нас, лежите спокойно — и мы вас вылечим. Вы лежите, вам как будто ничего особенно не делают, но организм с нашей помощью защищается.

И обречённый кивал. Откровенность оказывалась совсем не убойственной! — она засвечивала надежду.

— В подвздошной области туморозное образование вот такого типа, — докладывали Льву Леонидовичу и показывали рентгеновский снимок.

Он смотрел чёрно-мутно-прозрачную рентгеновскую плёнку на свет и одобряюще кивал:

— О-чень хороший снимок! Очень хороший! Операция в данный момент не нужна.

И больная ободрялась: с ней не просто хорошо, а — очень хорошо.

А снимок был потому очень хорош, что не требовал повторения, он бесспорно показывал размеры и границы опухоли. И что операция — уже невозможна, упущена.

Так все полтора часа генерального обхода заведующий хирургическим отделением говорил не то, что думал, следил, чтоб тон его не выражал его чувств, — и вместе с тем чтобы лечащие врачи делали правильные заметки для истории болезни — той сшивки полукартонных бланков, исписанных от руки, застромчивых под пером, по которой любого из них могли потом судить. Ни разу он не поворачивал резко головы, ни разу не взглядывал тревожно, и по доброжелательно-скучающему выражению Льва Леонидовича видели больные, что уж очень просты их болезни, давно известны, а серьёзных нет.

И от полутора часов актёрской игры, совмещённой с деловым размышлением, Лев Леонидович устал и расправляюще двигал кожей лба.

Но старуха пожаловалась, что её давно не обстукивали — и она её обстукала.

А старик объявил:

— Так! Я вам скажу немного!

И стал путанно рассказывать, как он сам понимает возникновение и ход своих болей. Лев Леонидович терпеливо слушал и даже кивал.

— Теперь хотели вы сказать! — разрешил ему старик.

Хирург улыбнулся:

— Что ж мне говорить? У нас с вами интересы совпадают. Вы хотите быть здоровым, и мы хотим, чтобы вы были здоровы. Давайте и дальше действовать согласованно.

С узбеками он самое простое умел сказать и по-узбекски. Очень интеллигентную женщину в очках, которую даже неловко было видеть на койке и в халате, он не стал осматривать публично. Мальчишке маленькому при матери серьёзно подал руку. Семилетнего стукнул щелчком в живот, и засмеялись вместе.

И только учительнице, которая требовала, чтобы он вызвал на консультацию невропатолога, он ответил что-то не совсем вежливое.

Но это и палата уже была последняя. Он вышел усталый, как после доброй операции. И объявил:

— Перекур пять минут.

И с Евгенией Устиновной затагнули в два дыма, так схватились, будто весь их обход только к этому и шёл (но строго говорили они больным, что табак канцерогенен и абсолютно противопоказан!).

Потом все зашли и уселись в небольшой комнатке за одним общим столом, и снова замелькали те же фамилии, которые были на обходе, но картина всеобщего улучшения и выздоровления, которую мог бы составить посторонний слушатель на обходе, здесь расстроилась и развалилась. У «status idem» случай был иноперабельный, и рентгенотерапию ей давали симптоматическую, то есть для снятия непосредственных болей, а совсем не надеясь излечить. Тот мальш, которому Лев Леонидович подавал руку, был инкурабельный, с генерализованным процессом, и лишь из-за настояния родителей следовало ещё несколько подержать его в больнице и дать ему псевдо-рентгеновские сеансы без тока в трубке. О той старухе, которая настояла выстукать её, Лев Леонидович сказал:

— Ей шестьдесят восемь. Если будем лечить рентгеном — может, дотянем до семидесяти. А соперлируем — она года не проживёт. А, Евгения Устиновна?

Уж если отказывался от ножа такой его поклонник, как Лев Леонидович, Евгения Устиновна согласна была тем более.

А он вовсе не был поклонник ножа. Но он был скептик. Он знал, что никакими приборами так хорошо не посмотришь, как простым глазом. И ничем так решительно не уберёшь, как ножом.

О том больном, который не хотел сам решать операцию, а просил, чтоб советовались с родственниками, Лев Леонидович теперь сказал:

— Родственники у него в глубинке. Пока свяжемся, да пока приедут, да ещё что скажут — он умрёт. Надо его уговорить и взять на стол, не завтра, но следующий раз. С большим риском, конечно. Сделаем ревизию, может — зашьём.

— А если на столе умрёт? — важно спросил Халмухамедов, так важно, будто он-то и рисковал.

Лев Леонидович пошевелил длинными сросшимися бровями сложной формы.

— То ещё «если», а без нас навверняка. — Подумал. — У нас пока отличная смертность, мы можем и рисковать.

Всякий раз он спрашивал:

— У кого другое мнение?

Но мнение ему было важно одной Евгении Устиновны. А при разнице опыта, возраста и подхода оно у них почти всегда сходилось, доказывая, что разумным людям легче всего друг друга понимать.

— Вот этой желтоволосой, — спросил Лев Леонидович, — неужели ничем уже не поможем, Евгения Устиновна? Обязательно удалят?

— Ничем. Обязательно, — пожалала изгибистыми накрашенными губами Евгения Устиновна. — И ещё хорошую порцию рентгенотерапии потом.

— Жалко! — вдруг выдохнул Лев Леонидович и опустил голову со сдвинутым кзади куполом, со смешной шапочкой. Как бы рассматривая ногти, ведя большим — очень большим — пальцем вдоль четырёх остальных, пробурчал: — У таких молодых отнимать — рука сопротивляется. Ощущение, что действуешь против природы.

Ещё концом указательного обвёл по контуру большого ногтя. Всё равно ничего не получалось. И поднял голову:

— Да, товарищи! Вы поняли, в чём дело с Шулубиным?

— Цэ-эр рэкти? — сказала Пантёхина.

— Цэ-эр рэкти, да, но как это обнаружено? Вот цена всей нашей онкопропаганде и нашим онкопунктам. Правильно как-то сказал Орещенков на конференции: тот врач, который брезгует вставить палец больному в задний проход — вообще не врач! Как же у нас запущено всё! Шулубин таскался по разным амбулаториям и жаловался на частые позывы, на кровь, потом на боли — и у него все анализы брали, кроме самого простого — пощупать пальцем! От дивентерии лечили, от геморроя — всё впустую. И вот в одной амбулатории по онкологическому плакату на стене он, человек грамотный, прочёл — и догадался! И сам у себя пальцем нащупал опухоль! Так врачи не могли на полгода раньше?

— И глубоко?

— Было сантиметров семь, как раз за сфинкстром. Ещё вполне можно было сохранить мышечный жом, и человек остался бы человеком! А теперь — уже захвачен сфинктер, ретроградная ампутация, значит будет бесконтрольное выделение стула, значит надо выводить аннус на бок, что́ это за жизнь?.. Дядька хороший...

Стали готовить список завтрашних операций. Отмечали, кого из больных потенцировать, чем; кого в баню вести или не вести, кого как готовить.

— Чалого можно не потенцировать,— сказал Лев Леонидович.— Канцер желудка, а такое бодрое состояние, просто редкость.

(Знал бы он, что Чалый завтра утром будет сам себя потенцировать из флакона!)

Распределяли, кто у кого будет ассистировать, кто на крови. Опять неизбежно получалось так, что ассистировать у Льва Леонидовича должна была Анжелина. Значит, опять завтра она будет стоять против него, а сбоку будет снова операция сестра, и вместо того, чтобы самой заранее угадывать, какой нужен инструмент, будет коситься на Анжелину, а Анжелина будет звериться, каковы они с операционной сестрой. А та — психовая, ту не тронь, она, смотри, нестерильного шёлка подхватит — и пропала вся операция. Проклятые бабы! И не знают простого мужского правила: там, где работаешь, там не...

Оплошные родители назвали девочку при рождении Анжелиной, не представляя, в какого она ещё демона вырастет. Лев Леонидович косился на славную, хотя и лисью, мордочку её, и ему хотелось примирительно:

«Слушайте, Анжелина, или Анжела, как вам нравится! Ведь вы же совсем не лишены способностей. Если бы вы обратили их не на происки по замужеству, а на хирургию — вы бы уже совсем неплохо работали. Слушайте, нельзя же нам ссориться, ведь мы стоим у одного операционного стола...»

Но она бы поняла так, что он утомлён её кампанией и сдаётся.

Ещё ему хотелось подробно рассказать о вчерашнем суде. Но Евгении Устиновне он коротко начал во время курения, а этим товарищам по работе даже и рассказывать не хотелось.

И едва кончилась их планёрка, Лев Леонидович встал, закурил и, крупно помахивая избыточными руками и рассекая воздух облитой белой грудью, скорым шагом пошёл в коридор к лучевикам. Хотелось ему всё рассказать именно Вере Гангарт. В комнате короткофокусных аппаратов он застал её вместе с Донцовой за одним столом, за бумагами.

— Вам пора обеденный перерыв делать!— объявил он.— Дайте стул!

И, подбросив стул под себя, сел. Он расположился весело дружески поболтать, но заметил:

— Что это вы ко мне какие-то неласковые?

Донцова усмехнулась, крутя на пальце большими роговыми очками:

— Наоборот, не знаю, как вам понравится. Оперировать меня будете?

— Вас? Ни за что!

— Почему?

— Потому что если зарезу вас, скажут, что из зависти: что ваше отделение превосходило моё успехами.

— Никаких шуток, Лев Леонидович, я спрашиваю серьёзно.

Людмилу Афанасьевну, правда, трудно было представить шутящей.

Вера сидела печальная, подобранная, плечи сжав, будто немного забла.

— На днях будем Людмилу Афанасьевну смотреть, Лев. Оказывается, у неё давно болит желудок, а она молчит. Онколог, называется!

— И вы уж, конечно, подобрали все показания в пользу канцера, да?— Лев Леонидович изогнул свои диковинные, от виска до виска, брови. В самом простом разговоре, где ничего смешного не было, его обычное выражение была насмешка, неизвестно над кем.

— Ещё не все, — призналась Донцова.

— Ну, какие например?

Та назвала.

— Мало!— определил Лев Леонидович.— Как Райкин говорит: ма-ла! Пусть вот Верочка подпишет диагноз — тогда будем разговаривать. Я скоро буду получать отдельную клинику — и заберу у вас Верочку диагностом. Отдадите?

— Верочку ни за что! Берите другую!

— Никакую другую, только Верочку! За что ж вас тогда оперировать?

Он шутливо смотрел и болтал, дотягивая папиросу до доньшка, а думал совсем без шутки. Как говорил всё тот же Коряков: молод — опыта нет, стар — сил нет. Но Гангарт сейчас была (как и он сам) в том вершинном возрасте, когда уже налился колос опыта и ещё прочен стебель сил. На его глазах она из девочки-ординатора стала таким схватчивым диагностом, что он верил ей не меньше, чем самой Донцовой. За такими диагностами хирург, даже скептик, живёт как у Христа за пазухой. Только у женщины этот возраст ещё короче, чем у мужчины.

— У тебя завтрак есть?— спрашивал он у Веры.— Ведь всё равно не съешь, домой понесёшь. Давай я съем!

И действительно, смех-смехом, появились бутерброды с сыром, и он стал есть, угощая:

— Да вы тоже берите!.. Так вот был я вчера на суде. Надо было вам прийти, поучительно! В здании школы. Собралось человек четыреста, ведь интересно!.. Обстоятельства такие: была операция ребёнку по поводу высокой непроходимости кишёк, заворот. Сделана. Несколько дней ребёнок жил, уже играл!— установлено. И вдруг — снова частичная непроходимость и смерть. Восемь месяцев этого несчастного хирурга трепали следствием — как он там эти месяцы оперировал! Теперь на суд приезжают из горздрава, приезжает главный хирург города, а общественный обвинитель — из мединститута, слышите? И фугует: преступно-халатное отношение! Тянут в свидетели родителей — тоже наши свидетелей!— какое-то там одеяло было перекошено, всякую глупость! А масса, граждане наши, сидят глазют: вот гады врачи! И среди публики — врачи, и понимаем всю глупость, и видим это затягивание неотвратимое: ведь это нас самих затягивают, сегодня ты, а завтра я!— и молчим. И если б я не только что из Москвы — наверно, тоже бы промолчал. Но после свежего московского месяца как-то другие масштабы, свои и местные, чугунные перегородки оказываются подгнившими деревянными. И я — полез выступать.

— Там можно выступать?

— Ну да, вроде прений. Я говорю: как вам не стыдно устраивать весь этот спектакль? (Так и крошу! Меня одёргивают: «лишим слова!») Вы уверены, что судебную ошибку не так же легко сделать, как медицинскую?! Весь этот случай есть предмет разбирательства науки, а никак не судебного! Надо было собрать только врачей — на квалифицированный научный разбор. Мы, хирурги, каждый вторник и каждую пятницу идём на риск, на минное поле идём! И наша работа вся основана на доверии, мать должна доверять нам ребёнка, а не выступать свидетелем в суде!

Лев Леонидович и сейчас разволновался, в горле его дрогнуло. Он забыл недоёденный бутерброд и, рвя полупустую пачку, вытянул папиросу и закурил:

— И это ещё — русский хирург! А если бы был немец, или, вот скажем, жьжид,— протянул он мягко и долго «ж», выставляя губы,— так повесить, чего ждать?.. Аплодировали мне! Но как же можно молчать? Если уж пеглю затягивают — так надо рвать, чего ждать?!

Вера потрясённо качала и качала головой вслед рассказу. Глаза её становились умно-напряжёнными, понимающими, за что и любил Лев Леонидович ей всё рассказывать. А Людмила Афанасьевна недоумённо слушала и тряхнула большой головой с пепелистыми стрижеными волосами:

— А я не согласна! А как с нами, врачами, можно разговаривать иначе? Там салфетку в живот зашили, забыли! Там влили физиологический раствор вместо новокаина! Там гипсом ногу омертвили! Там в дозе ошиблись в десять раз! Иногруппную кровь переливаем! Ожоги делаем! Как с нами разговаривать? Нас за волосы надо таскать, как детей!

— Да вы меня убиваете, Людмила Афанасьевна! — пятерню большую, как защищаясь, поднял к голове Лев Леонидович.— Да как можете так говорить — вы? Да здесь вопрос, выходящий даже за медицину! Здесь — борьба за характер всего общества!

— Надо вот что! надо вот что! — мирила их Гангарт, улавливая руки обоих от размахиваний.— Надо, конечно, повесить ответственность врачей, но через то, что снизить им норму — в два раза! в три раза! Девять больных в час на амбулаторном приёме — это разве в голове помещается? Дать возможность спокойно разговаривать с больными, спокойно думать. Если операция — так одному хирургу в день — одна, не три!

Но ещё и ещё Людмила Афанасьевна и Лев Леонидович выкрикнули друг другу, не соглашаясь. Всё же Вера их успокоила и спросила:

— Чем же кончилось?

Лев Леонидович разочурился, улыбнулся:

— Отстояли! Весь суд — на пшик, признали только, что неправильно велась история болезни. Но подождите, это ещё не конец! После приговора выступает горздрав — ну, там: плохо воспитываем врачей, плохо воспитываем больных, мало профсоюзных собраний. И в заключение выступает главный хирург города! И что ж он из всего вывел? что понял? Судить врачей,— говорит,— это хорошее начинание, товарищи, очень хорошее!..

(Окончание следует)

НАТАН ЗЛОТНИКОВ

*

ЖРЕБИЙ

Стансы в сентябре

Первым холодом осени дух мой согрет.
Бедный лес Подмосковья красив и без рамок,
Я брожу в нем, великой державы полпред,
Без верительных грамот.

Предрассветной росы горек свежий рассол,
Дымка мха молодого ползет по запястью,
Лес готов меня слушать, но чей я посол,
Я забыл, по несчастью.

Видно, так перепутались там времена,
Так разъята раздором земля и границей,
Что иссякли хлеба, оскудела казна —
Послан я со слезницей.

Не гордыня, а совесть мне душу разъест,
Слезы выест простор от Амура до Риги,
Сход сестер милосердья и вселенский разъезд
Мне пошлют на вериги.

Что, держава моя, грустен твой небосклон?
Подбирая наречья, ступаю под сень я
То надежды, то леса... Мой путь погребен
В темных дебрях спасенья.

Обращение

Пока ты прошлому внимала,
У самых ног разверзлась мгла
Грядущего и взгляд сожгла —
Сверкнуло в черной яме жало,
Целебное на первый взгляд,
А все лекарства — это яд.

Опять надеется страна,
Что некий явится целитель,
Одетый пусть в пиджак — не в китель,
И будет вера спасена,
И нас гнетущие болезни
Сойдут на нет, исчезнут в бездне.

Любимая! Врачи лукавы,
И каждый знает свой шесток,
Их жребий добр, а наш — жесток:
Испить сей жизни, как отравы,
Подняться с бренного одра,
Забыв про то, что знал вчера.

Давай зимой поедem в Крым
 На крепкий чай, на чебуреки,
 На берег, где бывали греки,
 Еще не знавшие про Рим.
 Строенья их — простые знаки
 Тоски о Родосе, Итаке.

Посула грешного привада —
 Не что мы ждем, а что ждет нас,
 О был бы легок крайний час!
 Неужто скучен рай без ада?
 И звезды посреди небес
 Суть искры, что подбросил бес?

Тогда что век, что три версты,
 Но в сердце — прошлого избыток.
 А для ракет и для кибиток
 Дороги русские пусты...
 Любимая, еще со мною
 Побудь — и жизнью, и женою!

Сезон охоты

Летела утка дикая,
 Спиной касалась тучи,
 Где, как будильник, тикая,
 Спал гром у края кручи.

И от Пахры ли, Истры ли
 Навстречу, завывая,
 Неслись шальные выстрелы
 И гарь пороховая.

Во всю длину движения
 От севера до юга

Шла трата напряжения
 Инстинкта и испуга.

И все ж тоска зеленая
 Сильней, чем призрак цели,
 Чем даже кровь соленая,
 Что сердце движет в теле.

Ни урки и ни олухи
 Не маются виною.
 ...А перед взором — сполохи
 И сумрак за спиною.

Черепаха

Пророки, странники, монахи
 Сшли с лица людских дорог,
 Покуда панцирь черепахи
 Все поднимался, как пирог...

Под куполом, холодным, старым,
 Веками дышит темнота,
 Как будто молнии ударом
 Ей запечатало уста.

Но не стареет небо в небе
 И одиночная тюрьма,
 И кажется счастливым жребий
 Для невысокого ума.

Ведь он увидел сквозь забрало
 Однообразно-тусклых лат,
 Как время всех давно прибрало,
 Кто был умен и был крылат.



ЛАРИСА СУШКОВА

*

ПОДАРКИ

Мне дед привозил подарки,
детские рубель и качалку: «Держи, внучка!»
Сказки привозил
(«Мерзни, мерзни, волчий хвост»)
мой дед, мамин отец,
работящий и богомольный...
Он в двадцатые годы,
не вникая нуждам своей многодетной семьи,
отказался от просторной квартиры,
которую ему предложили,
от квартиры в доме,
на который заглядывался;
из нее выдворили хозяев.
Отговаривался просто:
«На чужом несчастье счастья не построить».
Потом за ним пришли...

Иногда мы вынимали из кожаного чехла
и разворачивали
цветные флажки тонкого шерстяного плетения,
красный, зеленый, желтый,—
оружие главного кондуктора
поезда дальнего следования.
Портрет его с пышными, еще темными усами
взирал с молодой усмешкой со стены,
когда он, седоусый, ворчал:
«Ить опять не закрыла двери,
и что мне с тобой делать?»
Он жарил картошку на копящем керогазе,
когда я приходила из школы.
По утрам он сапожничал,
сидя в парусиновом фартуке
на маленькой, им же сбитой скамеечке
у ящика с инструментами,
держа губами деревянные гвозди,
или ремонтировал (мама говорила «ломал»)
старый «Зингер»,
чтобы шить что-то нескладное.
Или после молитвенника
читал газеты,
дополняя их своими предвидениями,
которыми делился с косым солнечным лучом.
По воскресеньям
в сатиновой косоворотке и черной фуражке
он степенно отправлялся в церковь...
Незадолго до смерти он успел услышать,
что у меня в далекой Москве
родилась девочка.
Мой дед
был на четыре года старше Блока.

БОРИС ЕКИМОВ

*

«ПРЕСВЯТАЯ ДЕВА-БОГОРОДИЦА...»

Рассказ

Решила моя мамочка ехать в Петербург, к самому Иоанну Кронштадтскому. Это был знаменитый священник, к нему со всей России верующие собирались, тысячи людей... Он лишь один имел право всеобщей исповеди. Это когда все сразу исповедуются в своих грехах, все вместе.

Приехала мамочка в Петербург, отстояла службу. Молилась со слезами. И церковному служке, который собирал на храм, положила два золотых пятирублевика. А была мамочка из себя красавица: росту высокого, полная, лицо белое, брови черные и большие голубые глаза. Заметил ее Иоанн Кронштадтский, и служка сказал ему про десять рублей золотом. Позвали маму к самому Иоанну. Тот спрашивает: «О чем просишь Господа?» Мама отвечает: «Прошу совета. Муж мой политический, нашли у него газеты и сослали в Забайкалье. Я с ним по этапу шла, но на Урале дочка тяжело заболела, пришлось вернуться домой. Теперь он зовет к себе, а я не знаю: ехать или нет. Может, дочкина болезнь — это было знамение». Отвечает ей Иоанн Кронштадтский: «Муж твой грешен. Пусть за свои грехи и страдает. Молиться за него — молись. А ехать к нему — не надо».

Мамочка успокоилась и решила — не ехать, так папе и сообщила. Но потом она узнает от людей, что папа своей любовнице — она недалеко жила, на другой улице, — написал ей папа, чтоб приезжала к нему. Та обрадовалась, стала всем хвалиться, а люди мамочке передали. Мамочка тогда сразу собралась. Собралась и повезла нас в ссылку, в Забайкалье. Мне три годика, я ничего не понимала, а вот кажется, что запомнила, а может, это мамочка рассказывала, как перед отъездом принесла она меня на Дон, искупала в донской воде, чтобы всегда помнила нашу родину. И поехали мы в ссылку, по железной дороге. Поезд шел туда долго, это же далеко — Забайкалье, на самом краю света. Ехали мы, ехали...

Старой женщины речь льется неторопливо. Тянется за словом другое, сменяясь раздумьем. Смолкнет, замрет и глядит куда-то далеко, в старые годы, припоминая.

Время — полдень. Жаркое солнце — над головой. В поселке — летняя полуденная тишина. Тесный дворик: старый дом с малой верандою и крылечком, летняя кухонка, сарай, погреб. Окраинная улочка в двух шагах от степи. Там, над облетевшими ковылями, над ползучим чабором, над горькой поlyingю, плывет жаркое степное марево. Зыбятся далекие курганы. Колыхнет ветер, волна пахучего зноя пробежит безлюдной просторной улицей, пропадая и утишаясь в зеленой огороже.

В нашем дворе старый забор утонул в зарослях одичавшей смородины. Возле калитки тянется ввысь высокий тополь — раина. Цепучий виноград зеленым плащом укрыл веранду и крышу. Густые вишни, колючий садовый терн, старая яблоня — берегут тесный дворик от летнего солнца. Вдоль дорожки, в нехитрых клумбах и самосе-

вом, у погреба и сарая, цветут среди пышной зелени оранжевые бархотки, пахучие петунии, махровые астры.

В этом придонском поселке я бываю теперь уже редко. Но приезжаю, живу. Обычно летом да теплой осенью. Понемногу рыбачу, просто хожу на Дон, посидеть у воды, искупаться. Но больше времени провожу в этом тихом дворе. Здесь мой дом. Старая женщина, хозяйка — моя родня; я вырос возле нее, много раз слушал рассказы о причудливой, непростой ее жизни. Вместе листали мы семейный пухлый альбом с фотографиями. Но и теперь приезжаю, снова и снова слушаю. Что поделать, хозяйка моя — живой человек. Ей нужно кому-то рассказать. А мне вовсе не в тягость старые повести людей пожилых и поживших.

— Ехали мы, ехали... и приехали в Забайкалье. Город Сретенск, Самар-затон, река Шилка быстрая, чистая.

Шилка и Нерчинск не страшны теперь,
Горная стража меня не поймала.
В де-ебрях не тронул прожорливый зверь.
Пу-уля стрелка миновала.

Негромко пропела старая женщина и смолкла. Дух перевода, поняла:

— Это все тамошние места. Нерчинск, Усть-Кара, там старая каторга, золотые прииски. Горы, лес... А места красивые, прямо залюбуешься. А сколько ягоды... — вспоминая, зажмурилась хозяйка и начала считать: — Малина, земляника, смородина черная, смородина красная, жимолость, брусника, голубика, маховка... Вот она самая вкусная. Она в Гремячуской пади росла, над ручьем. С жестяными банками по ягоды ходили. Банки из-под керосина, квадратные, за спиной удобно носить, в них два ведра входило. И грибов полно. Белые, обабки, грузди. Грузди солили. И себе и корове — большую бочку ведер на двадцать, в пойло зимой клали, она любила.

Приехали, на квартиру встали в Матакане, у Пучковых. Хозяев шестеро и нас трое. Папа на пароходе плавал, масленщиком. Сами Пучковы — Иван и Наталья. Они всегда ругались меж собой. А рядом живут сестры, Марья и Дарья, тоже ругливые. Их ребята дразнили:

Дарья да Марья, Иван да Наталья,
Сходятся, да не видятся.
Как сойдутся, так разудерутся.

Хозяйка пропела весело.

— Дишканишь? — спросил ее женский голос из соседнего двора.

— Вспоминаю. Как в Забайкалье жили.

Соседка — тоже старая женщина — подошла к забору, сказала сочувственно:

— Пожалесь... Хоть послушают. Я перед своими лишь рот открою, они враз его заткнут: ты уж тыщу раз про это рассказывала, — передразнила она и объяснила: — Это родная дочеря меня так-то вот упрекает. А это жизнь наша. Как про нее забудешь...

— Пышки пекла... — сказала моя хозяйка. — Угощайся. — И пода-ла на тарелке две пышки.

— Спаси Христос... — поклонилась соседка. — И как ты не ленишься печь. Покушаю с молочком. Хорошие твои пышки, подьемыстые.

Хозяйка моя посмеялась:

— Разве это хорошие... Вот мамочка наша пекла так пекла... Вафли, пряники простые, пряники розовые, пряники медовые. Грибки... У них отдельно шляпка печется и ножка, а потом склеивается. Калачи простые, калачи заварные, шаньги. Пирожки. И себе и для людей, на продажу. Гимназисты брали из города. Они про маму песню сочинили. Я забыла ее, один куплет лишь помню:

Над затонскими горами,
Там, где Куренга течет,
Вкусно пахнет пирогами —
Дуня Крысова печет.

Лицо хозяйки моей посветлело, радостно было вспоминать о маме.

— И меня приучала печь. Я маленькая еще была, года четыре. Рано утром будит: дочка, вставай! Тесто готово, и пирожки налеплены. Меня — к сковороде. Я до плиты не достаю, маленькая еще. Становлюсь на табуретку и жарю пирожки, переворачиваю. А мамочка лепит. Гимназистам продавали, холостым матросам.

Мамочка много работала: стирала на людей, гладила, мыла полы у Дитриха, он начальником затона был, у других пароходских. Полы тогда не красили. Их сначала ножом скоблят, потом голиком и песочком, а потом воском натирать. И стирать тяжело. Тогда порошок не было. Раз с мылом стирает, второй раз — с мылом, потом кипятит, потом на речку, на Куренгу идет полоскать. Летом — с плотика, зимой — в проруби. Мамочка много работала, она хотела нас выучить, деньги копила. Мы, говорит, с отцом слепые. А вас выучим. Каждую копейку берегла. Помню, молоко вскипятила, поставила на ларь студить и перевернула. Расстроилась, даже заплакала. Потом взяла корзину и бегом — на гору. Набрала там шампиньонов, начальнику пристани отнесла, продала. Такая пришла довольная: вернула деньги. Мамочка наша всю жизнь работала, день и ночь... — вздохнула хозяйка моя и над собой посмеялась: — А я вот сижу руки крестиком, вроде нету дел...

Над поселком — чистое небо, не за что зацепиться глазу. Летняя сухая теплынь. Тишина. Лишь высокий тополь у двора порой мягко ропочет: в далекой маковке его и теперь гуляет ветер, шевеля, серебра матовую зеленую листву. Все живое: воробы, воронье, синицы — куда-то убралось, наверное в поле. Там — пожива.

— Сижу, праздничаю... — вздыхает хозяйка. — Вроде и дел нет...

Стариковская сухая стать: спина согбенная, острые лопатки да плечи выпирают из синего, в горошек, платья. Темные большие руки отдыхают на белом переднике. Над белым чистым платком — темное лицо.

— Сижу... — повторяет хозяйка осуждающе.

Сколько лет ей?.. Ох, много-много... Старший сын на пенсию собирается. Он живет со своею семьею в городе и у матери — редкий гость. Младший сын, он поближе, но тоже отрезанный ломоть. «Отчурались... — порою говорит хозяйка. — Мужики... С дочкой бы доживать. А вот не дал бог...»

Бог ли тут виноват?.. В тридцать восьмом году, на высылках, в Казахстане, гнал их конвой всю ночь: «Скорей, скорей!» А была она на восьмом месяце, дочку в себе носила. Но гнали целую ночь: «Шире шаг! Не отставать!» Утром она прежде времени родила мертвенькую. И после этого раз за разом снова и снова носила в себе девочек и не могла доносить. Но об этом потом, в свою пору.

Сыновья и вправду от нее «отчурались». Свои семьи, свои заботы. Порой навестят, забор ли, крышу поправят. И все.

— Из своих рук кормлюсь, своими ногами топаю, — говорит она то ли гордясь, то ли жалуясь.

Невеликая пенсия, огород с нехитрой овощью да картошкой, кур пяток, белая коза Манька с длинными витыми рогами — можно жить потихоньку.

— В Забайкалье мы хорошо жили. Папа на пароходе масленщиком плавал. Мама на людей работала. А жили мы в доме водников. Дом большой, рубленный, на три семьи. Кухни были у каждого свои, а еще одна, с русской печью, общая. Там хлеб пекли. Жили дружно. На общей кухне вечером все соберутся, рассядутся. Полы — чистые,

белые, скобленные. Сядут и весь вечер про колдунов рассказывают, про нечистую силу, про ведьм. Механик был, Алалаев, он недавно из России приехал, хорошо умел рассказывать. Мы даже боимся потом на двор выходить, просим: «Мама, проводи...»

Хорошо жили. Свою картошку сажали, помногу накапывали, своя корова, Манька-молочница. Молоко зимой морозили, держали на улице, в кругах. Круги — малые, большие, в какой миске заморозят. Сверху — сливки. Их соскребешь ножом, взобьешь и мажешь на пышку. И пельмени зимой морозили. Мясо — говядина, жирное. Из Монголии скот пригоняли. Зимой много пельменей лепим, на листы их кладем и — на мороз. Потом в ларь ссыпаем, там сохраняются. Муку покупали мешками, мясо — стегнами. Все брали у китайцев. Их много было в Сретенске, торговцев-китайцев. У всех русские имена: Иван, Миша, Николай. Лавочки — возле пристани, маленькие, с колокольчиком. Заходишь, дернешь колокольчик: «Динь-динь!» Китаец из задней комнаты выглядывает в лавку. Нашего звали Иваном, мы у него все покупали. Чего надо, возьмешь и не платишь, все под запись. Потом папа деньги отдаст, с полочки. Честные были китайцы, никого не обманывали. А лавочки — маленькие, там и живут в задней комнате. И там готовят, пекут на продажу. Честные были китайцы, трудолюбивые. В воскресенье не отдыхают, несут нам в затон срежи, конфеты, пряники, тянучки. В корзины наложат и несут. Семь верст до нас от Сретенска. Кто огородами занимается — овощи несут продавать.

Места в Забайкалье красивые. Летом ходим в тайгу по ягоды, грибы. Зимой тоже весело. Тогда веселей жили. Зимой все вместе, взрослые и ребятки, делаем горы. У мола ставят деревянные козлы друг на друга, на них доски кладут и лед намораживают. Получается ледяная гора. Высокая. С нее катишься через всю Шилку. А у того берега — другая гора. Оттуда — сюда летишь. Еще карусель ладил с санями и каток. Дом свидания весь изо льда. Столбики, ступени... Столик стоит, скамейки — все как настоящее, изо льда. Все это бесплатно делали, после работы. Лампочки проводили, электрический свет. Украшали еловыми ветками. По вечерам все с гор катаются. Взрослые и дети. Парни стараются сделать саночки у кого лучше. Со скамейкой, со спинкой, чтоб удобно. Атласом сиденье обобьют или бархатом. Садают рядом: кавалер и барышня. А нас, ребятшек, посередине. Летишь с горы... Страшно... Катаются кто на чем. На тазах, на бычьих шкурах. Тянут ее за хвост на гору. Толпа целая усядется. Кто стоит, кто лежит. И покатались... Смеются все, весело...

Смолкнет моя хозяйка, мыслями уходя далеко от жаркого полудня и донского летнего неба над головой.

Смолкает, а потом спохватывается:

— Про Маньку совсем забыла. Ее ведь поить надо... Кормилица моя Манька. Мы с Манькой не пропадем. Это мамочка моя так говорила: «Мы с Манькой не пропадем». И у свекрови тоже корова была Манька. И я, сколько держала, все Маньки. Теперь коровку не в силах держать, да и к чему она, ведь живу одна-одинея. Хватает козы Маньки. Мы с Манькой не пропадем.

Идем мы вместе. Берем ведерко, козу напоить, да малый подоинчик. Недолгий путь наш лежит пустынной окраинной улочкой и ведет на околицу. Здесь, у кладбищенской ограды, сроду не паханный клин, целина, заросшая донником, аржанцом, вейником и прочей степной травой. Чей-то теленок пасется тут на привязи, два козленка да наша Манька, белая, с витыми рогами.

— Ме-е-е... — подает она голос.

— Соскучилась моя Манька, — понимает ее хозяйка. — Ждет. Идем, идем...

Старая женщина остается с козой, поит ее и доит, а я направляюсь к ограде кладбища, гляжу на могилки, потом иду к пряслом

обнесенному гумну. Сюда люди привозят солому да сено, до осени храня. Есть уже свежие стожки, зеленые, пахучие. А рядом — зелень живая: полынок, птичья греча, чабор в сиреневых головках цвета. Дальше, за кладбищем и в стороне от него, — просторная степь, слева — падина, лог с тополевой да вербовой уремой, там — малая речка.

Солнечно и тепло. Жар полуденный утишает степной ветер. У кладбищенской огорожи, в тени развесистых кленов, и вовсе хорошо. У подножья дерева — обтертая до блеска колода. Я присел на нее. Хозяйка моя подошла, пристроилась рядом, поглядела на кладбище и сказала:

— А наше кладбище, в Забайкалье, лучше. На сопке, далеко все видать. И церковь — рядом. Я мамочку одна хоронила. Двенадцать мне было годков, в семье старшая. Мамочка заболела тифом, ее положили в больницу. Тогда, при советской власти, многие тифом болели. Наша Тоня болела, средняя сестра, и брат Миша. А папа еще раньше заболел. У него рука пухла, но в больницу он не хотел идти, меня одну оставлять да младшую — Ниночку. Не хотел, а его все равно положили, в другую больницу, где тифозных не было, к солдатам. А мамочка не знала, что он в больнице, и говорит: «Правильно, пусть не ходит ко мне, а то застудит руку». Зима стояла, холодно. У нас там в Забайкалье — холода. Я говорю: «Ладно, мамочка, скажу». Они все в городе лежали, семь верст от нашего Самар-затона. Я каждый день к ним ходила. Напеку лепешек, младшую, Ниночку, у соседей оставляю и иду в город. Сначала к папе, к Тоне с Мишей, потом к мамочке. Меня всегда пускали. Там были сестры милосердия. Это сейчас медсестры. А раньше назывались сестры милосердия. У них на голове белые повязки и красные крестики. Они меня любили. Самы едят и меня усадят, накормят. Мамочка говорит: «Не ешь в больнице, заболешь». А они ее успокаивают: «Мы-то не боеем».

Мамочка долго болела, а потом ей лучше стало. А на следующий день — вдруг хуже. Я пришла, ей так плохо, меня не узнает. Вернулась я домой, а соседка говорит: «Наверное, твоя мама помрет».

И правда: на следующий день прихожу, она уже умерла. Но еще в палате лежит.

Я пошла к нашим знакомым, они рядом с больницей жили. Мы вместе маму обмыли, переодели. Потом в церкви ее отпели. И похоронили. Как сейчас ее помню в гробу: молодая, красивая, лицо белое, брови черные, как живая... Только глазочки свои голубые не открывает.

Старая женщина смолкла, голову опустив.

А я вспомнил то кладбище, сретенское, в Забайкалье. Лежит оно на склоне горы. Уезжал я из Сретенска поездом. Из окна вагона долго виделось на склоне зеленой горы синее кладбище с белым парусом церкви. Синее потому, что оградки и памятники нынче красят шаровой да синей краской. Вот кладбище и голубеет.

Бывал я на нем не раз. Бродил среди старых и новых могил. Когда-то, теперь уже век назад и ранее, Сретенск был торговым, купеческим городом, отсюда, от железной дороги шли караваны в Китай, по воде и суше. Ссылных и пришлых тут было множество во все времена, и потому кладбище покоит разных людей. Вот черного мрамора крест, под ним Константы Опенховский. А здесь, под чугунным ажурного литья ли, ковки «крыжом», механик Иоганн Генрих Клосс, родившийся в Марбахе, а умерший в Сретенске на склоне прошлого века. Инженер-капитана дочь Нина Чистякова, 1880—1886. Вот памятник красного мрамора, изготовленный в далекой Москве мастером И. Макаровым. Август Васильевич Кестлер (1845—1903). А вот уже наше время: Герой Советского Союза Николай Иванович Попов (1927—1973). Посреди кладбища — старая церковь. Она в пустыни. Чуть поодаль — китайские со странными для нашего глаза

захоронениями — разорванный круг, столбик. На отшибе, за кирпичным забором евреи лежат, по своему закону и своя там сторожка.

— Схоронили мамочку... — вздохнула старая женщина, поднимая голову. — А папа в больнице лежит и лежит. Рука распухла, как бревно, и гнойники везде. Решили ему руку отрезать. А была у нас в Затоне старушка, звали ее Неделячиха. Муж у нее — Неделяк. Они поляки, ссыльные. Сам Неделяк 107 лет прожил. Сто лет было, он еще работал сторожем и дрова зготавливал. В лес поедет на санках, наберет дров, привезет. А Неделячиха умела лечить. Папа сказал: «Приведи ее».

Вот пошли мы с Неделячихой в город, в больницу. Пришли, она посмотрела руку и говорит:

— Опухоль я сниму. А раны фельдшер вылечит.

Папа тогда отказался руку резать и вернулся домой. Неделячиха к нам пришла, помню, принесла красное сукно и мел. Мелом сукно терла, терла, а потом руку в сукно завернула. И с первого раза папа заснул. То не спал ни ночью, ни днем, рука не давала. А то заснул. Вот Неделячиха несколько раз пришла, полечила, и опухоль спала. А была рука как бревно.

Когда опухоль спала, я взяла муки «пудовик». Это были такие мешочки, зашитые, в них пуд муки. «Пудовик» — на санки и поехала к фельдшеру, в город. Фельдшер дал сулемы, бинтов и показал, как перевязки делать. Я сама папе перевязки делала, и рука зажила. Только уже не сгибалась.

Сходили мы тогда все вместе к мамочке на могилку. Папа, я, Тося, Миша, и Ниночку с собой взяли. Красивое у нас кладбище, на сопке, над рекой. Попроведали мамочку, пришли домой, папа говорит мне: «Теперь ты — хозяйка».

Младшую нашу, Ниночку, люди из города хотели в дочки взять. Они были бездетные. Папа мне говорит: «Решай. Ты — хозяйка...» Я решила не отдавать. Жалко...

Летний день валил за полдень. Покойно было в степи. Мирно паслись телята, коза Манька улеглась на отдых среди жилистых кустов донника. От лога, от зарослей его доносился сладкий дух уже отцветающей дикой маслины.

Мы пошли улицей, к дому. Взрослых людей не было видать, там и здесь кучилась у дворов детвора. В нашем соседстве две девочки баловались возле качелей, под высоким вязом. Завидев нас, они дружно поздоровались:

— Здравствуйте!

— Здравствуйте, здравствуйте... — ответила моя хозяйка и сказала мне: — Вот такой я и осталась без мамочки.

И оба мы, невольно замедлив шаг, глядели на девочек. Это были обычные девчушки-малолетки, с косичками, в коротких летних платьицах, тонкорукые, с загорелыми коленками — милое детство, и только.

Прошли мы во двор и в дом. В хате, под крышею, было прохладно. Притворенные ставни сдерживали свет дневной, и в комнате стоял полусумрак. А в глазах еще сиял ясный полдень, милое детство под вязом, у веревочных качелей.

— Такой вот и я была... — вздохнула старая женщина. — Четыре класса не кончила... Хозяйка. Семья все же большая: отец, двое младших сестренки и брат. Надо хлеб испечь. А квашонка большая, промесить ее трудно. Хлеб испечь, сготовить обед, постирать на всех, убраться, полы помыть. Спасибо мамочке, она всему меня научила: и печь и убираться — будто чуяла. Сначала я думала: и в школе смогу, и по дому. Встану чуть свет, все переделаю и бегу. Прибегу из школы — дел полно. Уроки уж вовсе некогда делать. Папа молчит, а я сама вижу: надо бросать. В школе толку нет, там про мальшей думаешь, а дома — и вовсе. Решила: надо младших поднять

да выучить. Папа ведь с одной рукой, вторую скрючило. Раньше он матросом, масленщиком плавал, работал конюхом, а теперь лишь сторожем мог. А жить надо. Бросила школу. Учительница меня любила, приходила несколько раз, говорит: «Ей надо учиться». Но какая учеба? Стала по дому управлять да к людям ходить, подрабатывать. Липакевича дом на мне был: уборка и стирка. Даже золото доверяли. Шкатулка у них была с золотом в подполье, я про нее знала. А тут еще Нюночка болеет, мамочку не может забыть. К окошку подойдет, сядет, ручкой подопрется и смотрит на гору, где кладбище. Смотрит, и слезы катятся. Целый день так может сидеть, я к ней Неделячиху приглашала, чтобы лечила, заговаривала.

Так я и стала хозяйкой. Лето пришло, под картошку землю копаю. Себе, а потом людям. Осенью пошла хлеб жать. Сначала у Вавиловых три дня жала. А потом пришла Кочмариха, Степановна, говорит: «Иди к нам, мать у нас работала, и ты иди. Я знаю, вы — работающие». Пошла я к Степановне. Она мне платила как всем: за день — полпуда муки или зерном тридцать фунтов. Мы всегда зерном брали.

Степановна — это средняя невестка Кочмаревых. Их было три брата Кочмаревых: Иван и два Никиты, Малко и Большак, чтобы не путать. Они одной семьей жили в городе, на самом краю. А земля их была между городом и Затонам. Поля были, хлеб. Сейчас, наверное, нету.

— Нету, — подтвердил я, припомнив пустое пространство от города до судоремонтного затона. — Ничего там нет, кусты.

— Это еще при мне бросили землю. Кочмаревых раскулачили, выслали, и больше никто не пахал. А раньше там везде был хлеб. Кочмаревы сами пахали, сеяли, у них там зимовье стояло, в нем жили все лето. Работали сами, лишь на уборку баб нанимали снопы вязать.

Весной на полях молебен устраивают, угощают народ. Часовня своя стояла, привозили батюшку. На Николу-летнего — крестный ход на полях. Кочмаревы, Закудаевы, все, кто сеял, угощали народ. Прямо на земле стелили и раскладывали мясное, печеное. Это чтобы дожди шли и хлеб уродился.

Работающие люди. А Степановна — средняя сноха, ее муж — Никита Большак — она самая работающая, вместе с нами всегда на поле. С утра и до ночи. Солнце еще не встало, а Степановна уже бежит из города. Через плечо у нее большие торбы кожаные. Там сметана, хлеб, калачи, другая еда. Степановна лошадей жалела. Утром бежит, торбы через плечо. Семь верст от города, и вечером — тоже бежит. А лошади чтоб отдыхали, им работать.

Встречает нас, и пошли на поля. На поле позавтракаем, и — работать, весь день, до темна. Степановна всегда говорила: «Мы начинаем работать, а не отдыхать».

Косилка хлеб косит, а мы на своих местах, снопы вяжем и здесь же их бросаем. А уж вечером в суслоны кладем. Я сразу наравне со всеми стала работать. Девчонка, а даже лучше других. Степановна меня на угол поля ставила, где косилка сворачивает, там трудней. Работаем, работаем. Перед обедом Степановна нас оставляет и бежит на зимовье, туда привозят обед. Она все приготовит и поднимает красную тряпку. Это сигнал «на обед». Обедаем хорошо: мясное всегда, хлеба много. И снова — на поле. После обеда не отдыхали. «Мы нанимаем людей работать, а не отдыхать» — так Степановна всегда говорила и сама вместе с нами работала, пока солнышко сядет. Снопы в суслоны поставим, поужинаем. Степановна с собой всем хлеба давала, а мне особенно. Она ведь знает, что дома у меня две сестры и брат. А Кочмаревы хлеб пекли хороший, вкусный. Поужинаем — и домой. Степановна с торбами бежит в город. Семь верст. Лошадей никогда не брала, только пешком. Лошади пусть от-

дышают. Она была работящая и меня любила. Когда за работу рассчитывается, лошадь даст, чтобы на мельницу зерно отвезти помолоть. Любила меня, говорит: «Ты — работящая, я тебя замуж отдам в Матакан, в хорошую семью». Это деревня была такая рядом — Матакан.

Потом их раскулачили. Многих раскулачили. Кочмаревых, Закурдаевых, Безденежных... У Безденежных были коровы. Десять или двенадцать. Они молоко продавали в город, летом и зимой. Такие работящие люди. Сам Безденежных и тетка Нюра, жена его. Детей было много, мал мала. А коров надо подоить утром да вечером, молоко обработать. Какое — на сепаратор, какое — на продажу. Работников не нанимали, все своими руками. И кормят, и чистят, и сено готовят. Помню, у тетки Нюры грудной был ребенок. Когда время придет его кормить, она прямо на пол падает, вынет грудь, даст, а сама в это время спит, пока он сосет. Их потом тоже раскулачили, выслали. Помню: мешок у нее за плечами, ребятишки вокруг. Наша Тося — она комсомолкой была — ходила раскулачивать с комиссией. Она грамотная, ей велели записывать имущество. Зашли к одним, а там записывать нечего: детей полно да плуги и бороны, а в доме пусто. Детишки плачут. Тося пришла, расстроилась и больше не ходила раскулачивать, отказалась.

В старом доме — прохлада. Когда-то, в давние теперь времена, ставили своими руками. Потолок, стены, межполье — все проложено камышом, для тепла. Жарким летом хранит дом прохладу.

Старая женщина, хозяйка моя, давно здесь одна живет среди убранства простого: железные кровати, самодельный крашенный стол, сундук. Две серые телогрейки на вешалке, у порога: будняя и добрая. Есть еще в сундуке жакет — «плюшка», в нем когда-то на базар ходила.

Телогрейки — на вешалке, простые плетеные половики. И нет духа затхлости, нечистой старости. Пахнет горькой полынью, чабром, сушеной мятой, донником. Одно держится от моли да от мышей, другое — для нехитрой лечьбы: «оттапливаю и прикладываю», «оттапливаю и пью». Где-то здесь за печкой ли, в других закутах хранятся сушеные яблоки, абрикосы да груши. И дышится легко в доме.

Постучали в окошко. Кто-то звал хозяйку, постукивая в оконный переплет.

— Кого там?.. — поднялась она с кровати и вышла на веранду.

Затеялся там разговор. Голос мужской что-то бубнил настойчиво. Хозяйка отвечала коротко. И снова слышался мерный басок. Потом голоса стихли, ушли во двор.

Вышел и я на веранду. Солнце валилось за полдень. Домик наш и веранду хранил от прямых лучей старый высокий тополь раина. Железную крышу веранды, стеклянные рамы ее прикрывала виноградная зелень. Но прохлады здесь не было. Летний жар томился под легкою кровлею. Звенела, биясь о стекло, янтарно-желтая оса. Осторожно, ладонью, я вывел ее к свободе, и она улетела.

Сухой ладный жар проникал через легкую одежду и, отворяя телесные преграды, горячил и бодрил в жилах кровь. Голова оставалась ясной; тело жадно вбирало в себя пахучий полуденный зной, наскучав по теплу за долгие месяцы зябкой осени, холодной зимы, дождливой весны.

В глубине двора, у летней кухни, бубнил мужской голос:

— В дело... В дело... Я у тебя лишь в дело занимаю. Послезавтра — как штык. С работы буду идти и отдам. Сама знаешь — как штык.

Через минуту мужик прошел торопливо к воротцам, держа в руках заветную пятерку ли, трешку. Вид у него был запьянцовский.

От калитки он хозяйку мою поприветствовал поднятием руки и еще раз доложил громко:

— Послезавтра вечером... Как штык!

Хозяйка моя подошла к веранде, села на крыльце.

— На выпивку?.. — спросил я.

Она ответила не сразу:

— Выпивает. Но сейчас говорит, в дело. Вроде на картошку. Он всегда в срок ворочает, — отдала она справедливость. — Сказал, значит, точно. Работящий парень. А пить — пьет... — со вздохом подтвердила она, а потом добавила: — Господи, чего они в жизни видали... Отец всю жизнь пил да гонял их, так непутем и помер. Доброго они не видали.

Сколько помню, вся улица приходит на этот двор пятерку занять ли, трешку до получки. Так было, так и ведется. Хотя и прежде денег больших тут не водилось, а теперь и вовсе: полсотни рублей пенсия, сыновья в год десятку-другую подбросят — и весь доход. Яички сбережет — продаст, засушит яблок да груш для кооперации, случится урожай на абрикосы, кавказские люди их купят, зеленцой, по пятерке за ведро. Вот и все доходы. Были и есть дворы побогаче. Дело не в том.

Прежде много было в поселке убогих да нищих. Володя Рожков забредет, другой тоже Володя, но Хромой, Настя-дурочка, Вася-Хаб, какие-нибудь сторонние. Кусок хлеба, тарелка борща, картошек десяток, помидор, а то и сала кусок, бабам — тряпку какую: юбочку, ли, кофту старую. Цыганки часто тогда бродили с сопливыми ребятишками. Звали: «Сестра, сестра...» — и уходили: «Счастье тебе будет сестра, счастье...» Она лишь слезу смахивала.

Гена... Соседский сирота... Рубашки ему шила. «Вырасту, отрез на платье куплю...» — обещал он по-детски всерьез. Теперь он далеко, человек военный.

Сема... Тоже сирота. Старшего сына институтский дружок. Както жил здесь все лето. Она ему брюки пошила белые и белую рубашку, чтобы на танцы ходить. В те бедные времена все ребята мечтали о белых брюках простого сурового полотна. Прожил лето. «Выучусь, с первой получки...»

Сколько их было здесь, знает лишь бог.

Теперь времена иные. Но все равно идут. Трояк ли, пятерку до получки. А кому и поболее. Кое-кто со сберкнижки боится снимать: «Сымешь — и уплывет». А уж тем более срочные вклады, те вовсе тронуть нельзя, «проценты пропадут». Выручает. Все же есть деньги. Пять сотен. Лежат они, свернутые, в платочке, а платок — в старой желтой сумке, а сумка — в сундуке. Это деньги и смертные, и на черный день. Про них соседи знают.

— А вот у нас, в Забайкалье, пьяниц не было.

Снова уходим мы от жаркого лета в даль времен, к быстрой Шилке-реке, к высоким ее берегам, к белой церкви посреди синего кладбища.

— Не было пьяниц. По праздникам или с получки, бывало, мужики рюмочку и выпьют. Папа, помню, придет веселый, станет на пороге и скажет: «Дорогие мои детки, хотите, меня бейте, а хотите — убейте, а я рюмочку выпил и буду на гармошке играть». Возьмет гармошку и играет. А мы — пляшем. Весело всем.

А пьяниц было двое на весь город: сначала — Никишка Смолин, а потом — Пашка Сукнев. Это я уж в девушках была, на танцы ходила. И с Пашкой Сукневым никто не танцевал, потому что от него вином пахло.

Это я уж работать начала в затоне, сначала пароходы, баржи мыла. Тогда было трудно устроиться, безработица, брали только членов профсоюза. А в профсоюз вступить — надо полгода проработать. А где проработаешь, если не берут. Но я устроилась. Знали, что

семья большая, а папу тогда с работы выгнали. Ярыгин такой был, работал водовозом, при лошадях и политграмоту изучал. Воду везет, сам — с книжкой, изучает. Чистит лошадь и книжку здесь же пристроит, изучает. На собраниях всегда выступал, его и назначили начальником пристани. Он папу уволил. Папа ему что-то сказал поперек. И все. Сразу уволил. Папа ходил просил его, на колени становился. Четверо детей, без жены. А Ярыгин ни в какую. Так и не взял. Папа плакал, ему стыдно было безработным. А я его успокаивала. Меня в это время уже брали на пароход «Клара Цеткин» официанткой. Они же знали, что я работать люблю. А там работы много: во-первых, завтрак, обед, ужин пассажирам подать, каюты у команды убрать, стирать салфетки, скатерти, поварам я всегда колпаки стирала, крахмалила.

Потом «Клара Цеткин» ушла на отстой, я переживала: опять без работы. Но меня уже заметили, что я работающая, и на пароход «Коллонтай» команда пригласила. Они свою повариху прогнали, она была ленивая. Смешно всегда таких поварих с парохода провожают: она — впереди, с вещами, а сзади вся команда. Один на самоварной трубе дудит, другие стучат крышками от кастрюль, в сковороды бьют — шум, гам. Чтобы все пароходы знали, что ленивая.

А я работать любила, хоть и жарко на камбузе и готовки много. Команда двадцать пять человек. Да еще надо все каюты убрать: капитан, первый помощник, второй, механик, два помощника, два лоцмана, рулевые, матросы. А ночью белье стираешь: салфетки, постельное. Некогда спать.

Потом я плавала на «Комиссаре», он до Керби ходил, вниз по Амуру, почтовым и пассажиров возил. Там я официанткой была. А на кухне поварами два китайца работали. Один для команды готовил, другой — для ресторана, Иваном его звали. Такой хороший повар. Камбуз тесный, жара в нем, а Иван с пяти утра на кухне и до поздней ночи. Худой как скелет, от жары ничего не ел. Лишь выйдет иногда на палубу с чайником, выпьет два-три стакана и снова — на камбуз. Готовил замечательно. А картошку чистил — как фокусник. Картошины для вторых блюд должны быть обязательно одинаковыми. А они ведь вырастают разными. А Иван — как фокусник — взял картошку, ножом ее — чик! — и готово. Вторую берет. Глазом не моргнешь — готово! И все получаются одинаковыми. Как яичко.

Меня китайцы любили. Говорили: ты молодец, работающая. Я им щепцы постираю, накрахмалю. Они мне мороженое на остановках покупали. Особенно Иван ко мне хорошо относился, про семью часто рассказывал. У него семья в Китае, двое детей. Покажет фотокарточку и заплачет. Так он их и не увидел. Должен был поехать в тот год домой. Готовился. В Керби золото купил, а рулевсй на него донес. Золото запрещали. Катер подъехал, стрелки — в камбуз, а у Ивана золото открыто лежало. Забрали Ивана и увезли. И больше про него не слышали.

А я плавала на этом пароходе, потом — на других. Мы уже с Петей тогда пожениться решили. Он был наш, из нашего Затона. Мы там дружно жили, как одна семья. Вечерами, после работы, в «ремешок» играют, в «прутики», в «городки», в «бабки». Лапту любил. Весь Затон, стар и млад, бегают. Маруська, жена НКВД, ногу вывихнула. Так бегала. В клубе каждый вечер полно народу. По всем домам раз свет мигнул, два раза мигнул — это значит готовьтесь. Три раза мигнул — все бегут в клуб.

Если кино нет, то играют в «жмурки», в «чехарду». «Синяя блуза» готовится выступать. Человек пять—десять пирамиды делают. Или драматический коллектив репетирует. Пьесу «Царь Иоанн Грозный». Все собираются: кто главные роли и кто в массовках. После работы, усталые. Кто во втором действии или в третьем, те на лавки ложатся и спят. Когда надо, их будят. Михайловы всей семьей: Гутя,

Соня, Иннокентий, Герман, Анатолий, Семен и отец — сам Михайлов — механик, он на скрипке играл. Каждый день из города едет на лошадке. Библиотека работала. Пашкевич заведовал, у него почерк красивый, как пропись. Днем, в Затоне — рабочий, а вечером — книжки выдает. Фельдшер Липакевич тоже всегда в клубе. Он один был лысый, на весь Затон. Солодовы, Боровицкие. У них Нина хорошо пела, потом, говорят, артисткой стала.

Радио в клубе сделали. Митя Харитоненко налаживал и никому не велел в клуб приходить. Но все сбежались. А как же: в Москве будут говорить, а здесь слышно.

А праздники — тоже вместе. 8-го Марта в клубе столы накроют, женщины за столами сидят, а мужчины, в фартуках, чай подают. В День Красной Армии в гости весь 108-й полк приглашали. Чаем поили. Тогда вина не знали, лишь чай. А весело было, все — дружные.

Свекровь свою, Марию Павловну, я любила, как маму. Я и звала ее мамой. Она такая была добрая, работающая, ее весь Затон и город любили. Ее все знали. Жили они небогато. Вдовой осталась, с четырьмя детьми. Ходила на поденку, как и мама моя; стирала по людям, убиралась. Корову держала, Маньку, а еще — птицу, свиней. Манька у нее была молочница. Потому что в теплом стойле зимует, теплое пойло всегда готово. Грибов ей насолит, Манька любила грибы. Вот Манька и молочница, больше всех молока дает в Затоне. А Мария Павловна всех молочком угощает. Она жила на краю Затона, всех привечала. Люди идут, она их зовет:

— Заходите, заходите! Попейте чайку с молочком.

Напоит их чаем, проводит, а я спрашиваю:

— Мама, это кто? Знакомые?

— Нет. Но они же устали. А знакомых, видно, нет. Некому их чайком попить. Мы их напоили, они легкой ногой дойдут.

Девчата идут с танцев, из города поздно. Я и сама ходила до замужества. Идем, уж двенадцать часов.

— Девочки! — зовет Мария Павловна. — Заходите! Чайку с молочком... Манька моя...

Заходим, чай пьем, рассказываем: кто с кем танцевал, что кавалер говорил. Она слушает, поддакивает:

— Девочки, девочки... Молочка подливайте. Так, так... Этот мальчик хороший. А этот плохой, с ним не танцуйте.

Какие девчата переписываются с кавалерами, письмо получают и бегут к Марии Павловне читать.

Такая сердечная была, последний кусок отдаст. Механик жил недалеко, жена бестолковая: вечно нечего есть. А детишек — двое: Мария Павловна: «Девочки, девочки... — я уж с ней жила и Пана, вторая невестка. — Девочки, давайте им хлеб отдадим. У них ничего нет. А я оладушек напеку...» Потащила.

Кому занять хлеба, картошки, денег, все к Марии Павловне бегут. Однажды все свои сбережения ухнула. Умер один человек, они недавно из России приехали, никого не знают еще. Осталась жена с детьми. Хотят уехать в Россию, на родину, а денег нет. И из России нечем вернуть, там, видно, тоже... Мария Павловна все сбереженное им отдала. «Ничего, ничего, девочки. Мы с Манькой проживем. Пусть едут, им надо... Детишки маленькие...»

Она меня любила. Я ее мамой звала, мамочкой. «Поедем, — говорю, — мамочка, с нами». Это мы, когда поженились с Петей, год прожили и в Хабаровск решили переезжать. Он учиться хотел. Я так ее просила: «Поедем, мамочка». Но она осталась. Она Колю растила, сиротку. И не хотела кому-то в тягость быть. «Мы с Манькой не пропадем...» — это ее слова, как сейчас слышу. А больше мы не виделись. Но я ее люблю и помню, как живую.

Мы сидим на крыльце. Время — за полдень. Летнее солнце, медовый жар его. С крыльечка видна пустынная улица, уходящая в

степь. И там, в сизом, полынном мареве что-то мреет и что-то чудится сердцу дорогое и тяжкое, которого лучше не поминать.

Старая женщина, хозяйка моя, прикрывает глаза.

Дело — к вечеру. Солнце желтеет. От старого тополя, от яблонь в саду тянутся длинные тени. Хозяйка моя поднимается, принимаясь за вечные дела.

Дом, огород, невеликий, но сад, те же простые цветы в незащитных клумбах. Человеку стороннему да мне самому порою кажется, что все это растет само собой, по присловию: ткни в землю оглоблю — вырастет телега.

Петунии, бархотки, астры да гвоздики... «Самосевом растут...» — подтверждает хозяйка. Но попробуй их не полить, не прополоть, хотя бы в неделю раз, ползая на корточках и с трудом разбирая неверными уже глазами, особенно по весне: где здесь петуния, а где лебеда, мокруша и прочая нечисть. Попробуй не сделай... И вместо душистого разноцветья встанет стеной бурьян.

А в огороде... Ряды подвязанных к стоянкам помидор, волна за волной их зеленая ботва. А среди зелени приманчиво розовеют, краснеют и рдеют тяжелые помидорины. На шпалерах — пышные огуречные плети, с желтым цветом и пупырчатыми зеленцами. Сладкий болгарский перец, без которого и борща не сварить. Багровая свекла. Стрельчатый чеснок. Зеленый с апреля до снега лучок, а рядом — он же, но с золотистыми головками, лезущими из земли. Пора копать их да вязать в тяжелые косы. Фиолетовые — в локоть — баклажаны. Горькая редька и сладчайшая морковь. Фасоль на тычинках в белом да розовом цвете, а рядом — зеленый горох. Кормилица стариков — картошка. Шершавые листья тыквы на трубчатых стеблях. Арбузные кружевные плети. Цветет и пенится зеленую огород, распирая ветхую заборную огорожу. Но не полей вовремя — все от солнца сторит. Не прополи — зарастет травой. Не пропаша землю, она заклевет и росту не даст. Картошку от проклятого жука колорадского не оббери, так в неделю от ботвы останутся одни будылки.

Труды и труды... Еще зимой, в феврале начинается маета с рассадой — капустной, помидорной и прочей. Тяжкая пора весны, с лопатой да мотыгой. Копай да рассаживай, храни от ночного холода да немилостивого нынче кислотного дождя. Труды и труды... А еще сад придает заботы, подворье и дом, хоть малая, но животины. А еще — годы.

Хозяйка моя встает с рассветом. По утреннему холодку до полудня работать легко. И вечером. Пока долгие сумерки не загустеют, не прогонят к дому.

Летний покойный вечер. Долгая заря провожает нынешний погожий день, обещая назавтра такой же. Чаевничаем на вольном воздухе, забеливая чай молоком.

— Все же много земли, — сочувственно говорю я. — Огород большой. Трудно.

— Сложна руки скорей уморишься, — говорит старая женщина. — Зимой весны жду, чтоб выйти на волю, работать. Сидеть не терпит душа. И зимой без дела не сижу: пух да шерсть пряду, вяжу помаленьку, а жду весны. Привыкла, с малых лет в работе. И муж мой в двенадцать лет уже золото мыл в артели. Потом — рассыльным. Подрос — масленщиком взяли на пароход. А вечером учился. Мы и в Хабаровск уехали, чтобы там учиться ему. Рабфак... Оба работаем. Квартиру нам дали казенную, в бараке. Огород, картошку сажали. Козу держали молочную, кроликов. У нас уже Славочка был сынок, а я была в положении, девочку хотела. Мы хорошо жили, рядом все — водники, люди хорошие: Бушуевы, Коршуновы, Еремеев — старый капитан. Праздники всегда вместе встречали. Первое Мая, Женский день...

Долгие сумерки. Во дворе темнеет. Садовые сверчки заводят дремлотную протяжную песню. Глохнет голос хозяйки моей.

— В газетах стали писать: «Очистим Дальний Восток от врагов народа». Приехал из Москвы Иевлев и стал забирать у партийцев билеты. Вызовет в кабинет: «Билет — на стол». Его потом тоже расстреляли как врага народа. А потом стали всех забирать. Петя мой пришел на обед, и его забрали. Один — из НКВД и с ним — стрелок. Без понятых, и обыска почти не было. Так, посмотрели чуть-чуть и увели. НКВД сказал стрелку: «Веди потихоньку», а сам остался — он знал нас — и мне говорит: «Его вышлют, увезут. Вы можете поехать с ним, но я советую ехать не вместе, а чуть позднее. Чтобы хоть за свои деньги, но в нормальном поезде».

Он же видел, что мне скоро рожать и Славочка маленький, поэтому так сказал. Но я не согласилась, решила: поеду.

Два дня дали на сборы. На работе мне выделили кучера, ездила за расчетом. А сама бере память. Куда-то еду, подписываю, мне что-то дают. Опомнилась — дома сижу, а возле меня, на полу, сумка полная денег. Здесь и расчет и много лишнего: это на работе все наши сотрудники мне собрали. Сижу, а меня соседка Клава Коршунова трясет: «Очнись...» Бушуев пришел, механик, потом старый капитан Еремеев с женой — все соседи. И все мне помогают. Продали обстановку, столы, кровати. Козу Маньку продали. Женщины нажарили уток, кроликов. Деньги зашили в пальто и в пиджак. Бушуев укладывает вещи: «Это бери, это бери... А это не надо...» Уложили все, перевязали.

Посадка в эшелоны была не в Хабаровске, а за городом. Четыре эшелона в один день отправляли. Туда все приехали: кто на чем. Холодно, ветер. Людей много, все — с детьми. Никто своих не бросал. Губернаторов был механик старый. С ним ехало семь человек: жена, пять сыновей и дочь. Все уже взрослые, работали. Один Шурка не работал. Он лишь пришел из армии, с флота. Неделью всего погулял и тоже написал заявление, с отцом поехал. Губернаторова потом расстреляли в Семипалатинске и сыновей его — тоже.

Все семьи собрались, и тут наших ведут: колонна, стрелки вокруг, ружья наперевес, кричат: «Не подходить, не подходить!»

Подогнали товарные составы. Четыре состава в один день. Наших — в первые вагоны, а мы, семьи, — в задние. Погрузились и поехали.

На станциях стрелки на землю прыгивают, охраняют, ружья — наперевес. А мы бежим, просим стрелков, чтобы своим еду передать. У нас же — деньги, запасы, а у них — ничего.

Долго ехали. Везли нас, везли. Прибыли на станцию Чу, как сейчас помню. Там пересортировка. НКВД мелом вагоны отметило. Одних повезли на Чарджоу, а нас — на Майеркан. Ехали по узкоколейке. Платформы открытые, паровозик маленький — саксаул везт. Губернаторовы с гитарой, поют. Молодые все.

Везли целый день. Приехали ночью. Высадили всех и погнали. Стрелки с ружьями наперевес, торопят: «Скорей, скорей!» А там не то болото, не то поливные поля. Сразу все вымокли. А ведь с детьми, с вещами. У меня Славочка маленький, его ребята Губернаторовы, спасибо, на руках несут, по очереди. А я уж еле бреду. На восьмом месяце, девочку ждала.

К утру пришли. Голая степь. Бараки. Немцы живут высланные и чечены. В бараках — солома, все вповалку туда.

А мне стало плохо. Выкидыш у меня получился. Девочка, какую ждала... И я потом лежала, не могла подняться. И Петя возле меня сидит. А все кинулись в поселок, до него семь километров, там разрешили на работу устраиваться. Говорю Пете: «Иди. А то все места займут и жить нечем...»

Сама я через силу поднялась, чтоб вроде его успокоить, стала оглядываться. Пайку хлеба нам выдают. У немцев покупаем яйца. Немцы уже обжились тут, мазанки себе налепили. Все сделано аккуратно, чистота. Печечки тоже из глины, а все блестят, будто яичком их смазали. Полы, потолок, стены — все так аккуратно затерто: ни щербиночки, ни морщиночки — гладкий лед. И хлеб они уже сеяли, кур завели, свиней.

А чечены живут в бараках. С ними князь и княгиня. Старые уже. Чечены работали на оросительных каналах, копали их. Все ходят с кетменями на работу. И князь — с ними. Утром, когда князя своего увидят, кланяются ему низко. Князь на работу ходил, иначе бы ему пайку хлеба не дали. Но он не работал, а числился бригадиром. А княгиня дома сидела. Она хоть и старая, но такая красивая.

А рядом с бараками большое-большое кладбище. Там и чечены, и немцы. Их первых привезли на голое место, зимой. Они на голом месте посреди степи стали ямы копать, на зимовку. Много померло. Все старики, дети. Остались кто поздоровей да у кого, может, продукты были. А уж потом бараки ставили. Немцы в них не захотели жить, лепили мазанки.

Я как поднялась, поглядела — и сразу решила: мазанку будем лепить. В бараке не хочу. Слепим мазанку. Пока деньги есть, курочек заведем. Пойду на каналы работать, копать. А Петя в поселке устроился. Лишь бы не трогали и работать разрешили. Остальное не страшно. Я у немцев спросила, они — хорошие люди, они рассказали, как лепить. И быстро мы свою мазанку слепили, даже немцы удивлялись, хвалили меня. Глядя на нас, и другие стали лепить. Губернаторовы. У них народу много, и все работающие.

Но в наших хатках пожить нам не удалось. Всех нас хабаровских в один день приехали и забрали и повезли. На сборы — час. Все бросили.

Нас поселили в Бурю-Тюбе. Оттуда как раз райцентр убрали в другое место, и много организаций, людей уехало. Квартиры освободились. Сначала мы жили в «доме стахановцев»: длинный общий коридор, а от него комнаты направо и налево. Петю работать взяли. Он был хорошим специалистом, его везде ценили. А я в сберкассе устроилась. Стали жить. И нам новую квартиру предложили, большую, двухкомнатную. Петю ценили как хорошего работника. Я еще не хотела в новую квартиру переходить, вроде сердце чуяло. Но перешли.

И только мы на новом месте устроились, как Петю опять арестовали. Снова, как в Хабаровске, в обеденный перерыв. Забрало НКВД, и сразу увезли в Алма-Ату.

Я в тот же день вещи все собрала, и перешли мы в старую квартиру, в комнатку «дома стахановцев». Думаю, все равно из новой выгонят как врагов народа. А в старой — печечка сложена, можно жить. Из сберкассы меня сразу уволили, сказали: нельзя. Кинулась другую работу искать, нигде не берут. Повар был нужен в больнице, НКВД не разрешило. Санитаркой тоже не взяли. Нигде не берут как жену врага.

Спасибо людям, помогали. Шуре Соломатиной спасибо. Они с мужем тоже высланные, с Дальнего Востока. Мы раньше друг друга и не знали. А она тут позвала меня, сказала: будешь помогать. Она шила хорошо, ей люди заказывали. Она мне скажет что делать, я делаю. Сначала — простое. Она мне рассказывает. А я ведь работать люблю. Делаю. Она мне деньги платит.

Так вот и стали жить. Спасибо Шурочке... Век ее помню. Потом мы всю жизнь дружили. И сейчас письма пишем. Спасибо ей... Ведь надо как-то кормиться самой и сыну, да еще на билет деньги нужны — в Алма-Ату ездить, узнавать.

Там были ответные дни, в НКВД. Приходить надо обязательно

вечером, в 10 или 11 часов. Заходишь в коридор, в стенах четыре или пять окошечек с решетками. Народу собирается много, очередь. Вот и ждешь. Подходишь к окошечку и говоришь: такой-то, мол, такой-то. Тебе отвечают. Кому что. Мне сначала говорили: дело находится на доследовании. А другим по-другому отвечали. Помню, одна женщина подошла как раз передо мной. Ей отвечают: «Приговорен к высшей мере». Как она закричит... Схватила за решетку и кричит. И не могут ее оторвать от решетки. Мужчины-стрелки отрывают вдвоем и не могут оторвать. А она так кричит... Душу рвет. И мы — все женщины вокруг — начали плакать и тоже кричать. Нас всех стали выгонять, а этой женщине стали делать уколы. Насилу-насилу ее отцепили от решетки. И с тех пор нам не в окошечко отвечали, через решетки, а впускали по одному в кабинеты. Войдешь, посадят на стул, а потом говорят. Но всегда почему-то ночью. А можно было туда по телефону звонить. Также отвечали. Но я стремилась поехать туда...

В это время у меня неприятность получилась. В «доме стахановцев» жили много стрелков из охраны. А моя комнатка всегда побеленая, убранная, я же чистоту люблю. Однажды заходит ко мне стрелок, он в том же коридоре жил. Зашел, оглядел мою комнатку и говорит:

— В двадцать четыре часа выселяйтесь отсюда.

— Куда? — испугалась я. — Мы и так с большой квартиры ушли, куда же теперь?

— Ничего не знаю. В двадцать четыре часа, как враги народа.

Я заплакала: ну куда идти... А потом набралась смелости и пошла к прокурору. Говорю ему:

— Куда я с ребенком пойду? На работу не берут. Двухкомнатную мы сами освободили, без приказа. Куда деваться? Ведь и обвинение еще не вынесли. Дело на доследовании.

Прокурор хороший попался и заступился за нас. Я стрелку все объяснила: так, мол, и так: прокурор передал... Стрелок усмехнулся и сказал:

— Ничего. Скоро освободите. Врагам пощады не будет.

Поехала я в Алма-Ату, в НКВД. Очереди дождалась, меня в комнату пригласили и сказали:

— Следствие закончено. Дело передано в «тройку». Статья такая-то.

Я говорю:

— Объясните. Я же — не юрист. В статьях не понимаю.

Они объяснили:

— Будет или высшая мера, или двадцать пять лет. И вам надо тоже подготовиться...

Я вернулась и перестала спать. Ночью даже не ложусь, не раздеваюсь. Боялась за сына, за Славочку. Застучат, испугают его. А он уже все понимал. Мне Шура рассказывала: как я уеду, он садится и весь день сидит, грустный такой, о чем-то думает. Она его спрашивает:

— Ты чего? Что с тобой?

Он все молчал, а потом ответил:

— Маму посадят... А мне куда? Также — в тюрьму.

— Нет, нет... — Она его убедила. — Ты со мной останешься, с моими ребятами, с Володей и Павликом.

Он поверил и побежал, веселый.

Но я уже давно с младшей сестрой, с Ниной, договорилась. Если меня заберут, то она возьмет к себе Славика. Ей, конечно, нельзя брать, потому что мы — враги народа, а ее муж в НКВД работал. Но мы придумали: она заберет и скажет, что это ее сын, которого она в девушках прижила, и он у людей воспитывался, а теперь его взяли.

Обо всем было договорено. Но я не спала. Ведь придут и будут стучать, испугают сыночка. Лучше сразу дверь открыть. Вот я и не ложилась, не раздевалась даже. Свет потушу и на стуле сижу, всю ночь.

А жили-то в «доме стахановцев». Там длинный общий коридор. И много живет стрелков военной охраны. Они круглые сутки дежурили, сменялись — по ночам. Они идут по коридору, шаги слышны издали: бух-бух-бух-бух... А я думаю: «Это за мной». К дверям подойду и жаду, чтобы сразу открыть, чтобы Славочку не испугали стуком.

Так и сижу ночь напролет. Услышу шаги — сразу к дверям. Шаги мимо — я опять сажусь. Целый месяц не спала. Волосы стали белые-белые. Прямо другой человек. Меня узнавать перестали. И Петя еле узнал. Он ведь долго сидел на допросах.

Надо заметить, что муж хозяйки моей Петр Григорьевич в жизни был человеком немногословным и прошедшего ворошить не любил. Поэтому мне известно немного. Обвинение: «Прибыл в Казахстан по заданию японской разведки». Про то, что выслан, слушать не хотели.

Давали на допросе карту реки Шилки, но «немую», без обозначения пристаней. Говорят: «Ты хорошо Шилку знаешь. Отметь на карте пристани, поселки и все остальное». А он уже знал, что это — обман. Одного человека, тоже водника, с Амура, так обманули. Дали «немую» карту, говорят: «Укажи населенные пункты». Он все надписал, все пристани. На следующем допросе ему эту бумажку предъявили с сопровождением: «Карта составлена для передачи японской разведке». И сразу — высшая мера.

Про это уже знали в тюрьме, и обман не удался.

Оставались допросы, как тогда это бывало, порою сутками напролет, с чередой следователей; если на ногах держат, то пока не рухнешь — и не отольют тебя водой. А песня одна: «Подписывай... По заданию японской разведки...»

В камере он спасался работой. Сначала из спичечных коробков клеил модель парохода: все точно, вплоть до кают, салонов и камбуза. Назвал пароход по имени сына — «Слава». Модель потом забрали, говорят, поставили в красный уголок. А он занялся делом иным: выточил иглу из кости, распускал носки и на кусках белья вышивал портреты. Сначала свои, по памяти. Потом других, кто сидел с ним. И сейчас у хозяйки моей в сундуке хранятся два портрета — вышивка коричневыми нитками на пожелтевшей бязи. Один — что называется автопортрет. Другой — такой же бородатый, но круглолицый, сокамерник, главный архитектор Алма-Аты по фамилии Шильде ли, Шальде. Его расстреляли. А муж хозяйки моей ничего не подписал. И может, поэтому «тройка» отказалась дать ему высшую меру, как было обещано. Приговорили к лагерному сроку. Северные лагеря.

— Это его молитва, молитва спасла... — и теперь верит хозяйка моя. — Меня научили, я выгучила назубок и повторяла три раза в день: утром, в обед и вечером.

«Пресвятая дева-богородица, помоги рабу твоему Петру на белый свет выйти, на праведное солнце взглянуть. Аминь и аминь. Петр на амине содержится, двадцатью замками запирается и отдаст ключи отцу Макарию. Отец Макарий бросит ключи в море соленое...»

Три раза в день повторить. И дева Мария помогла. Расстрел Пете не дали и переслали записку, чтобы я такого-то числа приходила, дадут свиданку, перед тем как угонять по этапу. Я, конечно, обрадовалась, поехала, пришла.

Там небольшая комнатка с лавками. Входишь, а там — вторая дверь, в ней — окошко с решеткой. Я пришла, в окошечко доложила:

такая-то, такая-то, прошу «свиданки». А мне говорят: нет его, вчера этапом ушел. Я так расстроилась, прямо нехорошо стало. Села в той комнатке на скамейку и сижу. Не выгоняют, а я сижу и сижу. А тут заходит женщина, такая худая, аж страшно глядеть на нее. Подошла к окошку, спрашивает:

— Кассир приехал?

Ей отвечают:

— Нет.

— А он приедет?

— Может, и не приедет сегодня.

Она села и заплакала. Да так она плачет, просто рыдает. Я к ней подвинулась ближе, спрашиваю:

— Чего уж вы так плачете горько?

И она мне рассказала.

Арестовали ее вместе с мужем. Двое детей остались, дочки. Их в детские дома. Она — больная, все время лежала в тюремном госпитале. Теперь ее выпустили. Она собралась дочек искать, а денег нет. Какие-то деньги ей должны дать в тюрьме. Обещали сегодня. Она заняла у людей, где на квартире живет, пятьдесят рублей и купила билет на сегодняшнюю ночь. А люди — бедные, у самих ничего нет. А теперь кассира нет. Что тут делать?

А я говорю ей:

— Не плачьте. Вы — счастливая, уже на свободе. И дочек скоро найдете. А деньги возьмите, пятьдесят рублей, — у меня как раз с собой были пятьдесят рублей. Шура мне заплатила. Я их вынула и отдала. — И муж ваш будет на свободе. Я вас молитве научу, ее надо три раза в день повторять: «Пресвятая дева-богородица, помоги рабу твоему...» Сначала я одна, а потом мы вдвоем повторили: «Пресвятая дева-богородица... помоги рабу твоему... на белый свет выйти, на праведное солнце взглянуть».

И как только мы молитву договорили, открывается дверь и меня спрашивают:

— Здесь такая-то?

— Здесь... — говорю я.

— Будет «свиданка», — объявляют мне.

Он, оказывается, не ушел по этапу, что-то спутали.

И была «свиданка». Правда, через две решетки, при людях. Много не скажешь. Но хоть поглядела и он — на меня.

А если бы я не сидела с той женщиной, и деньги ей не дала, и молитве бы ее не учила, то ушла бы — и все. А он бы ждал и не дождался и было бы ему горько на этап уходить, в северные лагеря.

Ведь мы потом три года не видались. Он болел в лагерях, чуть не умер. Сделали ему операцию, а лучше не стало. И отпустили его умирать. Сам бы он не доехал. Я за ним ездила, привезла чуть живого. Одни косточки. На руках несла, как ребенка.

Привезла. Жить нам назначили на станции Или. Это тоже пустыня. Но возле реки Или. Приехали туда. Где жить? За копейки купили разваленную мазанку на краю поселка. Стены нет одной и крыши. Наделала саману, стену вывела. А крышу — из камыша. Вязала его пучками, укладывала, промазывала глиной. Хорошая мазанка получилась. Огород взяли большой, колодец сделала, «копанку». А весной весь двор у нас заливало, под самый порог. Стали жить.

В первое же лето с огорода картошки много накопили, помидоры хорошо росли, капуста. На зиму все свое заготовила. Пошла работать в артель, надомницей, чтобы от мужа не отходить, он не вставал совсем. Даже в НКВД не мог отмечаться. Они сами приходили. В артели нужно было план выполнять: пару варезек в день связать, тогда пайку хлеба дадут. Днем-то я в огороде, по дому, а ночью — вяжу. С керосином плохо, я в темноте вяжу, на ощупь,

Лишь когда пальцы вывязываешь — указательный и большой, это специальные варежки, для бойцов, на фронт, — пальцы в темноте не свяжешь, тогда лампу зажигаю или лучину.

Сынок мой тогда подрост, помогал. Вместе черепах на еду собирали. Их там много, в пустыне. Мы знали хорошее место, у Копчагая. С утра их надо ловить, пока не жарко. Потом они прячутся. Пустыня ровная и сверху ничего не увидишь. А к самой земле пригнешься и видишь: головка торчит. Бежишь туда, хватаешь черепаху и — в мешок. Повезет, значит, три-четыре штуки поймаешь. Или яйца черепахи ищешь. Потом нам черепах ловить запретили. Только для государства, а людям — нельзя. Но мы к тому времени рыбу приспособились ловить. Сначала на удочку. Рано утром идем. Сынка разбуду, чтобы до школы. Сынок лучше меня ловил. Однажды он целый мешок поймал. Продали и купили козу Маньку. Она три литра молока давала. Вот Манька и подняла Петю на ноги. От молока он быстро стал поправляться. Еще не вставал, а сетку вязал. Хоть небольшую связал сетку, а подмога хорошая. Знакомые нам лодку давали. А на реке разрешали людям рыбу ловить. Потому что по карточкам хлеб часто не давали. Не дадут — и все. А река спасала. У каждого учреждения был свой участок, где могли рыбачить. С вечера очередь занимаешь на всю ночь. Подойдет черед, плывешь, кидаешь сеть на своем участке. Сзади другие плывут. До границы участка доплыл, выбираешь сеть и — к берегу. Снова идешь в очередь. Когда народу немного, успеваешь за ночь еще раз проплыть. Рыбка некрупная, маринка называется, но жирная. Два-три десятка поймаешь, а то и четыре. Засолишь. Едим ее и в зиму запасаем. Рыба своя. Картошка, весь год, своя; капуста, огурцы, помидоры — все свое, ничего не покупали. Петя поправился немного и сразу пошел работать. Начальство его ценило, даже квартиру предлагали двухкомнатную. Но я не согласилась. Плохая примета. В Хабаровске нам новую квартиру предлагали, в Бурю-Тюбе — новая квартира. И сразу забирали. Тем более здесь огород большой, вода близко, сарай, к соседям привыкли. Хорошо живем. В НКВД Петя ходит отмечаться — и все. Никто нас не трогает. НКВД тогда тоже было трудно. Не успевали за всеми следить: много врагов. Поляков привезли. У всех ноги помороженные. Сначала их на север вывезли на лесозаготовки. Они там померзли. А кто остался — к нам, в пустыню. Корейцы — с Дальнего Востока. С Украины — кулаки. Немцы. Потом привезли с Кавказа, совсем раздетых. Они на базаре ковры за еду отдавали, дешево. У нас по соседству украинцы жили высланные. Муж с женой. У него самого ноги отнялись, и он по огороду ползком ползал. Грядки делал, сажал, полел. Прямо ползет, как червяк. Я сначала так удивлялась. Жена его ругает: лежи, может, ноги отойдут. А он не может лежать, привык трудиться. Их раскулачили и выслали с Украины. Вот он и ползает, чтобы работать.

А другой был сосед — кореец, тоже высланный. У него огород большущий. Он с него три урожая собирал за лето. Первую садит редиску. Снимает ее, лук садит. А потом — картошку. С утра до темна, как ни посмотришь, он все на корточках. Лишь шляпа торчит из зелени.

Три козы у нас тогда уже было, куры свои, поросенок, коровку завели. С кормами нам тяжело, но я старалась, косила, где могла. Корова хорошая, даже осоку ела. Присолишь, и ест. Соль у нас была. С солью — хорошо. Я так в артели и работала, чтобы все успевать: по дому и в огороде. Правда, меня всегда посылали на трудработы. Оросительные каналы чистить, копать. Тяжелый труд, весь день на солнце и норма большая. Начальник артели, он знал, что мне отказать нельзя, хоть и сын школьник, и муж больной, но — враги народа. Однажды послали сено косить на разливы. Работа очень тяжелая. Косишь в воде, по воде мокрую траву таскаешь на

сухое место, раскладываешь сушить. Обещали и мне дать сена. Я и день, и другой, и третий кошу и таскаю, кошу и таскаю. Вся мокрая, комары изъели, но стараюсь, работаю. Думаю, куда же денешься, раз велят. Да еще сенца обещали. А тот год с сеном плохо — сушь. Целый месяц в воде маялась, а они сено увозят и увозят. Все увезли и мне ничего не дали. Уж так мне было обидно, так обидно, что обманули. Плакала я, плакала... А ничего не поделаешь, надо молчать, потому что — враги народа. Лишь бы не забрали. Лишь бы не трогали, жить разрешили, трудиться... И мы проживем.

Однажды — это уже война кончилась — подходит ко мне жена НКВД, я ее знала, мой Славочка с ее дочерью в одном классе учились. Подходит она и спрашивает:

— Ваш муж не подал заявление в Россию, на восстановление военной разрухи?

— Нет, — говорю я, — не подавал.

А тогда многие подавали заявление, кто хотел уехать. В Россию людей агитировали, водников. Война кончалась, звали на восстановление.

— Нас, — отвечаю ей, — не пустят. Мы же враги народа. Высланные.

— Но вас же не из России выслали?

— Из России папу нашего выслали, — посмеялась тогда я. — Еще при царе.

— Но это не считается, — говорит она. — А отсюда вам надо постараться уехать. Потому что здесь приграничная зона. Обязательно постараться уехать, — и внимательно на меня глядит. — Пусть муж подает заявление, что желает ехать в Россию на восстановление военной разрухи.

Тогда я все поняла. Она ведь не просто ко мне подошла — посоветовала. Это ей муж сказал, сам НКВД. Значит, что-то начинается, раз о приграничной зоне вспомнили. На Дальнем Востоке тоже в газетах писали: «Близость границы... Очистим от врагов...»

Я сразу все Пете сказала. Он понял и в тот же день на работе заявление написал. Я так переживала. Вдруг, думаю, не успеем. Вдруг не пустят и его снова заберут. Он тоже переживал. Друг другу ничего не говорим, а видим.

Я тогда три раза в день молилась: «Пресвятая дева богородица, помоги нам на белый свет выйти, на праведное солнце взглянуть...»

Помогла. Нас отпустили, и мы сюда приехали. Сначала в бараке стали жить: общий коридор, комнатка. А потом свой домик... Огород... Коровку завели... Сначала, конечно, тяжело, а потом...

А потом пошла жизнь: этот домик, сначала крытый чаканом, потом — тесом, теперь вот — под шифером, сначала — мазаный, потом — шалеванный, теперь — обложенный кирпичом. Этот дом и двор. Огород и теперь немалый, а прежде он был в два раза более. Да еще деляна-другая картошки у займища, на заливных землях, да бахчи — обычно далеко, за питомником. Забота о дровах да сене. Корова Манька всегда во дворе стояла, водили птицу. Еще один сын родился. А дочерей не давал бог. Все девочки после той страшной ночи, когда гнали их от станции Майеркан, все девочки рождались прежде времени и мертвенькими.

По утрам я просыпаюсь по-всякому: то раньше, то позже. Хозяйка моя встает до света и, глядя на белеющий восток, повторяет теперь уже вечную молитву: «Пресвятая дева-богородица...»

Светлеет. В саду падают яблоки, глухо ударяясь о мягкую землю. Встает над поселком петуший крик.

Старая женщина, хозяйка моя, кормит кур, поросенка, ведет к попасу Маньку свою, потом возится в огороде с мотыгой да лопатой. Проходит час, и другой, и третий. Пока на капустных листьях,

разлапистых, еще не затянутых в вилок, не высохнут серебристые бисеринки росы. Тогда можно и завтракать.

На летней кухне шипят и поспевают пухлые высокие пышки. Пахнет горячим печевом. Чайник шумит. Тихий утренний час.

А потом снова принимается старая женщина за вечные свои дела в огороде, в саду, во дворе. Дел много. Хватит их до последнего вздоха.

Лето зеленое... Сегодня день пошел на убыль. Солнечное утро. Впереди — жаркий день. Но сейчас в саду прохлада, тень. Тишина. Лишь воробьи чирикают. Ласточка прострижет — и нет ее.

Спеет вишня. Никнут ветви, отягченные алыми ягодами. Не знаю, когда это дерево краше: в белой пене весеннего цвета или теперь, в июньскую пору, когда дробины ягод сначала белеют, потом розовеют и зелень листьев отступает. И вот пробился, сияет, слепит глаза рдяной дождь сочных приманчивых ягод.

Котенок играет на солнцем залитой дорожке. Зажурчит в густой кроне яблони неведомая птаха и смолкнет. Я не вижу ее, но слышу песнь; она протяжна, светла. Песня долгого лета.

У забора ярко цветет зверобой, лечебное зелье, соцветья его ослепительно желты, глазам больно глядеть.

А вот жилистый могучий подсолнух; стебель его в тугих мускулах, нераскрытая слепая корзинка ищет солнце.

Сад, огород, цветочные клумбы. Набитая дорожка ведет мимо дома. Порханье бабочек среди цветов. Лимонная боярышница, коричневая крапивница. Тяжелый шмель прогудел, спеша к золотистому зверобою.

Просыпается наш старый дом с ветхой верандой. Дощатый забор, потонувший в смородиновой гущине. За двором — высокий тополь, столп зеленой листвы, вознесенной к высокому летнему небу. Он покоен в утренней дреме. Лишь там, далеко наверху, в самой вершине трепещет листва, кольшется тусклое серебро.

Жужжание диких земляных пчел. Их гнезда — в подножии тополя, где растет серая полынь.

В поле сейчас пшеница уже поднялась. Сизоватый тяжелый колос. Мерная зыбь хлебов, колыханье. А в степи косят траву. Сохнет сено.

Утренняя тишина. Горлица стонет в тополевой гущине. Детский голос — в соседнем дворе.

Господи... Что нужно нам в этом мире? Что ищем?..

ВАДИМ АНТОНОВ

*

ГАДЮКИ

На повороте осенней излучки
Речка держала туман на весу.
В этом дрожащем тумане — гадюки
Переползали дорогу в лесу!
С жутким хрустяще-сухим шелестеньем
Шли сплошняком, голова к голове.
Мертвенно-бледный туман привиденьем
Белую марлю стелил на траве.
Что за незримая страшная сила
Нарисовала им ясную цель
И на мгновенье так властно сплотила?
Я инстинктивно схватился за ель.
Как неумело и мало мы знаем!
Мой до пенечка знакомый мне лес
Стал вдруг так тягостно неузнаваем,
И потерял ко всему интерес,
Кроме сырой и трухлявой колоды,
Из-за которой в холодной пыли
Тайным знамением грозной природы
Через дорогу гадюки ползли.
Знал я — гадюки, шурша чешуею,
Не для меня берегли свое зло,
Но от шуршанья в тумане
с душою
Что-то неладное произошло.

Стоит туману подняться с излучки,
Снова я вижу: в осеннем лесу
Переползают дорогу гадюки
И привиденье дрожит на весу...

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

«ЖИЛИ, СОБСТВЕННО, РОССИЕЙ...»

Из наследия Юрия Казакова

Первая публикация из архива Юрия Павловича Казакова (1927—1982) появилась в октябрьской книжке «Нового мира» за 1983 год. Это была повесть «Мальчик из снежной ямы» — жизнеописание ненца Тыко Вылки, погвжника, обращенного к добру в самых жестоких обстоятельствах.

Казаков никогда не берег своих рукописей и черновики, к тому же в последние годы он подолгу болел, на его даче в Абрамцево хозяйничали подростки, жгли попадавшие под руку бумаги, рвали магнитофонные пленки, хранившие голоса современников Бунина, с которыми писатель беседовал в Париже... По разным причинам работа над архивом оказалась трудной; тем не менее в 1986 году удалось подготовить сборник «Две ночи», где впервые увидели свет фрагменты повести «Разлучение гуш», наброски рассказов и очерков, автобиографические, дневниковые, путевые заметки. Эти публикации, равно как и напечатанные в журналах письма Юрия Казакова, вызвали новый интерес к его художественному опыту.

Работа над архивом была продолжена. Потребовали внимания не только рукописи, но и опубликованные произведения, подвергшиеся в свое время грубым редакторским сокращениям и порче. Среди них рассказ «Нестор и Кир», полный текст которого до сих пор остается неизвестным читателю. Рассказ вырос из путевого беломорского дневника 1958 года, был закончен в 1961-м, но напечатан лишь весной 1965 года в Алма-Ате («Простор», № 4). Ю. Казаков писал тогда главному редактору «Простора» И. П. Шухову: «Эту главу (Нестор и Кир) я <...> предлагал многим журналам, но ни один не взялся напечатать. Можете поэтому представить мою радость, когда я увидел эту штуку, хоть и с купюрами, напечатанной». Что касается последующих изданий рассказа в сборниках, то по сравнению с журнальным вариантом редакторская правка и изъятия из текста были существенны и жестки — исключались, как правило, наиболее зрелые и беспощадные авторские наблюдения и мысли. Теперь, спустя тридцать лет после написания, читателю возвращается полный, первоначальный текст «Нестора и Кира», одного из лучших рассказов писателя.

Казаков отличался последовательностью литературных пристрастий и никого, пожалуй, не любил так преданно, как Ивана Алексеевича Бунина. Жизнь Бунина он изучил досконально, мечтал написать о нем книгу в духе цвейговских «Звездных часов человечества», кропотливо собирал бунинские материалы. Оказавшись в 1967 году во Франции, встречался с Г. Аюмовичем, Б. Зайцевым, расспрашивал о Бунине всех, кто был с ним мало-мальски знаком. Магнитофонная запись беседы с Борисом Зайцевым, по счастью, уцелела. Разумеется, печатный текст не передаст всех оттенков звучащих голосов, — и все-таки можно почувствовать атмосферу разговора и оценить готовность, с какой старый писатель-эмигрант делился воспоминаниями о русском классике с молодым московским прозаиком, бравшим на себя труд навести духовный мост между бунинской эпохой и современностью. В этой беседе интересно все: и встающий из рассказа Бориса Зайцева облик Бунина, и сам Зайцев, чуть растерянный и несобранный, но безусловно довольный вниманием к нему, и Юрий Казаков, отлично понимающий, что разговаривает он, если угодно, с живой историей, — разговаривает почтительно и вместе с тем на равных.

Публикация, подготовка текста, предисловие и примечания Т. СУДНИК и И. КУЗЬМИЧЕВА,

НЕСТОР И КИР

Из «Северного дневника»

I

Пять дней уже бушует море. Пять дней каждое утро я слышу его рев, смотрю в окно и вижу все одно и то же: свинцовое небо, белые гребни волн до самого горизонта, пустынный берег и серые избы на пригорке.

Скучно! Скучно ждать, ни к чему не лежит душа, хочется дальше, но яростная неукротимая сила не пускает меня. Сила эта — ветер и волны, которые захлестывают узкое пространство берега возле гор.

И я опять иду к соседу смотреть ружье, которое он продает мне. Ружье старое, грязное, но мне как-то оно нравится, и не оставляет мысль купить его.

Вхожу в теплую, кислую избу — хозяин на кухне, наваривает капроновую нить, сильно ширкает по ней то варом, то воском. Во рту у него щетина.

— Чаю поьем? — мурчит он.

— Давай, — вяло соглашаюсь я.

Хозяин оставляет дратву, колет лучину, гремит самоварной трубой. Долго и молча потом пьем чай.

— Ну так как? — спрашивает наконец хозяин. — Надумал?

— Дай еще раз гляну, — прошу я.

Он выносит ружье. Я открываю его, десятый раз смотрю в ствол, разглядываю побитый, поцарапанный замок.

— Ты что, — спрашиваю, — гвозди им забивал?

— Ты сверху не гляди, ты гляди внутрь. Она бьет... — он подыскивает сравнение, — корову наскрозь просадит!

— Ладно, корову! — говорю я и кладу ружье на лавку.

Опять пьем чай, говорим о погоде, о дороге. Идти мне нужно берегом совершенно пустым на шестьдесят километров. Будут, правда, попадаться мне тони, иногда заброшенные, будут по дороге горы, подходящие к самой воде. Берег — камни, метров в пять шириной. При спокойной воде и во время отлива пройти можно, но в шторм берегом не пройдешь, нужно лезть горами, а в горах масса ущелий — рúчьев, по-здешнему. Хозяин говорит, что обошел все Белое море, был и на Терском и на Зимнем берегах, но такого страшного места не видал.

Как-то мне грустно это предстоящее путешествие. Не расстояние пугает меня и не горы, а одиночество. Когда идешь и никого нигде нет и ты одинок, когда одинокое тоже солнце садится в море, когда перед тобой только камни, только мох, кривые елки, брошенные тони, черные покосившиеся кресты — это так нехорошо, будто весь мир вымер и ты остался один на земле.

— А погода отдавает, завтра пойдешь, — говорит хозяин.

Попив чаю, думаю некоторое время, чем бы заняться, потом выхожу, оглядываю море, стараюсь заметить в нем хоть какой-нибудь намек на успокоение, и захожу к Пелагее Тимофеевне — восьмидесятилетней старухе. Старуха эта, старая дева, вдоволь почитала священных книг, вдоволь их потолковала, толкует их она и сейчас и предсказывает скорый конец света.

Земля будет сожжена на десять локтей в глубину. Города разрушатся, и в них останется по десять человек, а в деревнях — по два. И люди станут искать друг друга, чтобы вместе начинать новую

жизнь. Эта война будет последней, она же явится концом света и началом новой жизни.

И горько плачет эта старуха, что поразорили все, церкви поломали, справных поморов пораскулачили, извели. Тридцать лет прошло со времени «раскулачки», как она говорит, а она все помнит и все тужит о прежней (живой) жизни.

Дом у нее чудесный, в два этажа, с лесенками, со множеством комнат. Вообще здесь любят комнаты, и никто не строит избу общей или с перегородками не до потолка, как принято это у нас в средней России.

Старуха не видит уже семнадцать лет — у нее бельма, и зрачки рассосались. С удивлением она говорит: «Во снах вижу все, людей вижу, море, как в церкви служат, а встану — и прошшай все...»

Сегодня серый день, море утихло. Я подбил каблук, мажу сапоги, собираясь в дорогу, и весь пропах дегтем. Вычистил также и смазал ружье, которое не чистили, наверное, лет пять. В этот день мне надо дойти до тони Каменка и там заночевать. Говорят, живут там два рыбака...

Море было спокойно, и этот покой так радостен, так интимен и таинствен после стольких дней шума и воя! Позванивали, булькали волны, и похоже было, что кто-то говорил несколько удивленно, восклицал что-то с бесконечной переменной интонаций или окликал меня — то сзади, то спереди.

На мне были джемпер, куртка, плащ, зимняя шапка, рюкзак килограммов в двадцать, ружье, удочки и в кармане — черные, позеленевшие патроны. Я вспотел уже через километра три, но быстро шел по самому краю воды, пользуясь отливом: здесь особенно гладко, плотен песок и легко идти.

Пройдя за три часа пятнадцать километров, я так устал, что вдруг свернул от воды, стащил рюкзак и сапоги, лег, закурил и сразу уснул. А проснувшись, заковылял на разбитых ногах дальше.

Начались камни. Начались потрескавшиеся плиты и валуны. Из трещин торчали рыжие водоросли. Но попадались места, где камни были величиной в кулак. Ноги у меня подвертывались и дрожали. Я брел из последних сил, оступался, спотыкался, скрипел зубами при каждом шаге, чувствуя только одно — свои разбитые ноги. Но впереди у меня было, как я думал, тепло избушки, был чай и крепкий сон в тепле. Последние четыре километра я шел два часа. Я пришел к тоне, когда начало темнеть, сделав за первый день двадцать семь километров.

Избушка была пуста — рыбаки куда-то уехали. Я открыл ее и вошел. Внутри было холодно. Я разыскал поблизости ручей, набрал воды в чайник, развел костер из плавника. Избушка топилась по черному, я затопил печь, и сразу стало дымно — дым плавал под потолком, лениво выползая в отдушину. Внизу был чистый воздух, наверху плотный сизо-зеленый дым. Если выпрямиться, дым доходил до груди. Приходилось ходить и сидеть скорчившись. Печь горела плохо, тускло, без оживления, и в избушке ничуть не теплело. На потолке была сажа в два пальца толщиной, хлопьями, лохматая.

Я пил чай, в печи догорали угли — сквозь дым чело печи было как пещера гномов, озаренная горнами. Я закрыл отдушину, заложил палкой дверь и лег, укрывшись плащом. Я заснул в этой избушке на парусе, под которым были телогрейки и мотки веревок. А через часа два проснулся от странного ощущения, которое не оставяло меня и во сне, — будто я начал путешествие в прошлое и ушел далеко, за сто лет, в древность... Да, я далеко ушел в этой избе с запахом рыбы и дыма, в этой холодной темноте, одетый, под плащом, на жестких нарах!

Еловый ручей прорезает горы. В устье его на берегу навалены громадные камни. Я стал подниматься вверх по камням, как по лестнице. Где-то наверху, мне сказали, ручей этот пересекает телефонная линия с тропой вдоль нее. Тропа выводит к маяку.

На полпути я сел отдохнуть. Звенела и бормотала в каменном ложе коричневая вода. В ущелье было видно море, горизонт его тоже как бы поднялся вместе со мной, и оно стояло в просвете между красных скал голубой стеной.

Как все-таки прекрасно это ущелье, какая дикость, какая осень — пурпурная, ликующая, солнечная, каким золотым светом горят лиственницы. Почему тут нет дома, почему нельзя тут пожить месяц и поработать до ломоты в костях?!

Дойдя до телефонной линии, я свернул на тропу и стал опять карабкаться вверх. Папоротник сплошной стеной окружал меня. Здесь, в затишь, в горном распадке, злой ветер был не страшен, и осень еще не пришла, задержалась, кое-где только начинали рдеть отдельные ветки. Через час я был наверху, подошел к обрыву — огромное пространство моря открылось мне, и не хотелось больше никуда идти.

А тропа дальше стала еще мучительней — она шла болотами, сбегала вниз, к ручьям, и опять вела круто вверх. Восьмикилометровый путь до маяка я прошел за пять часов.

На маяке я узнал, что дальше горами идти невозможно, семь ущелий, из которых четыре очень глубоких. Значит, опять берегом и опять камнями. Еще пятнадцать километров камней, а там пойдет песок... До деревни Кеги, куда я держал путь, был еще тридцать один километр.

О чем думать в пути? Когда идешь, шаг за шагом отдаваясь тяжелому ритму пути, внимание все поглощено дорогой, камнями, которые попадают под ноги, тяжестью рюкзака, стертymi ногами... Опять тяжелая дорога, спокойное море, мелкий дождь и низкое холодное небо. Спустившись с высоченного обрыва, на котором стоит маяк, снова ступаешь на каменистый берег, и снова слева скалы, справа море — сумрачное, холодное, но спокойное.

Я убил двух доверчивых милых куликов. Они долго перебежали от меня по камням... Сняв ружье, взведя курок, я спокойно шел мерным шагом и, выждав момент, когда они подпустили меня поближе, — выстрелил. Один не шевельнулся даже, другой низко отлетел на несколько метров. Перезарядив ружье, я подошел к нему. Он был ранен, наверное, в смертельной истоме слабо поднялся, и я убил его вторым выстрелом. И как-то грустно и досадно мне стало.

Какую власть все-таки имеют над нами воспоминания! Давеча на маяке я разговорился о качестве своих сапог, привел в пример свое весеннее путешествие по Оке и вдруг вообразил поленовский дом, вечер 1 мая, когда мы — продрогшие, грязные, обородатевшие после поездки — сидели в столовой, топили камин, пили допшлькюммель, наслаждаясь уютом, светом большой лампы под фарфоровым колпаком, среди картин и этюдов Левитана, Врубеля, Коровина, развешанных на стенах.

И, вспомнив все это, вспомнив еще окские дали, леса и луга по берегам, весну, сырые овраги, засыпанные прошлогодним жухлым листом, лопнувшими желудями, первое шелканье соловьев, дымок костра, разложенного возле сторожки бакенщика, — я вдруг почувствовал такую отдаленность от всего этого, такую зависть ко всем своим прежним счастливым дням, так захотелось мне не видеть больше этой угрюмой дикости, что даже в сердце вступило.

Между тем мыс впереди сменялся новым мысом, пока не показался в море тайники, а на берегу избушка. Это я дошел до тони Варзуга. Было там двое рыбаков, один молоденький, другой постарше — глухонемой. Я передохнул, помолчал... Молчали и рыбаки.

Изба, как и все тони, грязна, закопчена, спят на каком-то тряпье, нары в два яруса, но весь народ на сенокосе, двое только здесь. Молчание становилось тягостным. Один раз только молодой рыбак сказал скороговоркой, глядя в окно:

Чайки ходят по песку,
Рыбакам сулят тоску...

Оглянулся на меня, засмеялся и замолк — принялся выдвигать из пенопластика рукоятку для рыбацкого ножа. За окном молча тяжело летали чайки, садились на песок, темные при темном дне.

Через полчаса должна была идти в сторону Кеги дора. Я так устал, что остался ждать ее — и напрасно: час проходил за часом, а доры все не было.

Я дремал и просыпался, рыбаки все молчали. Несколько раз пытался я завести разговор с молоденьким, он улыбался, охотно, но кратко отвечал и опять умолкал. Один раз только рыбаки вышли из оцепенения: молоденький топнул ногой, глухонемой взглянул на него, молоденький кивнул за окно, оба поднялись, натянули куртки и поехали смотреть тайник. Вернулись с одной кумжей, скинули проолифленные куртки и сели — молоденький к столу, глухонемой возле окна. Изредка глухонемой зажигал спички и палил на окне осенних мух. Лицо его при этом немного оживлялось.

Наконец послышалось далекое и глухое «пу-пу-пу-пу», и показалась дора. Мы сели в карбас, выгребли в море. На доре, думая, что сдают семгу, замедлили ход, мы подошли, и вместо семги в нее ввалился я со своим рюкзаком, ружьем и удочками. На доре все были выпивши и сразу стали извиняться, что пришли не вовремя. Оказалось, выпивали где-то на далекой тоне.

Темнело, вода кругом холодела, становилась густой и тяжелой, а берег виден был узкой чернильной полосой. В полных сумерках подошли мы к колхозу, поставили дору на якорь в устье реки, за песчаными барами, подтянули карбас, который был у нее на буксире, перелезли в него и двинулись к берегу. Но был отлив, везде обмелело, и метрах в ста от берега мы сели на кошку. Подошел еще карбас с двумя молчаливыми девками, часть из нас перелезла в него, он тоже сел на мель, не успев отойти, выпившие рыбаки ухали, толкались веслами в разные стороны, под днищами скрипел песок.

На берегу, на едва белеющей песчаной полосе под высокими избами появилась темная женская фигура, тут же к ней присоединилась другая, третья... Скоро на песке образовалась странная какая-то, неподвижная, немая кучка женщин, смотрела на нас, ждала, внимала нашим веселым пьяным крикам. Повыше их едва различались темные пятна изб, слабо горели красноватые огоньки в окнах. И я опять будто провалился на минуту в глубокую древность, пришел к варягам, к их морской жизни — и уж Москва, трехчасовой путь на самолете до Архангельска и Архангельск, каким я его запомнил в последний вечер перед отъездом сюда, прощальный красный свет солнца в окне гостиницы, Двина за окном, мачты пароходов над крышами, гудки, чайки над Двиной, клубочки пара над буксирами, — этого всего будто никогда и не было.

Путь мой был кончен, я приехал в Кегу.

2

Опять я на новом месте. Вот бревенчатая комната, стол, окно на море — сейчас черное, керосиновая лампа на столе, койка с грубым одеялом. За стеной слышны голоса — там мои новые хозяева: кудрявый седоватый мужик лет шестидесяти, с твердой негнущейся поясницей и громадными сизыми руками; сын его, молодой парень,

красавец, так же кудряв, как и отец, только золотоволос, румян, широк в плечах, белозуб и синеглаз — но дурачок, картавый... И жена — маленькая, сухая, темноликая, раньше времени состарившаяся.

Я сижу у себя, пью горячий чай, слушаю, как за окном порывами снова поднимается ветер, снова тяжело и мерно ворочается море, и значит, завтра опять будет шторм и темный угрюмый день, но мне не скучно — наоборот, весело и тревожно, как всегда бывает, когда приезжаешь на новое место.

Занимаюсь я как будто делом: пишу письма, набиваю патроны, чищу ружье и сапоги, какие-то образы, как искры, приходят ко мне, и я некоторое время думаю о них — хороши ли? Но интересно мне сейчас не это — интересен хозяин за стеной, и я предвкушаю свою жизнь в этой Кеге завтра, и послезавтра, и еще много дней, покада хватит времени.

А хозяин встретил меня неприветливо, слушал хмуро, спрашивал неохотно и, по всей видимости, не расположен был пускать на квартиру. Но дом был так хорош, из таких был сложен гладких огромных бревен, так просторен, чист, вымыт, выскоблен до блеска, такие большие в нем были окна, так он был весь разнообразен со своими комнатами, коридорами, чуланами, поветью, лесенками, резными перилами и так красиво стоял над морем, что я все-таки стерпел неприветливость и остался.

«Дом чистый, вам там покойно будет,— говорил председатель.— Только хозяин там такой... Из кулаков. Жила! Да вам ведь не век с ним вековать, зато чисто!»

И верно, что-то есть в этом мужике звероватое, мощное, сразу бьет в глаза цепкость какая-то, жилистость, но еще и другое — какая-то затаенная скорбь, надломленность.

Когда разговорились, и после знакомства, обычного в таких случаях, я узнал, что зовут его странно: Нестор, а сына — Кир, и когда я, несколько ошеломленный такими именами, помолчал, а потом, переведя дух, спросил обычное: «Как живете?» — хозяин нагнул брови, лицо его дрогнуло, опечалилось, хоть он и улыбался, а ответил так:

— Скучно живем! Только и веселья что на своих именинах...

Утром Нестор вошел ко мне, закурил и принялся рассказывать свою жизнь, вернее не жизнь, а где и сколько он работал. Как плавал на гидрографическом судне, как участвовал во всевозможных экспедициях и как, наконец, многие годы добывал печуру* в горах по договорам с заводами и мастерскими.

Я сперва не понял, почему это он мне так подробно все объясняет, но тут он заговорил о пенсии. Ему шестьдесят один год, следовательно, он имеет право на пенсию. Но он колхозник, и пенсии ему не дают. И вот он пришел ко мне поговорить, как бы все-таки добиться пенсии.

В это утро мы все собирались ехать на тоню к Нестору. У него все было готово для долгой жизни вдали от дома: напечены лепешки, куплено сахару, чаю, не забыта соль и всякая посуда и заранее свезена на тоню сеть. Но погода испортилась, в море выехать было нельзя, и я пошел на рыбную ловлю. Нестор перевез меня через реку на карбасе, немного проводил и вернулся.

— Ты покричи, я тебя обратно перевезу, я возле амбаров буду, точила тесать, — сказал он на прощанье.

Погода была холодная с сильным западным ветром. Вершины берез и елок трепало, встряхивало. Рыба не клевала совершенно, назад идти не было смысла... Тогда я развел костер и прилег рядом на мох.

* Печура — точильный камень.

Места здесь дикие, холодные, нет нашего обжитого пейзажа, нет полей, лугов, задумчивых полевых дорог. Сенокос поздний — теперь сентябрь, а еще косят, пожни маленькие, стожки тоже маленькие, с нашу хорошую кошну, только не круглые. Косят одни женщины, мужчины не косят, вообще мужиков на сельскохозяйственных работах нет совсем — все рыбачат.

Лист начинает облетать. Береза сыплет желтым, но еще зелена в своей массе, рябина же взялась краснотой, под цвет брусники. Грибов нет совсем. Река поднялась, ветром забило, не выпускает воду в море.

Когда вернулся к вечеру, переехал опять через реку, пошел прогулом и зашел в место, очень характерное для севера теснотой и частотой построек, видом своим, — серо-голубое от старости и много глухих стен. В деревне так же, как и в городе, есть свои уголки, есть прелестные архитектурные ансамбли, и вся прелесть их еще в том, что все они образовались случайно.

Нестор, весь серый от печурной пыли, радостно говорит, что завтра поедем на тоню. Пошла семга, ему хочется и поест сладко — давно не пробовал семги, и заработать.

Но на другое утро шторм продолжался, выехать не удалось, и пошел на тоню берегом один Кир, нужно было что-то там подготовить. А Нестор, как и в первое утро, пришел ко мне, опять жаловался, что ему следует пенсия, а вот не дают. «Пенсия», «пенсия», — повторял он на разные лады, и опять я перебирал с ним возможности получения этой пенсии.

В то время как он говорил, в голосе его, в лице, в глазах виделась мне скрытая ненависть к строю, который вот не дает ему пенсии; виделось страстное желание этой пенсии, тоскливое сознание, что он заслужил ее всем своим многолетним трудом; и еще — что он все-таки не имеет законного права ее получить, а только свое личное внутреннее право; неверие в то, что он получит ее, древняя мужицкая недоверчивость и боязнь всяких судов и адвокатов и даже разочарование во мне, пренебрежение ко мне за то, что я не могу решительно ничем ему помочь.

А вместе с тем — зачем ему пенсия? Зачем ему эти пятнадцать — двадцать рублей? Вот я гляжу, как он поворачивается у себя дома, как ходит, как смотрит на жену, на сына, как говорит с ними. Сила, уверенность, самодовольство проглядывают в каждом его жесте, в каждом взгляде. Сила, самодовольство в том, как прочно он садится, как упирается в расставленные ляжки, как раздирает утром гребешком свои сивые кудри, как оглядывается, примечая малейший беспорядок, как играет бровями, как сёрбает, хлебает чай с блюда.

Дом у него крепок, бревна от старости стали как слоная кость, есть корова, есть овцы, и вся одежда в семье добротна, прочна и чиста. Он не пьет, зарабатывает много, никому копейки не уступит, никого не подпускает к печуре, сам разведает, сам вызнал места, где можно легко ее брать. Привозит он ее с Киrom всегда ночью, — эти громадные серые плиты спрессованного песчаника, сам выбрал себе место возле амбаров и мостков, там у него мастерская, там он с Киrom тюкает, крошит эти плиты и выкалывает из них удивительно круглые точила и жернова, сам следит, как грузят его продукцию на пришедший из Архангельска мотобот, сам все помнит, вечером надевает очки, обкладывается папками, где у него подшиты всевозможные накладные, квитанции, расписки капитанов с печатями и штампами. Сын его — идиот, будто в насмешку названный таким звучным сильным именем, — в полном, в рабском, я бы сказал, его подчинении.

Колхоз с ним ничего поделывать не может, потому что как колхозник он тоже работает по несколько месяцев в году — сидит, как и все, на тоне с сыном, ловит и сдает семгу — и там его не обманешь,

не обвесишь, и там прекрасно разбирается он в планах, наценках, сортах...

Хозяин? Кулак? Не знаю, я еще не разобрался в нем, но только очень напоминает он мне одну легендарную личность, на которую глядел я в свое время, как и все, с изумлением, с некоторым даже испугом.

То был громадный краснолицый мужик, украинец, высланный за что-то в годы войны в Кировскую область. На берегу реки возводился тогда лесозавод, ЦЭС, жизнь была там ужасна и голодна. Работали на строительстве в большинстве своем такие же, как и этот украинец, высланные по разным статьям, эвакуированные, отбывшие заключение, словом, люди, которым не было никуда ходу. Жили в бараках, впроголодь, беспокойно, отчаянно. Не хватало материалов, частей, то одно, то другое на заводе и ЦЭС выходило из строя, людей замучили авралами, ночными работами, а в магазинах ничего не было и в столовой кормили супом, похожим на клейстер. Но план все равно выполнялся, лес по реке сплавлялся, пиломатериалы громыхали, и составы со шпалами, стойкой, досками и прочим все шли и шли куда-то в необъятность военной страны.

Люди тогда болели дистрофией, какими-то язвами, тосковали по родным местам, умирали, и в поле за поселком необычайно быстро выросло кладбище, и так же быстро пропадали, развеивались ветром там могилы, потому что везде был песок...

И только один человек жил тогда широко и богато, у одного были великолепные шубы, валенки, сапоги, а в кладовке полно было муки, сала, яиц, меду. Он не приbedнялся, не притворялся неимущим — нет, дом его стоял гордо, на отшибе, приходил на базар он как хозяин, как купец — война была ему ни о чем!

Он один умел срывать тросы, и делал это так хорошо, что тросы рвались потом в другом месте, но никогда там, где он срстил. Он постоянно продавал что-то и покупал, каждый раз с неизменной для себя выгодой. Он покупал облигации на сотни тысяч рублей и, конечно же, выигрывал на них больше, чем все другие вместе взятые.

Деньгам его никто даже приблизительно не знал счета. Деньги держал он дома, под полом, и когда они начинали плесневеть — раскладывал их по всему дому сушить. Трудно поверить, но когда банк задерживал лесозаводу зарплату для рабочих, директор завода на свой страх и риск занимал у этого мужика деньги, и зарплата рабочим выдавалась! Когда кругом уж очень начинали говорить о его богатстве, он брал мешок денег, ехал в сберкассу и вываливал там сто — сто пятьдесят тысяч «на оборону».

В денежных расчетах он был лют, весело-жаден, греб справа и слева, но когда приходили просить у него хлеба ли, картошки ли и попадали в хорошую минуту, тут он бывал добр, даже щедр, и отказа никто не знал. Но и тут не мог он утерпеть, чтобы не покуражиться, был насмешлив, ядовит и говорил только по-украински:

— Чого так обидняв?

— Война...

— Вийна? Тебе ж ще не вбили — чого ж тобі вийна? Дурна в тобі голова! Вумны булы б, в шовку ходылы б и сало илы скільки потрібно. Чого тобі, ну?

— Муки бы...

— Ладно, выдам!

— Да мне в долг, я отдам...

— Знаю, знаю, як вы видаєте! Дз мешок?

Не знаю, что тому причиной, но только говорили о нем тогда с восхищением, даже с гордостью — вот, мол, черт, умеет жить!

Нет, нет, Нестор не такого размаха, не той широты человек, но хватка и у него та же, есть что-то общее в этих двух людях — в том,

уже полузабытом, и в этом, который вот сидит передо мной и отвлеченно-злбно рассуждает о пенсии. Глядя на него, невольно думаешь: у! и лютый был бы хозяин, дай ему волю!

Прошел еще день, погода стала отдавать, и мы с Нестором собрались на тону. Накануне вечером был у нас с ним вскользь разговор, что недурно бы захватить с собой водки и, сварив уши из свежей рыбы, выпить на новом месте.

Утром я забыл об этом, а Нестор не забыл, но молчал, думая, что я вспомню. Мысль о водке, видимо, мучила его. Я укладывался, он тоже суетился, с улицы крикнули, что стучит мотор, мы заторопились, вышай — в самом деле, на реке стучал мотор и двигался по звуку. Мы выскочили на берег между домов, но это оказался почтовый катер, он вез железные плоские коробки с кинофильмом, который вчера крутили в клубе. Спокойно уже пошли мы к рыбоприемному пункту — там пристают и оттуда отходят мотодоры и боты.

И тут Нестор не выдержал, мысль о водке опять пришла ему, он посунулся ко мне, когда уже положили вещи в дору, и скороговоркой напомнил о водке. Я не понял, тогда он повторил уже с каким-то тайным озлоблением, с надеждой и в то же время с боязнью, что я откажу.

Я дал денег, и этот старый мужик, чтобы не опоздать к отходу, рысью побежал в магазин, и лицо у него стало радостное, а я снова подумал, как он жаден — ведь есть деньги, и много, — а такая унижительная радость и такая рысь, чтобы выпить на чужбинку.

Мотодора тронулась с большим опозданием против того, как должна была. Интересно мне было смотреть на мотористов, их два на доре — один пожилой, другой молодой, мальчишка еще.

Вообще, как я заметил, люди, связанные с техникой, от которой зависит передвижение, освещение и так далее — все эти мотористы, механики, шоферы, электрики с крайним пренебрежением и высокомерием относятся ко всем прочим.

Так и здесь. Пассажиры уселись в доре и стали ждать. Тут были работник маяка с женой и дочкой, Нестор, еще какой-то рыбак, колхозный счетовод и я. Мотористов не было. Ждем десять, пятнадцать, тридцать минут... «Где же мотористы?» — спрашиваю. Молчат и пожимают плечами, будто мотористы — боги, по крайней мере, и отчета никому давать не должны.

Наконец пришел пожилой моторист. За ним появился мальчишка. Пожилой сперва со скукой оглядел нас, затем стал на борту доры и задумался, будто решал, ехать ему или нет. Мальчишка стоял на причале и презрительно разглядывал нас. Старший моторист закурил. Потом сел на какой-то ящик.

Когда он появился, никто, конечно, не выругал его, только на минуту примолкли все выжидательно. Затем опять занялись разговорами. Моторист курил, прислушивался к разговору и плевал за борт. Мальчишка зевал. Наконец пожилой встал и завел мотор. Мотор забубнил, а моторист опять сел курить. Минут пятнадцать бубнили мы у пристани, и я уж думал, кого-нибудь мы ждем, но мальчишка вдруг лениво отдал концы, прыгнул в дору, и мы поехали.

Через полтора часа мы были у тони Нестора. Нас встретил на карбасе Кир, и, едва мы перевалились к нему, сразу закричал, загугнил, что снасть, которую Нестор оставил на берегу и которую разорвало штормом, как говорили, — снасть эта цела. Нестор страшно обрадовался, заулыбался как-то по-мужицки, мелко, эгоистично, и стал приговаривать: «Вот спасибо-то, вот спасибо-то...» Верно, благодарил бога или море.

Избушка, в которой мы будем жить, мала и грязна, с тремя окнами на три стороны. Спать мы будем на каком-то тряпье, укрываться одеялом, которое так тяжело, грязно и сально, что, наверно, не

меньше трех поколений рыбаков и зверобоев покрывались им, и оно питало в себя весь их дух и пот.

Здесь же стоит крест, как и везде, чуть подальше — пустой амбарчик, в котором зимой зверобои разделявают тюленей. А еще дальше другая тоня, на которой живут три моряка — они тут ремонтировали какие-то навигационные знаки и теперь ждут мотобота, чтобы уехать.

Вот и все. Дальше по обе стороны на десятки километров пустое пространство берега, заваленное водорослями и ободраным, обкатанным плавником.

Настал вдруг теплый яркий день, море налилось синевой, Нестор уплыл на карбасе к тайнику, чернеет там, забивает покрепче колотушкой колья, и пахнет ему, наверное, смолой от карбаса, сетями, морем... А мы с Киром в рубахах сидим на берегу, греемся. У Кира острый небольшой секач и рыбацкий нож, вокруг него на песке живая еще рыба, только что привезенная Нестором, шевелит жаберными крышками, подрагивает хвостами. Кир берет ее одну за другой, зубатку, треску, камбалу, кладет на сухое бревно, рубит сверху, со спины, и лезет кровавыми руками в брюхо, вытягивает внутренности.

— Хорсё, хорсё! — ликует он, и не сидится ему от наслаждения, ерзает, перебирает ногами, улыбается.

Красавец, хищное животное, бронзовый, кудрявый, белозубый бог — тупая идиотическая сила. «Февраль, — сказал вчера про него Нестор. — Дня одного не хватает!» Прекрасное и ужасное видится мне в этом Кире, в его физической мощи, в его загадочных бормотаньях, в какой-то юродивости и в блаженном созерцании мира. Счастлив ли он?

— Эй, Кир, ты читаешь что-нибудь?

— Не... Ситать не мею. Засем?

— Ну, как это зачем... Ведь ты учился!

— Не... Не захотел, засем?

— Что же ты любишь? Ну — для души?

Кир не отвечает. Кружатся над нами, хищно и жалобно пищат чайки. Кир, закинув голову, глядит на них голубыми глазами, улыбается расслабленно.

— Хорсё! — и кидает им рыбы внутренности.

— Слышишь, Кир, что тебе надо для души?

— А? Дуси... дуси...а-а, тевку надо! Тевка мякка, хорсё!

Глаза у него мутнеют, про рыбу он сразу забывает, вытирает кровавые пальцы о штаны, весь напрягается, напруживается, сопит и долго потом не может успокоиться, хихикает, бормочет что-то совершенно уже непонятное, и долго не высыхают у него слюни на губах.

Занявшись опять рыбой, он вдруг вспоминает, верно, про какую-то охоту, пытается что-то рассказать, но понять его нельзя, — щурясь ст напряжения, улавливаешь только, что он куда-то «посол» и что-то такое «насол».

Возвращается Нестор, мы прямо в море полощем ошкережную рыбу, несем в дом, топим печь и варим уху. После ухи закуриваем и валимся на нары, на грязные телогрейки, одеяла и рукавицы. Портянки, сапоги, куртки, штаны сохнут на протянутой из угла в угол алюминиевой проволоке.

Мне вспоминаются московские наши разговоры и споры о поэзии, о направленности творчества, о том, что кого-то ругают, а кого-то не печатают — все это под коньяк и все с людьми знаменитыми, и там кажется, что от того, согласишься ты с кем-то или не согласишься, зависит духовная жизнь страны, народа, как у нас любят говорить. Но тут...

Гут вот со мной рядом лежат рыбаки, и все разговоры их вертятся вокруг того, запала вода или нет, пошла ли дождя или не пошла, поберезник ветер или шалонник, опал взводень или нет. Свободное от ловли рыбы время проводится в приготовлении ухи, плетении сетей, в шитье бродней, в разных хозяйственных поделках и во сне с храпом.

То, что важно для меня, для них не важно. Из выпущенных у нас полутора миллионов названий книг они не прочли ни одной. Получается, что самые жгучие проблемы современности существуют только для меня, а эти вот два рыбака все еще находятся в первичной стадии добывания хлеба насущного в поте лица своего и вовсе чужды какой бы то ни было культуры?

Но может быть, жизнь этих людей как раз и есть наиболее здоровая и общественно полезная жизнь? Они встают чуть свет, зарывают тайники, приезжают промокшие и озябшие назад, пьют чай и ложатся спать. Затем в течение дня они много раз осмотрят эти тайники, сделают кое-что по хозяйству, вечером выкопают тайники и лягут спать с ощущением правильно, хорошо прожитого дня. И результат этого дня, неоспоримый вещественный результат — семга. Зачем же им книги? Зачем им какая-то культура и прочее вот здесь, на берегу моря? Они — и море, больше никого, все остальные где-то там, за их спиной и вовсе им не интересны и не нужны.

Вечером Нестор и Кир опять привезли рыбы, на этот раз семги, сварили ухи и выпили, причем пили бережно, с невыразимым наслаждением, как нектар — эту водку-сучок. Зажгли лампу, закурили, разделись, разлеглись на лежанках возле стола. Печка гудела, было тепло, за стеной жахало и жахало море, а у нас грелся чайник, карбасы были выкачаны на берег, ловушки сняты, развешаны на кольях возле тони, и водорослевые бороды, источая дурманящий запах, мотались на ветру.

На далеком мысу посверкивал маяк, его хорошо было видно, и было приятно от мысли, что не такая уж пустыня кругом, что в море сейчас взбивают белые дороги теплоходы, всякие лесовозы и буксиры, что на берегах светят маяки, и по таким же, как и наша, избушкам сидят ядреные рыбаки, ждут чаю и гадают насчет завтрашней погоды.

— Славно у вас тут живут, — сказал я Нестору.

Нестор глянул на меня, надвинул брови и тяжело усмехнулся.

— Это не жизнь, товарищи ты мой! — твердо сказал он. — Тебе не понять, ты хорошего не видал, а вот раньше — так правда, жили не ту жили...

— Старая песня, — возразил я. — Знаю я, как у вас тут жили раньше!

— Это как же ты знаешь?

— Читал, — сказал я. — Историю изучал.

— История! — вдруг бешено крикнул он и как-то опьянел на минуту, стал красен и лют. — Изуча-ал! Гляньте на него — историю изуча-ал! — дразнил и неистовствовал Нестор. — Изуча-ал, хо-хо!

И тотчас загоготал надо мной Кир, глядел на меня странно как-то, будто издалека, и хохотал... Что же он-то понимал? А понимал, видно, этот блаженный, идиотик, что-то он такое понимал!

— Да ты вот пишешь, — перебил сам себя Нестор и сменил тон, стал высокомерен и насмешлив. — Всё пишете... Дадим двести процентов плану! — противно растянул он. — Все как один! Единодушно одобрили... Или вот у меня жила из Ленинграда одна — блюдцы, стаканы ей, вишь, не чисты, грязно живете, грязно, все платочком протирала, а?

Кир опять захохотал, даже слезы выступили.

— Крясно, крясно...— повторял он, задыхаясь и вытирая кулаками глаза.

— Да, а потом привыкла, ничего! — уничтожающе закончил Нестор.— Перестала морщиться... А толстая, как свинья, на берегу ляжет, все ей костер разложи — этак, толкует, красивше. Белая ночь ей, вишь, спать не дает, думы все мозгует, а то пристанет: «Нестор, спой песню, ну, пожалуйста!» Тетрадку вынет, ручку нацелит, это, говорит, для науки надо, в институт, это, говорит, народно... А я ей думаю: хрен тебе, а не песню, с такой жизни порато не запоешь!

— Так уж плохо и живешь? — поддразнил я его.— Чем же тебе жизнь плоха?

— А вот чем! — Нестор подумал и налил себе чаю.— Это ты все можешь писать, не боюсь, а сказать тебе, извини за выражение, скажу правду. Так? Вот не соврать, в двадцать пятом годе разведали мы с батей этот самый камень, эту печуру, лежала она в горах, никому не нада была, а мы скумекали. Теперь гляди: стали мы помаленьку работать, запряглись не хуже той лошади, батя да я, да брат двоюродный, поработали мы год, другой, видим, печура идет, сбыт, значит, свой находит. Вот батя и говорит: давай, говорит, воду приспособим, как вроде мельницы. Там в горах есть ручей, начали мы таскать камень, запруду сделали, все честь по чести, колесо изготовили с лопастями. Не пивши, не евши — это тебе как? И завертелась это у нас механика! На месте все и точили, на берег выкатили по доскам, сложили — это тебе и есть наша русская сметка! Как бот придет из Архангельска, мы сейчас карбаса нагружаем и на него! Понял? Такое дело начали, со всей России заказы пошли...

Нестор поник головой, стал сворачивать папиросу, замолчал, задумался.

— Где же теперь эта мастерская? — спросил я после молчания.

— Где! А вот где: пришла раскулачка, батю на Соловки забрали, очень он яростный был. Меня в колхоз забрали, мастерскую нашу туда же, а на кой она кому нада? Тогда одно нада было — церкву ломать, лошадей припрягли да канатом за маковку...

Теперь вот за песнями едут. Нет, ты мне с песнями не суйся, а ты с делом суйся. Я — хозяин, я тут все знаю, я тут произрос — вот тебе и задача. Если б нас таких не трогали, мы бы в гору пошли, — у нас бы тут на Кеге лесопильни стояли бы, холодильни, морозильни всякие по берегу, у нас бы тут дорога асфальтовая была бы, мы бы в Кеге-то, в реке-то бары расчистили б, дно углубили, тут порт был бы! Сколько лесу, рыбы, всяких ископаемых — я с экспедициями ходил, все тут знаю, у меня земля бы в забросе не лежала! А теперь...

Нестор махнул рукой, Кир фыркнул было, но сейчас же смолк под взглядом отца.

— Ты вот сказал, товаришш, славно живете — какой там! Я в этом колхозе и не работал никогда, как поглядел, когда батю моего брали, да потом горлопаны эти шуметь стали — то им ловить, то не ловить, а собрались-то самая шваль полоротая, я и подался по экспедициям. То на судне гидрографическом плавал, то с геологами — сейчас председателю бумагу в зубы: отпуская! Вот так и жил, смотреть не мог, что с деревней сделали!

— Ну а сейчас? — спросил я.

— Сейчас лучше...— неохотно сказал Нестор— Сейчас порядку побольше, не скажу, и клуб есть, и свет дают, а только не та жизнь, не то богатство...

Нестор глядел в сторону, водил рукой по столу.

— Справных поморов извели, и уж прошай все, не вернется! — закончил он и стал укладываться спать. А я вспомнил слепую старуху, как и она говорила то же самое и почти теми же словами.

Погасили лампу, легли; Нестор и Кир сразу захрапели, за стеной возилось море, я был взволнован, в чем-то уязвлен и, как часто бывает, теперь только стал придумывать возражения Нестору. Но он спал... И вся его зависть, и ненависть, и злость — все, чем наполнен он был днем, все, о чем думал, сожалел и вспоминал, — теперь ушло, он не собой стал, сны на него спустились, и он был далеко, а в этой темно-душной избушке лежало тело его, сильные руки, столько переделавшие за всю жизнь. И руки его были добры, тогда как мысли — злы.

На другой день уныло свистел ветер, мотались на вешалах сети, мело песок по берегу, море волновалось, грохотало, вода была мутна далеко за полосой прибоя. Нестор, удрученный, шил себе бродни, сильно мял кожу, кряхтел и посматривал за окно.

А за окном бегал по берегу в трусах моряк из соседней избушки, приседал, выжимался на руках, подбегал к волнам, растирался водой. Нестор смотрел на это его занятие с ненавистью и насмешкой: «Делать нечего, так его растак!»

Кир зевал, зевал, пошел, выпросил у моряков ружье и пять патронов, я взял свое, и мы отправились с ним на охоту. Какой он все-таки красивый, этот Кир! Как идет, неслышно ступая в мягких своих тюленьих броднях, как на нем все обтянуто: видны бугры плеч, груди, мышцы живота, икры — все в движении, и какой он весь расстегнутый, крепкий, смугло-румяный, дитя природы! И добр, весел, общителен, но — дикий, дурачок, и тяжело как-то с ним.

В лесу ветер уже не ощущался, и пейзаж был прекрасен, хотя смотря на чей взгляд. Много попадалось нам кочковатых болот, песчаных угорьев, много малины, смородины, черники и брусники, и так печально-душисто пахло, и небо и земля твердили нам, что уже сентябрь, осень...

Кир сначала бормотал что-то, булькал и гукал, но как только вышли мы к озеру, все для него перестало существовать, кроме уток, которых он тотчас же и увидел, скорее, чем я в бинокль. Кир всхрапнул, пригнулся и помчался от меня большими бесшумными прыжками между кустов. Я побежал за ним, но догнать не мог, видел только, как Кир на мгновение поднимал над кустами голову, тотчас нырял и мчался дальше. Я уж и спешить бросил, знал, что все равно Кир выстрелит первым, и только следил за ним издалека.

Кусты кончились, Кир упал на живот и пополз между кочками. Утки плавали спокойно, я добрался до открытого места и остановился, чтобы не помешать. Подобравшись к самому берегу, Кир приподнялся на локтях, прицелился и выстрелил. Ружье, видно, обнесло, утки полетели, одна только забилась, подскочила вслед за остальными раза два и довольно прытко залопотала к дальнему берегу, к осоке. Кир оставил ружье и помчался кругом к тому же месту. Утка повернула назад, но увидала меня и забилась куда-то в первое попавшееся место. А Кир уже раздевался, сбросил рубаху, сапоги, штаны и голый кинулся животом в ледяную воду. Он шумел, плескался, сопел, он гоготал и выскакивал из воды по пояс, как болотный черт, загонял бедную утку до одурения, поймал ее и тут же прокусил ей мозжечок. На берег он выбрался красный, от него валил пар, губы были окровавлены и в пуху. Одевшись, он засмеялся, облизнул губы и бросил мне утку.

— Тепе! — сказал он радостно. — Пери, тепе!

И потом целый день бегал по озерам, прыгал с кочки на кочку, падал, полз, стрелял, раза два еще лазил в воду, гоготал, замучил совершенно меня, но я глаз не мог оторвать от него — притягательна все-таки человеческая сила!

Вернулись мы уже в темноте, стали варить утиную похлебку, а поев, забрались опять каждый на свои нары и заснули.

День проходит за днем, погода не устанавливается, мотобот за моряками не приходит, моряки томятся, валяются по койкам, десятый раз перечитывают одни и те же книжки. Томятся и рыбаки, плетут сети, почти не разговаривают друг с другом.

Но вот наступает какая-то ночь и приходит успокоение и холод. Все спокойно, гладко, зыбко, только волны по очереди, очень редко и нежно — шша... шша... И море не черно, а дымно: над тонкой пеленой туч сияет луна, свет ее проникает сквозь облака и освещает все слабым рассеянным сиянием. На рейде в море, далеко к северу, может быть, против Кеги стоят два парохода, и огни их четко видны отсюда, из этой пустыни.

На рассвете Нестор и Кир уплывают зарывать тайники, возвращаются оживленные, с заколяневшими руками и лицами, шумят, топают, грохочут дровами, топят печь и пьют чай. А в полдень едут посмотреть тайники, и я с ними.

Как они работают! Как у них все ловко, разумно, скупое в движениях, какой глаз и точность! Вот они ставят карбас на катки, вот одерживают его, спускают к воде, выжидают волну, стоя по бортам, потом сразу наваливаются, крикают, суют карбас в море, и вот он уже на воде. В воде и Нестор с Киrom в своих броднях, по очереди прыгают и переваливаются внутрь, разбирают весла, садятся, выпрямляют карбас против волны и гребут.

Вообразите гребцов-спортсменов — как они откидываются назад, как рвут весла на «восьмерках» — каждый одно, как упираются ногами, какие у них натренированные тела, как они все разом, по команде сжимаются и распрямляются. Но ничего похожего здесь нет. Здесь сидят свободно, раскорячив, подогнув ноги, и весла не в ключинах, а в кольшках, гребут часто, почти не откидываясь, но карбас движется быстро, мощно разваливает волны, вздымается и опадает, а люди спокойны, глядят по сторонам, руки их на веслах лежат тяжело и крепко — так они могут грести весь день, разговаривать, смеяться, покуривать...

От карбаса, от курток и бродней Нестора и Кира пахнет чудно — рыбой, смолой, водорослями, солью и еще бог знает чем — или это море так пахнет? Вода под носом журчит, пенится, кольшки поскрипывают, попискивают, берег все дальше, серые избушки на серо-белом песке почти неразличимы; и все ближе колья тайников.

Вот мы идем уже вдоль перемета — длинной сети, установленной перпендикулярно к берегу, подходим к воротам тайника, Кир поднимает весла, гребет и разворачивает карбас, один Нестор на корме. Кир оглядывается, некоторое время глядит на приближающиеся колья и сети, будто проникая взглядом вглубь, стараясь угадать, попалась семга или нет, потом выхватывает и бросает свои весла на дно, вынимает из бортов кольшки (чтобы не цеплялись потом за сеть), кидается на нос, подхватывает конец, связывающий наверху стенки ворот тайника, поднимает его над собой, карбас протискивается в тайник, ворота поддерживают и закрепляют. Мы внутри тайника. Теперь начинается самое важное.

Кир свешивается за борт, виден один зад сго и раскоряченные крепкие ноги. Руки по локоть в море, что-то он там делает, и Нестор с кормы делает то же. Они поддерживают, как и ворота, середину тайника, крепят ее за колья, и тайник уже разделен на две половины, превращен как бы в два огромных подсака. Тогда Нестор и Кир начинают выбирать сеть, загибая ее за борт, внутрь, поддерживая на стиге коленями и локтями, я тоже помогаю, путаюсь, все мы спешим, и дно сети поднимается. Ячеи уже просвечивают сквозь зеленую воду, скользят в карбас ленты водорослей, морские звезды, бьются и мечутся уже камбала, треска, зубатка, пинагор с негритянскими губами, кругом льется, мы мокры, руки мерзнут, но пока все это не

главное. Наконец Нестор оживляется, крикает, а Кир вопит: «Хорсё! Хорсё!» — и гогочет, и полощет в воде своими красными лапами.

Показалась семга, ее штук шесть, она до времени таилась, а теперь начинает бешено биться, прыгать, выскакивать, вздымать спинами каскады воды. Кир перебирает и тянет, перебирает и тянет, а Нестор, сдерживая одной рукой карбас у кола, другой шарит на дне, достает колотушку и начинает шлепать, попадает и не попадает, брызги летят во все стороны, волна с шипением проходит через стенки тайника, подкатывается под карбас, и мы то проваливаемся, то взлетаем выше кольев.

Через минуту вся семга оглушена, осторожно положена в карбас и укрыта. Брошена — но уже небрежно — туда же и вся остальная рыба, все эти зубатки и пинагоры, и сеть уже выбрасывается за борт, карбас подводят к другой половине тайника, и там начинается то же самое.

Потом и ту половину опускают, все приводят в порядок, ворота развязывают, карбас выталкивают наружу, отводят в сторону и начинают перекаладывать и разглядывать семгу — нет ли на ней ссадин или следов от зубов белухи.

Семга не так крупна, в каждой килограммов по шесть, попалось ее одиннадцать штук, значит, шестьдесят килограммов примерно — по рублю за килограмм... Да минус вычеты, в общем рублей сорок пять есть! — таковы размышления Нестора, и, судя по его лицу, это вовсе неплохо. Да еще к вечеру попадетс... Ничего, жить пока можно! Нестор закуривает и впадает в созерцательное состояние. Наверное, он думает сейчас, как будут взвешивать вот эту его рыбу, как станут выписывать квитанцию на его имя и сколько он вообще поймает семги за этот сезон, сколько заработает и как распорядится деньгами... А Кир ни о чем не думает, завалился в нос, почесывает живот под рубахой, смотрит из-за бортов то на одну, то на другую сторону — полный покой!

Отдохнув, рыбаки гребут к берегу.

Пришел наконец мотобот за моряками. Они встретили его выстрелами из ружья, будто робинзоны. Нестор сидел, вдевал шнур в перемет, привстал, поглядел в окно и опять занялся своим делом. Между тем моряки сгрудились на берегу, сигналили руками, о чем-то оживленно говорили между собой, наконец один побежал к нам...

— Здравствуйте,— сказал он, входя и переводя взгляд с одного на другого. Он был возбужден и радостен.— Не дадите карбаса, на бот переехать?

— А свой где потеряли? — хмуро, не глядя на моряка, спросил Нестор.

— Да вот... С бота сигналили, что шлюпка неисправна.

Нестор насупился.

— Так не дадите ли карбаса? — повторил моряк уже неуверенно.

— Разобьете,— сказал Нестор.

— Что вы! — Моряк оживился, снял бескозырку.— Свой-то не бьем!

— Какие же свои? Своих-то у вас, видишь, нету.

— Да уж мы осторожно...

Нестор неохотно вышел с моряком на улицу, потом вернулся злой, выругался крепко и сказал Киру:

— Ступай с ними, назад карбас пригонишь. Да смотри, туда не гребь, пускай сами гребут! — крикнул он вдогонку.

Кир радостно вышел — он положительно не мог сидеть без дела.

— Ах, дураки! — говорил взволнованно Нестор, глядя в окно, как отваливает карбас.— Со шлюпкой у них неладно, да за это...

Он опять припустил матом, как-то весь посоловел, оцерился, взглянул на меня.

— Вот тебе твое обчество! Вот твой коммунизм...

Потом сел, закурил, взялся было снова за перемет, но бросил, ему хотелось говорить.

— Вот ты хотел знать про меня, вот я тебе скажу. Ты думаешь — кулак, и все тут! Кулак — как бы не так! Нас вот с батей разорили, все побрали — ладно, хорошо... Хорошо! Теперь гляди с другой стороны что получается. Деньги, какие у нас были, имущество, они что ж — с неба нам упали? Али подарил кто? Иль эти твои бедняки поднесли нам? Погоди, не нукай! Молчи, молчи!

Мы тут раньше знаешь как жили! Мы со всем светом торговлю вели. У нас тут всяких ваших министров не было, а было так: захотел в Норвегию — дуй в Норвегию, захотел в Англию — дуй в Англию. Ты думаешь, я уж темный такой, да? А я, сказать тебе, в Норвегии два года жил до революции, делу обучался, так? Я все производил, шхуны строил! А, к примеру, хошь — пльви на Шпицберген, на Новую Землю, на Колгуев остров, торгуй с ненцами...

Погоди, не вякай, тут поумень вас есть которые. Да! Вот, скажем, весной после зверобойки захотим мы править в Норвегию. Сейчас глядим, сколько у нас у всех добычи, какое, значит, судно нам требуется. Нанимаем шхуну, а мы все в команду входим, груз свой грузим, так? Вот приходим в Норвегию, скажем, в Варде или в Трухольм, товар весь продаем, после этого норвежцы ладят с нами фрахт. Это чтоб наша шхуна назад пустая не бежала. Ладно, берем ихний товар, бежим обратно в Архангельск, там получаем окончательный расчет, так? После... После этого делим по паям.

— А пай равные? — спрашиваю я.

— Погоди! Я знаю, куда ты клонишь. Я таких-то вас видал сознательных... Ровное! Ровного на земле отродясь не бывало. Капитану один пай, на то он и капитан. Опять же владельцу судна. И опять же сколько у кого добычи. Я сто тюленей на зверобойке добыл, а ты пятьдесят — какое такое тут может быть равное? Не в том дело!

Теперь... Теперь получаю я свои деньги. Скажем так — скажем, три сотни. Сейчас думаю: батя чего-то наказал купить. Иду в гостиные ряды, беру всего, что надо: товару, муки там, веревок, снасти, всякое такое хозяйство. Шхуна наша на Двине стоит, нас дожидает, вот мы все это дело покупаем, везем на шхуну, и еще денег остается — скажем, сотня. Ее в карман. Ее в сундучок, на самое доньшко, над ней дрожись, думаешь, куда ее пристроить в хозяйстве, чего тебе нужнее. Ну вот. После того по родне походишь, с друзьями свидишься, кофию попьешь в Соломбале, всякие такие новости узнаешь, что где почем, когда ярманка будет и какие на ей цены ожидают.

Понял, к чему я веду? А другой такой же, как и я, рыбак, зверобойщик, сосед мой — он, к примеру, получит, может, поболе моего, так? Получит, закатится в кабак да по бабам, по этим самым шляхам-паскудам, а? Я о доме думаю, о хозяйстве, а он на пробку наступат, он глаза свои винищем нальет. Он три дни гуляет, на четвертый на судно является. В ноги мне кланяется, двугривенный просит на опохмел. Это как же?

— Это тебе как же? — заорал с ненавистью Нестор. — Лодарь, пьяница, таких в мешок да в воду, чтобы не смели на земле смердеть, и он же после того беднота, а я кулак? А? Ему все свободы, а меня к ногтю — вот какая ваша справедливость? Я все своим горбом наживал, ты думаешь, мне выпить было заказано, али баб этих сладких я не хотел? А я мимо всего шел, нос отворачивал, об хозяйстве думал, денгу берег. И все нажил, все у нас было, а этим гадам все задарма пришло, от нас взяли — им дали. А впрок это им пошло? Тут же все и развеяли, как дым, коровы мои которые сами подохли, которых забили. Дом у нас отобрали, ладно, хорошо! Так что ж с им сделали, дураки! На дрова пожгли. Ему, лодарю, в лес некогда съездить, идет к дому, съезд ломает, после поветь, после и совсем весь!

— У нас сосед был, Хнык,— немного успокоившись, продолжал Нестор.— Такая у него уличное прозвище было — Хнык. Ах, зараза, ах, лодарь, я с батей на зверобойке — он дома в карты играет, я в горах камень ломаю — он с Марфуткой нашей, со шлюхой, водку лакает, последний хомут продает. У нас добыча — у него только го-го-го да га-га-га! Мы косить — он на охоту пойдет. Пойдет на охоту, сапоги последние собьет, рябка и того не принесет. У нас сено, а он свою корову соломой ячменной кормит. На коровенку его глядеть сердце изболит, а он: «Ницего, матуска, съес, ницем права будес!» У, зараза! А потом колхоз когда организовали, он, этот Хнык, больше всех на богатых наскакивал — как же, беднота-а, язви его душу! И кем же его сделали, ты думал? Завхозом он стал в колхозе. А как стал, так и совсем спился, все пропил, в Архангельск подался, там, наверно, начальником сделался.

А вот возьми колхоз: вот ты погляди сам, ездите вы тут всякие, а того не видите, что и в колхозе все не поровну. У одного хозяйство, у другого развалюха. Отчего это? А оттого, что один работающий, а другой дак глядит, как бы выпить. А тут еще власти всякие из району, из области, приказы шлют — то, другое, пятое, десятое — там коси, там сей. Семга идет, народу надо на тонях сидеть, а тут уполномоченный заявится, приказывает: на сенокос ступайте. У них, вишь, там в районе все расплановано, когда и чего начать и когда кончить. Это как? Как ты мне — хозяину — можешь указывать, чего мне делать? Или я сам не знаю? Всякие ученые, экспедиции, профессора, все науки превзошел, сейчас приедет, руки в брюки, очки, вот как ты, взденет — лови там-то и там-то. Да так не лови, да тут не лови, да щупает эту самую семгу, в зад ей смотрит, какая она. А чего ей смотреть, когда она уже пятьсот лет смотрена-пересмотрена, и мы все о ней знаем. И как ловить знаем, и где тоням стоять, опять же знаем.

И колхозы эти пустое дело, как они не пошли спервоначала, так и не пойдут никогда. Потому что никому не интересно, каждый под чужой рукой ходит и на дядю работает. Вот и бегут из этих ваших колхозов все к чертям собачьим. Моя бы власть, я бы эти ваши колхозы пораспускал да каждому хозяину земли выделил, трудись! Налогом бы их обложил крепким в пользу государства, а все, что сверх того,— это все твое. Вот он тогда и работал бы, он бы не спал! А не захотел бы работать, гнать его с земли совсем. И каждый бы тогда свою выгоду соблюдал, каждый себе не враг. Сеял бы то, чего лучше произрастает, чего лучше доход дает. Вот как я гляжу.

— Значит, назад, к частной собственности? Ты это предлагаешь?— спросил я.

— Не назад, тебе сказать, товарищ, а вперед. Потому что это все у нас в крови, и каждый свой интерес имеет, и ты его ничем не сковырнешь, хоть тыщу лет пиши ему свое. Ты ему покажи выгоду, а выгода самая настоящая при собственном хозяйстве и нигде больше не бывает. И что вы там всё пишете против, это все хреновина, извини за выражение. Я газеты читаю и все это дело хорошо знаю. Порядка ты никак не найдешь. Ты вот гляди, что делается, дорог нету, а если и есть, так это еще хуже. И никому нету дела, а почему? А потому — ничья дорога, ничьи машины. Ломается машина, хрен с ней. А если бы машина моя была и дорогу я строил, тут сразу у меня интерес был бы другой. И так во всем. А я бы вас таких, которые против собственности, денег бы вам не платил. Не надо собственности, говоришь? Ну и долой тебя, дом у тебя есть, какое-никакое хозяйство? Отобрать! Раз ты такой умный... Вот и живи комуни... комунистично, да!

Я вышел на берег, было пасмурно, только на горизонте посвечивала голубая полоса, и море чем дальше к горизонту, тем становилось веселее, ярче. А здесь было пасмурно...

Мотобот взвыл сиреной и тронулся, переваливаясь на волнах, и даже сквозь шум набегавших на берег волн был слышен низкий, мягкий звук его дизеля. И как только он тронулся — отделился от него и Кир на своем карбасе и теперь часто греб к берегу, но, казалось, не двигался.

Ну что же! Вот выговорился передо мной Нестор... Пospорить с ним? Нет, не переспоришь! Почему-то я вспомнил десятки славных в свое время романов и повестей о деревне — как там было все прекрасно! В деревне — по этим книгам — было электричество, радио, гостиницы, санатории, высокие трудодни, небывалые урожаи, телевизоры и бог знает еще что. Было все, что только можно себе вообразить и даже сверх того, а следовательно, было счастье, изобилие, социализм был построен, пережитков не существовало. Мало того, с чьей-то легкой руки социализма стало уже недостаточно, деревня пошла к коммунизму, а мужики, по глупости своей цеплявшиеся еще за сытую спокойную жизнь, за одряхлевший социализм, объявлялись людьми отсталыми, и на борьбе отличного с хорошим, то есть коммунизма с социализмом, — строился конфликт! Какое состязание шло тогда между писателями, как боялись они прослыть оторвавшимися от жизни народа и как писали об этой жизни во все более светлых тонах!

Прошло шестнадцать лет со времени войны, и многое переменилось; и вот я на севере, вот я в деревне, причем не в отсталой — здесь действительно живут добротню, потому что давно получают не натурой, а деньгами за свой труд, — и вот я сижу на тоне с Нестором и Киrom... Где эти книги, где эти писатели, что-то они сейчас поделявают? И как хотел бы я тогдашнего писателя или критика перенести вот сюда, на берег моря, к Нестору, как бы хотел я посмотреть на них!

Так что же такое Нестор? Я вдруг вспомнил все свои странствия за последние годы — где только я не побывал! На Смоленщине, в Ярославской, Горьковской, Калужской областях, и на Севере, и в Сибири... И сколько попало мне таких вот Несторов в своих домах, со своими садами и огородами, коровами и пороссятами.

Земля по отношению к человеку безлична, она родит и отдает плоды любому, кто за ней ходит. Но вот такой человек, как Нестор, никогда не был безличным по отношению к земле. Для него всегда существовало понятие земли своей и чужой. И никогда не перейти ему пропасти, разделяющей землю на свою и общую.

Я все стоял, мотобот удалялся, поваливался, мачты его качались. Щемит почему-то на сердце, когда смотришь, как уходит в море судно. Я представляю себе палубу этого мотобота, вахтенного в рубке, шум двигателя. Я воображаю, как рады моряки, которые долго жили здесь, на этом пустынном берегу, а теперь сразу попали к друзьям, в милую сердцу обстановку. Сидят, небось, сейчас в кубрике, выпивают, хлебают морской свой харч, из камбуза тепло, разговоры... А¹ впереди Архангельск, и, может быть, отпуск дня на два домой, и девочки, и новые кинокартины, — помянут ли они этот берег, навигационные знаки, которые ремонтировали, соседей-рыбаков?

Захотелось вдруг и мне домой. Пора! Не буду больше видеть Нестора и его Кира, не буду больше ощущать неприязненный, недоверчивый взгляд брошенный исподлобья.

Вспомнился мне как-то сразу весь этот осенний север, хмурая погода, постоянные шторма, все километры, которые прошел я берегом, ночевки, избы, разговоры, ранние сумерки и поздние рассветы... Хватит!

А мне махал уже из карбаса Кир, смеялся, такой здоровый, крепкий, бездумный. Я помог ему выкатить на берег карбас, и вместе мы пошли в дом.

На другой день я попил чаю, засобирався, стал прощаться. И Нестор вдруг стал как-то смущен, суетился, стариковство проглянуло в нем, и впору было его пожалеть.

— Ты не сердчай,— бормотал он и отводил глаза.— Я это тебе... Давеча говорили... Что ж такое! Подрасстроился я с этими моряками, не люблю непорядка... Может, что и сказал не то, ты уж не сердчай...

— Ладно,— сказал я.— Чего там! Будь здоров. У всякого свое.

— Ну, пойдем, пойдем...— говорил Нестор, одеваясь.— Я тебя провожу маленько... Мало пожил, sempre сейчас самая пойдет, пожил бы еще... Кир, пойдем, проводим товаришша.

Мы шли по берегу, Нестор больше не извинялся, вздыхал только, поглядывал на небо, думал о погоде. Кир почему-то шел шагах в двадцати впереди.

Так прошли километра два, и Нестор остановился.

— Пароход завтра привернет,— сказал он.— Ведь ты у меня поночуеть? Скажи там старухе — все хорошо, скоро в гости будем. Ну, бывай, значит!

Пожали друг другу руки, Кир потопал броднем по твердому песку — был отлив — и закричал:

— Хорсё! Легко тти! Хорсё!

И радовался, обдавал меня голубизной глаз своих, хлопал по плечу и топал броднями, показывая, как легко мне будет идти.

Скоро потеряли мы друг друга из виду, а потом я уже и не думал о них, а думал о будущих днях, как всегда бывает, когда уходишь откуда-нибудь... А когда, пройдя километров десять, присел на берегу шумящего ручья и решил закусить и полез в рюкзак,— рука моя нащупала большой сверток. В старой газете завернута была половина семги, малосольной прекрасной семги — это Нестор сунул мне на дорожку...

Ах, Нестор, Нестор!

БЕСЕДА С БОРИСОМ ЗАЙЦЕВЫМ В ПАРИЖЕ

Борис Зайцев: Познакомился я с Буниным приблизительно в 1902 году, в Москве. Чаще всего мы встречались на таких собраниях литературного кружка «Середа», где главными действующими лицами были Андреев Леонид, вот Бунин, Телешов иногда приезжал, когда проездом был в Москве, Чехов заезжал, но редко очень. Ну и вот этот кружок был, собственно, писателей-реалистов. В какой-то момент, когда появился мой рассказ «Волки», более или менее обративший на себя там внимание, меня приняли в этот кружок. И вот там я встречался с Буниным. И надо сказать, что первое же впечатление у меня было такое,— так сказать, он мне сразу очень как-то понравился, непосредственно, внеразумно, если так можно сказать. Я его и боялся как-то, с одной стороны, а с другой стороны — очень к нему так относился... мне нравилось его писание, очень нравилось писание. И вот, я помню, на одном из таких вечеров он мне подарил свою книжку — перевод «Песнь о Гайавате» Лонгфелло. Это было в 1902 году, издание «Знание». Ну вот... Я студентом был тогда Московского университета. Пришел я домой и сел читать эту «Гайавату» самую. Я маленькую комнату снимал, жил один, тогда еще женат не был, и вот всю ночь... как раз утром уже дочитал, солнце вставало уже, светать начало. Ну... И дальше отношения так сложились... Постоянно я с ним встречался. Он был старше меня на одиннадцать лет, и та литературная богема, в которой я вращался, это были гораздо более молодые люди, чем он, но были дамы там разные молодые и вообще такие энтузиастки, в том числе и моя жена, и вот она втянула в это и Веру Муромцеву, его будущую жену. И они и встретились-то впервые у нас в доме, на чтении. Молодежь читала, читал и Иван Алексеевич там стихи, и вот Вера в своей книжке — у нее есть книжка о Бунине¹, вы знаете, вероятно?

Юрий Казаков: Да, да, я знаю.

Зайцев: Вот, вот... Она там говорит, что вот... Она была очень такая пунктуальная, основательная... Она там написала: четвертого ноября 906 года я в первый раз

встретилась с Иваном, этот вечер был для меня, так сказать, фатальным... И действительно фатальным, тоже *coup de foudre** — понимаете ли, да? И... Она была из такого дворянского серьезного дома, барышня очень... Она не была богема, она была курсистка, она химию изучала, там всякую такую штуку... И представьте себе, что через несколько месяцев он, — не женившись на ней, — увез ее в путешествие в Палестину. Это было весной 907 года. Она просто сбежала, можно сказать, из дому. Так.

Казаков: Хорошо!

Зайцев: Как там переживали родители это, я не знаю. Но вышло это так, что они потом сорок семь лет все-таки прожили вместе. А жениться он не мог, потому что он был женат. Был женат, но с женой разошелся, фактически разошелся. Уже несколько лет он жил один, но формального развода не было. И они формально обвенчались и, так сказать, узаконили только здесь в 22 году, в Париже. Ну вот. А затем, значит, жизнь шла довольно так близко, параллельно. Вот в 910 году он «получил» академика... О, это были большие празднества в Москве, но несравнимые с тем, что потом произошло, когда он получил Нобелевскую премию — это уже было в эмиграции...

Казаков: Да. Ну вот, значит... О Нобелевской мы потом с вами поговорим... А вот интересно, как вы с ним увиделись здесь, в эмиграции уже, в Париже? И где вы с ним увиделись?

Зайцев: Видите ли, увиделся я с ним в первый же день, как я приехал из Италии сюда.

Казаков: Из Италии? Да? А вы сначала были в Италии?

Зайцев: Сначала мы жили в Германии, в Берлине. Но потом, знаете ли, в 23 году, в Германии началась инфляция, страшно расти цены начали, невозможно уж было жить. И тут случилось так, что у меня оказались некоторые деньги. А Италию я всегда чрезвычайно любил, и мы, значит, попали вот в Италию. Несколько месяцев там пробыли. А потом куда деваться? В Париж. Центр эмиграции был тогда Париж, как он, собственно, и сейчас для Европы остался, но сейчас уже остатки эмиграции вымирающей. Так... А тогда было очень много. И в первый же день я к нему именно на ту самую квартиру, где теперь живет Зуров, вот через улицу от нас перейти, rue Offenbach, 1, я как раз к нему и попал... И потом, значит, мы постоянно встречались...

Казаков: Но вы уже знали, что он здесь?

Зайцев: Знал, знал, да, да, да, конечно!

Казаков: Нет, а я думал так, что каждый из вас добрался отдельными сюда путями, а потом...

Зайцев: Нет, он раньше меня попал в Париж. Он попал в Париж, кажется, в 919 что-то году... Он в 918 из Москвы уехал в Одессу, и потом через Болгарию там, Сербию добрался до Парижа.

Казаков: Ну вот, пожалуйста, какой-нибудь характерный случай, пожалуйста. Понимаете, когда люди знают друг друга очень много лет, то естественно, у них бывает много всяких интересных — неожиданных вдруг или странных случаев. Если только у вас происходили такие, то, пожалуйста, расскажите.

Зайцев: Да что вам сказать? У нас отношения всегда были такие... Я был младший, он был старший, и он вообще такой властный был человек, а я несколько всегда на втором плане, это естественно. Да. Но тут вот в эмиграции мы у них гостили сплошь и рядом, в Грассе там, на юге. И вот там он иногда плакался мне, так сказать. Ну... Не особенно удобно, понимаете, для обнародования... «...»² Так что он очень страдал. У него это было очень большое чувство. Но в то же время по отношению к своей жене он все-таки тоже был жесток, это надо сказать, это надо сказать. Ну, и положение их было, конечно, довольно аховое. Судить в этих делах, знаете ли, нельзя, это очень трудно судить.

Казаков: Ну вот, интересно, какие были и у вас и у Ивана Алексеевича перспективы в жизни впереди, то есть на что вы надеялись, о чем вы думали? Все-таки жить здесь, вдали от родины, конечно, плохо... Я очень как-то понимаю, и мне больно думать о тех годах, которые вы провели здесь вдали от русского народа... Вот какие в этом смысле были у вас настроения вообще, мысли, надежды?

Зайцев: Вы знаете, произошла странная, собственно говоря, вещь. Почти все писатели старшей группы, за исключением Куприна и Бальмонта, которые были уж очень пьяные такие, остальные почти все в эмиграции дали как раз наиболее зрелые

* Как удар молнии (фр.).

свой произведения,— конечно, связанные с Россией явно. С этим миром у нас ничего, собственно, общего нет. Вот я, например, живу свыше сорока лет во Франции, читаю я свободно по-французски, но говорить я по-французски очень плохо говорю и не решаюсь... Пустяки там какие-нибудь спросить иногда, но чтобы что-нибудь рассказать или... Это я не берусь за это. Да. Так, конечно, жили, собственно, Россией — внутренне Россией, но не Россией революционной, нет, это нет. Это нам был чуждый мир, все-таки далекий, да.

Казаков: Да... А вы не помните подробностей, связанных с присуждением Ивану Алексеевичу Нобелевской премии?

Зайцев: О, помню очень хорошо.

Казаков: Пожалуйста, расскажите.

Зайцев: Ну, видите ли, Нобелевская премия — это не такая простая штука. Борьба за эту Нобелевскую премию для Ивана шла годы. Так же, как она шла и для Шолохова — советское правительство много раз выставляло его кандидатуру подряд, отказывали, отказывали, а потом дали. А Иван попал в другую полосу. В то время еще эмиграция русская здесь имела гораздо больший престиж, чем сейчас. Сейчас это не модно совершенно, а тогда все-таки... Да. Ну, и несколько раз кандидатура его выставлялась, но не проходила. Однако настал момент — это было в 33 году, да, а он был в это время в Грассе, — когда ему присудили эту премию. И вот я знаю обстановку эту уж, так сказать, достоверно вполне — жизненную, пустяковую, собственно так... Иван очень волновался в этот день — известен был день, когда присуждают премию. И он пошел с Галиной в сипэша. Днем. Такой сеанс: от четырех до семи что-нибудь... В Грассе, он в Грассе был в это время... Так. Вдруг телефонный звонок из Стокгольма, к ним, в Грасс. Вот. Трудно даже разобрать, далеко. Это Вера слушала, Вера Бунина, но все-таки поняла, что вот ему присудили премию. Зурова отправили, она отправила в сипэша сказать Ивану: Ну, и вот Зуров... и какая-то прислуживавшая с фонариком искали, где Иван сидит, и наконец вот нашли. И ему сказали, что он получил Нобелевскую премию. Ну, он ушел сейчас же домой, а пока он пришел домой, тут уже началось что-то такое, со всех сторон телефоны, из Ниццы там... И все... К вечеру уже, Бог знает, набилось сколько разных корреспондентов, знаете ли, интервьюеров... А Вера рассказывала потом моей жене: «Голубчик, а ты знаешь, а нам и угостить нечем было!» Они жили, действительно, очень бедно, это верно. Да. Иван Алексеевич был человек, конечно, такой стародворянской замашки: когда деньги есть — спускал мгновенно, а потом вот на бобах. Но вообще заработки, конечно, ничтожные были, это неудивительно. Ну вот. И начался такой туман какой-то славы, и всё в Грассе, и потом он, значит, приехал сюда, в Париж. Когда он сюда приехал, это уже тут эмиграция просто с ума сошла, в том числе и я. Нам это казалось... Видите ли, что же — мы были какие-то последние люди там, эмигранты, и вдруг писателю-эмигранту присудили международную премию! Русскому писателю! Да. И присудили не за какие-нибудь политические писания, а все-таки за художественное, да? Ну, вот я помню... Я в то время писал в газете «Возрождение», тогда «Возрождение» была газета — вот тут я вам показывал журнал, но это позже газета перешла, после немцев; когда немцы закрыли газету, то после них уже журнал, — так... Так мне экстренно поручили написать передовицу о получении Нобелевской премии. Это было очень поздно, я помню, что было десять часов вечера, когда мне это сообщили. Значит, в первый раз в жизни я поехал в типографию и ночью писал такую небольшую передовицу в «Возрождение», которая называлась что-то вроде не то «Победа Бунина», не то «Победа эмиграции» — я уж хорошенько не помню. Писал в типографии. Эта типография около place d'Italie, это далеко очень отсюда. Я помню, что я вышел в таком возбужденном состоянии, вышел на place d'Italie и там, понимаете, обошел все быстро, и в каждом быстро выпивал по рюмке коньяку за здоровье Ивана Бунина.. Ну, приехал домой в таком веселом настроении духа, ну, все-таки поздно, я думаю, часа в три ночи, в четыре, может быть... Да... И потом тут началось! Тут началось! Всякие банкеты, выступления, одно было даже немножко курьезное... Тут было такое одно общество, такое очень православное, которое тоже Ивана чествовало, и был митрополит Евлогий... Ну, значит, молебен, всё... И вот. Было довольно много народу. И Иван к нему подошел и... Ну, когда подходят к митрополиту, то обыкновенно так вот делают, он благославляет, целуют руку. Но Иван тут почему-то так воодушевился, что он встал на колени, встал на колени перед митрополитом... Это совершенно ни к чему, конечно, было, но такое какое-то было возбужденное состояние, что никто этого ничего... Так все хорошо было, да. А потом

громадное собрание было в Théâtre des Champs-Élysées, и там уже русская эмиграция его чествовала. Ну, ряд ораторов был, в том числе и я читал о нем такую статейку, заранее написанную. Все это было очень торжественно. Вера Бунина сидела с митрополитом в ложе. Моя жена там где-то тоже окодачивалась... Театр огромный. Устраивали это вот «Современные записки» как раз — этот журнал — этот вечер. Но они до последнего момента не были уверены, все-таки будет ли этот театр полон, и принимали героические усилия — просто загонять людей. Но все-таки действительно театр был полон... Да, Иван снял в Hôtel Majestic — это один из дорогих, великолепных отелей, — он снял там себе такой апартамент в две-три комнаты, и вот там с ним Галина жила, понимаете, там Галина с ним жила, — вот это, конечно, да... И... А Вера еще оставалась в Грассе, понимаете, Вера Бунина. Но потом позже она приехала. И после всего этого вот угара и, я не знаю, дней десять продолжалась эта вот такая штука вся, — и уехали в Стокгольм. Ну, мы их провожали, друзья там, все были на вокзале, на Северном. И в Стокгольме, там тоже все было чрезвычайно парадно, но это двадцать раз описано, понимаете... Вот вы не видели — есть воспоминания Галины Кузнецовой?... Да. Вероятно, это вы не читали?

Казаков: Нет, нет. Вы знаете, я читал — такой есть у вас, был, вернее, репортер по фамилии Седых³...

Зайцев: Андрей Седых, да. Вот он тоже описывал это. Он с ним ездил туда.

Казаков: Это его псевдоним, у него еврейская какая-то фамилия.

Зайцев: Да, да, да.

Казаков: Ну, он, значит, написал... Я это читал. Я читал, как там он был его на это время секретарем...

Зайцев: Да, да, да. Он был секретарем Бунина, совершенно верно.

Казаков: Я читал, как он там уронил медаль, и медаль эта покатилась, и они там ее ловили все. И как он потом папку, когда он ловил эту медаль, положил папку там куда-то, которую дали — медаль и папку, — а потом Бунин у него спросил: слушай, а где же чек? А тот: какой чек? Как, говорит, какой чек? В папке который? Тогда тот побегал искать эту папку. Это я все читал.

Зайцев: Да, да, это все верно.

Казаков: Ну, вы его, значит, провожали... А потом вы не встречали его?

Зайцев: А потом я его уже не видел, они проехали вот через Дрезден, вот я вам уже рассказывал, в Дрездене совсем неожиданная штука произошла — встреча Галины с этой Маргой. И потом они остались в Грассе. Ну, а потом, потом мы иногда бывали там, на юге Франции тоже, в Ницце жили с женой, там я иногда читал, кое-что подрабатывал. Знаете, ведь мы жили так... со дня на день.

Казаков: Конечно...

Зайцев: Никакой обеспеченности, ни малейшей не было...

Казаков: А скажите, пожалуйста, были у вас какие-нибудь вот литературные разговоры, то есть Иван Алексеевич как-то делился с вами своими замыслами?

Зайцев: Да, ну постоянно мы разговаривали...

Казаков: А вот интересно еще, как он думал о собственном творчестве, как он думал о себе самом? Как писателе...

Зайцев: Знаете, о себе самом он мало говорил, но он, конечно, себя очень высоко ставил, в этом нет никакого сомнения. И он имел к этому основания, он имел к этому основания. Но... других писателей он, кроме... Он обожал Льва Толстого. Вот это — да. И кроме Льва Толстого, он, собственно говоря, он никого... И себя... Вот Чехова он любил, Чехова любил, но, знаете ли, самые последние его воспоминания — там все-таки даже и по поводу Чехова есть немножко так... Он очень не любил его театра, чеховского, так же, как Толстой. Толстой говорил Чехову: «Знаете, вы пишете... ваш театр, ваши пьесы еще хуже Шекспира!..»

Казаков: Да, это известное его высказывание. Ну, а какие-нибудь литературные разговоры...

Зайцев: Да! Литературные разговоры. Видите ли, литературные разговоры у нас в течение, можно сказать, всей жизни продолжались в таком направлении, что я был все-таки гораздо моложе его, и я находился на грани между вот... декадентством, символизмом, с одной стороны, а другим концом как-то более к реалистическому лагерю принадлежал. Так что мое положение было такое, что все мои приятели, многие, и знакомые левого крыла, литературного, они на Бунина всегда нападали как на реалиста, и я всегда защищал его с этой стороны. Так. С другой стороны, Бунин всегда

их ругал, понимаете, вот Блока там, Белого — и тут я ему возражал. Так что мне приходилось и туда и сюда, на оба фронта, так сказать, действовать, да. Но Иван Алексеевич вообще, в разговоре и в жизни, он был чрезвычайно таким — ну, как сказать — красочным и образным вообще человеком. Он говорил очень метко, очень своеобразно, в особенности когда он сердился, это ему придавало какое-то такое... Ведь у него есть книга, которую, вероятно, вы не читали...

Казаков: Нет, не читал. Это, по-видимому, единственная книга, которую я не читал, — это воспоминания его, да?

Зайцев: Воспоминания, да... Нет, вот — «Окаянные дни». «Окаянные дни» — ну, это вроде уже памфлета такого, но это, так сказать, на вас... то есть, не на вас лично, но... против советского правительства. Это что-то невероятное! Понимаете ли, да...

Казаков: Да, я слышал даже здесь вот — я встречался уже вот с Кириллом⁴, и он тоже мне сказал, что Бунин здесь просто злобен, злой, он несправедлив уже...

Зайцев: От Ивана Алексеевича ждать какой-то объективности — это, конечно, невозможно, это невозможно, нет.

Казаков: Как раз вот, понимаете ли, он как художник ведь, он очень объективный.

Зайцев: Ну да, когда он спокоен, когда он пишет о том, что он любит, что он знает. Но и в писании его есть все-таки много такого, как вам сказать... Ну, «Деревня», например. «Деревня» — все-таки такая очень обличительная штука, страшное изображение деревни, и тоже одностороннее все-таки, очень одностороннее.

Казаков: Ну, как вам сказать, — нет, он там все-таки справедливый. Я вот знаю деревню, нашу уже, ну современную деревню...

Зайцев: А из каких краев вы вообще сами?

Казаков: Я из Москвы, я, как вам уже сказал, родился на Арбате.

Зайцев: А деревню — каких мест?..

Казаков: Я ездил в разные деревни — я ездил в деревни на Смоленщине, в Смоленскую область, в северные деревни, Архангельская область, и потом в Ярославскую область...

Зайцев: Да, но в общем вы все-таки горожанин, да?

Казаков: Горожанин, да, да.

Зайцев: Вы были в деревне, а Бунин вырос в деревне...

Казаков: Я понимаю.

Зайцев: ...так же, как и я. Все мое детство и ранняя молодость вся связаны с деревней, понимаете, так... кровно, то есть, конечно, не с крестьянской деревней, но все-таки... с детства мальчики и девочки все мои были приятели из деревни нашей. Так что я...

Казаков: У вас было, наверное, какое-нибудь имение, у ваших родителей?

Зайцев: Видите, мой отец был горный инженер. Он, собственно, не был таким помещиком. Но внутренне он не любил вообще это свое дело. Да, у него было имение под Калугой, но недолго — он его потом продал. А потом, уже когда он стал старше, уже ослабел и работать не мог, кое-какие деньги были — он купил имение, тоже небольшое очень, в Тульской губернии, верстах в шестидесяти от Ясной Поляны, но в Каширском уезде. И вот там он, и до конца дней уже, пробыл как бы в отставке... И вот мы там с женой постоянно жили тоже, в этом Притыкине, летом приезжали, а во время войны жили зимой... Ну вот... Этот вот вопрос об участии или неучастии писателя в общественных делах, это вы вполне можете и на меня обратиться, и, понимаете ли, острием неким, потому что действительно я был чрезвычайно далек от всякой общественности всегда. Ну, просто характер такой, понимаете ли.

Казаков: Нет, нет, когда я говорил, я говорил не об участии или там неучастии в общественных делах. Писатель может не участвовать в общественных делах, то есть не выступать на собраниях...

Зайцев: Ну да. Но переживать...

Казаков: ...не писать статей, не быть там председателем разных комитетов и так далее. Но писатель не может отстраниться от жизни своей страны, своего народа. Не только своего народа, но вообще всего мира. Писателя, как и любого человека, не могут не волновать какие-то события в мире, которые происходят. Я вот вам говорил о том, что когда мне сказали здесь французы, что они вообще свободны от ответственности перед обществом...

Зайцев: Это неверно, нет — все ответственные.

Казаков: ...и они этим гордятся, то я не понимаю вообще достоинства этой самой свободы.

Зайцев: А какие это французские писатели?

Казаков: Вы знаете, я вчера говорил... Я забыл его фамилию, потому что у меня очень плохая память на эти самые французские имена, тем более, я ни слова не знаю по-французски. Это молодой французский писатель, очень известный, как мне сказали здесь, он...

Зайцев: Позвольте, а как вы с ним — вы по-французски говорите?

Казаков: Нет, я через переводчика, конечно. Вот мы сидели в кафе... Он здесь представляет какую-то там школу или отряд авангардистов этих самых, «новый роман»... Он говорил о «новом романе» и говорил в общем о писателях французских и об их настроениях. И вот он в этом самом разговоре сказал, что французские писатели, они независимы...

Зайцев: Вы не с Кириллом были там?

Казаков: Нет, нет, это у меня есть переводчица, моя переводчица, которая перевела две мои книги⁵. Она прекрасно говорит по-французски и прекрасно говорит по-русски, потому что у нее бабушка русская. И вот, значит,— правда, у нас было мало времени — мы с ним не доспорили, то есть не договорили, мы решили продолжить этот разговор и встретиться еще раз.

Зайцев: Скажите, а эта все вертится штука?

Казаков: Да, вертится, конечно. Вы знаете... Эта штука, она, как вам сказать... Я не могу записывать быстро, стенографически, я боюсь забыть, боюсь наврать, если вы мне что-то расскажете, понимаете. Поэтому я решил просто — с вашего разрешения, с вашего согласия — записать наш разговор о каких-то давних уже годах, о вас, об Иване Алексеевиче Бунине. Что-нибудь вы вспомните, расскажете, чего не было в печати о нем, потому что ты его долго знали. Я это потом использую в своей работе...

Зайцев: ...А вот этот француз — не Роб-Грийе, нет?

Казаков: Нет, нет, нет, нет. Как раз о Роб-Грийе шла речь. Но это другой француз, забыл фамилию... Я вам скажу в следующий раз, специально запишу и скажу вам. Но мне сказали, что это очень известный какой-то такой здесь и очень уважаемый...

Зайцев: А у кого было дело? Где вы встретились?

Казаков: В кафе. Он был один, а со мной была переводчица. Да, так, значит, вернемся все-таки к Ивану Алексеевичу. Ну, что-нибудь расскажите о нем: какой характер у него, как он вообще жил...

Зайцев: Характер у него нелегкий был, его многие не любили, потому что у него, действительно, были черты, которые все-таки трудно, трудно было переносить. Но у меня лично, не знаю, с самых ранних лет у меня так, как было, так и осталось к нему какое-то такое... Вот и моя дочь то же самое, она его и очень защищала... Его многие ругают тут, многие ругают, не за что-либо там, политика это другое дело,— но за резкость, за... иногда и грубость, он бывал, он мог быть очень груб, это и говорить нечего, да. И вообще у него характер был такой... Вот он мне рассказывал, например... Собственно, наследственность... Отец его был — ну совершенный уже русский, понимаете ли, такой... барин времен Николая I, я не знаю... Между прочим, с Толстым вместе воевали под Севастополем, вот Бунин, отец Бунина. Да... Ну, сильно пил, и вообще такой взбалмошный, довольно дикий человек, именно такой помещик глухого Елецкого уезда. У Ивана много этих черт осталось. Вспыльчивость крайняя, неудержимость, иногда резкость манер. Но при этом огромная одаренность и какая-то такая талантливость непосредственная, которая, понимаете ли... подделать ее нельзя, это человек так рожден. Рассказывал он замечательно, народ русский знал превосходно. И когда он рассказывал про простонародье,— это, понимаете ли, просто картина! Я помню, мы с женой раз уезжали из Грасса, и он и его жена провожали нас до Тулона, это часа полтора езды в поезде. И он нам, понимаете ли,— ну просто это было театральное представление, он изображал каких-то мужиков, баб русских, все эти полтора часа мы сплошь хохотали. Да... И был момент, когда Станиславский предлагал ему в Художественный театр,— конечно, не стать профессиональным актером, но сыграть роль... Какая-то, по мнению Станиславского, я уж не помню, в какой пьесе, что-то очень было подходящее. Вот. Но Иван сказал: «Нет, дорогой мой, я не дурак, чтоб в театр идти, нет». Он теперь не мог театр, между прочим, Хотя в нем самом актер был. Не в пло-

хом смысле актер, а в смысле умения и способности изображать что-то вот в словах, в жестах и так далее... Рассказчик был первосортный, первосортный, и при этом такой рассказчик, который не надоедал, так сказать,—бывают такие, что вот заведет что-то без конца... Нет, у него этого не было. А вот последние его годы были очень горестные, очень горестные...

Казаков: А что, очень он бедно, наверное, жил в последние годы, да?

Зайцев: Нет, дело не в бедности. Видите, это вот опять-таки по барскому такому размаху эту Нобелевскую премию он довольно быстро прожил. Хотя надо сказать, что он, когда он ее получил, он по-ветхозаветному десятую часть роздал своим товарищам, в том числе и мне. Устроено было так научно все, был комитет собраний, который распределяет... Из его там друзей, но не заинтересованный в деньгах...

Казаков: А вот интересно, сколько — я так, в общем, собственно, и не знаю, много ли денег Нобелевская премия?

Зайцев: Да, это порядочно.

Казаков: Вы не помните точную сумму?

Зайцев: Нет, помню, помню. Это около восьмисот тысяч франков — тогдашних, это с теперешними франками ничего общего, теперь это двадцать миллионов франков...

Казаков: А если в долларах, я больше понимаю в долларах,— сколько?

Зайцев: Я вам сейчас скажу — сколько. Доллар — пятьсот франков старых, значит... сорок тысяч долларов, должно быть.

Казаков: Это много. Не так уж, в общем, много, конечно... Это хватит на несколько лет очень хорошей жизни.

Зайцев: При разумной это можно... Собственно, старость обеспечена. Но он быстро растратил, уже, я думаю, лет в семь-восемь он все просадил, да. К началу войны он оказался совсем на бабах уже, да.

Казаков: Пожалуйста, расскажите — вы тут в разговоре уже упомянули о его, ну, странном, что ли, или как это сказать — поведении в последние годы, когда он переругался со всеми здесь, вышел из союза. Расскажите, пожалуйста.

Зайцев: Это очень печальная история. Да, я расскажу. Для меня самого печальная, потому что он меня, так сказать, тоже возненавидел в некотором смысле, хотя я ничего против него не делал решительно. Ну вот, эта история была, понимаете ли, такая. Когда кончилась война, тут в эмиграции, что вполне естественно, конечно, очень такое патриотическое настроение проявилось. Вот. И на советское правительство многие эмигранты возлагали надежды гораздо большие, чем оно оказалось в действительности. Так. Думали, что вот будет поворот более либеральный такой в политике, больше свободы, больше, ну терпимости и так далее. В эту струю в значительной степени попал и Иван Алексеевич. Кроме того, материальное его положение было уже плохо. Он по временам сотрудничал в здешней, советской уже газете. Были такие «Русские новости», они до сих пор существуют. Газета, которая поддерживается Советами, и они сразу берут большое количество экземпляров. Ну, он там кое-что печатал. А потом главное-то вот это наш союз, а у нас союз эмигрантских писателей,— которого я в то время был председателем...

Голос: Обедать, пожалуйста!

Зайцев: Да, сейчас, сейчас. Но я скоро договорю, да... И там, понимаете ли, возник такой очень тяжелый тоже вопрос. Часть членов...

Казаков: Нет, вы, пожалуйста, поподробнее, мы потом пойдем обедать, а вы все-таки расскажите, это очень интересно. Нет, я говорю, вы не торопитесь рассказывать...

Зайцев: Может быть, мы пока прекратим, а потом добавим, или как?

Казаков: А, ну конечно!..⁶

ПРИМЕЧАНИЯ

Зайцев Борис Константинович (1881—1972) — прозаик, драматург, переводчик; в 1922 году эмигрировал и с 1924 года жил в Париже. В послевоенные годы охотно поддерживал связи с советскими литераторами. Казаков особенно любил перечитывать перевод первой части «Божественной комедии» Данте, выполненный Б. Зайцевым ритмической прозой.

¹ Речь идет о книге В. Н. Муромцевой-Буниной «Жизнь Бунина» (Париж, 1958; у нас книга издана «Советским писателем» в 1989 году).

² Здесь опущено несколько фраз, о которых Б. К. Зайцев спустя несколько месяцев после этой беседы — 16 января 1968 года — писал Ю. П. Казакову: «...Да, еще: я тогда слишком много разболтал Вам о Бунине, о его сердечн. делах <...> — очень прошу, держите это про себя, сведения такие не для публяки, слишком личное. Так что надеюсь на Вашу сдержанность».

³ См. кн.: А. С е д ы х. Далекие, близкие. Нью-Йорк. 1962.

⁴ Кирилл Ельчанинов — парижский знакомый Казакова.

⁵ Лили Дени. В ее переводе в Париже вышли книги Казакова «La belle vie» (1964) и «Ce Nord maudit» (1967).

⁶ На этом запись беседы обрывается.



ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

КОРНЕЙ ЧУКОВСКИЙ

*

ДНЕВНИК

(1918—1923)

Вокруг этого дневника давно ходят слухи и легенды, на что-то намекая, чем-то угрожая. Общий смысл намеков и угроз в том, что Чуковский-де — притворщик, ведущий двойное существование, что вся его литература — хитрая маска, что все его мнения и оценки — сплошное лицемерие, а подлинные свои мысли он таит под спудом в дневнике, и вот погодите, выйдет Дневник на свет...

Чуковский сам немало, хотя, кажется, совершенно невольно способствовал возникновению подобных легенд и слухов: образ лукавого рассказчика, возникающий из его сказок, из интонаций его статей, из самого его облика и голоса, хорошо известных благодаря телевидению, радио и грампластинкам, провоцировал догадку: что-то здесь не так. Ну просто не может быть так.

Дневник Чуковского — создание действительно легендарное, хотя совсем не в том смысле, какой этому слову придавали роящиеся вокруг дневника слухи. Он должен быть удостоен звания легендарного еще до прочтения. В самом деле, разве не легендарен дневник, охватывающий шестьдесят восемь лет — с 1901-го, когда началась литературная деятельность Корнея Чуковского, по 1969-й, год его смерти? Немногим русским писателям удавалось достичь шестидесятивосьмилетнего возраста (нелегкое это дело — жить в России, в русской литературе), а тут перед нами литературный дневник, охватывающий шестьдесят восемь лет XX века — и каких лет! какого века! Еще бы не легенда! О подобных литературных дневниках у нас что-то не слышать. Дневник Чуковского, скажем для начала, по крайней мере в этом смысле беспрецедентен. В нем зафиксированы две трети века, в котором любая наука выхваченная дата — знак беды, каждая истекает кровью. Историк, изучающему этот век, придется туго — он то и дело будет наталкиваться на недостаток документов. Преступники стараются не оставлять следов — ни своих, ни своих жертв. Жертвы тоже постарались избавиться от документов, ибо любой, самый невинный из них мог — по логике эпохи — привести к гибели. Есть рассказ Каверина о том, как он навестил Тынянова в его кабинете, как они молча сидели при закрытых окнах, сквозь которые все же проникал едкий запах жженой бумаги: люди жгли свои архивы. Тынянов тогда сказал что-то о сожжении памяти эпохи. Так что сам факт существования дневника Чуковского — чудо. На него ложится тяжкая обязанность как-то компенсировать невозможные документальные потери столетия. Уверен, что сейчас еще никто не в состоянии полностью оценить факт существования этого дневника. Тут слово за будущим.

Дневник начисто опровергает сложившиеся вокруг него слухи и легенды, попросту не оставляет для них места. Конечно, нельзя сказать, будто Чуковский предстает в своем дневнике точно таким же, каким вырисовывается из других своих произведений, — дневник колоссально увеличивает наши знания, наши представления. Но дневник не оспаривает их, не заменяет другими (будто бы истинными наконец). Он только раздвигает и дополняет их, подтверждая цельность Чуковского, органичность его твор-

чества, отсутствие лукавства в оценках или притворства во мнениях. Дело не в том, что многие записи дневника фабульно или текстуально совпадают с тем, что известно из прежних сочинений Чуковского (скажем, мемуарные очерки в книге «Современники» явно выросли из дневника и других записей «для себя»). Дело в том, что основные жизненные позиции автора сокровенного дневника те же, что и в «откровенных», открытых, опубликованных им самим его сочинениях. Публикация дневника, надо полагать, отрезвет от имени Чуковского мусор слухов и сплетен. Она будет способствовать правде — правде об авторе, правде о его времени.

Есть, впрочем, одна интимная сторона жизни Чуковского, которая в его прижизненных изданиях едва проглядывает, а в дневнике прочерчена с резкой откровенностью: мучительное недовольство собой. Оказывается, этот сверкающий, победительный писатель в самых интимных своих записях непрерывно жалуется на свою негалантность, на убогость своих созданий, на разлад между замечательными замыслами и посредственным исполнением, на неудачливость, на боль сиротства. Если дневник и дает что-то новое для образа Чуковского, то эта «новизна» заключена прежде всего здесь — в этих пронзительно искренних и, надо полагать, совершенно необоснованных жалобах. А боль сиротства, «бастардства», безотцовщины определила в жизни и творчестве Чуковского гораздо больше, нежели мы полагали до сих пор.

Но ведь именно искренность этих ощущений, пусть и необоснованных, была тем мотором, который непрерывно устремлял Чуковского если не к совершенству, то уж, конечно, к совершенствованию. Не странно ли, что он, знаток Некрасова, ни разу не попытался оправдательно приложить к себе некрасовскую формулу: «...кто чужд сомнения в себе, сей муки творческого духа»? Дневник Чуковского — поразительный человекский документ, свидетельствующий о непрестанной работе души по очищению и совершенствованию характера.

Поэтому, описывая себя и свое окружение день за днем, Чуковский создал произведение, которое может быть прочитано как особого рода роман — именно роман воспитания, точнее, роман самовоспитания, ибо сколько талантов мы ни признавали бы за Чуковским, быть может, величайший из них — талант самовоспитания, упорное «делание самого себя», словно он принял обет возратить Создателю нечто лучшее, чем то, что получил от него. Демоном, который искушал писателя Чуковского, был сам Чуковский, вечно недовольный собой, стремящийся аскезой самовоспитания преодолеть муку сиротства.

Таким образом, дневник — произведение автобиографическое. Он содержит бесчисленное множество сведений о жизни, работе, взглядах и мнениях писателя Чуковского, причем большинство из них с дневником впервые попадают к читателю и в научный оборот. Но поскольку перед нами все-таки не записи провинциального графомана, а дневник талантливого писателя, накрепко связанного с литературным процессом, заинтересованно следящего за литературой, политикой, бытом, это вместе с тем произведение историческое, достоверная литературная летопись эпохи. Не нужно быть пророком, чтобы предсказать дневнику Чуковского судьбу неусыпающего источника, из которого долго будут черпать историки — не только историки литературы и культуры, но, конечно, прежде всего они. Сразу же после выхода дневник будет разобран на цитаты по ниточке, по строчке, по словечку...

У Чуковского был замечательный дар наблюдателя с острым социальным чутьем, и одного взгляда, например, на уличную толпу, ему было достаточно, чтобы сразу определить направление социальных ветров. Его прогнозы иногда наивны и поспешны, впрочем, он порой разделял их со многими умнейшими и прозорливейшими своими современниками, но сами наблюдения безупречно точны. Тут к Чуковскому нужно применить слово, которое, кажется, никто никогда и не подумал бы к нему применить: простодушие. Пресловутое лукавство Чуковского — не лукавая ли маска, прикрывающая душу живу от непрощенных таможенных досмотров?

Вместе с тем дневник Чуковского — художественное произведение. Это качество дневника — следствие блестящего изобразительного мастерства Чуковского, прежде всего мастерства портретного. Горсточкой слов, несколькими штрихами ухватить сходство и передать характер — в этом деле Чуковский был непревзойден. Как художник-портретист Чуковский сравним разве что с М. Горьким, портретную живопись которого он, кстати сказать, ставил очень высоко: считал мемуарные портреты М. Горького самым серьезным его художественным достижением и лучшими портретными созда-

ниями русской литературы. Из нескольких фраз, ненадѣжно оброненных Чуковским по поводу того или иного своего знакома, возникает выпуклый запоминающийся образ, словно это не он, автор дневника, а мы, читатели, были знакомы — долго или мимолетно — с описанным персонажем.

Самое замечательное в мгновенной точности портретов, брошенных на страницы дневника, — нелнейность характеристик, пересечение разнонаправленных составляющих, внутренняя динамика, психологическая объемность. Не зря Чуковский так дружил с мастерами портрета — живописцами и графиками — от И. Е. Репина до Ю. П. Анненкова: он их собрал и соперник по искусству портретного изображения. Нарисованные в дневнике портреты аскетичны и богаты, легко обозреваемы и глубоки.

Портретный метод Чуковского противоположен иконе с ее каноничностью и одноплановой, застывшей в самодостаточности характеристикой. Образы многих выдающихся деятелей в нашем обиходе давно приобрели и свойственную иконе каноничность, и свойственную ей же торжественную застылость — не портреты, а лики. Но Чуковский изображает их по-другому, по-своему — ломающими иконные рамки и наши шаблонно-благопристойные представления. Вот, например, М. Горький — у Чуковского он несколько не похож на М. Горького школьных учебников, юбилейных статей и диссертаций, на все проливающих свет, — живой, одержимый страстями человек, и говорит он (а Чуковский записывает «с натуры»!) вовсе не то, что положено говорить высочайше утвержденному «основоположнику социалистического реализма».

Иного читателя, слишком доверившегося учебникам, статьям и диссертациям, могут и покоробить так и е портреты, но прав все-таки Чуковский, доверяющий живой жизни и владеющий искусством ее литературного воспроизведения, рисующий не лик, но — лицо. Неканонические портреты канонизированных деятелей притутя как раз ко времени — за ними стоит внутренняя свобода художника, и учат они свободе. Портреты, написанные почти семьдесят лет назад писателем, умершим двадцать лет назад, сегодня предстают перед нами в ореоле неотразимой актуальности.

Если бы дневник содержал только портреты «великих», то и в этом случае значение свидетельств Чуковского было бы огромно. Но в том-то и дело, что неистощимо общительный и наблюдательный Чуковский был, так сказать, лично знаком со всей русской литературой XX века, и едва ли кто из современников ускользнул от его острохарактеристичного пера. Не десятки — сотни персонажей появляются в дневнике с биографическим эпизодом и портретной характеристикой. Насколько можно понять, именной указатель к дневнику будет огромным, поражающим объемом и прихотливостью состава.

Сейчас трудно сказать, для скольких имен, для скольких персонажей отечественной истории дневник Чуковского станет единственным или главным источником сведений, но уже ясно, что станет. Возглас поэта: «О, наука человековедения! Ты еще на грани ремесла!» — не имеет отношения к дневнику. Перед нами подлинная, и притом высшая, школа человековедения. Небрежные, казалось бы, записи «для себя» оборачиваются утонченным и проникновенным искусством описания человека. Дневник Чуковского, словно бы вопреки законам природы, но в соответствии с законами культуры, осуществляет на деле утопию Н. Ф. Федорова: воскрешает «отцов», дарит им вечное — литературное — существование, преодолевает «мировое сиротство».

Дневник Чуковского — громадное культурное явление, и мне весело думать, что он вот-вот станет достоянием моих соотечественников, моих современников. Конечно, он станет захватывающим чтением для читателей-неспециалистов, просто читателей; он даст обильную, вкусную и питательную пищу (любимая метафора Чуковского) уму и сердцу тех из них, кто жаждет заполнить пробелы в своих исторических представлениях: он будет включен в историко-литературные штудии ученых; он станет нашим патентом на благородство. Выход дневника Чуковского — праздник нашей культуры. Если можно так выразиться, производственный праздник, ставящий вопросы, стимулирующий работу души, ферментирующий новую культурную деятельность, — одним словом, лучший из праздников. Неслыханно богатый подарок дарит нам Корней Чуковский через двадцать лет после своей смерти.

МИРОН ПЕТРОВСКИЙ.

1918

14 февраля 1918. У Луначарского. Я выдаю с ним чуть не ежедневно. Меня спрашивают, отчего я не выпрошу у него того-то или того-то. Я отвечаю: жалко эксплуатировать такого благодушного ребенка. Он лоснится от самодовольства. Услужить кому-нб., сделать одолжение — для него ничего приятнее! Он мерещится себе как некое всесильное благодное существо, источающее на всех благодать. Пожалуй-ста, не угодно ли, будьте любезны — и пишет рекомендательные письма ко всем, к кому угодно, — и на каждом лихо подмахивает: Луначарский. Страшно любит свою подпись, так и тянется к бумаге, как бы подписать. Живет он в доме Армии и Флота — в паршивенькой квартирке, — наискосок от дома Мурузи, по гнусной лестнице. На двери бумага (роскошная, английская): «Здесь приема нет. Прием тогда-то от такого-то часа в Зимнем Дворце, тогда-то в Министерстве Просвещения и т. д.». Но публика на бумажку никакого внимания, так и прет к нему в двери, — и артисты Имп. Театров, и бывш. эмигранты, и прожектеры, и срыватели легкой деньги, и милые поэты из народа, и чиновники, и солдаты — все, к ужасу его сварливой служанки, которая громко бушует при кажд. новом звонке: «Ведь написано». И тут же бежит его сынок Тотоша, избалованный хорошенький крикун, который — ни слова по-русски, все по-французски, и министриабельно-простая мадам Луначарская — все это хаотично, добродушно, наивно, как в водевиле. При мне пришел фотограф и принес Лунач[ар]скому образцы своих изделий. «Гениально!» — залепетал Л. и позвал жену полюбоваться. Фотограф пригласил его к себе в студию. «Непременно приеду, с восторгом». Фотограф шепнул мадам: «А мы ему сделаем сюрприз. Вы заезжайте ко мне раньше, и, когда он придет, я поднесу ему В/портрет... Приезжайте с ребеночком, — уй, какое щазеле». <...>

В Министерстве Просвещения Лунач. запаздывает на приемы, заговорится с кем-нибудь одним, а остальные жди по часам. Портрет царя у него в кабинете — из либерализма — не завешен. Вызывает он посетителей по двое. Сажает их по обеим сторонам. И куда говорит с одним, другому предоставляется восхищаться государственною мудростью Анатолия Васильевича... Кокетство наивное и безобидное. Я попросил его написать письмо Комиссару Почт и Телеграфов Прошиану. Он с удовольствием нащелкал на машинке, что я такой и сякой, что он будет в восторге, если «Космос» будет Прошианом открыт. Я к Прошиану — в Комиссариат Почт и Телеграфов. Секретарь Прошиана сейчас выложил мне всю свою биографию: я б[ывший] анархист, писал стихи в Буревестнике, а теперь у меня ревматизм и сердце больное. Относится к себе самому подобострастно. На почте все разнузданно. Ходят белобрысые девичьи горнично-кондукторского типа, щелкают каблукками и щебечут, поглядывая на себя в каждое оконное стекло (вместо зеркала). Никто не работает, кроме самого Прошиана. Прошиан добродушно-утрум: «Я третий день не мылся, не чесался». Улыбка у него армянская: грустно-замученная. «Зайдите завтра». Я ходил к нему с неделю без толку, наконец мне сказали, что дано распоряжение товарищу Цареву, коменданту Почт и Телеграфов, распечатать «Космос». Я туда. Там огромная очередь, к[а]к на конину. Комендант оказался матрос с голой шеей, вроде Шаляпина, с огромными кулачищами. Старые чиновники в вицмундирчиках, согнув спину, подносили ему какие-то бумаги для подписи, и он теми самыми руками, которые привыкли лишь к грот-бом-брам-стенгам, выводил свою фамилию. Ни Гоголю, ни Щедрину не снилось ничего подобного. У стола, за которым помещался этот детина, — огромная очередь. Он должен был выдать чиновникам какие-то особые бланки — о непривлечении их к общественным работам, — это было канительное и долго. Я сидел на диванчике, и вдруг меня осенило: «Товарищ Царев, едем сию минуту, вам будет знатная выпивка!» «А машинка есть?» — спросил он. Я вначале не понял. «Автомобиль», — пояснил он. «Нет, мы дадим вам на обратного извозчика». «Идем!» — сказал он, надел кацавейку и распечатал «Космос», ухаживая напропалую за нашими служанками — козыряя перед ними по-матросски.

Но о Луначарском: жена его, проходя в капоте через прихожую, говорит: Анатоль, Анатоль... «Вы к Анатолию?» — спрашивает она у членов всевозможных депутатий...

Июнь. 10 <...> Дня два назад у Анатолия Ф. Кони. Бодр. Глаза васильковые. Очень разговорился. Он рассказал, как его отец приучил его курить. Когда Кони б[ыл] маленьким мальчиком, отец взял с него слово, что он до 16 лет не будет ку-

рять. «Я дал слово и сдержал его. Ну, чуть мне наступило 16, отец подарил мне портсигар и все принадлежности. Ну не пропадать же портсигару! — и я пристрастил-ся». <...>

Бывая у Леонида Андреева, я неизменно страдал бессонницами: потому что Андреев спал (после обеда) всегда до 8 час. вечера, в 8 вставал и заводил разговор до 4—5 часов ночи. После такого разговора я не мог заснуть и, обыкновенно, к 10 час. сходил вниз — зеленый, несчастный. Там внизу копошились дети — (помню, как Савва на руках у няни тянется к медному гонгу) — на террасе чай, кофе, хлеб с маслом — мама Леонида Николаевна — милая, с хриплым голосом, с пробором посреди седой головы — Анастасья Николаевна. Она рассказывала мне про «Леонида» множество историй, я записал их, но не в дневник, а куда-то — и пропало. Помню, она рассказывала про своего мужа Николай Ивановича: «Силач был — первый на всю слободу. Когда мы только что повенчались, накинула я шаль, иду по мосту, а я была недуренькая, ко мне и пристали двое каких-то... в военном. Николай Иванович увидел это, подошел неспешно, взял одного за шиворот, перекинул через мост и держит над водою... Тот барахтается, Н. И. никакого внимания. А я стою и апельцины кушаю. Он знал, что я люблю бублики. Купит для меня целую сотню, наденет на шею — вязка чуть не до полу, — идет, и все говорят: вот как Н. Ив. любит свою жену! А то купит два-три воза игрушек — привезет в слободу (кажется, на немецкую улицу) и раздаст всем детям».

Андреев очень любил читать свои вещи Гржебину¹. «Но ведь Грж. ничего не понимает?» — говорили ему. «Очень хорошо понимает. Гастронмически. Брюхом. Когда Гржебину что нравится, он начинает нюхать воздух, как будто где пахнет бифштексом жареным. И гладит себя по животу...»

Андреев однажды увлекся лечением при помощи мороза. И вот помню — в валенках и в чесучовом пиджачке, с палкой шагает быстро-быстро по оврагам и сугробам, а мы за ним еле-еле, как на картине Серова за Петром Великим, — я, Гржебин, Копельман, Осип Дымов, а он идет и говорит заиндевевшими губами о великом значении мороза.

15 октября, вторник, 1918. Вчера повестка от Луначарского — прийти в три часа в Комиссариат Просвещения на совещание: взял Кольку и Лидку — айда! В Комиссариате — в той самой комнате, где заседали Кассо, Боголепов, гр. Д. Толстой², — сидят тов. Безсалько, тов. Кириллов (поэты Пролеткульта), Лунач. нет. Коля и Лида садятся с ними. Некий Оцуп³, тут же прочитавший мне плохие свои стихи о Марате и предложивший (очень дешево!) крупу. Ждем. Явился Лунач., и сейчас же к нему депутация профессоров — очень мямлящая. Лунач. с ними мягок и нежен. Они домямлялись до того, что их освободили от уплаты. от всего. Любопытно, как ехидствовали на их счет Пролеткультцы. По-хамски: «Эге, хлопчут о своей шкуре». «Смотри, тот закрывает форточку — боится гишпанской болезни». Они ходят по кабинету Луначарского, как по собственному, выпивают десятки стаканов чаю — с огромными кусками карамели, — вообще ведут себя вызывающе спокойно (в стиле Маяковского)... Добро бы они б[ыли] талантливы, но Колька подошел ко мне в ужасе: папа, если б ты знал, какие бездарные стихи у Кириллова! — я смутно вспомнил что-то Бальмонтовское. Отпустив профессоров, Лунач. пригласил всех нас к общему большому столу и сказал речь — очень остроумную и мило-легкомысленную. Он сказал, что тов. Горький должен был пожаловать на заседание, но произошло недоразумение, тов. Горький думал, что за ним пришлют автомобиль, и, прождав целый час зря, теперь уже занят и приехать не может. (Перед этим Лунач. при нас говорил с Горьким — заискивающе, но не очень.) Лунач. сказал, что тов. Горький обратил его внимание на ненормальность того обстоятельства, что в Москве издаются книги Полянским⁴, в Питере Ионовым⁵ — черт знает какие, без системы, и что все это надо объединить в одних руках — в Горьковских. Горький собрал группу писателей — он хочет образовать из них комитет. А то теперь до меня дошли глухие слухи, что тов. Лебедев-Полянский затеял издавать «несколько социальных романов». Я думал, что

это утопии, пять или шесть томов. Оказывается, под социальными романами тов. Лебедев-Полянский понимает романы Золя, Гюго, Теккерей — и вообще все романы. Тов. Ионов издает Жан Кристофа, в то время как все эти книги должен был бы издавать Горький в иностр. библиотеке. И не то жалко, что эти малокомпетентные люди тратят народные деньги на бездарных писак, — жалко, что они тратят бумагу, на к-рой можно было бы напечатать деньги. (Острота, очень оцененная Колей, который ел Л[уначарск]ого глазами.)

Говоря все эти вещи, Л. источал из себя какие-то лучи благодушия. Я чувствовал себя в атмосфере Пиквика. Он вообще мне в последнее время нравится больше — его невероятная рабо[то]способность, всегдашнее благодушие, сверхъестественная доброта, беспомощная, ангельски-кроткая, делают всякую насмешку над ним цинической и вульгарной. Над ним так же стыдно смеяться, как над больным или ребенком. Недавно только я почувствовал, какое у него большое сердце. Аминь. Больше смеяться над ним не буду.

Зин. Гиппиус написала мне милое письмо — приглашая придти — недели две назад. Пришел днем. Дмитрий Сергеевич — согнутый дугою, неискреннее участие во мне — и просьба: свести его с Лунач. Вот люди! Ругали меня на всех перекрестках за мой якобы большевизм, а сами только и ждут, как бы к большевизму примазаться. Не могу ли я достать им письмо к Лордкипанидзе? Не могу ли я достать им бумагу — охрану от уплотнения квартир? Не могу ли я устроить, чтобы правительством купило у него право на воспроизведение в кино его «Павла», «Александра» и т. д. Я устроил ему все, о чем он просил, потратив на это два дня. И уверен, что чуть только дело большевиков прогорит — Мережк. первые будут клеветать на меня.

Тов. Ионов: маленький, бездарный, молниеносный, как холера, крикливый, грубый.

[28] октября. Тихонов⁶ пригласил меня недели две назад редактировать английскую и америк. литературу для «Издательства Всемирной Литературы при Комиссариате Народного Просвещения», во главе которого стоит Горький. Вот уже две недели с утра до ночи я в вихре работы. Составление предварительного списка далось мне с колоссальным трудом. Но мне так весело думать, что я могу дать читателям хорошего Стивенсона, О'Генри, Сэмюэля Бетлера, Карлейла, что я работаю с утра до ночи — а иногда и ночи напролет. Самое мучительное — это заседания под председательством Горького. Я при нем глупею, робею, говорю не то, трудно повернуть шею в его сторону — и нравится мне он очень, хотя мне и кажется, что его манера наигранный. Он приезжает на заседания в черных лайковых перчатках, чисто выбритый, угрюмый, прибавляет при каждой фразе: «Я позволю себе сказать», «Я позволю себе предложить» и т. д. (Один раз его отозвали в другую комнату перекусить, он вынул после еды из кармана коробочку, из коробочки зубочистку — и возился с нею целый час.) Обсуждали вопрос о Гюго: сколько томов давать? Горький требует поменьше. «Я позволю себе предложить издать „Несчастных“... да, издать, не надо „Несчастных“» (он любит повторять одно и то же слово несколько раз, с разными оттенками, — эту черту я заметил у Шалапина и Андреева). Я спросил, почему он против «Несчастных», Горький заволновался и сказал:

— Теперь, когда за катушку ниток (вот такую катушку... маленькую...) в Самарской губернии дают два пуда муки... два пуда (он показал руками, как это много: два пуда) вот за такую маленькую катушку...

Он закашлялся, но и кашляя показывал руками, какая маленькая катушка.

— Не люблю Гюго.

Он не любит «Мизераблей» за проповедь терпения, смирения и т. д.

Я сказал:

— А «Труженики моря»?..

— Не люблю...

— Но ведь там проповедь энергии, человеческой победы над стихиями, это маржовая вещь...

(Я хотел поддеть его на его удочку.)

— Ну если так, — то хорошо. Вот вы и напишите предисловие. Если кто напишет такое предисловие — отлично будет.

Он заботится только о народной библиотеке. Та основная, к-рую мы затеваем параллельно, — к ней он равнодушен. Сведения его поразительны. Кроме нас участвуют в заседании: проф. Ф. Д. Батюшков (полный рамоли, пришибленный), проф.

Ф. А. Браун, поэт Гумилев (моя креатура), прив.-доц. А. Я. Левинсон — и Горький обнаруживает больше сведений, чем все они. Называют имя франц. второстепенного писателя, которого я никогда не слышал, профессора, как школьники, не влучившие урока, опускают глаза, а Горький говорит:

— У этого автора есть такие-то и такие-то вещи... Эта вещь слабоватая, а вот эта (тут он прос[и]живает) отличная... хробршая вещь...

Собрания происходят в помещении бывшей Конторы «Новая Жизнь» (Невский, 64). Прислуга новая, Горького не знает. Один мальчишка разогнался к Горькому:

— Где стаканы? Не видали вы, где тут стаканы? (Он принял Горького за слушателя.)

— Я этим делом не заведу.

Воскресение, 27 октября. Был у Эйхвальд — покупать англ. книги. Живут на Сергиевской, в богатой квартире — вдова и дочь знаменитого хирурга или вообще врача, — но бедность непокрытая. Даже картошки нету. Таковы, кажется, все обитатели Кирочной, Шпалерной, Сергиевской и всего этого района.

Оттуда к Мережковским.

Зинаида Николаевна раскрашенная, в парике, оглохшая от болезни, но милая. Сидит за самоваром — и в течение года ругает с утра до ночи большевиков, ничего, кроме самовара, не видя и не слыша. Сразу накинулась на Колю: «В зеленое кольцо!» Рассказывала о встрече с Блоком: «Я встретила с ним в трамвае: он вялый, сконфуженный.

— Вы подадите мне руку, З. Н.?

— К[а]к знакомому подам, но как Блоку нет.

Весь трамвай слышал. Думали, уж не возлюбленный ли он мой!»⁷

Ноябрь 12. Вчера Коля читал нам свой дневник. Очень хорошо. Стихи он пишет совсем недурные — дюжинами! Но какой невозможный: забывает потушить электричество, треплет книги, портит, теряет вещи.

Вчера заседание — с Горьким. Горький рассказывал мне, какое он напишет предисловие к нашему конспекту, — и вдруг потушился, заулыбался вкось, заиграл пальцами.

— Я скажу, что вот, мол, только при Рабоче-Крестьянском Правительстве возможны такие великолепные издания. Надо же задобрить. Да, задобрить. Чтобы, понимаете, не придирались. А то ведь они, черти, — интриганы. Нужно, понимаете ли, задобрить...

На заседании была у меня жаркая схватка с Гумилевым. Этот даровитый ремесленник вздумал составлять *Правила для Переводчиков*. По-моему, таких правил нет. Какие в литературе правила — один переводчик сочиняет, и выходит отлично, а другой и ритм дает и все — а нет, не шевелит. Какие же правила? А он — рассердился и стал кричать. Впрочем, он занятый, и я его люблю,

Как по-стариковски напивает Горький свои серебряные простоватые очки, когда ему надо что-нибудь прочитать. Он получает кучу писем и брошюр (даже теперь — из Америки) и быстро просматривает их с ухватками хозяина москательной лавки, истово перебирающего счета.

Коля, может быть, и не поэт, но он — сама поэзия!

22 ноября. Заседания нашей «Всемирной Литературы» идут полным ходом. Я сижу рядом с Горьким. Он ко мне благоволит. Вчера рассказал анекдот: еду я, понимаете, на извозчике — трамваи стали, — извозчик клячу кнутом. «Н-но, большевичка проклятая! все равно скоро упадешь». А мимо, понимаете ли, забранные, арестованные под конвоем идут. (И он показывает пальцами — пальцы у него при рассказе всегда в движении.) Вчера я впервые видел на глазах у Горького его знаменитые слезы. Он стал рассказывать мне о предисловиях к книгам «Всемирной Литературы» — вот сколько икон люди создали, и каких великих — черт возьми (и посмотрел вверх, будто на небо — и глаза у него стали мокрыми, и он, разжигая в себе экстаз и умиление), дураки, они и сами не знают, какие они превосходные, и все, даже негры... у всех одни и те же божества — есть... есть... Я видел, был в Америке.. видел Букера Вашингтона... да, да, да...

Меня это как-то не загло; это в нем волжское, сектантское; тут есть что-то отвлеченное. догматическое. Я говорил ему, что мне приятнее писать о писателе не sub

спресе * человечества, не как о деятеле планетарного искусства, а как о самом по себе, стоящем вне школ, направлений — как о единственной, не повторяющейся в мире душе, — не о том, чем он похож на других, а о том, чем он не похож. Но Горький теперь весь — в «коллективной работе людей». <...>

23 ноября. Был с Бобой во «Всемир. Лит.». Мы с Бобой по дороге считаем людей: он мужчин, я женщин. Это очень увлекает его, он не замечает дороги. Женщин гораздо меньше. За каждого лишнего мужчину я плачу ему по копейке.

Во «Всемир. Лит.» видел Сологуба. Он фыркает. Зовет это учреждение «ВсеЛит», т. е. вселить пролетариев в квартиру, и говорит, что это грабировка. Там же был Блок. Он служит в Комиссариате просвещения по Театральной части. Жалуется, что нет времени не только для стихов, но даже для снов порядочных. Все снится служба, телефоны, казенные бумаги и т. д. «Придет Гнедич и расскажет анекдот. Потом придет другой и расскажет анекдот наоборот. Вот и день прошел». Гумилев отозвал меня в сторону и по секрету сообщил мне, что Горький обо мне «хорошо отзывался». В Гумилеве много гимназического, милого.

Третьего дня я написал о Райдере Хаггарде. Вчера о Твэне. Сегодня об Уайльде. Фабрика! ⁸

24 ноября. Вчера во «ВсеЛите» должны были собраться переводчики и Гумилев должен был прочитать им свою Декларацию ⁹. Но вчера б[ыло] воскресенье, «ВсеЛит» заперт, переводчики столпились на лестнице, и решено было всем гурьбой ехать к Горькому. Все в трамвай! Гумилев прочел им программу максимум и минимум — великодушную, но неисполнимую, — и потом выступил Горький.

Скужив физиономию в застенчиво-умиленно-восторженную гримасу (которая при желании всегда к его услугам), он стал просить-умолять переводчиков перевести честно и талантливо. «Потому что мы держим экзамен... да, да, экзамен... Наша программа будет послана в Италию, во Францию знаменитым писателям, в журналы — и надо, чтобы все было хорошо...** Именно потому, что теперь эпоха разрушения, развала, мы должны созидать... Я именно потому и взял это дело в свои руки, хотя, конечно, с моей стороны не будет рисовкой, если я скажу, что я знаю его меньше, чем каждый из вас...» Все это очень мне не понравилось — почему-то. Может быть, потому, что я увидел, как по заказу он вызывает в себе умиление. Переводчики тоже не растрогались. Горький ушел. Она загадели.

У меня Ив. Пуни ¹⁰ с женой и Замятин. Был сегодня у меня Потапенко. Я поручаю ему Вальтер Скотта.

4 декабря. Я запутываюсь. Нужно хорошенько обдумать положение вещей. Дело в том, что я сейчас нахожусь в самом удобном денежном положении: у меня есть денег на три месяца жизни вперед. Еще никогда я не был так обеспечен. Теперь, казалось бы, надо было бы посвятить все силы Некрасову, и вообще писательству, а я гублю день за днем, тратя себя на редактирование иностранных писателей, чтобы выработать еще денег. Это — нелепость, о которой я потом пожалею. Даю себе торжественное слово, что чуть я сдам срочные работы — предисловие к «Tale of two Cities», предисловие к «Саломее», доклад о принципах прозаич. перевода и введение в историю англ. литературы ¹¹ — взяться вплотную за русскую литературу, за наибольшую меру доступного мне творчества.

Мне нужно обратиться к доктору по поводу моих болезней, купить себе калоши и шапку — и вплотную взяться за Некрасова.

Вот уже 1919 год

5 января, воскр. Хочу записать две вещи. Первая: в эту пятницу у нас было во «Всемирной Лит.» заседание, — без Тихонова. Все вели себя, как школьники без учителя. Горький вольнее всех. Сидел — и вдруг засмеялся. «Прошу прощения... ради Бога извините... господа... (и опять засмеялся)... я ни об ком из вас... это не имеет никакого отношения... Просто Федор Шаляпин вчера вечером рассказал анекдот... ха-ха-ха... Так я весь день смеюсь... Ночью вспомнил и ночью смеялся... Как одна дама в обществе вдруг вежливо сказала: извините, пожалуйста, не сердит-

* С точки зрения (лат.).

** Хотя как знаменитые писатели Франции и Англии узнают, хороши ли переводы или плохи, это тайна Горького. (Прим. автора.)

тесь... я сейчас заржу.. и заржала, а за нею другие... Кто гневно, кто робко... Удивительно это у Шалаяпина, черт его возьми, вышло...»

Так велось все заседание. Бросили дела и стали рассказывать анекдоты.

Это раз. А второе — о Луначарском. <...>

Сейчас ездил с Лунач. на военный транспорт на Неву, он говорил речь пленным — о социализме, о том, что Горький теперь с ними, что победы Красной армии огромны; те утрюмо слушали, и нельзя было понять, что они думают. Корабль весь обтянут красным, даже электрич. лампочки на нем — красные, но все грязно, всюду кишат грудастые девицы, лица тупые, равнодушные.

Лунач. рассказал мне, что Ленин прислал в Комис. Внутр. Дел такую депешу: «С Новым Годом! Желаю, чтобы в Новом Году делали меньше глупостей, чем в прошлом».

12 января. Воскресение. Читал в О-ве профессион. переводчиков доклад «Принципы художественного перевода». Сологуб председательствовал. Камин, Боба. М. Б. Самовар. Чай — по рублю стакан. Евг. Ив. Замятин. <...>

У Горького был в четверг. Он ел яичницу — не хотите ли? Стакан молока? Хлеба с маслом. Множество шкафов с книгами стоят не плашмя к стене, а боком... На шкафах — вазы голубые, редкие. Маска Пушкина, стилизованный (гнусный) портрет Ницше — чуть ли не поляка Стыка, — сам Горький — весь доброта, деликатность, желание помочь. Я говорил ему о бессонницах, он вынул визитную карточку и тут же, не прекращая беседы, написал рекомендацию к Манухину¹. «Я позволю ему по телефону, вот». <...>

Горький хлопотал об Изгоеве², чтобы Изгоева вернули из ссылки. Теперь хлопочет о сыне К. Иванова — Александре Константиновиче, прапорщике.

20 января. Читаю Бобе былины. Ему очень нравятся. Особенно ему по душе строчка «Уж я Киев-град во полон возьму». Он воспринял ее так: «Уж я Киев-град в «Аполлон» возьму». «Аполлон» — редакция журнала, куда я брал его много раз. Сегодня я с Лозинским ходили по скользким улицам.

Был сейчас у Елены Мих. Юст, той самой Е. М., которой Чехов писал столько писем. Это раскрашенная, слезливая, льстивая дама, — очень жалкая. Я дал ей пере-вести Thurston'a «City of Beautiful Nonsense»*. Она разжалобила меня своими слезами и причитаниями. Я дал ей 250 р. — взаймы. Встретясь со мной вновь, она прошептала: вы так любите Чехова, он моя первая любовь — ах, ах, — я дам вам его письма, у меня есть ненапечатанные, и портрет, приходите ко мне. Я сдуру пошел на Коломенскую, 7, кв. 21. И о ужас — пошлейшая, раззолоченная трактирная мебель, безвкуснейшие, подлые олеографии, зеркала, у нее расслабленно градамистый тон — «ах, голубчик, не знаю, куда дела ключи!», — словом, никакого Чехова я не видал, а было все античеховское. Я сорвался с места и сейчас же ушел. Она врала мне про нищету, а у самой бриллианты, горничная и пр. Какие ужасные статуэтки — гипсовые. Все — фальшь, ложь, вздор, пошлость. Лепетала какую-то сплетню о Тэффи. <...>

13 февраля. Вчера было заседание редакц. коллегии «Союза Деятелей Худож. Слова». На Вас. Остр. в 2 часа собрались Кони, Гумилев, Слэзкин, Нем[ирович]-Данченко, Эйзен, Евг. Замятин и я³. Впечатление гнусное. Обрато трамваем с Кони и Нем.-Данч. Кони забыл, что уже четыре раза рассказывал мне содержание своих лекций об этике, — и рассказал опять с теми же интонациями, той же вибрацией голоса и т. д. Он — против врачебной тайны. Представьте себе, что вы отец, и у вас есть дочь — вся ваша отрада, и сватается к ней молодой человек, вы идете к доктору и говорите: «Я знаю, что к моей дочери скоро посватается такой-то, мне также известно, что он ходит к вам. Скажите, пожалуйста, от какой болезни вы его лечите. Хорошо, если от экземы. Экзема незаразительна. Но что, если от вторичного сифилиса?!» А доктор отвечает: «Извините, это врачебная тайна». Или, например... И он в хорошо отработанных фразах буква в букву повторял старое. Он на двух палочках, идет скрытый. Когда мы сели в трамвай, он со смехом рассказал, как впервые лет пятнадцать [назад] его назвали старичком. Он остановился за нуждой перед домом Стасюлевича, а городской ему говорил: «Шел бы ты, старичок, в ворота. Тут неудобно!»

* «Город прекрасной чепухи» (англ.).

А недавно двое красноармейцев (веселые) сказали ему: «Ах ты дедушка. Ползешь на четырех! Ну ползи, ползи, бог с тобой!»

22 или 24 февраля 1919. У Горького. Я совершил безумный поступок и нажил себе вечного врага. По поручению коллегин Деятелей Художеств. Слова я взялся прочитать «Год» Муйжеля, который состоит председателем этой коллегии, и сказать о нем мнение. «Год» оказался нудной канителью, я так и написал в моем довольно длинном отчете — и имел мужество прочитать это вслух Муйжелю в присутствии Гумилера, Горького, Замятина, Слэзкина, Эйзена. Во время этой экзекуции у Муйжеля было выражение сложное, но преобладала темная и тусклая злоба. Муйжель говорит столь же скучно, как пишет: «виндите», «виндите». А какие длинные он пишет письма!

Мы в коллегию «Деятелей Худож. Сл.» избрали Мережковского, по моему настоянию. Тут-то и начались мои муки. Ежеминутно звонит по телефону: «Нужно ли мне баллотироваться?» Вчера мы решили вместе идти к Горькому. Он зашел ко мне. Сколько градусов? Не холодно ли? Ходят ли трамваи? Что надеть? И т. д. и т. д. Идти или не идти? В конце концов мы пошли. Он, как старая баба, забежал во все лавочки, нет ли дешевого кофею, в конце концов сел у Летнего сада на какие-то доски — и заявил, что дальше не идет.

5 марта 1919. Вчера у меня было небывалое собрание знаменитых писателей: М. Горький, А. Куприн, Д. С. Мережковский, В. Муйжель, А. Блок, Слэзкин, Гумилев и Эйзен. Это нужно описать подробно. У меня болит нога. Поэтому решено устроить заседание у меня — заседание Деятелей Худож. Слова. Раньше всех пришел Куприн. Он с некоторых пор усвоил себе привычки учтивейшего из маркизов. Смотрит в глаза предупредительно, извиняется, целует дамам ручки и т. д. Он пришел со свертком рукописей, — без галстука, в линялой русской грязно-лиловой рубашке, с исхудалым, но не таким остекленелым лицом, как года два назад, и сел играть с нами в «пять в ряд» — игра, которой мы теперь увлекаемся. Побил я его два раза, — входит Горький. «Я у вас тут звонок оторвал, а дверь открыта». У Горького есть два выражения на лице: либо умиление и ласка, либо угрюмая отчужденность. Начинает он большей частью с угрюмого. Куприн кинулся к нему, любовно и кротко: «Ну как здоровье, А. М.? Все после Москвы поправляетесь?» «Да, если бы не Манухин, я подох бы. Опять надо освещаться, да все времени нет. Сейчас я из Главбума — потеха! Вот официальный документ — (пошел и вынул из кармана пальто) — черти! (и читает), что бумаги нет никакой, что «из 70.000 пудов 140.000 нужно Комиссариату» и т. д.) Безграмотные ослы, даже сосчитать не умеют. На днях едем мы с Шалапиным на Кронверкский — видим, солдаты везут орудия. — Куда? — Да на Финский вокзал. — А что там? — Да сражение. С восторгом: Бьют, колют, колотят... здорово! — Кого колотят? — Да нас! Шалапин всю дорогу смеялся».

Тут пришел Блок. За ним Муйжель. За Муйжелем Слэзкин и т. д. Интересна была встреча Блока с Мережковским. Мережковские объявили Блоку бойкот, у них всю зиму только и было разговоров, что «долой Блока», он звонил мне: как же я встречусь с Блоком! — и вот встретились и оказались даже рядом. Блок молчалив, медлителен, а Мережковский... С утра он тормошил меня по телефону:

— Корней Ив., вы не знаете, что делать, если у теленка собачий хвост?

— А что?

— Купили мы телятину, а кухарка говорит, что это собачина. Мы отказались, а Грж<ебин> кушил. И т. д.

Он ведет себя демонстративно-обывательски. Уходя, взволновался, что у него украли калоши, и даже присел от волнения. «Что будет? Что будет? У меня 20.000 рублей ушло в этот месяц, а у вас? Ах, ах...»

Я читал доклад о «Старике» Горького и зря пустился в философию. Доклад глуповат. Горький сказал: «Не люблю я русских старичков». Мережк.: «То есть каких старичков?» «Да всяких... вот таких» (и он великолепно построил стариковскую рожу). Куприн: «Вы молодцом... Вот мне 49 лет». Горьк.: «Вы передо мной мальчишка и щенок: мне пятьдесят!» Куприн: «И смотрите: ни одного седого волоса!»

Вообще заседание ведется раскидисто. Куприн стал вдруг рассказывать, как у него делали обыск. «Я сегодня не мог приехать в Петербург. Нужно разрешение, стой два часа в очереди. Вдруг вижу солдата, к-рый у меня обыск делал. Говорю: «Голубчик, ведь вы меня знаете... Вы у меня в гостях были!» «Да, да!» (И миг добыл мне разрешение)...»

Куприн сделал доклад об Айзманае⁴, неторопливо, матово, солидно, хорошо. Ругают большевиков все — особенно большевик Горький. Черти! бюрократы! Чтобы добиться чего-нб., нужно пятьдесят неграмотных подписей... Шкловскому (который преподает в школе шоферов) понадобились для учебных целей поломанные автомобильные части, — он обратился в Комиссариат. Целый день ходил от стола к столу — понадобилась тысяча бумаг, удостоверений, прошений, — а автомобильных частей он так и не достал.

— Приехал ко мне американец, К. И., — говорит Горький, — я направил его к вам. Высокий, с переводчицей. И так застенчиво говорит: у вас еще будет крестьянский террор. Непременно будет. Извините, но будет. И это факт!

Гумилев с Блоком стали ворковать. Они оба поэты — ведают у нас стихи. Блок Гумилеву любезности, Гумилев Блоку: «Вкусы у нас одинаковые, но темпераменты разные». (Были еще — я забыл — Евг. Ив. Замятин в зеленом английск. костюмчике — и Шишков, автор «Тайги».)

Боба был привратником. Лида, чтобы добыть ноты, чуть не прорыла подземный ход. Аннушка смотрела в щелку: каков Горький.

Сегодня была М. И. Бенкендорф⁵. Она приведет ко мне этого американца.

Мы долго решали вопрос, что делать с Сологубом. Союз Деятелей Художественного Слова хотел купить у него «Мелкого Беса». Сологуб отказался. А сам подал тайком Луначарскому бумагу, что следовало бы издать 27 томов «Полного Собрания Сочинений Сологуба».

— Так как, — говорит Горький, — Лунач. считает меня уж не знаю чем. он послал мне Сологубово прошение для резолюции. Я и заявил, что теперь нет бумаги, издавать полные собрания сочинений нельзя. Сологуб, очевидно, ужасно на меня обиделся, а я нисколько не виноват. Издавать полные собрания сочинений нельзя. У Сологуба следовало бы купить «Мелкий Бес», «Заклинат. змей» и «Стихи».

— Нет, — говорит Мережк., — «Заклинательницу» издавать не следует. Она написана не без Анастасии.

И все стали бранить Анастасию (Чеботаревск.), испортившую жизнь и творчество Сологуба.

10 марта 1919. <...> Я все еще болен. Был у меня Гумилев вчера. Говорили о Горьком. «Помяните мое слово, Горький пойдет в монахи. В нем есть религиозный дух. Он так говорил о литературе, что я подумал: ого!» (Это мнение Гумилева выразило то, что думал и я.) Потом Гумилев рассказал, что к 7 час. он должен ехать на В. О. чествовать ужином Муйжеля. С персоны — 200 рублей, но можно привести с собою даму. Гумилев истратил 200 рублей, но дамы у него нет. Требуется голодный женский желудок! Стали мы по телефону искать дам — и наконец нашёл некую совершенно неизвестную Гумилеву девицу, которую Гумилев и взялся отвезти на извозчике (50—60 р.) на В. О., накормить ужином и доставить на извозчике обратно (50—60 р.). И все за то, что она дама!

Очень мало в городе керосину. Почти нет меду. Должно быть, потому Кооператив Журналистов выдает нам мед с примесью керосина. Была вечером М. В. Ватсон⁶. <...>

12 марта. Вчера во Всемирной Лит. заседание. Впервые присутствовал Блок, не произнесший ни единого слова. У меня все еще болит нога, Маша довезла меня на извозчике. Когда я вошел, Горький поднялся ко мне навстречу, пожал обеими руками руку, спросил о здоровье. Потом сел. Потом опять подошел ко мне и дал мне «Чукоккалу». Потом опять сел. Потом опять встал, отвел меня к печке и стал убеждать лечиться у Манухина. <...> В Чукоккалу он написал мне отличные строки, которые меня страшно обрадовали, — не рассуждения, а краски и образы. Заседание кончилось очень скоро. Тихонов пригласил меня к себе — меня и Гумилева — посмотреть Джорджоне и персидские миниатюры.

Сегодня я весь день писал. К вечеру взял Бобу и Колю — и мы пошли пройтись. Погода великолепная: каплет. Пошли по Надеждинской — к Кони. По дороге я рассказывал Коле план своей работы о Некрасове. Он, слава Богу, одобрил. Кони, кажется, дремал, когда мы пришли. Он в халатике, скрюченный. Засуетился: дать Бобе угощение. Я отговорил. Мы сели и заговорили о «Всем. Литературе». Он сказал, что рекомендует для издания книгу Кокне «Истинное Богатство», — и тут же подробно рассказал ее содержание. Мастерство рассказа и отличная память произвели впечатление

на Бобу и на Колю. Когда мы вышли, Коля сказал: как жаль, что такой человек, как Кони, должен скоро умереть. Ах, какой человек! Нам, после революции, уже таких людей не видать!

Кони показывал нам стихи, которые ему посвятил один молодой человек по случаю его 75-летия. Оказывается, на днях ему исполнилось 75 лет, институт «Живого Слова» поднес ему адрес и хлеб-соль, а студенты другого университета поднесли ему адрес и крендель, и он показывал и читал мне (и меня просил читать) особенно трогательные места из этих адресов. Потом поведал мне под строжайшим секретом то, что я знал и раньше: что к нему заезжал Луначарский, долго беседовал с ним и просил взять на себя пост заведующего публичными лекциями. Читал мне Кони список тех лиц, коих он намеревается привлечь, — не блестяще, не деловито. Включены какие-то второстепенности — в том числе и я, — а такие люди, как Бенуа, Мережковский, забыты. <...>

14 [марта]. Я и не подозревал, что Горький такой ребенок. Вчера во Всемирной Литературе (Невск., 64) было заседание нашего Союза. Собрались: Мережковский, Блок, Куприн, Гумилев и др., но, в сущности, никакого заседания не было, ибо Горький председательствовал и потому при первом удобном случае отвлекался от интересующих нас тем и переходил к темам, интересующим его. Мережковский заявил, что он хочет поскорее получить свои деньги за «Александра», т. к. он собирается уехать в Финляндию. Горький говорит:

— Если бы у нас не было бы деловое собрание, я сказал бы: не советую ездить, и вот почему... — Следует длинный перечень причин, по которым не следует ездить в Финляндию: там теперь называют две революции — одна монархическая, другая большевистская. Тех россиян, которые не монархисты, поселяют в деревнях — в каждой деревне не больше пяти человек и т. д.

Кстати, о положении в Финляндии. Вчера приехал ко мне оттуда один белогвардеец, «деловик», говорит: у них положение отчаянное: они наготовили лесу, бумаги, плугов, а Антанта говорит: не желаю покупать, мне из Канады доставят эти товары дешевле! Прогадали финны. Многие торговцы становятся русофилами: Россия наш естественный рынок... А Леонид Андреев воззвание к «Антанте» написал — манифест: вы, мол, победили благодаря нам. Никакого впечатления. А Арабажин⁷ в своей газете... — И т. д. и т. д.

— Да ведь мы здесь с голоду околеем! — говорит Мережковский.

— Отчего же! Вот Владимир Ильич (Ленин) вчера говорил мне, что из Симбирска...

Так прошло почти все заседание... В этой недисциплинированности мышления Горький напоминает Репина. И. Е. вел себя точь-в-точь так.

Только когда Г. ушла, Блок прочел свои три рецензии о поэзии Цензора, Георгия Иванова и Долинова⁸. Рецензии глубокие, с большими перспективами, меткие, чудесно написанные. Как жаль, что Блок так редко пишет об искусстве.

17 марта. Был вчера с Лидочкой у Гржебина. Лида мне читает по вечерам, чтобы я уснул, — иногда 3, иногда 4 часа — кроме того занимается английским и музыкой — и вот я хотел ее покатаать на извозчике, чтобы она отдохнула. Душевный тон у нее (пока!) очень благородный, быть в ее обществе очень приятно. У Гржебина (на Потемкинской, 7) поразительное великолешие. Вазы, зеркала, Левитан, Репин, старинные мастера, диваны, которым нет цены и т. д. Откуда все это у того самого Гржебина, коего я помню сионистом без гроша за душою, а потом художником, попавшим в тюрьму за рисунок в «Жупеле» (рисунок изображал Николая II-го с оголенной задницей). Толкуют о его внезапном богатстве разное, но, во всяком случае, он умеет по-настоящему пользоваться этим богатством. Вокруг него кормится целая куча народу: сестра жены, ее сынок (чудный стройный мальчик), мать жены (Ольга Иванова), еще одна сестра жены, какой-то юноша, какая-то седовласая дама и т. д. <...> Новенький детеныш Гржебина (четвертый) мил, черноглаз, все девочки, Капа, Ляля, Буба нежно за ним ухаживают. А какое воспитание дает он этим трем удивительным девочкам! К ним ездит художник Попов, зять Бенуа, и учит их рисовать, я видел рисунки — сверхъестественные. Вообще вкус у этого толстяка — тонкий, нюх — безошибочный, а энергия — как у маньяка. Это его великая сила. Сколько я помню его, он всегда влюблялся в какую-нб. одну идею — и отдавал ей всего себя, только о ней и говорил, видел ее во сне. Теперь он весь охвачен планами издательскими. Он купил сочинения Мережк., Розанова, Гиппиус, Ремизова, Гумилева, Кузмина и т. д. — и ни минуты не говорил со мной ни

о чём ином, а только о них. Как вы думаете: купить Иннок. Анненского? Как назвать издательство? И т. д. Я помню, что точно так же он пламенел идеей о картинах для школ, а потом — и о заселении и застроении острова Голодая, а потом о создании журнала «Отечество», а потом — о создании детских сборников и т. д. Когда видишь этот энтузиазм, то невольно желаешь человеку успеха.

Вернулся домой — у меня был с визитом Кони. Он принес Бобочке книжку — Клавдии Лукашевич.

18 марта. У Гринберга⁹ — в Комиссариате Просвещения. Гр. — черноволосый, очень картавящий виленский еврей — деятельный, благодушный, лет тридцати пяти. У него у дверей — рыжий человек¹, большевик, церковный сторож:

«Я против начальства большевик, а против Бога я не большевик». Так как я всегда хлопочу о разных людях, Гр. говорит: «А где же ваши протезы?» Я говорю: «Сейчас» и ввожу к нему Бенкендорф. «Хорошо! Отлично! Будет сделано!» — говорит Гринберг, и других слов я никогда не слышал от него. Я стал просить о Кони — «Да, да, я распорядился, чтобы академику Кони дали лошадак! Ему будет лошадак непременно!».

24 марта. Лидкино рождение. Она готовилась к этому дню две недели и заразила всех нас. Ей сказали, что она родилась только в 11 часов дня. «Я побегу в гимназию, и когда Женя мне скажет, что без пяти одиннадцать, начну рожгаться». Колька сочинил оду. Боба — чашку. Я — Всеволода Соловьева. Мама — часы. Будет белый крендель из последней муки.

26 марта 1919 г. Вчера на заседании «Всемирной Литературы» Блок читал о переводах Гейне¹⁰, которого он редактирует. Он был прекрасен — словно гравюра какого-то германского поэта. Лицо спокойно-мудрое. Читал о том, что Гейне был антигуманист, что теперь, когда гуманистическая цивилизация XIX века кончилась, когда коллокол антигуманизма слышен звучнее всего, Гейне будет понят по-новому. Читал о том, что либерализм пытался сделать Гейне своим, и Аполлон Григорьев, замученный либерализмом, и т. д.

Горький очень волновался, барабанил своими большими пальцами по нашему черному столу, курил, не докуривал одну папиросу, брал другую, ставил окурки в виде колонн стойми на столе, отрывал от бумаги ленту — и быстро делал из нее петушков (обычное его занятие во время волнения: в день он изготавливает не меньше десятка таких петушков), и чуть Блок кончил, сказал:

— Я человек бытовой — и, конечно, мы с вами (с Блоком) люди разные — и вы удивитесь тому, что я скажу, но мне тоже кажется, что гуманизм — именно гуманизм (в христианском смысле) должен полететь ко всем чертям. Я чувствую, я... недавно был на съезде деревенской бедноты — десять тысяч морд — деревня и город должны непременно столкнуться, деревня питает животную ненависть к городу, мы будем как на острове, люди науки будут осажены, здесь даже не борьба — дело глубже... здесь как бы две расы... гуманистическим идеям надо заостриться до последней крайности — гуманистам надо стать мучениками, стать хриstopодобными — и это будет, будет... Я чувствую в словах Ал. Ал. (Блока) много пророческого... Нужно только слово гуманизм заменить словом: нигилизм¹¹.

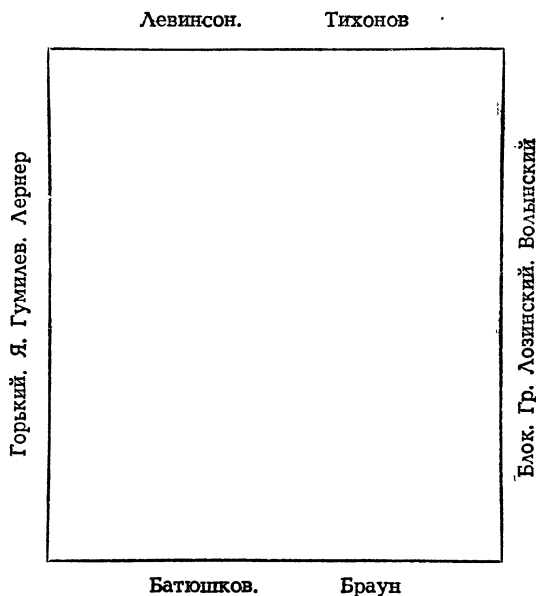
Странно, что Горький не почувствовал, что Блок *против гуманизма*, что он с теми, звероподобными; причисляет к ним и Гейне; что его вражда против либерализма, главный представитель коего — Горький. Изумительно, как овладевает Горьким какая-нибудь одна идея! Теперь о чем бы он ни заговорил, он все сводит к розни деревни и города: у нас было заседание по вопросу о детском журнале — он говорил о городе и деревне, было заседание по поводу журнала для провинции — и там: проклинайте деревню, славьте город и т. д.

Теперь он пригласил меня читать лекции во Дворец Труда; я спросил его, о чем будет читать он. Он сказал: о русском мужике. «Ну и достанется же мужику!» — сказал я. «Не без того, — ответил он. — Я затем и читаю, чтобы наложить ему как следует. Ничего не поделаешь. Наш враг... Наш враг...»

Вольнский¹² на заседании, как Степан Троф. Верховенский, защищал принципы и Венеру Милосскую... Говорил молниеносно. Приятно было видеть, что этот человек <...> может так разгораться и вставать на защиту святого.

— Это близорукость, а не пророчество! — кричал он Горькому. — Гуманизм есть явление космическое и иссякнуть не может, Есть вечный запас неизрасходованных гуманистических идей...

Вот схема нашего заседания:



30 марта. Чествование Горького в *Всемирной Литературе*. Я взял Бобу, Лиду, Колю, и айда! По дороге я рассказывал им о Горьком — вдруг смотрим, едет он в сероватой шапке — он снял эту шапку и долго ею махал. Потом он сказал мне: «Вы ужасно смешно шагаете с детьми и... хорошо... Как журавль». Говорились ему пошлости. Особенно отличилась типография: «вы — авангард революции и нашей типографии»... «вы поэт униженных и оскорбленных». Особенно ужасна была речь Ф. Д. Батюшкова. Тот напел: «гуманист, гуманный человек, поэт человека» — и в конце сказал: еще недавно даже в загадочном старце вы открыли душу живую (намекая на пьесу Горького «Старик»). Горький встал и ответил не по-юбилейному, а просто и очень хорошо. «Конечно, вы преувеличиваете... Но вот что я хочу сказать: в России так повелось, что человек с двадцати лет проповедует, а думать начинает в сорок или этак в тридцать пять. (Т. е. что теперь он не написал бы ни «Челкаша», ни «Сокола».) Что делать, но это так! Это так! Это так. Я вообще не каюсь... ни о чем не жалею, но кому нужно понять то, что я говорю, тот поймет... А Федору Дмитриевичу я хочу сказать, что он ошибся... Я старца и не думал одобрять. Я старичков ненавижу... он подобен тому дрянному Луке (из пьесы «На дне») и другому в Матвее Кожемякине, которому говорили: есть Бог, а он: «Есть, отстаньте». Ему говорили: нет Бога? — «Нет, отстань». Ему ни до чего нет дела, а есть дело только до себя, до своей маленькой мести, которая часто бывает очень большой. Вот» — и он развел руками. Во время фотографирования он сел с Бобой и Лидой и все время с ними разговаривал — Бобе говорил: «Когда тебе будет 50 лет, не празднуй ты юбилеев, скажи, что тебе 51 год или 52 года, а все печения сам съешь».

Тихоновы постарались: много устроили печений, на дивном масле, в бокалах подавали чай. Горький сидел между Любовью Абрамовной и Варварой Васильевной¹⁸. Речь Блока была кратка и маловразумительна, но мне понравилась. Был Амфитеатров. <...>

1 апреля, т. е. 19 марта, т. е. мое рождение. Почти совсем не спал и сейчас чувствую, какое у меня истрепанное и зеленое лицо. <...>

Вчера я случайно пошел в нижнюю квартиру и увидел там готовимые мне в подарок М. Б. — книжные полки. Теперь сижу и волнуюсь: что подарят мне дети. Я думал, что страшно быть 37-летним мужчиной, — а это ничего. Вот пришла Аннушка и принесла дров: будет топить. Вчера с Мережж-им у меня б[ыл] длинный разговор. Началось с того, что Гумилев сказал Мережжковскому: у вас там в романе¹⁴ Бестужев — штабс-капитан.— Да, да.— Но ведь Бестужев б[ыл] кавалерист, и штабс-капитанов в кавалерии нету. Он был штаб-ротмистр.— Мережжковский смутился. Я подсел к нему и спросил: почему у вас Голицын цитирует Бальмонта: «Мир должен быть оправдан весь, чтоб можно было жить»? Разве это Бальмонт? — Ну да.— Потом я похвалил кон-

струкцию романа, которая гораздо отчетливее и целомудреннее, чем в других вещах Мережковского, и сказал: это, должно быть, оттого, что вы писали роман против самодержавия, а потом самодерж. рухнуло — и вот вы вычеркнули всю философско-религиозную отсебятину. Он сказал: да, да! — и прибавил: а в последних главах я даже намекнул, что народовластие тоже — дьявольщина. Я писал роман об одном — оказалось другое — и (он рассмеялся невинно) пришлось писать наоборот... В эту минуту входят Боба и Лида — блаженно веселые. «Закрой глаза. Сморщи нос. Положи указательный палец левой руки на указ. палец! правой руки — вот! Часы! У меня наконец-то часы». Они счастливы — убегают. Приходит М. Б., дарит мне сургуч, бумагу, четыре пера, карандаши — предметы ныне недостижимые. От Слонимского баночка патоки с трогательнейшей надписью.

2 апреля. Не сплю опять. Вчера Горький, приблизив ко мне синие свои глаза, стал рассказывать мне на заседании шепотом, что вчера по случаю дня его 50-летия ему прислал из тюрьмы один заключенный прошение. Прощение написано фиолетовым карандашом, очевидно, обслуживаемым снова и снова: дорогой писатель, не будет ли какой амнистии по случаю вашего тезоименитства. Я сижу в тюрьме за убийство жены, убил ее на пятый день после свадьбы, так как оказался бессилён, не мог лишить ее девственности, — нельзя ли устроить амнистию.

Вчера Г. был простуженный, хмурый, больной. Устал тащиться с тяжелым портфелем. Принес (как всегда) кучу чужих рукописей — исправленных до неузнаваемости. Когда он успевает делать эту гигантскую работу, зачем он ее делает, непостижимо! Я показал ему лодочку, которую он незаметно для себя сделал из бумаги. Он сказал: «Это все, что осталось от воляжского флота» — и зашелтал: «А они опять арестовывают... Вчера арестовали Филипченко и др.». О большевиках он всегда говорит: они! Ни разу не сказал — мы. Всегда говорит о них как о врагах. <...>

18 апреля. Пятница. Ночь. Не сплю вторую ночь. Только что переехал на новую квартиру — гнусно: светло, окна большие, — то-то взвою, когда начнутся белые ночи.

Решил записывать о Горьком. Я был у него на прошлой неделе два дня подряд — часов по пяти, и он рассказывал мне многое о себе. Ничего подобного в жизни своей я не слышал. Это в десять раз талантливее его писания. Я слушал зачарованный. Вот «музыкальный» всепонимающий талант. Мне было особенно странно после его сектантских, наивных статей о Толстом выслушать его сложные, многообразно окрашенные воспоминания о Льве Николаевиче. Как будто совсем другой Горький.

— Я был молодой человек, только что написал Вареньку Олесову и «Двадцать шесть и одну», пришел к нему, а он меня спрашивает такими простыми мужицкими словами: <...> где и как (не на мешках ли) лишил невинности девушку герой рассказа «Двадцать шесть и одна»? Я тогда был молод, не понимал, к чему это, и, помню, рассердился, а теперь вижу: именно об этом и надо было спрашивать. О женщинах Толстой говорил розановскими горячими словами — куда Розанову! <...> цветет в мире цветок красоты восхитительной, от которого все акафисты, и легенды, и все искусство, и все геройство, и всё. Софью Андреевну он любил половой любовью, ревновал ее к Танееву и ненавидел, и она ненавидела его, эта гнусная антрепренерша. Понимал он нас всех, всех людей: только глянет, и готово — пож-жалуйте! раскусит вот, как орешек мелкими хищными зубами, не угодно ли! Врать ему нельзя было — все равно все видит. «Вы меня не любите, Алексей Максимович?» — спрашивает меня. «Нет, не люблю, Лев Николаевич», — отвечаю. (Даже Поссе¹⁵ тогда испугался, говорит: как тебе не стыдно, но ему нельзя соврать.) С людьми он делал что хотел. «Вот на этом месте мне Фет стихи свои читал, — сказал он мне как-то, когда мы гуляли по лесу.— Ах, смешной был [человек] Фет!» «Смешной?» «Ну да, смешной, все люди смешные, и вы смешной, Алексей Максимович, и я смешной — все». С каждым он умел обойтись по-своему. Сидят у него, например: Бальмонт, я, рабочий социал-демократ (такой-то), великий князь Николай Михайлович (портсигар с бриллиантами и монограммами), Танеев, — со всеми он говорит по-другому, в стиле своего собеседника — с князем по-княжески, с рабочим демократически и т. д. Я помню в Крыму — иду я как-то к нему, на небе мелкие тучи, на море маленькие волночки, — иду, смотрю, вижу на берегу среди камней — он. Вдел пальцы снизу в бороду, сидит, глядит. И мне показалось, что и эти волны, и эти тучи — все это сделал он, что он надо всем этим командир, начальник, да так оно, в сущности, и было. Он — вы подумайте, в Индии о нем в эту минуту думают, в Нью-Йорке спорят, в Кинешме обожают, он самый знаменитый на весь мир человек, одних писем ежедневно получал пуда полтора — и вот должен

умереть. Смерть ему была страшнее всего — она мучила его всю жизнь. Смерть — и женщина.

Шалапин как-то христосуется с ним: Христос Воскресе! Он смолчал, дал Шалапину поцеловать себя в щеку, а потом и говорит: «Христос не воскрес, Федор Иванович¹⁶».

Когда я записываю эти разговоры, я вижу, что вся их сила — в мимике, в интонациях, в паузах, ибо сами по себе они, как оказывается, весьма простенькие и даже чуть-чуть плосковаты. На другой день говорили о Чехове:

— ...Чехов... Мои «Воспоминания» о нем плохи. Надо бы написать другие: он со мной все время советовался, жениться ли ему на Книппер. <...>

Во второе свое посещение он пригласил меня остаться завтракать. В кабинет влетела комиссарша Марья Федоровна Андреева, отлично одетая, в шляпке, — «да, да, я распоржусь, вам сейчас подадут», но ждать пришлось часа два и боюсь, что мой затянувшийся визит утомила Алексея Максимовича.

Во время беседы с Горьким я заметил его особенность: он отлично помнит сотни имен, отчеств, фамилий, названий городов, заглавий книг. Ему необходимо рассказывать так: это было при губернаторе *Леониде Евгеньевиче фон Крузе*, а митрополитом был тогда *Амвросий*, в это время на фабрике у *братьев Кугашиных* — *Степана Степановича* и *Митрофана Степановича* — был бухгалтер *Корнев, Александр Иванович*. У него-то я и увидел книгу *Михайловского «О Щедрине»* издания 1889 года. Думаю, что вся его огромная и поразжающая эрудиция сводится именно к этому — к номенклатуре. Он верит в названия, в собственные имена, в заглавия, в реестр и каталог.

Пасха. Апрель. Ночь. Не сплю четвертую ночь. Не понимаю, как мне удается это вынести. Меня можно показывать за деньги: человек, который не спит четыре ночи, и все еще не зарезался. Читаю «Бралаш» Горького. Болят глаза. Чувствую, что постарел года на три.

27 апреля. Сейчас в Петрогорскоузе был вечер литературный. Участвовали Горький, Блок, Гумилев и я. Это смешно и нелепо, но успех имел только я. Что это может значить? Блок читал свои стихи линиям голосом, и публика слушала с удовольствием, но не с восторгом, не опянялась лирикой, как было в 1907, 1908 году. Горький забыл дома очки, взял чужое пенсне, у кого-то из публики (не тот номер), и вяло промямлил «Страсти Моргасти», испортив отличный рассказ. Слушали с почтением, но без бури. Когда же явился я, мне зааплодировали, как Шалапину. Я пишу это без какого-нб. самохвальства, знаю, что виною мой голос, но все же приятно — очень, очень внимательно слушали мою статью о Маяковском и требовали еще. Я прочитал о Некрасове, а публика требовала еще. Угощали нас бутербродами с ветчиной (!), сырными сладкими кругляшками, чаем и шоколадом, Я летел домой кляк на крыльях — с чувством благодарности и радости. Хочется писать о Некрасове дальше, а я должен читать дурацкие корректуры, править «Пустынный Дом» Диккенса. <...>

28 апреля. Воскресение. Целодневный проливной дождь. Ходил на Петербургскую сторону — к Тихонову. Не застал. Хотел идти к Горькому, раздумал. Играл с детьми в том доме, где живет Тихонов, — и как странно! Их зовут, как мои: Лида, Коля и Боря. Когда я услышал, что девочку зовут Лида, а мальчика — Коля, я уверенно сказал третьему: а ты — Боря.<...>

Горький дал мне некоторые материалы — о себе. Много его статей, писем, набросков¹⁷. Прихожу к заключению, что всякий большой писатель — отчасти графоман. Он должен писать хотя бы чепуху, — но писать. В чашни сделатьсь большим писателем даю себе слово при всякой возможности — водить пером по бумаге. Розанов говорил мне: когда я не ем и не сплю, я пишу. <...>

Май. Хорошая погода, в течение целой недели. Солнце. Трава, благодать. Мы на новой квартире. Пишу главу о технике Некрасова — и не знаю во всей России ни одного человека, которому она была бы интересна. Вчера я устроил в Петрогорскоузе литературный вечер: пригласил Куприна, Ремизова и Замятина. Куприн прочитал ужасный рассказ — пошлую банальщину — «Сад Пречистой Девы»; Ремизов хорошо прочитал «Пляску Иродиады», но огромный неожиданный успех имел Замятин, прочитавший «Алатырь» — вещь, никому не известную. Когда он останавливался, ему кричали: дальше! пожалуйста! — (вещь очень длинная, но всю прослушали благоговейно) аплодировали без конца. Была Шура Богданович, был Коля, Миша Слонимский и барышня из аптеки. <...>

Теперь всюду у ворот введены дежурства. Особенно часто дежурит Блок. Он рассказывает, что вчера, когда отправлялся на дежурство, какой-то господин произнес ему вслепую:

И каждый вечер в час назначенный,
Иль это только снится мне...

(Незнакомка)

Теперь время сокращений: есть слово МОПС — оно означает Московский Округ Путей Сообщения. Люди, встречаясь, говорят: ЧИК, — это значит: честь имею кланяться. Нет, это не должно умереть для потомства: дети Лозинского гуляли по Каменноостровскому — и вдруг с неба на них упал фунт колбасы. Оказалось, летели вороны — и уронили, ура! Дети сыты — и теперь ходят по Каменноостровскому с утра до ночи и глядят с надеждой на ворон.

4 июня. У Бобы — корь. Я читаю ему былины, отгоняю мух. Белые ночи, но выходить из дому нельзя.

7 июня. Воскресение. Мы с Тихоновым и Замятиным затеяли журнал «Завтра»¹⁸. Горькому журнал очень люб. Он набросал целый ряд статей — некоторые читал, некоторые пересказывал, — и все антибольшевистские. Я поехал в Смольный к Лисовскому просить разрешения; Лисовский разрешил, но, выдавая разрешение, сказал: прошу каждый номер доставлять мне предварительно на просмотр. Потому что мы совсем не уверены в Горьком.

Горький — член их исполнительного комитета, а они хотят цензурировать его. Чудеса! <...>

5 июля. Вчера в Институте Зубова¹⁹ Гумилев читал о Блоке лекцию — четвертую. Я уговорил Блока пойти. Блок думал, что будет бездна народу, за спинами к-рого можно спрятаться, и пошел. Оказались девицы, сидящие полукругом. Нас угостили супом и хлебом. Гумилев читал о «Двенадцати» — вздор, — девицы записывали. Блок слушал, как каменный. Было очень жарко. Я смотрел — его лицо и потное было величественно: Гете и Данте. Когда кончилось, он сказал очень значительно, с паузами: мне тоже не нравится конец «Двенадцати». Но он цельный, не приклеенный. Он с позмой одно целое. Помню, когда я кончил, я задумался: почему же Христос? И тогда же записал у себя: «к сожалению, Христос. К сожалению, именно Христос»²⁰.

Любопытно: когда мы ели суп, Блок взял мою ложку и стал есть. Я спросил: не противно? Он сказал: «Нисколько. До войны я был брезглив. После войны — ничего». В моем представлении это как-то слилось с «Двенадцатью». Не написал бы «Двенадцати», если бы был брезглив.

Вчера Сологуб явился во «Всемирную Литературу» раздраженный. На всех глядел как на врагов. Отказался ответить мне на мою анкету о Некрасове²¹. Фыркнул на Гумилева. Мы говорили об этом в Коллегии. Горький сидел хмурый; потом толкнул меня локтем и говорит:

— Сологуб встречает Саваофа. Обиделся. Как вы смеете бриться. Ведь я же не бритый!

Я не улыбнулся. Г[орький] нахмурился.

Сегодня был у Шалапина. Шалапин удручен: «Цены растут — я трачу 5—6 тысяч в день. Чем я дальше буду жить? Продавать вещи? Но ведь мне за них ничего не дадут. Да и покупателей нету. И какой ужас: видеть своих детей, умирающих с голоду».

И он по-актерски разыграл предо мною эту сцену.

9 июля. Был сегодня у Мережковского. Он повел меня в темную комнату, посадил на диванчик и сказал:

— Надо послать Луначарскому телеграмму о том, что «Мережковский умирает с голоду. Требуется, чтобы у него купили его сочинения. Деньги нужны до зарезу».

Между тем не прошло и двух недель, как я дал Мережковскому пятьдесят шесть тысяч, полученных им от большевиков за «Александра»²², да двадцать тысяч, полученных Зинаидой Н. Гишпиус. Итого 76 тысяч эти люди получили две недели назад. И теперь он готов унижаться и симулировать бедность, чтобы выпара[па]ть еще тысячу сто.

Сегодня Шкловский написал обо мне фельетон — о моей лекции про «Технику некрасовской лирики»²³. Но мне лень даже развернуть газету: голод, смерть, не до того.

4 сентября. Сейчас видел плачущего Горького. «Арестован Серг. Фед. Ольденбург!» — вскричал он, вбегая в комнату изд-ва Гржебина, и пробежал к Строеву. Я пошел за ним попросить о Бенкендорф (моей помощнице в Студии), которую почему-то тоже арестовали. Я подошел к нему, а он начал какую-то длинную фразу в ответ и безмолвно проделал всю жестикуляцию, соответствующую этой несказанной фразе; «Ну что же я могу, — наконец выговорил он. — Ведь Ольд. дороже стоит. Я им, подлецам — то есть подлецу, — заявил, что если он не выпустит их сию минуту... я им сделаю скандал, я уйду совсем — из коммунистов. Ну их к черту». Глаза у него б[ыли] мокрые.

Третьего дня Блок рассказывал, как он с кем-то в Альконосте запынствовал, засиделся и их чуть не заарестовали: почему сидите в чужой квартире после 12 час.? Ваши паспорта?.. Я должен Вас задержать...

К счастью, председателем домового комитета оказался Азов²⁴. Он заявил арестовывающему: да ведь это известный поэт Ал. Блок. И отпустили.

Блок аккуратен до болезненности. У него по карманам рассовано несколько записных книжечек, и он все, что ему нужно, аккуратно запишывает во все книжечки; он читает все декреты, те, которые хотя бы косвенно относятся к нему, вырезывает, сортирует, носит в пиджаке. Нельзя себе представить, чтобы возле него б[ыл] мусор, кавардак — на столе или на диване. Все линии отчетливы и чисты.

18 сентября 1919. Только что была у меня Лизанька, воспитанница Авдотьи Яковлевны. Теперь ей лет 70. Она выдает себя за сестру Некрасова. В комиссариате не разбираются, что ее отчество Александровна. По моей просьбе ей выдали валенки и 5000 руб.

— Помню, — говорит она, — Н[екрасов] приехал в Грешнево, когда мне б[ыло] 8 лет. Меня поразило, что у него б[ыли] носки цветные, тогда таких не бывало. Я принесла ему полную тарелку малины, он сказал мне: «Спасибо, Лизанька».

Она вспоминала братьев Добролюбовых, Чернышевского, З. Н. <...>

20 сентября. Вчера Горький читал в нашей «Студии» о картинах для кинематографа и театра. Слушателей было мало. Я предложил ему сесть за стол, он сказал: «Нет, лучше сюда!» — и сел за детскую парту: «В детстве не довелось посидеть на этой скамье». Он очень удручен смертью Леонида Андреева. «Это был огромный талант. Я такого не видал. У него было воображение — бешеное. Скажи ему, какая вещь лежала на столе, он сразу скажет все остальные вещи. Нужно написать воспоминания о Леониде Андрееве. И вы, Корней Ив., напишите. Помню, на Капри, мы шли и увидели отвесную стену, высокую, и я сказал ему: вообразите, что там, наверху, — человек. Он мгновенно построил рассказ «Любовь к Ближнему» — но рассказал его лучше, чем у него написано».

24 сентября. Заседание по сценариям. Впервые присутствует Марья Игнатьевна Бенкендорф, и, как ни странно, Горький хотя и не говорил ни слова ей, но все говорил для нее, распуская весь павлиний хвост. Был очень остроумен, словоохотлив, блестящ, как гимназист на балу.

26 октября. У Тихоновых. Холод. Чай у Махлиных. Горький вспоминал о Чехове: был в Ялте татарин, всё подмигивал одним глазом, ходил к знаменитостям и подмигивал. Ч[ехов] его не любил. Один раз спрашивает маму: мамаша, зачем приходил этот татарин? — А он, Антоша, хотел спросить у тебя одну вещь. — Какую? — Как ловят китов. — Китов? Ну это очень просто: берут много селедок, целую сотню, и бросают киту. Кит наестся соленого и захочет пить. А пить ему не дают — нарочно! В море вода тоже соленая — вот он и плывет к реке, где пресная вода. Чуть он заберется в реку, люди делают в реке загородку, чтобы назад ему ходу не было, и кит пойман. — Мамаша кинулась разыскивать татарина, чтобы рассказать ему, к[а]к ловят китов. Дразнил бедную старуху.

28 октября. Должно было быть заседание Исторических картин, но не состоялось (Тихонов заболтался с дамой — Кемеровой) — и Горький стал рассказывать нам разные истории. Мы сидели как очарованные. Рассказывал конфузливо, в усы, а потом разошелся. Начал с обезьяны — как он пошел с Шаляпиным в цирк, и там показывали обезьяну, которая кушала, курила и т. д. И вот неожиданно — смотрю: Федор тут же, при публике, делает все обезьяньи жесты — чешет рукою за ухом

и т. д. Изумительно! Потом Горький перешел на селедку — как сельдь «идет»: вот этаким остров — появляется в Каспийском (опаловом зеленоватом) море и движется. Слой сельдей такой густой, что вставь весло — стоит. Верхние уже не в воде, а сверху, в воздухе, уже сонные — очень красиво. Есть такие озорники (люди), что ныряют вглубь, но потом не вынырнуть, все равно как под лед нырнули, тонут.

— А вы тонули? — спросил С. Ф. Ольденбург.

— Раз шесть. Один раз в Нижнем. Зацепился ногою за якорный канат (там был на дне якорь) и не мог освободить ногу. Так и остался бы на дне, если бы не увидел извозчик, который ехал по откосу, — он увидел, что вон ч[елове]к нырнул, и кинулся поскорее. Ну, конечно, я без чувств был — и вот тогда я узнал, что такое, когда в чувство приводят. У меня и так кожа с ноги была содрана, как чулок — (за якорь зацепили), — а потом, как приводили в чувство, катали меня по камням, по доскам — все тело занозили, исцарапали; я глянул и думаю: здорово! Ведь они меня швыряли как мертвого. И чуть очнувшись, я сейчас же драться с околоточным — тот меня в участок свезти хотел. Я не давался, но все же попал.

А Другой раз нас оторвало в Каспийском море — баржу, человек сто было, — ну бабы вели себя отлично, а мужчины сплеховали, двое с ума сошли: нас носило по волнам 62 часа...

Ах, ну и бабы же там, на рыбных промыслах! Например, вот этаким стол — вдвое длиннее этого, они стоят рядом, и вот попадает к ним трехпудовая рыба — и так из рук в руки катится, ни минуты не задерживается — вырежут икру, молоки... (он назвал штук десять специальных терминов) — и даже не заметишь, как они это делают. Вот такие — руки голые — мускулистые дамы — и вот (он показал на груди); этот промысел у них наследственный — они еще при Екатерине этим занимались. Отличные бабы.

Потом рассказывал, как он перебежал перед самым паровозом рельсы. Страшно и весело: вот-вот наскочит. Научил его этому Стрел (конец фамилии оторван. — Е. Ч.) — товарищ, вихрастый, — он делал это тысячу раз — и вот Горький ему завидовал.

Мы все слушали как очарованные — особенно Блок. Никакого заседания не было — никто и не вспомнил о заседании. Потом Ольденбург говорил о том, что он ни за что не поедет за границу, что ему стыдно, что теперь в Европе к русским отношение собачье. Когда Ольденбург высказывает какое-нб. мнение, кажется, что он ждет от вас похвального отзыва — что вы скажете ему «пайнька». Он даже поглядывает на вас искоса — тайком, — *видите ли вы, какой он славный?* И когда ласковым вкрадчивым голосом он выражает научные мнения, он высказывает их как первый ученик — застенчиво, задушевно, и ждет одобрительного кивка головы (главным образом со стороны Горького, но и нашими не брезгует). Горький в него влюблен, они сидят визави и все время переглядываются; Горький говорит: «Вот какой должен быть ученый». А откуда он знает! Мне кажется, что Ольденбург — усваиватель, но не создатель. Ему легче прочитать тысячу книг, чем написать одну.

На заседании Всемирной Литературы произошел смешной эпизод. Гумилев приготовил для народного издания Соути²⁵ — и вдруг Горький заявил, что оттуда надо изъять... все переводы Жуковского, к-рые рядом с переводами Гумилева страшно теряют! Блок пришел в священный ужас, я визжал — я говорил, что мои дети читают Варьика и Гаттона с восторгом²⁶. Горький стоял на своем. По-моему, его представление о народе — неверное. Народ отличит хорошее от дурного — сам, а если не отличит, тем хуже для него. Но мы не должны прятать от него Жуковского и подсовывать ему Гумилева.

Сегодня я написал воспоминания об Андрееве. В комнате холодно. Руки покрываются красными пятнами.

Блок показывал мне свои воспоминания об Андрееве: по-моему, мямление и канитель. Тихонов сегодня вместо фантазмагория сказал фантасармония. Горький подмигнул мне: здорово! <...>

1 ноября. Сегодня Вольинский выразил желание протестовать против Горьковского выступления (насч[ет] Жуковского).

Возле нашего переулка — палая лошадь. Лежит вторую неделю. Кто-то вырезал у нее из крупа фунтов десять — надеюсь, на продажу, а не для себя. Вчера я был в Доме Литераторов: у всех одежда мятая, обвислая, видно, что люди спят не раздеваясь, укрываясь пальто. Женщины — как жеваные. Будто их кто жевал — и

выплюнул. Горький на днях очень хорошо показывал Блоку, как какой-то подмигивающий обыватель постукивал по дереву на Петербургской стороне, у трамвая. «Ночью он его срубит», — таинственно шептал Горький. Юрий Анненков начал писать мой портрет²⁷. Но как у него холодно! Он топит дверьми: снимет дверь, рубит на куски — и вместе с ручками в плиту!

2 ноября. Я сижу и редактирую «Коперфильда» в переводе Введенского. Перевод гнусный, пьяный²⁸. Бобу научила Женя делать из бумаги стрелы, к-рые он зовет аэропланами. Два дня подряд он делает стрелы — без конца — бросает их целые дни. Бенкенд[орф] рассказывает, что в церкви, когда люди станут на колени, очень любопытно рассматривать целую коллекцию дыр на подошвах. Ни одной подошвы — без дыры!

3 ноября. Был у меня как-то Кузмин. Войдя, он воскликнул:

— Ваш кабинет похож на детскую!

Взял у меня «до вечера» 500 рублей — и сгинул.

Секция «Исторических Картин», коей я состою членом, отрядила меня к Горнфельду для переговоров. Я пошел. Горнфельд живет на Бассейной — ход со двора, с Фонтанной, — крошечный горбатый человечек с личиком в кулачок; ходит, волоча за собою ногу; руками чуть не касается полу. Пройдя полкомнаты, запыхивается, устает, падает в изнеможении. Но, несмотря на это, всегда чисто выбрит, щегольски одет, острит — с капризными интонациями избалованного умного мальчика, — и через 10 минут разговора вы забываете, что перед вами — урод. Теперь он в перчатках — руки мерзнут. Голос у него едкий — умного еврея. Уже около года он не выходит из комнаты. Дров у него нет — надежд на дрова никаких, — развлечений только книги, но он не унывает. Я прочитал ему свою статью об Андрееве²⁹. Вначале он говорил: «Ой как зло!» А потом «Нет, нет!» Общий его приговор: «Написано эффектно, но неверно. Андреев был пошляк, мещанин. У него был талант, но не было ни воли, ни ума». Я думаю, Горнфельд прав; он рассказывал, как Андреев был у него — предлагал подписать какой-то протест. «Я увидел, что его не столько интересует самый протест, сколько то, что в том протесте участвует Бунин. Он был мелкий, мелочной человек». Завтра к Горнфельду придут печники, будут ломать стену в кухню — «все же теплее будет». <...>

4 ноября. Мне все кажется, что Андреев жив. Я писал воспоминания о нем — и ни одной минуты не думал о нем как о покойнике. Неделю назад мы с Грж[ебиным] возвращались от Тихонова — он рассказывал, как Андреев, вернувшись из Берлина, влюбился в жену Коппельмана и она отвечала ему взаимностью, но, увы, в то время она б[ыла] беременна, и Андреев тотчас же сделал предложение сестрам Денисевич — обем сразу. Это помню и я. Толя сказала, что она замужем — (тайно!). Тогда он к Маргарите, которую переделал в Анну.

Гржебин зашел ко мне на кухню вечером и, ходя по кухне, вспоминал, как Андреев пил — и к нему в трактире подходила одна компания за другой, а он все сидел и пил — всех перебивал. «Я устроил для него ванну, — он не хотел купаться, тогда мы подвели его к ванне одетого и будто нечаянно толкнули в воду — ему по неволе пришлось раздеться — и он принял ванну. После ванны он сейчас же засыпал».

5 ноября. Вчера ходил я на Смольный проспект, на почту, получать посылку. Получил мешок отличных сухарей — полпуда! Кто послал? Какой-то Яковенко, — а кто он такой, не знаю. Какому-то Яковенко было не жалко — отдать превосходный мешок, сушить сухари, пойти на почту и т. д. и т. д. Я нес этот мешок как бриллианты. Все смотрели на меня и завидовали. Дети пришли в экстаз.

Вчера [Горький] рассказывал, что он получил из Кр[емя] упрек, что мы во время заседания ведем... разговоры. Это очень взволновало его. Он говорит, что пришла к нему дама — на ней фунта четыре серебра, фунта два золота — и просит о двух мужчинах, которые сидят на Гороховой: они оба мои мужья. «Я обещал хлопотать... А она спрашивает: сколько же вы за это возьмете?» Вопрос о Жуковском кончился очень забавно: Гумилев поспорил с [Горьким] о Жуковском — и ждал, что [Горький] прогонит его, а Горький — поручил Гум[илеву] редактировать Жуковского для Гржебина³⁰. <...>

Обсуждали мы, какого художника пригласить в декораторы к пьесе Гумилева³¹. Кто-то предложил Анненкова. Горький сказал: *Но ведь у него будут все трюгольники...* Предложили Радакова. *Но ведь у него все первобытные люди выйдут*

похожи на Аверченко. Сейчас Оцуп читал мне сонет о Горьком. Начинается «с улыбой хитрой». Горький хитрый?! Он не хитрый, а простодушный до неумяемости. Он ничего в действительной жизни не понимает — младенчески. Если все вокруг него (те, кого он любит) расположены к какому-нб. человеку, и он инстинктивно, не думая, не рассуждая, любит этого ч[елове]ка. Если кто-нб. из его близких (п-ме Шайкевич, Марья Федоровна, «купчиха» Ходасевич³², Тихонов, Гржебин) вдруг незлобит кого-нб.— кончено! Для тех, кто принадлежит к своим, он делает все, подписывает всякую бумагу, становится в их руках пешкою. Гржебин из Горького может веревки вить. Но все чужие — враги. Я теперь (после полуторогодовой совместной работы) так ясно вижу этого человека, как втянули его в «Новую Жизнь», в большевизм, во что хотите — во Всемирную Литературу. Обмануть его легче легкого — наш Боба обманет его. В кругу своих он доверчив и покорен. Оттого, что спекулянт Махлин живет рядом с Тихоновым, на одной лестнице, Г[орький] высвободил этого ч[елове]ка из Чрезвычайки, спас от расстрела...

6 ноября. Первый зимний (солнечный) день. В такие дни особенно прекрасны дымы из труб. Но теперь — ни одного дыма: никто не топит. Сейчас был у меня Мережковский — второй раз. Он хочет, чтобы я похлопотал за него пред Ионовым, чтобы тот купил у него «Трилогию»³³, которая уже продана Мережковским Гржебину. Вопреки обычаю Мережк. произвел на этот раз отличное впечатление. Я прочитал ему статейку об Андрееве — ему она не понравилась, и он очень интересно говорил о ней. Он говорил, что Андреев все же не плевал, что в нем был туман, а туман вечнее гранита, он убеждал меня написать о том, что Андреев был писатель метафизический — хоть и Дрянб, а метафизик. Мережковский увлекся, встал (в шубе) с диванчика — и глаза у него заблестели наивно, живо. Это бывает очень редко. Марья Борисовна предложила ему пирожка, он попросил бумажку, завернул — и понес Зинаиде Николаевне. Публичная Библиотека купила у него рукопись «14 декабря» за 15.000 рублей. Говорил Мережковский о том, что Андреев гораздо выше Горького, ибо Горький не чувствует мира, не чувствует вечности, не чувствует Бога. Горький — высшая и страшная пошлость.

7 ноября. Сейчас вспомнил, как Андреев, получив от Цетлина³⁴ аванс за собрание своих сочинений, купил себе — ни с того ни с сего — осла. «Для чего вам осел?» «Очень нужен. Он напоминает мне Цетлина. Чуть я забуду о своем счастье, осел закричит, я вспомню». Лет восемь назад он рассказывал мне и Брусанину³⁵, что, будучи московским студентом, он, бывало, с пятирублевой в кармане совершал по Москве кругосветное плавание, т. е. кружил по переулкам и улицам, заходя по дороге во все кабаки и трактиры, и в каждом выпивал по рюмке. Вся цель такого плаванья заключалась в том, чтобы не пропустить ни одного заведения и добросовестно придти круговым путем, откуда вышел. «Сперва все шло у меня хорошо, я плыл на всех парусах, но в середине пути всякий раз натыкался на мель. Дело в том, что в одном переулке две пивные помещались визави, дверь против двери; выходя из одной, я шел в другую и оттуда опять возвращался в первую: всякий раз, когда я выходил из одной, меня брало сомнение, был ли я во второй, и т. к. я ч[елове]к добросовестный, то я и ходил два часа между двумя заведениями, пока не погибал окончательно».

Обо мне Анд[реев] говорил: «Иуда из Териок». Однажды он сказал: вот вы, К. И., видите в людях то, чего не видит никто. Все видят стулья снаружи, а вы берете каждый стул и рассматриваете ту, заднюю часть сидения, и показываете всем — вот какая эта часть! Но кому это нужно — знать заднюю часть сидения!

Был у Горнфельда и только сегодня заметил, что даже на стуле сидеть он не может без костылька. Был у Гумилева. Гумилев очень любит звать к себе на обед, на чай, но не потому, что он хочет угостить, а потому, что ему нравится торжественность трапезования: он сажает гостя на почетное место, церемонно ухаживает за его женой, все чинно и благолепно, а тарелки могут быть хоть пустые. Он любит во всем истовость, форму, порядок. Это в нем очень мило. Мы мечтали с ним о том, как бы уехать на Майорку. «Ведь от Майорки всюду близко — рукой подать! — говорил он.— И Австралия, и Южная Америка, и Испания!» Пришел я домой от него (много снегу, луна), и о ужас! — у меня Шатуновские. А я уж опять наладился ложиться в 8 час. Они просидели до 11, и вследствие этого я не сплю всю ночь. Пишу это ночью. Мы беседовали о политике — и о моем безденежье. Они выразили столько участия — отчаянному моему положению (тому, что у меня шесть человек,

к-рых я должен кормить), что в конце концов мне стало и в самом деле жалко себя. В прошлый месяц я продал все что мог и получил 90.000 рублей. В этом месяце мне мало 90.000 рублей,— а взять неоткуда ни гроша! — Сегодня празднества по случаю двухлетия Советской власти. Фотографы снимали школьников и кричали: шапки вверх, делайте веселые лица!

8 ноября. Горький всегда говорит о них в нашей компании: «Да я им говорю: черти вы, мерзавцы, да что вы делаете? да разве так можно?» Сегодня вечер памяти Леонида Андреева. Вчера я с детьми готовил афиши. Вечер возник по моей инициативе. Горький затеял сборник³⁶ — я сказал: «А раньше прочтем эти статьи публично». Мы сняли Тениш. зал, Марья Игн. и Оцуп — хлопочут. Кажется, публики не будет, и, главное, главное, главное — я уверен, что Андреев жив.

9 ноября. Ночь. Опять не сплю — все думаю о вчерашнем вечере «Памяти Андреева» — всю ночь ни одной другой мысли!.. Вышло глупо и неуклюже — и я промучился часа три подряд. Начать с того, что было очень холодно в Тениш. Училище. Публика сидела нахохлившись. Было человек 200: но никакого единения не чувствовалась. Был Белопольский, мать Оцупа. Вся свита Горького: Гржебин, Тихонов, их жены, м-ше Ходасевич, ее муж, Батюшков, конторщицы Всемирной Литературы, два-три комиссара, с десяток студентов новейшей формации. Редько. Были мои слушатели по студии: Над. Филипповна, Полонская, Володя Познер, Векслер, но все это не сливалось, а торчало особняком. Литературной атмосферы не было, и температура не поднялась ни на градус, когда Алекс. Блок матовым голосом прочитал свою водянистую вещь, где слово я...я...я...я — мелькало гораздо чаще, чем слово «Андреев». Так, впрочем, и должно быть у лирических поэтов, и для изучающих творчество Блока эта статья очень интересна, но в память Леонида Андреева не годится. Потом хотели читать актеры, но неожиданно выскочил на эстраду Горький — и этим изгадил все дело. Он, что называется, «сорвал вечер». Он читал глухим басом, читал длинно и тускло, очень невнятно, растекался в подробностях и малоинтересных анекдотах,— без задушевности,— характеристики никакой не дал,— атмосфера не поднялась ни на градус... Когда он кончил, наступило шесть часов — все стали стремиться к последней трамваям,— и вот когда появились актеры, читать сцену из «Проф. Сторицына», началось истечение из зала: комиссаров, всей свиты Горького и т. д. и т. д. Это так возмутило меня, что когда настала моя очередь, я предложил публике (осталось человек сто) либо уйти сейчас, либо прослушать чтение до конца. Все остались, многие из уходивших вернулись. Читал я очень нервно, громко, то вставая, то садясь (многое пропуская) — и чрезвычайно любя Андреева. Статейка моя вышла жесткая, в иных местах язвительная, но в общем и главным Андреев мне мил. Поэтому меня очень огорчила Даманская³⁷ (почему-то с подбитым глазом), когда она отвела меня в сторону и сказала: «Многие недовольны, говорят, что слышком зло, но мне понравилось». Потом выступил Замятин и прелестно прочитал свой анекдот об Андрееве и зонтике. Все тепло смеялись, и температура начала подниматься,— но этим и кончилось. Я вложил в этот вечер много себя, сам клеил афиши, готовился — и потому теперь не сплю. Мне почему-то показалось, что Горький — малодаровит, внутренне тускл, он есть та шапка, которая нынче по Сеньке. Препжней культурной среды уже нет — она погибла, и нужно столетие, чтобы создать ее. Сколько-нб. сложного не понимают. Я люблю Андреева сквозь иронию,— но это уже недоступно. Иронию понимают только тонкие люди, а не комиссары, не мама Оцупа,— Горький именно потому и икона теперь, что он не психологичен, несложен, элементарен.

Видел Мережковскою. Он написал письмо Горькому с просьбой повлиять на Ионову,— чтобы тот купил у Мережк. его Трилогию.

Блок как-то на днях обратился ко мне: не знаю ли я богатого и глупого человека, к-рый купил бы у него библиотеку: «Мир Искусства», «Весы» и т. д. Деньги очень нужны.

Я хочу исподволь приучить Бобу к географии. Вчера я сказал ему, что Гумилев едет на Майорку, а мы уедем на Минорку. Я прочитал ему из «Энциклопедии Британника» об этих островах — и он весь день бредил ими. Мы рассматривали Майорку на карте. Присланные милым Яковенко сухари называются у них «Яковенки». Боба сейчас кричит: «Яковенки с чаем! Яковенки с чаем!» <...>

11 ноября. <...>. Сегодня во «Всемирке» — Амфитеатров читал своего «Ваську Буслаева». Былинный размер очень хорош, но когда переходит на пятистопный

ямб — сразу другим языком. Вместе с размером меняется и стиль. Амф. очень способный, но совсем не талантливый человек. Читая, он поглядывал на Горького. «Гондлу» Гумилева провалили. Потом — заседание Всем. Лит. По моей инициативе был возбужден вопрос о питании членов литерат. коллегии. Никаких денег не хватает — нужен хлеб. Нам нужно собраться и выяснить, что делать. Горький откликнулся на эту тему и говорил с апшетитом: «Да, да! Нужно, черт возьми, чтобы они либо кормили, либо — пускай отпустят за границу. Раз они так немощны, что ни согреть, ни накормить не в силах. Ведь вот сейчас — оказывается, в тюрьме лучше, чем на воле: я сейчас хлопотал о сидящих на Шпалерной, их выпустили, а они не хотят уходить: и теплее и сытнее! А провизия есть... есть... Это я знаю наверное... есть... в Смольном куча... икры — целые бочки — в П[етербур]ге жить можно... Можно... Вчера у меня одна баба из С[мольного] была... там они все это жрут, но есть такие, которые жрут со стыдом...» И все в таком роде. <...>

Воледа Познер сидит в соседней комнате и переписывает на машинке свою пьеску о Студии «Учение свет — неучение тьма». Ему 14 лет — а пьеска очень едкая, есть недурные стихи.

12 ноября. Встал часа в 3 и стал писать бумагу о положении литераторов в России. Бумага будет прочтена завтра в заседании Всемирной Литературы. Сейчас примусь за Уитмэна. Хочу перевести что-нибудь из его прозы.

13 ноября. Вчера встретился во «Всемирной» с Вольнским. Говорили о бумаге насчет ужасного положения писателей. Вольнский: «Лучше промолчать, это будет достойнее. Я не политик, не дипломат»... «А разве Горький — дипломат?» «Еще бы! У меня есть точные сведения, что здесь с нами он говорит одно, а там — с ними — другое! Это дипломатия очень тонкая!» Я сказал Вольнскому, что и сам б[ыл] свидетелем этого: как большевистски говорил Г[орький] с тов. Зариным, — я не верил ушам и ушел, видя, что мешаю. Но я объясняю это художественной впечатлительностью Горького, а не преднамеренным планом. Повторяется то же, что было с Некрасовым. Он тоже был на два фронта оттого, что — художник³⁸. <...>

Вчера я лег голодный. За весь день только супы и суп! Хочу написать расказ — о своих приключениях.

Сегодня должно было состояться заседание по поводу продовольствия. Но — Горький забыл о нем и не пришел! Был Сазонов, проф. Алексеев, Батюшков, Гумилев, Блок, Лернер³⁹... И Тихонов запоздал. Мы ждали 1½ часа. Наконец выяснилось, что Горький прямо проехал к Гржебину. Я поговорил по телефону с Горьким — и мы начали заседание без него. Потом — пошла к Гржебину. По дороге Сазонов спрашивал, что — Гумилев — хороший поэт? Стоит ему прислать дров или нет. Я сказал, что Гумилев — отличный поэт. А Батюшков — хороший профессор? О да! Батюшков отличный профессор. Горький принял нас нежно и любяще (как будто он видит нас впервые и слышал о нас одно хорошее). Усадил и взволнованно стал говорить о серии книг — Избранные произведения русских писателей XIX в., затеваемой Гржебиным. Предложил образовать коллегию по изданию этой серии. В коллегию входим: Н. Лернер, А. Блок, Горький, Гржебин, Замятин, Гумилев и я. Потом Горького вызвали спешно в Асторию — и он уехал: прибыл Воровский. Блок жаловался: как ужасно, что тушат электричество на 4 часа, — вчера он хотел писать три статьи — и темно.

14 ноября. Обедал в Смольном — селедочный суп и каша. За ложку залогоу — сто рублей. В трамвае — во «Всемирную». Заседание по картинам — в анекдотах. Горький вчера был в заседании — с Ионовым, Зиновьевым, Быстрянским⁴⁰ и Воровским. Быстрянского он показывал, делал физиономию — «вот такой». Эт-то, понимаете, «ч[елове]к из подполья», — из подполья Достоевского. Сидит, молчит — обиженно и тяжело. А потом как заговорит, а у самого за ушами не мыть и подошвы толстые, вот такие! И всегда он обижен, сердит, надут — на кого, неизвестно.

— Ну потом — шуточка! Стали говорить, что в Зоологич. саду умерли детеныши носорога. Я и спрашиваю: чем вы их кормить будете? Зиновьев отвечает: буржуями. И начали обсуждать вопрос: резать буржуев или нет? Серьезно вам говорю... С-серьезно... Спрашивается: когда эти люди б[ыли] искренни: тогда ли, когда при творялись порядочными людьми, или теперь? Говорил я сегодня с Лениным по телефону по поводу декрета об ученых. Хохочет. Этот ч[елове]к всегда хохочет. Обещает устроить все, но спрашивает: «Что же это вас еще не взяли?.. Ведь вас (Питер_цев) собираются взять».

По рассказам Горького, Воровский был всегда хорошим ч[елове]ком, честным энергичным работником...

К Марье Игнатьевне Г[орький] относится ласково. Дал ей приют у себя. Вчера: М. И., вы идете на Кронверкский, подождите до 5 час., я вас отвезу, у меня будет лошадь.

Сейчас вспомнил, как Леонид Андреев ругал мне Горького: «Обратите внимание: Горький пролетарий, а все льнет к богатым — к Морозову, к Сытину, к (он назвал ряд имен). Я попробовал с ним в Италии ехать в одном поезде — куда тебе! разорился. Нет никаких сил: путешествует, как принц». Горький в письмах к Андрееву ругал меня; Андреев неукоснительно сообщал мне об этом.

Блок дал мне проредактированный им том Гейне⁴¹. Я нашел там немало ошибок. Некоторые меня удивили: например, слово *подмастерье* Блок склоняет так: род[ительный] п[адеж] подмастерья, дат[ельный] пад[еж] подмастерье — как будто это Дарья. <...>

16 ноября. Блок патологически аккуратный ч[елове]к. Это совершенно не вяжется с той поэзией безумия и гибели, которая ему так удается. Любит каждую вещь обернуть бумажечкой, перевязать веревочкой; страшно ему нравятся футлярики, коробочки. Самая растрепанная книга, побывавшая у него в руках, становится чище, приглаженнее. Я ему это сказал, и теперь мы знающе переглядываемся, когда он проявляет свою *манию опрятности*. Все, что он слышит, он норовит зафиксировать в записной книжке — вынимает ее раз двадцать во время заседания, записывает (что? что?) — и, аккуратно сложив и чуть не дунув на нее, неторопливо кладет в специально предназначенный карман.

17 ноября. Воскресение. Был у меня Гумилев: принес от Анны Николаевны (своей жены) 1/2 фунта крупы — в подарок — из Бежецка. Говорит, что дров никаких: топили шкафом, но шкаф дал мало жару. Я дал ему займы 36 полен. Он увез их на Бобиных санях. — Был Мережковский. Жалуется, хочет уехать из Питера. Шуба у него — изумительная. Высокие калоши. Шапка соболя. Говорили о Горьком. «Горький двурушник: вот такой же, как Суворин. Он азефствует искренне. Когда он с нами — он наш. Когда он с ними — он ихний. Таковы талантливые русские люди. Он искренен и там и здесь». С Мережковским мы ходили в «Колос» — там читал Блок — свой доклад о музыкальности и цивилизации, который я уже слышал⁴². Впечатление жалкое. Носы у всех красные, в комнате холод, Блок — в фуфайке, при всяком слове у него изо рта — пар. Несчастные, обглоданные люди — слушают о том, что у нас было слишком много цивилизации, что мы погибли от цивилизации. Видал я Сюннерберга, Ив[анова]-Разумника — все какие-то бывшие люди. Оттуда с Глазановым и Познером — на квартиру д-ра (забыл фамилию) — там Жирмунский читал свой доклад о «Поэтике» Шкловского. Были: Эйхенбаум в шарфе до полу, Шкловский (в обмотках ноги), Сергей Бонди, артист Бахта, Векслер, Чудовский, Гумилев, Полонская с братом и др. Жирмунский произвел впечатление умного, образованного, но тривиального человека, который ни с чем не спорит, все понимает, все одобряет — и доводит свои мысли до тусклости. Шкловский возражал — угловато, задорно и очень талантливо. Векслер заподозрила Жирмунского, что он где-то упоминал душу писателя, — и сделал ему за это нагоняй. Какая же у писателя душа? К чему нам душа писателя? Нам нужна композиционная основа, а не душа. — Теперь все эти девочки, натасканные Шкловским, больше всего боятся, чтобы, не дай Бог, не сказалась душа⁴³. При всяком намеке на психологизм (в литер[атурной] критике) они хором вопят:

Ах, какой он пошляк! Ах, как он не развит!
Современности вовсе не видно.⁴⁴

Но все же собрание произвело впечатление будоражащее, освежающее. Потом с Глазановым мы пошла ко мне и читали его доклад об Андрее Белом. — У меня от холоду опухли руки.

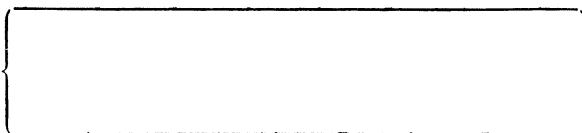
18 ноября. Целый день в хлопотах о продовольствии для писателей.

19 ноября. Среда. Вчера три заседания подряд: первое — секция исторических картин, второе — Всемирная Литература, третье — у Гржебина, «Сто лучших русских книг». Так как я очень забывчив на обстановку и подробности быта — запишу раз навсегда, как это происходит у нас. Теперь мы собираемся уже не на Невском,

а на Моховой, против Тенишевского Училища. Нам предоставлены два этажа барского особняка генеральши Хириной. Поднимаешься по мраморной лестнице — усатый меланхоличный Антон и седовласый Михаил Яковлевич, бывший лакей Пуни, потом лакей Репина — «Панин папа», как называют его у нас. Сейчас же налево — зал заседаний — длинная большая комната, соединенная лестницей с кабинетом Тихонова — наверху. В зале множество безвкусных картин — пейзажей — третьего сорта, мебель рыночная, но с претензиями. Там за круглым длинным столом мы заседаем в таком порядке:

Гумилев/Замятин/Лозинский/Браудо/Левинсон

Вольнский
Ольденб[ург]
Тихонов
Горький



Секретарша Евдокия Петровна
Батюшков
Браун

Блок/я/Сильверсван ⁴⁶/Лернер

Я прихожу на заседания рано. Иду в зал заседаний — против окон видны силуэты: Горький беседует с Ольденбургом. Тот, как воробей, прыгает вверх — (Ольденбург всегда форсированный, демонстрирующий энергию). Там же сидит одиноко Блок — с обычным видом грустного и покорного недоумения: «И зачем я здесь? И что со мной сделали? И почему здесь Чуковск[ий]. Здравствуйте, Корней Иванович!» Я иду наверх — мимо нашей собственной мешочницы Розы Васильевны. Роза Вас. стала у нас учреждением — она сидит в верхней прихожей, у кабинета Тихонова, разложив на столе сторублевые коврижки, сторублевые карамельки, и все профессора и поэты здороваются с нею за руку, с каждым у нее своя интонация, свои счеты — и всех она презирает великолепным еврейским презрением и перед всеми лебезит. В следующей комнате — прием посетителей; теперь там пусто. В следующей Вера Александровна — секретарша, подсчитывающая нам гонорары, — впечатлительная, обидчивая, без подбора, податливая на ласку, втайне влюбленная в Тихонова; у ее стола по целым часам млеет Сильверсван. Кабинет Тихонова огромен. Там сидит он — в кабинете, свеженький, хорошенький, очень деловитый и в деловитости простодушный. Он обложен рукописями, к нему ежеминутно являются с докладом из конторы, из разных учреждений, он серьезный социал-демократ, друг Горького и т. д., но я не удивился бы, если бы оказалось, что... впрочем, Бог с ним. Я его люблю. В одном из ящичков его стола мешочек с сахаром, в другом — яйца и кусочек масла: завтракает он у себя в кабинете. Вечером, перед концом заседания к нему приходит его возлюбленная — в красной шубке — и ждет его в кабинете. Вчера, войдя в зал заседаний, я увидел тихоновский мешочек с сахаром там на столе — и только потом рассмотрел в углу Тихонова и Анненкова. Анненков начал портрет Тихонова, в виде Американца, и в первый же сеанс великолепно взял главное — и артистически разработал все плоскости подборки. Глаз еще нет, но даже кожа — Тихоновская. Анненков говорит, что он хочет написать на фоне фабричн. трубы, плакатов — вообще обамериканизить портрет Горький на заседание не пришел: болен. Он прислал мне записку, к-рую при сем прилагаю ⁴⁶. На первом заседании я читал своего Персея, к-рый неожиданно всем понравился ⁴⁷. На втором заседании мы говорили о записке от лица литераторов, которую мы намерены послать Ленину. К концу заседания мне сообщили, что нас ждет Гржебин. Я сказал Блоку, и мы гуськом сбежали (скандалезно): я, Лернер, Блок, Гумилев, Замятин — в комнату машинисток (где теплая лежанка). Рассуждали об издании ста лучших книг. Блок неожиданно, замогильным голосом сказал, что литература XIX века не показательна для России, что в XIX в. вся Европа (и Россия) сошла с ума, что Гоголь, Толстой, Достоевский — сумасшедшие. Гумилев говорил, что Майков был бездарный поэт, что Ив[анов]-Разумник — отвратительный критик. Грж[ебин] в шутку назвал меня негодяем, я швырнул в него портфелем Гумилева — и сломал ручку. Говорили о деньгах — очень горячо, — выяснилось, что все мы — нищие банкроты, что о деньгах нынешний писатель может говорить страстно, безумно, отчаянно. Потом я вернулся домой — и Лидочка читала мне Шекспира «Генрих IV», чтобы усыпить меня. Я боялся, что не усну, т. к. сегодня открытие Дома Искусств, а я никогда не сплю накануне событий. — Лида теперь занята рефератом о Москве — забавная трудолюбивая носатка!

20 ноября 1919. Итак, вчера мы открывали «Дом Искусства». Огромная холодная квартира, в которой каким-то чудом натопили две комнаты, — стол с дивными письменными принадлежностями, всё — как по маслу: прислуга, в уборной графин и стакан, гости. Горького не было, он болен. Все были так изумлены, когда им подали карамельки, стаканы горячего чаю и булочки, что немедленно избрали Сазонова товарищем председателя! Прежде Сазонов — в качестве эконома — и доступа не имел бы в зал заседаний коллегии! Теперь эконом — первая фигура в ученых и литературных собраниях. На него смотрели молитвенно: авось даст свечку. Он тоже не ударил в грязь лицом: узнав, что не хватает стаканов, он собственноручно принес свои собственные с Фонтанки на Мойку — в чемогане. Заседания не описываю, ибо Блок описал его для меня в Чукоккале⁴⁸. Кое-что подсказывал ему я (об Анненкове). Немирович председательствовал — беспомощно: ему приходилось суфлировать каждое слово. «Холодно у вас?» — спросил я его. «Да, три градуса, но я пишу об Африке, об Испании — и согреваюсь!» — отвечал бравый старикан. Мы ходили осматривать Елисеевскую квартиру (наютую нами для Дома Искусств). Безвкусица оглушительная. Уборная m-me Е[лисеевой] вся расписана: морские волны, кораблекрушение. Множество каких-то гимнастических приборов, напоминающих орудия пытки. Блок ходил и с недоумением спрашивал: «А это для чего?» <...>

Блок очень впечатлителен и переимчив. Я недавно читал в коллегии доклад о том, что в 40-х г.г. писали: аплодисманы, мебели (мн[ожественное] ч[исло]) и т. д. Теперь в его статейке об Андрееве встретилось слово мебели (мн. ч.) и в отчете о заседании — «аплодисманы».

Не явились на открытие Дома Искусств: Федор Сологуб, Мережковский, Петров-Водкин. Мережковский в это время был у меня и спорил с Шатуновским⁴⁹. Очень, очень хочется мне помочь Анненкову, он ужасно нуждается. Он пишет портрет Тихонова за пуд белой муки, но Тихонов еще не дал ему этого пуда. По окончании заседания он позвал меня к себе, увел в другую комнату — и показал неоконченный акварельный портрет Шкловского (больше натуры — изумительно схвачено сложное выражение глаз и губ, присущее одному только Шкловскому)⁵⁰. Мне страшно вдруг захотелось, чтобы он докончил мой портрет. Я начал переделывать «Принципы худ. перевода», но вдруг заскучал и бросил.

21 ноября 1919 года. С. Ф. Ольденбург дал мне любопытную книгу «The Legend of Perseus» by E. Sidney Hartland*. Утром сегодня я проснулся, предвкушая блаженство: читать эту незатейливую, но увлекательную вещь; но нет огня, нет спичек, и я промучился около часу. Теперь даже понять не могу, почему мне так хотелось читать эту книгу.

23. Был у Кони. Бодр. Его недавно арестовали. Не жалуется. «Там (в арестантской) я встретил миссионера Айвазова — и мы сейчас же заспорили с ним о сектантах. Вся камера слушала наш ученый диспут. Очень забавно меня допрашивал какой-то мальчик лет шестнадцати. — Ваше имя, звание? — Говорю: академик. — Чем занимаетесь?.. — Профессор... — А разве это возможно? — Что? — Быть и профессором и академиком сразу. — Для вас, говорю, невозможно, а для меня возможно.

Старик забыл, что уже показывал мне стихи, которые были поднесены ему слушателями «Живого Слова», — и показал вновь.

Блок читал сценарий своей египетской пьесы (по Масперо)⁵¹. Мне понравилось — другим не очень. Тихон[ов] возражал: не пьеса, нет драматичности. Блок в объяснение говорил непонятное: у меня там выведен царь, который растет вот так, — и он начертил руками такую фигуру V; а потом пари стали расти вот так: Δ ... Очень забавен эпизод со стихами <...> служащему нашей конторы, Давиду Самойловичу Левину. Когда-то он снабдил Блока дровами, всех остальных обманул. Но и Блок и обманутые чувствуют какую-то надежду — авось придет еще дров. Теперь Левин завел альбом, и ему наперебой сочиняют стишки о дровах — Блок, Гумилев, Лернер. Блок сначала думал, что он Соломонович, — я сказал ему, что он Самойлович, Блок тайком вырвал страницу и написал вновь⁵².

* «Легенда о Персее» Е. Сиднея Хартланда (англ.).

Горький о Мережковском: он у меня, как фокстерьер, повис на горле — вцепился зубами и повис.

Я достал Гумилеву через Сазонова дров — получил от него во вр[емя] заседания такую записку [вклеена записка, почерк Н. Гумилева.— Е. Ч.]:

Дрова пришли, сажень, дивные. Вечная моя благодарность Вам. Пойду благодарить П. В.

Вечно Ваш Н. Г.

П. В.— это Петр Владимирович Сазонов, чуть ли не бывший пристав, который теперь в глазах писателей, художников и пр.— единственный источник света, тепла, красоты. Он состоит заведывающим Хозяйством ГлавАрхива — туда доставили дрова, он взял и распорядился направить их нам — в Дом Искусства. Какая нелепость, что Тихонов заведует там литературой, а я... театром.

24 ноября 1919. Вчера у Горького, на Кронверкском. У него Зиновьев. У подъезда меня поразил великолепный авто, на диван к-рого небрежно брошена роскошная медвежья полость. В прихожей я встретил Ольденбурга — он только что виделся с Зиновьевым. Я ждал, пока З. уедет (у Ходасевич), а потом пошел в столовую. Там печник ставил печку и ругал С[оветскую] Вл[асть] за то, что им — мобилизованным — третий месяц не дают жалования. «Вот погоди, пройдет тут Зиновьев, я ему скажу». З. прошел — толстый, невысокого роста.— Печник за ним в прихожую. «Гов. Зиновьев, а почему?..» Зин. отвечал сильным и сытым голосом. Печник воротился, торжествуя: «Я ведь никого не боюсь. Я самому велик. князю Влад. Алекс. ...»

[Горький] очень утомлен. Я сократил свой визит до минимума — и ушел к Тихонову — в квартиру его тестя — черт знает где! Там меня угостили необыкновенным обедом: вареное мясо, мясной суп, чай с сахаром, — и мы выработали программу заседания в Доме Искусств. <...> Сверяю письма Щедрина. Очень хочется писать статьи — о Блоке. Вчера написал новую версию Персея.

25 ноября. Особенность моей теперешней деятельности в том, что каждый день я начинаю какую-нб. новую работу и, не кончив, принимаюсь за следующую. Сейчас, напр., у меня на столе: редакция Гулливера (Полонской), редакция Диккенса в переводе Иринарха Введенского, список ста лучших книг для издательства Гржебина, Принципы худож. перевода, статья о письмах Щедрина к Некрасову, Докладная записка о Студии и т. д. и т. д.

27 [ноября]. Третьего дня заседание во «Всемирной». Горький — Марье Игнатьевне очень сурово: «И откуда у вас берется время заниматься такими пустяками (с очаровательной улыбкой), да! да! такими пустяками». (Оказывается, М. И. прислала к Горькому врача-хирурга, и тот нашел, что [Горькому] нужно лечь немедленно в постель. Теперь Горький благодарит М. И.— называя себя и свою болезнь пустяками). Заседание по историч. картинам. Амфитеатров читает свою пьесу о Ваське Буслаеве. Пьеса отличная — чуть ли не лучше всего, что написал Амфитеатров. Тихонов довольно бестактно делал старику замечания. Амфитеатров, читая, поглядывал украдкой на одного только Горького: прочтет удачное, выигрышное место и взглянет. Горький очень нежен с Ольденбургом — теперь у них медовый месяц. Ольденбург старается изо всех сил. После заседания «Всемир. Лит.» Горький с Ольденбургом уезжают в «Асторию» — в экипажке Горького. Потом я, Блок, Гумилев, Замятин и Лернер отправляемся в «комнату, где умывальник», — к машинисткам — и начинаем обсуждать программу ста лучших писателей. Гумилев представил импрессионистскую: включен Денис Давыдов (потому что гусар) и нет Никитина. Замятин примкнул к Гумилеву. Блок стоит на историч. точке зрения — и составил программу идеальную: она и свежа, и будоражит, в ней нет пошлости — и научна. Мы спорили долго. Гумилев говорит по поводу моей: это провинциальный музей, где есть папироса, которую курил Толстой, а самого Толстого нет. Я издевался над Гумилевской, но в глубине души уважал его очень: цельный человек. Вообще все заседание носило характер Гумилевской чистоты и наивности. Блок — со своей любовью к системе — изготовил несколько табличек: сколько поэтов, сколько прозаиков, какой процент юмористов и т. д. Я включил в свою программу модернистов: «К чему вы этих молодых людей включили?», «Я в этих молодых людях ничего не понимаю», — твердил Блок. Я наметил для Сологуба 2 тома. Блок: «Неужели Сологуб есть 1/50 всей русской литературы?» На следующий день (вчера) мы встретились на заседании «Дома Искусств», Блок продолжал: «Гумилев хочет дать только хорошее, абсолютное. Тогда нужно дать Пушкина, Лермонтова, Толстого, Достоевского». Я говорю: а,

Тютчева? «Ну что такое Тютчев? Коротко, мало, все-отрывочки. К тому же он немец, отвлеченный». Я взялся в Доме Иск. организовать Студию, Библиотеку, Детский Театр. И уже изнемог: всю ночь не спал — в темноте без свечи думал об этих вещах — а про литературу и забыл. Надо поскорее сбить с рук эти работы, а то захвораю от переутомления. На заседании Дворца был Мережковский, который говорил мне, кокетничая: «Ну и надоел я вам, воображаю. Я самому себе надоел в аспекте Чуковского. Надоел, надоел, не отрицайте. Надоел ужасно! Надоел! Но вы — добрый. Вот З. Н. (Гип.) не верит, что вы добрый, а я знаю, вы добрый, но насмешливый. Насмешливый и добрый!» — все это громко, за столом, вдохновенно.

28 ноября 1919. Я забыл записать, что при открытии Дома Искусств присутствовал С. Ольденбург. Я познакомил его с Немировичем-Данченкой. Ольденбург протянул ему руку, а потом отвел меня в сторону:

— Неужели он еще жив? Я думал, он давно умер!

Я почему-то рассердился. «Что ж, вы думаете, я их с того света выписываю? На кладбище посылаю им повестки?»

Я сейчас пишу о Принципах Перевода — вновь. К чему — не знаю. Вчера мы впервые собрались в новом помещении — мы, т. е. слушатели Студии. Дом Искусств их разочаровал. Они ожидали Бог знает чего.

29 ноября 1919 г. Горького посетила во Всем. Лит. Наталия Грушко⁵³ — и беседовала с ним наедине. Когда она ушла, Г[орький] сказал Марье Игнатьевне: «Черт их знает! Нет ни дров, ни света, ни хлеба, — а они как ни в чем не бывало — извольте!» Оказывается, что у Грушко на днях родилась девочка (или мальчик), и она пригласила Горького в крестные отцы... «Ведь это моя жена, — вы знаете? Как-то пришла бумага: „Разрешаю молочнице возить молоко жене Максима Горького — Наталье Грушко“!..» Блок написал пьесу о фараонах — Горький очень хвалил: «Только говорят они у вас слишком по-русски, надо немного вот так» (и он вытянул руки вбок — как древний Египтянин, — стилизовал свою нижегородскую физиономию под Анубиса) — нужно каждую фразу поставить в профиль. Было у нас заседание по программе для Гржебина. Горький говорил, что все нужно расширить: не сто книг, а двести пятьдесят. Впервые на заседании присутствовал Иванов-Разумник, <...> молчаливый, чужой. Блок очень хлопотал привлечь его на наши заседания. Я научил Блока — как это сделать: послать Горькому письмо. Он так и поступил. Теперь они явились на заседание вдвоем, — я отодвинулся и дал им возможность сесть рядом. И вот — чуть они вошли, — Г[орький] изменился, стал «кокетничать», «играть», «рассыпать перлы». Чувствовалось, что все говорится для нового человека. Г[орький] очень любит нового человека — и всякий раз при первых встречах волнуется романтически — это в нем наивно и мило. Но Ив.-Разумник оставался неподатлив и угрюм. — Потом заседание «Всем. Литературы» — а потом я, Тих<онов> (Боба сейчас читает на кухне былины. Он страшно любит былины — больше всех стихов.) и Замятин в трамвае — в «Дом Искусства». За столом — Бенуа, Добужинский, Ходасевич, Анненков, В. Н. Аргутинский⁵⁴. Мы устроили свое заседание в комнатке прислуги при кухне. Я безумно хотел есть, но после заседания пошел все же пешком к Сазонову, — тот лежит больной — и оттуда через силу домой. От усталости — почти не спал. Вертятся в голове разные планы и мысли — ни к чему, беспомощно, отрывочно.

30 ноября. Воскресение. Сажу при огарке и пишу об Иринархе Введенском. Для «Принципов худ. перевода».

Блок, когда ему сказали, что его египтяне в «Рамзесе» говорят слишком развязно, слишком по-русски, — сказал: «Я боюсь книжности своих писаний. Я боюсь своей книжности». Как странно — его вещи производят впечатление дневника, — раздавленных книшек. А он — книжность! Устраиваю библиотеку для «Дома Искусств». С этой целью был вчера с Колей в Книжном Фонде — ах, как там холодно, хламно, безнадежно. Конфискованные книги, сваленные в глупую кучу, по которой бродит, как птица, озябшая дева, и клоует — там книжку, здесь книжку, и складывает в другую кучу. Она в валенках, в пальто, в перчатках. Начальник девицы — Иван Иванович, в запачканной летней шляпе (фетровой с полями), с красным носиком — медленный и, кажется, очень честный. Когда я спросил, не найдется ли у них для Студии Поттебня или Веселовский, он сказал:

— Нашелся бы, если бы Алексей Павлович не интересовался этими книгами. Алексей Павлович (Кудрявцев), Комиссар Библиотечной Комиссии, — вор и пьяница — я сам видел, как в книжной лавке на Литейном какой-то букинист совал ему из-за прилавка,

бутылку; у меня Кудрявцев зажег сахар — на два дня — и до сих пор не отдал. Те книги, которыми он интересуется, попадают к нему — в его собственную библиотеку.

В Фонде порядки странные. Книги там складываются по алфавиту — и если какая-нб. частная библиотека просит книги, ей дают *какую-нибудь* букву. Я сам слышал, как там говорили:

— Дай пекарям букву Г.

Это значит, что библиотека пекарей получит Григоровича, Григорьева, Герцена, Гончарова, Гербеля — но не Пушкина, не Толстого. Я подумал: спасибо, что не фиту.

3 декабря 1919 г. <...> Вчера день сплошного заседания. Начало ровно в час — о программе для Гржебина. Опять присутствует Иванов-Разумник. Я пришел, Горький уже был на месте. Когда мы заговорили о Слепцове, Горький рассказал, как Толстой читал один рассказ Слепцова — и сказал: это (сцена на печи) похоже на моего Поликушку, только у меня похуже будет. Одно только Толстому не нравилось: «стеженное одеяло», Толстой страшно ругался⁵⁵. Когда мы заговорили о Загоскине и Лажечникове — Горький сказал: «Не люблю. Плохие Вальтер Скотты». Опять он поражал меня doskonaльным знанием отечественной словесности. Когда зашла речь о Вельтмане, он сказал: а вы читали Софью Вельтман, жену романиста? Замечательный роман в «Отеч. Зап.» — с огромным знанием эпохи — в 50-х гг. издан⁵⁶. Блок представил список, очень подробный, по годам рождения — и не спорил, когда, напр., Дельвига из второй очереди перевели в первую. Во время чтения программы Иванова-Разумника произошел инцидент Ив.-Раз. сказал: «Одну книжку — бывшим акмеистам». Гум<илев> попросил слова по личному поводу и спросил надменно: кого именно Ив.-Раз. считает бывшими акмеистами? Разумник ответил: вас, С. Городецкого и друг. — Нет, мы не бывшие, мы... Я потушил эту схватку. В начале заседания по Картинам (Ольденбург не пришел) Горький с просветленным и сконфуженным лицом сказал Блоку:

— Александр Александрович! Сын рассказывает — послушайте — приехал в Москву офицер — сунулся на квартиру к одной даме — откровенно: я офицер, был с Деникиным, не дадите ли приюта? — Пожалуйста! — Живет он у нее десять дней, вступил в близкие с ней отношения, все как следует, а потом та предложила ему: не собрать ли еще других деникинцев? — Пожалуй, собери, потолкуем. Сошлось человек двадцать, он сделал им доклад о положении дел у Деникина, а потом вынул револьвер, — руки вверх — и всех арестовал и доставил начальству. Оказывается, он и вправду б[ывший] деникинец, теперь давно перешел на сторону Сов. Вл. и вот теперь занимается спортом. Недурно, а? Неглупо, не правда ли?

4 декабря. Память у Горького выше всех других его умственных способностей. — Способность логически рассуждать у него мизерна, способность к научным обобщениям меньше, чем у всякого 14-летнего мальчика. <...>

6 декабря. О, как холодно в Публичной Библиотеке. Я взял вчера несколько книг: Мандельштама «О стиле Гоголя», «Наши» (альманах), стихи Востокова — и должен был расписаться на квитках: прикосновение к ледяной бумаге ощущалось так, словно я писал на раскаленной плите. <...>

7 декабря. Вчера в «Доме Искусств» — скандал. Бенуа восстал против картин, которые собрал для аукциона Сазонов. Бенуа забраковал конфетные изделия каких-то ублюдков — и Сазонов в ужасе. «У нас лавочка, а не выставка картин. Мы не воспитываем публику, а покупаем и продаем», Бенуа грозит выйти в отставку. <...>

Третьего дня — Блок и Гумилев — в зале заседаний — сидя друг против друга — внезапно заспорили о символизме и акмеизме. Очень умно и глубоко. Я любовался обоими. Гумилев: символисты в большинстве аферисты. Специалисты по прозрениям в нездешнее. Взяли гирию, написали 10 пудов, но выдолбили всю середину. И вот швыряют гирию и так и сяк. А она пуста.

Блок осторожно, словно к чему-то в себе прислушиваясь, однотонно: «Но ведь это делают все последователи и подражатели — во всех течениях. Но вообще — вы как-то не так: то, что вы говорите, — для меня не русское. Это можно очень хорошо сказать по-французски. Вы как-то слишком литератор. Я — на все смотрю сквозь политику, общественность»...

Чем больше я наблюдаю Блока, тем яснее мне становится, что к 50 годам он бросит стихи и будет писать что-то публицистико-художественно-пророческое (в духе «Дневника Писателя»). — Иванова-Разумника на нашем Гржебинском заседании не было: его, кажется, взяли в солдаты. Мы составили большой и гармонический список. Блок настоял на том, чтобы выкинули Кольцова и включили Аполлона Григорьева.

Я говорил Блоку о том, что если в 16—20 лет меня спросили: кто выше, Шекспир или Чехов, я ответил бы: Чехов. Он сказал: для меня было то же самое с Фетом. Ах, какой Фет! И Полонский! И стал читать наизусть Полонского. На театральное заседание Горький привел каких-то своих людей: некоего Андреева, с которым он на ты, режиссера Лаврентьева — оказывается, нам предоставляют Театр «Спартак». Прибыл комиссар красноармейских театров — который, насколько не смущаясь присутствием Горького, курия, произнес речь о темной массе красноармейцев, коих мы должны просвещать. В кажд[ом] предложении у него было несколько «значит». «Значит, товарищи, мы покажем им Канто-Лапласовское учение о мироздании». Видно по всему, что был телеграфистом, читающим «Вестник Знания». И я вспомнил другого такого агитатора — перед пьесой «Разбойники» в Большом Драматическом он сказал:

— Товарищи, русский писатель, Гоголь, товарищи, сказал, что Россия — это тройка, товарищи. Россия — это тройка, товарищи,— и везут эту тройку, товарищи,— крестьяне, кормильцы революционных городов, товарищи, рабочие, создавшие революцию, товарищи, и, товарищи,— вы, дорогие красноармейцы, товарищи. Так сказать, Гоголь, товарищи, великий русский революционный писатель земли русской (*не деляя паузы*), товарищи, курить в театре строго воспрещается, а кто хочет курить, товарищи, выходи в коридор.

Я написал сейчас письмо Андрею Белому. Зову его в Петербург.

9 декабря. Сейчас было десять заседаний подряд. Вчера я получил прелестные стихи от Блока о розе, капусте и Брюсове⁵⁷ — очень меня обрадовавшие.

На заседание о картинах Горький принес «Шута» — юмористический журнал. Замятин сказал: у русских мало юмора. Горький: «Что вы! Русские такие юмористы! Сейчас знакомая учительница мне рассказывала, что в ее школе одна девочка выиграла в перышки 16.000. Это ли не юмор!» <...>

Сегодня я впервые заметил, что Блок ко мне благоволил. Когда на заседании о картинах я сказал, что пятистопный ямб не годится для трагедии из еврейск[ой] жизни, что пятистопн. ямб — это эсперанто, он сказал: «Мудрое замечание». Сообщил мне, что в его шуточном послании ко мне строчку о Брюсове сочинила его жена — «лучшую, в сущности, строчку»⁵⁸. В «Двенадцати» у нее тоже есть строка:

«Шоколад миньон жрала».

Я спросил, а как же было прежде? «А прежде было худо: Юбкой улицу мела. А у них ведь юбки короткие».

Мои денежные дела ужасны, и спасти меня может только чудо.

11 д[екабря]. Вторую ночь не заснул ни на миг — но голова работает отлично — сделала открытие (?) о дактилизации рус. слов — и это во многом осветило для меня поэзию Некрасова. Вчера было третье заседание Дома Искусств. Блок принес мне в подарок для Чукоккалы — новое стихотворение: пародию на Брюсова — отличное⁵⁹. Был Мережковский. Он в будущий четв. едет вон из Петербурга — помолодел, подтянулся, горит, шепчет, говорит вдохновенно: «Все, все устроено до ниточки, мы жидов подкупили, мы... А Дмитрий Влад.— бездарный, он нас погубит, у него походка белогвардейская... А тов. Капун дал мне паек — прегнусный — хотя и сахар и хлеб — но хочет, чтобы я читал красноармейцам о Гоголе...» Я спросил: почему же и не читать? Ведь полезно, чтобы красноармейцы знали о Гоголе. «Нет, нет, вы положительно волна... Я вам напишу... Ведь не могу же я сказать красноармейцам о Гоголе-христианине... а без этого какой же Гоголь?» Тут подошел Немирович-Данченко и спросил Мережк. в упор, громко: ну что? Когда вы едете? Тот засуетился... — Тш... тш... Никуда я не еду! Разве можно при людях! — Немирович отошел прочь.

— Видите, старик тоже хочет к нам примазаться. Ни за что... Боже сохрани. У нас теперь обратная конспирация: никто не верит, что мы едем! Мы столько всем говорили, болтали, что уже никто не верит... Ну если не удастся, мы вернемся, и я пущусь во все тяжкие. Буду лекции читать — «Пол и религия» — «Тайна двоих» — не душно ведь заглавие? а? Это как раз то, что им нужно...

Не дождавшись начала заседания — бойкий богоносец упорхнул. На заседании Нерадовский нарисовал в Чукоккалу — Александра Бенуа, а Яремич — Немировича⁶⁰. Когда мы обсуждали, какую устроить вечеринку, Блок сказал:

— Нужно — цыганские песни.

15 декабря. <...> Вчера Полонская рассказывала мне, что ее сын, услышав песню:

Мы дадим тебе конфет,
Чаю с сухарями,—

запел: «Мы дадим тебе конфет, чаю с сахарином» — думая, что повторяет услышанное. Был вчера на «Конференции Пролетарских Поэтов», к-рых, видит Бог, я в идее люблю. Но в натуре это было так пошло, непроходимо нагло, что я демонстративно ушел — хотя имел право на обед, хлеб и чай. Ну его к черту, с обедом! Вышел какой-то дубино-подобный мужчина (из породы Степанов — похож на вышибалу; такие также бывают корректора, земские статистики) стал гвоздить: «Буржуазный актер не понимает наших страданий, не знает наших печалей и радостей — он нам только вреден (это Шалаяпин-то вреден); мы должны сами создать актеров, и они есть, товарищи, я, например...» А сам бездарен, как голенище. И все эти бездарности, пошлые фразеры, кропатели казенных клише аплодировали. Это было им по нутру. Подумать, что у этих людей был Серов, Чехов, Блок.

Потом в Дом Искусств. Пришли Шкловитяне. Я предоставил им теплое, прекрасное, освещенное помещение, выхлопотал для лектора вознаграждение — и вот они впервые появились тут. «А что, есть буфет? Не дадут ли чего поесть? А это пианино — нельзя ли поиграть?» Я ушел домой опечаленный. Днем у меня б[ыл] Мережковский в шубе и шапке, но легкий, как перышко. «Еврей уехали, нас не дождавшись. А как мы уедем не в спальном вагоне. Ведь для З. Н. это смерть». Похоже, что он очень хотел бы, если бы встретилось какое-нб. непреодолимое препятствие, мешающее ему выехать. — Я опять не спал всю ночь — и чувствую себя знакомо-гадко.

1920

2 января. Две недели полуболен, полусплю. Жизнь моя стала фантастическая. Так как ни писания, ни заседания никаких средств к жизни не дают, я сделался перипатетиком: бегу по комиссарам и ловлю паек. Иногда мне из милости подарят селедку, коробку спичек, фунт хлеба — я не ощущаю никакого унижения и всегда с радостью — как самец в гнездо — бегу на Манежный, к птенцам, неся на плече добычу. Источники пропитания у меня такие: Каплун, Пучков, Горохр и т. д. Начну с Каплуна¹. Это приятный — с деликатными манерами, тихим голосом, левыми жестами — молодой савонник, Склонен к полоте, к брюшку, к хорошей барской жизни. Обитает в покоях министра Сазонова². У него имеется сытый породистый пес, который ступает по коврам походкой своего хозяина. Со мной Каплун говорит милостиво, благовоительно. У его двери сидит барышня-секретарша, типичная комиссариатская тварь, тупая, самознательная, но под стать принципалу: с тем же тяготением к барству, шку, high life'у*. Ногти у нее лощенные, на столе цветы, шубка с мягким ласковым большим воротником, и говорит она так:

— Представьте, какой ужас, — моя портниха...

Словом, еще два года — и эти пролетарии сами попросят — ресторанов, кокоток, поваров, Монте-Карло, биржу и пр., и пр., и пр. Каплун предложил мне заведовать просветительным отделом — Театра Городской Охраны (Горохр). Это на Троицкой. Я пошел туда с Анненковым. Холод в театре звериный. На все здание — одна теплушка. Там и рабочие, и Кондрат Яковлев, и бабы — пришедшие в кооператив за провизией. Я сказал, что хочу просвещать милиционеров (и вправду хочу). Мне сказали: не беспокойтесь — жалованье вы будете получать с завтрашнего дня, а просвещать не торопитесь, и когда я сказал, что действительно, на сам[ом] деле хочу давать уроки и вообще работать, — на меня воззрился с изумлением.

Пучков — честолюбив, студентообразен, б[ывший] футурист, в кожаной куртке, суетлив, делает 40 дел сразу, не кончает ни одного, кокетничает своей энергичностью, — голос изумительно похож на Леонида Андреева.

3 января. Вчера взял Женю (нашу милую служаночку, которую я нежно люблю, — она такая кроткая, деликатная, деятельная, опора всей семьи: ее мог бы изобразить Диккенс или Толстой) — она взяла сани, и мы пошли за обещанной провизией к тов. Пучкову. Я протрадал в коридоре часа три — и никакой провизии не получил: кооператив заперт. Я — к Каплуу. Он принял радушно — но поговорить с ним не б[ыло] возможности — он входил в кабинет к Равич и выходил ежеминутно. Вот он подошел к телефону: это вы, тов. Бакаев? Иван Петрович? Нельзя ли нам получить то, о чем мы говорили? С белыми головками? Шалаяпин очень просит, чтобы с белыми головками... Я знаю, что у вас опечатано три ящика (на Потемкинской, 3), велите распечатать. Скажите, что для лечебных целей...

* Великосветской жизни (англ.).

Мережковские уехали. Провожал их на вокзал Миша Слонимский. Говорит, что их отъезд был сплошное страдание. Раньше всего толпа оттеснила их к разным вагонам — разделила. Они потеряли чемоданы. До последней минуты они не могли попасть в вагоны... Мережк. кричал:

— Я член совета... Я из Смольного!

Но и это не помогало. Потом он взвизгнул: «Шуба!» — у него, очевидно, в толпе срывали шубу.

Вчера Блок сказал: «Прежде матросы б[ыли] в стиле Маяковского. Теперь их стиль — Игорь Северянин». Это глубоко верно. Вчера в Доме Искусств был диспут «о будущем искусстве», — но я туда не пошел: измучен, голоден, небрит.

Рождество 1920 г. (т. е. 1919, ибо теперь 7^{ое} января 1920). Конечно, не спал всю ночь. Луна светила как бешеная. Сочельник провел у Даниила Гессена (из Балтфлота) в Астории. У Гессена прелестные, миндалевидные глаза, очень молодая жена и балт-флотский паек. Угощение на славу, хотя — на пятерых — две вилки, чай заваривали в кувшине для умывания и т. д. <...>

Я весь поглощен дактилическими окончаниями, но сколько вещей между мною и ими: Машины роды, ежесекундное безденежье, безхлебье, бездровье, бессонница, Всемирная Литература, Секция Историч. Картин, Студия, Дом Искусств и проч., и проч., и проч.

Поразительную вещь устроили дети: оказывается, они в течение месяца копили кусочки хлеба, которые давали им [в] гимназии, сушили их — и вот, изготовив белые фунтики с наклеенными картинками, набили эти фунтики сухарями и разложили их под елкой — как подарки родителям! Дети, которые готовят к Рождеству сюрприз для отца и матери! Не хватает еще, чтобы они убедили нас, что все это дело Санта Клауса! В следующем году выставлю у кровати чулок! В довершение этого, à rebours*, наша Женя, коей мы по бедности не сделали к Рождеству никакого подарка, поднесла Лиде, Коле и Бобе — шерстяные вытиралки для перьев — собственного изготовления — и перья.

2-й день Рождества 1920 г. я провел не дома. Утром в 11 ч. побежал к Лунач., он приехал на неск. дней и остановился в Зимнем Дворце; мне нужно было попасть к 11½, и потому я бежал с тяжелым портфелем. Бегу — смотрю, рядом со мною красноты, запыхавшаяся, потная, с распущенными косами девица в каракулевом пальто на красной подкладке. Куда она бежала, не знаю, но мы проскакали рядом с нею, как кони, до Пролеткульта. Луначарского я пригласил в Дом Искусств — он милостиво согласился. Оттуда я пошел в Дом Искусств, занимался — и вечером в 4 часа — к Горькому. В комнате на Кронверском темно — топится печка — Горький, Марья Игнатьевна, Ив. Николаевич и Крючков³ сумерничают. Я спросил: «Ну что, как вам понравился американец?» (Я послал к нему американца.) «Ничего, человек действительно очень высокий, но глупый». Возится с печью и говорит сам себе: «Глубокоуважаемый Алексей Максимович, позвольте вас предупредить, что Вы обожгетесь... Вот, К. И., пусть Федор (Шалапин) расскажет вам, как мы одного гофмейстера в молоке купали. Он, понимаете, лежит читает, а мы взяли крынки — и льем. Он очнулся — весь в молоке. А потом поехали купаться в чельне, я предусмотрительно вынул пробки, и на середине реки стали погружаться в воду. Гофмейстер просит, нельзя ли ему выстрелить из ружья. Мы позволили...» Помолчал. «Смешно Лунач. рассказывал, к[а]к в Москве мальчики товарища съели. Зарезали и съели. Долго резали. Наконец один догадался: его за ухом резать нужно. Перерезали сонную артерию — и стали варить! Очень аппетитно Луначарский рассказывал. Со вкусом. А вот в прошлом году муж зарезал жену, это я понимаю. Почтово-телеграфный чиновник. Они очень умные, почтово-телеграфные чиновники. 4 года жил с нею, на пятый съел. — Я, говорит, давно думал о том, что у нее тело должно быть очень вкусное. Ударил по голове — и отрезал кусочек. Ел он ее неделю, а потом — запах. Мясо стало портиться. Соседи пришли, но нашли одни кости да порченное мясо. Вот видите, Марья Игнатьевна, какие вы, женщины, нехорошие. Портитесь даже после смерти. По-моему, теперь очередь за Марьей Валентиновной (Шалапиной). Я смотрю на нее и облизываюсь». «А вторая — вы, — сказала Марья Игнатьевна Ив. Никол. — Я уже давно высмотрел у вас четыре вкусных кусочка». «Какие же у меня кусочки?» — наивничала Марья Игнатьевна. <...>

11 янв., воскресенье. У Бобы была в гостях Наташенька Жуховецкая. Они на диване играли в «жаркое». Сначала он жарил ее, она шипела ш-ш-ш, потом она его и т. д. Вдруг он ее поцеловал. Она рассердилась:

* Напротив (франц.).

— Зачем ты меня целуешь жареную? <...>

17 янв. Сейчас Боба вбежал в комнату с двумя картофелинами и, размахивая ими, сказал: «Папа, сегодня один мальчик сказал мне такие стихи: нету хлеба — нет муки, не дают большевики. Нету хл[еба] — нету масла, электричество погасло». Стукнул картофелинами — и упорхнул.

19 янв. 1920. <...> Вчера — у Анны Ахматовой. Она и Шилейко⁴ в одной большой комнате, — за ширмами кровать. В комнате сыровато, холодно, книги на полу. У Ахматовой крикливый, резкий голос, как будто она говорит со мною по телефону. Глаза иногда кажутся слепыми. К Шилейке ласково — иногда подходит и ото лба отметаёт волосы. Он зовет ее Аничка. Она его Володя. С гордостью рассказывала, как он переводит стихами — à l'ivge ouvert* — целую балладу — диктует ей прямо набело! «А потом впадает в лунатизм». Я заговорил о Гумилеве: как ужасно он перевел Кольриджа «Старого Моряка». Она: «А разве вы не знали? Ужасный переводчик». Это уже не первый раз она подхватывает дурное о Гумилеве. Вчера утром звонит ко мне Ник. Оцуп: нельзя ли узнать у Горького, расстрелян ли Павел Авдеич (его брат). Я позвонил, подошла Марья Игнатьевна. «Да, да, К. И., он расстрелян». Мне очень трудно было сообщить об этом Ник. Авд[еи]чу, но я в конце концов сообщил. <...>

25 января. Толки о снятии блокады⁵. Боба (больной) рассказывает: вошла 5-летняя девочка Альпер и сказала Наташеньке Жуховецкой:

— Знаешь, облака сняли.

— А как же дождик?

Лида спросила Наташу: из чего делают хлеб? — Из рожки.

Мороз ужасный. Дома неуютно. Сварливо. Вечером я надел два жилета, два пиджака и пошел к Анне Ахматовой. Она была мила. Шилейко лежит больной. У него плеврит. Оказывается, Ахматова знает П[у]шк[ина] наизубок — сообщила мне подробно, где он жил. Цитирует его письма, варианты. Но сегодня она б[ыла] чуть-чуть светская барыня; говорила о модах: а вдруг в Европе за это время юбки длинные или носят воланы. Мы ведь остановились в 1916 году — на моде 1916 года.

8 февраля. <...> Моя неделя слагается теперь так. В *понедельник* лекция в Балтфлоте, во *вторник* — заседание с Горьким по секции картин, заседание по «Всемирной Лит.», лекция в Горохре; в *среду* лекция в Пролеткульте, в *четверг* — вечеринка в Студии, в *пятницу* — заседание по секции картин, по Всемирной Литер., по лекции в Доме Искусств.

Завтра, кроме Балтфлота, я читаю также в Доме Искусств.

9 февраля. Это нужно записать. Вчера у нас должно было быть заседание по Гржебинскому изданию классиков. Мы условились с Горьким, что я приду к Гржебину в три часа и он (Горький) придет за нами своего рысака. Прихожу к Гржебину, а у него в вестибюле внизу, возле комнаты швейцара сидит Горьк., молодой, синеглазый, в серой шапке, красивый. «Был у Константина Пятницкого⁶... Он тифом сыпным заболел — его обрили... очень смешной... в больнице грязь буграми... сволочи.. Доктор говорит: это не мое дело...» Потом мы сели на лихача и поехали — я на облучке. Марья Игн. Бенкендорф окончательно поселилась у Горького — они в страшной дружбе — у них установились игриво-полемические отношения, — она шутя бьет его по рукам, он говорит: ай-ай-ай, как она дерется! — словом, ей отвели на Кронверкском комнату, и она переехала туда со всеми своими предками (портретами Бенкендорфов и... забыл, чьими еще). На собрании были Замятин, Гржебин, Горький, Лернер, Гумилев и я — но так как 1) больному Пятницкому нужно вино и 2) Гумилеву нужны дрова, мы с Гум. отправились к Каплуна в Упр. Советов. Этот вельможа тотчас же предоставил нам бутылку вина (я, конечно, не прикоснулся) и дивное, дивное печенье. Рассказывал, к[а]к он борется с проституцией, устраивает бани и т. д. — а мне казалось, что я у помощника градоначальника и что сейчас войдет пристав и скажет:

— Привели арестованных студентов, что с ними делать?

Нашел у Капуна книгу Мережковского — с очень льстивой и подобоострастной надписью... Гумилев один вылакал всю большую бутылку вина — очень раскис. <...>

12 февраля. Описать бы мой вчерашний день — типический Ночь. У Марья Борисовны жар, испанская болезнь, ноги распухли, родов ждем с секунды на секунду. Я встаю — занимаюсь былинами, так как в понед. у меня в Балтфлоте лекция о былинах.

* С листа (франц.).

Читаю предисловие Сперанского к изд. Сабашникова, делаю выписки. Потом бегу в холодную комнату к телефону и звоню в телефон Каплуна, в Горохр, в Политотдел Балтфлота и ко множеству людей, нисколько не похожих на Илью Муромца. Воды в кране нет, дрова нужно пилить, приходит какой-то лысый (по виду спекулянт), просит устроить командировку, звонит г-жа Сахár: нет ли возможности достать от Горького письмо для выезда в Швейцарию; звонит Штейн, нельзя ли спасти библиотеку уехавшего Гессена⁷ (и я действительно спасал ее, сражался за каждую книжку), и т. д. Читаю работы студистов об Ахматовой.

Где-то как далекая мечта — мерещится день, когда я мог бы почитать книжку для себя самого или просто посидеть с детьми... В три часа суп и картошка — и бегом во Всемирную. Там заседание писателей, коих я хочу объединить в *Подвижной Университет*. Пришли Амфитеатров, обросший бородой, Волинский, Лернер — и вообще шпанка. Все нескладно и глупо. Явился на 5 мин. Горький и, когда мы попросили его сообщить его взгляды на это дело, сказал: «Нужно читать просто... да, просто... Ведь все это дети — миллионеры, матросы и т. д.». Шкловский заговорил о том, что нужны школы грамоты, нужно, чтобы и мы преподавали грамоту... Штрайх⁸ (сам малограмотный) заявил, что он — арабская лошадь и не желает возить воду. И все признали себя арабскими лошадьми. Оттуда к Ахматовой (бегом), у меня нет «Четок», а я хотел читать о «Четках» в Пролеткульте. От Ахматовой (бегом) в Пролеткульт. Какой ветер, какие высокие безжалостные лестницы в Пролеткульте! Там читал каким-то замухрышкой и горничным об Анне Ахматовой — слушали, кажется, хорошо — и оттуда (бегом) к Каплуна на Дворцовую площадь. Его нету, я опоздал, он уже у Горького. Иду к его сестре и ем хлеб, к-рый мне дал Самобытник, пролетарский поэт. Хлеб оказывается зацветший, меня тошнит. Я прошу прислать от Горького автомобиль Каплуна. Через несколько минут является мальчишка и говорит: тут писатель, за которым послал Капун? Тут. Сейчас шофер звонил по телефону, просил сообщить, что он запоздает, так к[а]к он по дороге раздавил ж[енщи]ну. «Опять?» — говорит сестра Каплуна. Через несколько минут шофер приезжает. «Насмерть?» — «Насмерть!» Я еду к Горькому. От голода у меня мутится голова, я почти в обмороке. У Горьк. в двух комнатах заседания — и он ходит из комнаты в комнату, словно шахматист, играющий одновременно несколько партий. Потом оба заседания соединяются. Профессора и — мы. Среди профессоров сидит некто черненкокий, который с пятого слова говорит Наркомпрос, Наркомпрос, Наркомпрос. «К черту Наркомпрос!» — рычу я и ни с того ни с сего ругаю это учреждение. Потом оказывается, что это и есть Наркомпрос — Зеликсон, тот самый, коего мы очень боимся, хотели бы всячески задобрить и т. д. Я так и похолодел. Возвращаюсь около часу ночи домой — М. Б. худо, вся в поту, не спит ночей пять, голова болит очень, просит шерстяной платок. Ложусь и, конечно, не сплю. Вскакиваю утром — Женя замучена, у меня пальцы холодные, иду пилить дрова.

КОММЕНТАРИИ

Свой дневник Чуковский вел почти семьдесят лет — с 1901 по 1969 год. Сохранилось 29 тетрадей с дневниковыми записями. Дневник писался весьма неравномерно — иногда чуть не каждый день, иногда с интервалом в несколько месяцев или даже в целый год. По виду дневниковых тетрадей ясно, что их автор не раз перечитывал свои записи: во многих тетрадях вырваны страницы, на некоторых листах отмечено красным и синим карандашом — Горький, Репин, Блок. Очевидно, Чуковский пользовался своими записями, когда работал над воспоминаниями.

В 20-е годы было трудно с бумагой, и автор дневника писал на оборотах чужих писем, на отдельных листках, которые потом вклеивал в тетрадку. В дневниковых тетрадях наклеены фотографии лондонских улиц, письма, газетные вырезки, встречаются беглые зарисовки.

После кончины Чуковского, в начале 70-х годов дневник был полностью перепечатан и сверен с оригиналом. К нему был составлен подробный именной указатель. В перепечатанном виде дневник насчитывает 2500 страниц.

В этой публикации даны записи за период 1918—1923. Некоторые из этих записей об известных писателях уже появились в журналах. Однако в настоящей публикации дневник Чуковского впервые дается день за днем, без того, чтобы отбирать какую-нибудь одну тему, отбрасывая остальные. Сделанные сокращения, которые указаны отточьями в угловых скобках, касаются только записей, не имеющих общего интереса. Все литературные события и оценки, взгляды автора, зарисовки быта тех лет даны без каких-либо купюр. Журнальный вариант дневника за 1921—1923 годы совпадает с тем, что будет опубликовано в книге, подготовляемой в «Советском писателе» Дневник за 1924—1925 годы предполагает напечатать ленинградский журнал «Звезда» в № 10 и № 11 за 1990 год.

Основное содержание дневника — литературные события, впечатления от читаемых книг, от разговоров с писателями, художниками, артистами. Прав был Зоценко, написавший в 1934 году в «Чуковнале»: «Наибольше всего завидую, Корней Иванович, тем Вашим читателям, которые лет через 50 будут читать Ваши дневники и весь этот Ваш замечательный материал». Действительно, дневник Чуковского богат описаниями событий и лиц, оставивших след в нашей литературе.

Время предоставило возможность сопоставить записи Чуковского с «Дневником» Блока, с воспоминаниями и дневниками других очевидцев. Сопоставление это показывает, что Чуковский неизменно точен в передаче фактов, слов, интонаций. Можно указать множество дословных совпадений записей в дневнике Чуковского со статьями, дневниками, воспоминаниями других участников тех же событий. Таков, например, записанный Чуковским рассказ Горького о том, что Льву Толстому не нравилось выражение «стеженное одеяло». Этот рассказ впоследствии вошел в воспоминания Горького о Толстом.

Составленный комментарий далеко не исчерпывает возможности. Напротив, он содержит некоторые явные пробелы, касающиеся утраченных реальных 20-х годов. Это обусловлено тем, что только сейчас начинают открывать архивы и спецхраны, начинают вводить в литературу имена, десятилетиями находившиеся под запретом. Время безусловно внесет необходимые дополнения.

В комментарии широко использован биобиблиографический указатель «Корней Иванович Чуковский» (Л. 1984), составленный Д. А. Берман, а также неопубликованные документы из архива Чуковского.

Тексты дневника заново сверены с рукописью. Рукопись дневника хранится у меня. Нумерация примечаний дается каждый раз в пределах одного года.

Пользуюсь возможностью поблагодарить К. И. Лозовскую, секретаря К. И. Чуковского, за участие в многолетнем труде по подготовке дневника к печати. Благодарю Л. А. Абрамову за помощь, а также Д. Г. Юрасова за сведения о репрессированных лицах.

1918

¹ Г р ж е б и н Зиновий Исаевич (1869—1929) — художник, издатель.

² Перечислены министры народного просвещения: К а с с о Лев Аристович (1865—1914); Б о г о л е п о в Николай Павлович (1846—1901); Г о л с т о й Дмитрий Андреевич (1823—1889).

³ О ц у п Николай Авдиевич (1894—1959) — поэт.

⁴ Л е б е д е в - П о л я н с к и й Павел Иванович (1881—1948) — в 1917—1919 годах правительственный комиссар литературно-издательского отдела Наркомпроса. В 1921—1930 годах начальник Главлита.

⁵ И о н о в (Бернштейн) Илья Ионович (1887—1942) — заведующий петроградским отделением Госиздата; брат З. И. Лилиной, жены Г. Е. Зиновьева.

⁶ Т и х о н о в (Серебров) Александр Николаевич (1880—1956) — издательский деятель.

⁷ Интересно сопоставить запись Чуковского с воспоминаниями З. Н. Гиппиус об этой встрече с А. Блоком. Оба текста совпадают иногда дословно. Ср.: Судьба Блока. По документам, воспоминаниям, письмам, заметкам, дневникам, статьям и другим материалам составили О. Немеровская и Ц. Вольпе. Л. 1930, стр. 224.

⁸ Речь идет о подготовке изданий, впоследствии выпущенных «Всемирной литературой» под редакцией и с предисловиями К. Чуковского: Р. Хаггард, «Копи царя Соломона» (1922); М. Твен, «Приключения Тома» (1919); О. Уайльд, «„Счастливым принц“ и другие сказки» (1920).

⁹ Можно предположить, что «Декларация» Гумилева близка по содержанию к его статье «Переводы стихотворные» в сборнике «Принципы художественного перевода» (Пб. 1919), изданном в качестве пособия для переводчиков «Всемирной литературы».

¹⁰ П у н и Иван Альбертович (1894—1956) — художник.

¹¹ «Tale of two Cities» (англ.) — см.: Ч. Диккенс. Повесть о двух городах. Перевод Е. Бекетовой. Вступительная статья К. Чуковского. Пб. «Всемирная литература». 1919; «Саломея» — пьеса О. Уайльда; доклад о принципах прозаич. перевода — см. «Переводы прозаические» в сборнике «Принципы художественного перевода»; введение в историю англ. литературы, по-видимому, написано не было.

1919

¹ М а н у х и н Иван Иванович (1882—1930) — врач.

² Из г о е в (псевдоним Александра Соломоновича Ланде, 1872—1935) — публицист.

³ С л ё з к и н Юрий Львович (1885—1947) — писатель; Н е м и р о в и ч - Д а н ч е н к о Василий Иванович (1844—1936) — писатель; Э й з е н Илья Моисеевич — журналист.

⁴ А й з м а н Давид Яковлевич (1869—1922) — писатель, журналист.

⁵ Б е н к е н д о р ф (Будберг) Мария Игнатьевна (1892—1974) — переводчица. Подробнее о ней см.: Н. Верберова, «Железная женщина» («Дружба народов», 1989, № 8—12).

⁶ В а т с о н Мария Валентиновна (1853—1932) — переводчица, поэтесса, невеста поэта С. Я. Надсона.

⁷ А р а б а ж и н Константин Иванович (1866—1929) — критик, историк литературы, с 1918 года жил в Хельсинки, издавал газету «Русский голос».

⁸ Ц е н з о р Дмитрий Михайлович (1877—1947) — поэт; Д о л и н о в Михаил Анатольевич (1891—1936) — поэт. ...рецензии о поэзии Цензора, Георгия Ива-

нова и Долинова — см.: А. Блок. Собрание сочинений в 8 томах. М.-Л. 1962, т. 6, стр. 333.

⁹ Гринберг Захарий Григорьевич (1889—1949, умер в лагере) — работник Наркомпроса.

¹⁰ ...читал о переводах Гейне... — см. «Гейне в России» (А. Блок. Собрание сочинений в 8 томах, т. 6, стр. 116).

¹¹ Запись Чуковского интересно сопоставить с записью в «Дневнике» Блока, сделанной тогда же и о том же заседании (см.: А. Блок. Собрание сочинений в 8 томах. 1963, т. 7, стр. 355).

¹² Волынский Аким (псевдоним Акима Львовича Флексера, 1863—1926) — критик.

¹³ Любовь Абрамовна — Ческис Л. А., секретарь издательства «Всемирная литература»; Варвара Васильевна — Шайкевич В. В., жена А. Н. Тихонова.

¹⁴ Речь идет о романе Д. Мережковского «14 декабря» (1918).

¹⁵ Поссе Владимир Александрович (1864—1940) — публицист.

¹⁶ Воспоминания М. Горького о Л. Н. Толстом были впервые опубликованы несколько позже в том же 1919 году в издательстве З. И. Гржебина. Записанный Чуковским рассказ Горького (за некоторыми исключениями) почти дословно совпадает с напечатанными воспоминаниями. Это подтверждает тщательность и достоверность записей Чуковского.

¹⁷ Хотя Горький родился в 1869 году, датой его рождения в ту пору ошибочно считали 1869 год. Поэтому в 1919 году, к 50-летию М. Горького, было задумано издать сборник, посвященный юбилюру. Редактировать сборник поручили К. И. Чуковскому и А. А. Блоку. «Мы обратились к Алексею Максимовичу с просьбой помочь нам при составлении его биографии. Он стал присылать мне ряд коротких заметок о своей жизни», — пишет Чуковский в воспоминаниях. В «Чукоккале» (М., 1979) на стр. 198 опубликованы две такие заметки.

¹⁸ В архиве Чуковского сохранилась программа «ежемесячного внепартийного журнала «Завтра», посвященного вопросам литературы, науки, искусства, техники, просвещения и современного быта». Сообщается, что ответственный редактор журнала — М. Горький, издатель — З. И. Гржебин, что журнал «издается независимой группой писателей». «Программа журнала: борьба за культуру, защита культурных завоеваний и ценностей, объединение всех интеллектуальных сил страны, восстановление духовных связей с Западом, прерванных всемирной войной, приобщение России к великому Интернационалу духа, который будет неминуемо создан — и уже создается» — в заглавие и ей преобразенной Европе». Издание не было осуществлено.

¹⁹ Институт Зубова — Институт истории искусства. Институт был основан в 1910 году графом В. П. Зубовым и до 1920 года носил его имя.

²⁰ Дневник Блока теперь опубликован. Запись Чуковского совершенно точна (см.: А. Блок. Собрание сочинений в 8 томах, т. 7, стр. 326 и 330).

²¹ В 1919—1925 годах К. Чуковский предложил многим поэтам и прозаикам «Анкету о Некрасове». Ему ответили Анна Ахматова, А. Блок, Н. Гумилев, М. Горький, Евг. Замятин, В. Пильняк и другие. Ф. Сологуб позже тоже ответил на вопросы «Анкеты...» Чуковского. Все эти ответы теперь напечатаны (см.: «Некрасов вчера и сегодня», М. 1988).

²² Роман Д. С. Мережковского «Александр I».

²³ Имеется в виду статья В. Шкловского «Техника некрасовского стиха», опубликованная в «Жизни искусства» 9, 10 июля 1919 года.

²⁴ Азов (настоящая фамилия Ашкинази) Владимир Александрович (1873—1941) — фельетонист, критик.

²⁵ Баллады Р. Саути с предисловием Н. Гумилева вышли в 1922 году.

²⁶ Баллады Саути «Варвик» и «Суд божий над епископом» перевел В. Жуковский. Епископ Гаттон — персонаж второй баллады. В той книге баллад Саути, которую подготовил Н. Гумилев, баллада «Суд божий над епископом» дана в переводе В. Жуковского. В своем предисловии Н. Гумилев пишет: «У нас же благодаря переводам Жуковского и Пушкина имя Саути гораздо известнее, чем у него на родине».

²⁷ В 1922 году в издательстве «Петрополис» вышла книга Ю. Анненкова «Портреты», где на стр. 57 воспроизведен портрет Чуковского. В библиотеке Чуковского хранится именной экземпляр «Портретов», а в архиве обнаружено предисловие к «Портретам», написанное рукой Корнея Ивановича. Ю. Анненков деятельно сотрудничал в «Чукоккале», на страницах которой сохранились его шаржи на Чуковского. Ю. П. Анненков — первый иллюстратор «Двенадцати» Блока. Ему принадлежит также марка издательства «Алконост» и рисунки к «Мойдодыру». Ю. П. Анненков — автор двухтомника «Дневник моих встреч» (Нью-Йорк. 1966).

²⁸ В брошюре «Принципы художественного перевода» в своей статье «Переводы прозаические» Чуковский подробно проанализировал и достоинства и недостатки перевода Введенского и «проредактировав его перевод... исправил там около трех тысяч ошибок и отбросил оттуда около девяти сот отсебятин». Однако в конце концов книга не была издана. Вспоминая об этом в 1966 году, Чуковский писал: «...я пришел к убеждению, что исправить Введенского нельзя, и бросил всю работу». (Подробнее об этой работе К. Чуковского, о заметках по этому поводу А. Блока и М. Горького см.: «Литературное наследство», М., 1987, т. 92, кн. 4, стр. 314.)

²⁹ Вероятно, речь идет о статье «Из воспоминаний о Л. Н. Андрееве», напечатанной в «Вестнике литературы» (1919, № 11).

³⁰ См. запись от 28 октября 1919 года и примечания 25 и 26.

³¹ По-видимому, обсуждалась постановка пьесы Н. Гумилева «Гондла». Это можно заключить на основании слов Горького о «первобытных людях».

³² «Купчиха» — домашнее прозвище Валентины Михайловны Ходасевич (1894—1970), художницы, племянницы поэта В. Ф. Ходасевича.

³³ «Трилогия» Д. С. Мережковского — «Христос и Антихрист» (1895—1905).

³⁴ Цетлин (Цейтлин) Натан Сергеевич (1870—?) — владелец издательства «Провещение».

³⁵ Брусянин Василий Васильевич (1867—1919) — писатель, журналист.

³⁶ Сборник вышел в 1922 году (Пб.— Берлин) под названием «Книга о Леониде Андрееве». В книгу вошли воспоминания М. Горького, К. Чуковского, А. Блока, Георгия Чулкова, Бор. Зайцева, Н. Телешова, Евг. Замятина.

³⁷ Даманская Августа Филипповна (1877—1959) — переводчица, писательница.

³⁸ Эту мысль Чуковский развил в своей брошюре о Некрасове «Поэт и палач» (1922). Чуковский пишет о Некрасове, что он был «двуликий, но не двуличный» и что «цельность, это качество малоодаренных натур». «Именно в этой двойственности трагическая красота его личности», — заключает Чуковский свою статью.

³⁹ Сазонов Петр Владимирович — заведующий хозяйством в Доме искусств; Алексеев Василий Михайлович (1881—1951) — академик китайст; Батюшков Федор Дмитриевич (1857—1920) — критик; Лернер Николай Осипович (1877—1934) — историк литературы, пушкинист.

⁴⁰ Быстрянский Вадим Александрович (1886—1940) — публицист.

⁴¹ «Всемирная литература» выпустила в 1920 году пятый том «Избранных сочинений Генриха Гейне» под редакцией и с предисловием Блока. В этот том вошли «Путевые картины» (части первая и вторая) и мемуары. Шестой том Гейне под редакцией Блока вышел в 1922 году.

⁴² ...доклад о музыкальности и цивилизации... — см. «Крушение гуманизма» (А. Блок. Собрание сочинений в 8 томах, т. 6, стр. 93). Блок прочел этот доклад на открытии Вольной философской ассоциации, а до этого — 9 апреля 1919 года — в коллегии «Всемирной литературы», где Чуковский и слышал его впервые.

⁴³ В этой дневниковой записи слышны отзвуки разногласий с «формалистами». Об этих разногласиях Чуковский писал М. Горькому в 1920 году: «...нужно на основании формальных подходов к матерьялу конструировать то, что прежде называлось душою поэта... покуда критик анализирует, он ученый, но, когда он переходит к синтезу, он художник, ибо из мелких и случайно подмеченных черт творит художественный образ человека» («Литературное обозрение», 1922. № 4, стр. 103). Позже, в 1924 году, Чуковский вновь вернулся к этим мыслям. «Знаю, что теперь непристойно это старомодное, провинциальное слово, что, по нынешним литературным канонам, критик должен говорить о течениях, направлениях, школах либо о композиции, фонетике, стилистике, в фонетике, и в стилистике Блока — душа!.. Знаю, что неуместно говорить о душе, пока существуют такие благополучные рубрики, как символизм, классицизм, романтизм, байронизм, неоромантизм и проч., так как для классификации поэтов по вышеуказанным рубрикам понятие о душе и о творческой личности не только излишне, но даже мешает, нарушая стройность этих критико-бюрократических схем... Эта душа ускользнет от всех скопцов-классификаторов и откроется только — душе... («Александр Блок как человек и поэт» Пг., 1924, стр. 78, 79).

⁴⁴ Скрытая цитата из «Потока-богатыря» А. К. Толстого.

⁴⁵ Сильверсван Борис Павлович (1883—1934) — специалист по скандинавским литературам.

⁴⁶ В дневник вложены три относящиеся к этому времени записки М. Горького — о Саути, о Персее и о Диккенсе. На обороте каждой из них — дневниковые записки К. Чуковского. Поскольку на обороте горьковской записки о Диккенсе — запись Чуковского от 20 ноября 1919 года, по видимому речь идет именно об этой записке. Вот ее текст «К. И.!

Я не смогу придти сегодня — ненормальная температура и кровь.

В переводе Диккенса не усмотрел заметных различий между Введенским — Чуковским; — Ваша работа очень тщательно. Вот все что могу сказать по этому поводу. Несмотря на неловкости выписаны мною на отдельном листке, вложенном в книгу. Записка в Совнарком — должна быть подписана поименно всеми, кто пожелает подписать ее. Жму руку. А. Пешков» (17 ноября 1919, дата поставлена рукой К. Чуковского. — Е 4.).

⁴⁷ Чуковский инсценировал для кинематографа в серии «Исторические картины» древнегреческий миф о Персее. Рукопись этой инсценировки см.: «Архив М. Горького», ИМЛИ АН СССР, ф. А. Н. Тихонова, ед. хр. 575.

⁴⁸ Шуточный протокол этого заседания см.: «Чукоккала», стр. 247—250.

⁴⁹ Шатуновский Яков Моисеевич (1876—1932) — математик, член коллегий Наркоматов иностранных дел и путей сообщения.

⁵⁰ Этот портрет В. Шкловского воспроизведен на стр. 119 книги Ю. Анненкова «Портреты».

⁵¹ Речь идет о пьесе А. Блока «Рамзес (Сцены из жизни древнего Египта)» (А. Блок. Собрание сочинений в 8 томах, 1961, т. 4, стр. 247).

⁵² Эту вырванную Блоком страницу Чуковский вклеил в «Чукоккалу». Стихи Блока и шуточную переписку о дровах см.: «Чукоккала», стр. 216—220. После выхода книги «Из воспоминаний» (1959) К. Чуковский получил письмо от сына Д. С. Левина Юрия

Давидовича, в те годы кандидата философских наук. К письму Ю. Д. Левина, в котором указаны и размеры альбома отца (21×14 см, толщина 3 см), приложена его статья «Поэты о дровах». В статье, в частности, приводятся стихи Н. Лернера и Н. Гумилева в этом альбоме. Статья опубликована лишь частично и вместе с письмом хранится в архиве Чуковского (РО ГБЛ, ф. 620).

⁵³ Г р у ш к о Наталья Владимировна (1892—1930 е) — поэтесса.

⁵⁴ А р г у т и н с к и й (Аргутинский-Долгоруков) Владимир Николаевич (1874—1941) — коллекционер картин, фарфора, после революции хранитель Государственного Эрмитажа (до 1920 года).

⁵⁵ В одной из своих статей о Слепцове Чуковский, описывая это заседание «Всемирной литературы», называет тот рассказ Слепцова, который хвалил Лев Толстой. Чуковский приводит слова Горького: «А его (Слепцова. — Е. Ч.) „Ночлег“! Отличная вещь, очень густо написанная. Сколько раз перечитывал ее Лев Николаевич. И всегда с восхищением. А про сцену на печи он сказал: „Похоже на моего „Поликушку“, только у меня хуже...”» (К. Чуковский, «Литературная судьба Василия Слепцова» — в кн.: «Литературное наследство». М., 1963, т. 71, стр. 7). В 1919 году Горький опубликовал воспоминания о Льве Толстом (Пб., изд-во З. И. Гржебина), но там не говорилось ни о Слепцове, ни о «стеженном одеяле». Переиздавая эти воспоминания в 1921 и 1922 годах, Горький дополнил их новым отрывком. В этом отрывке Толстой говорит: «Стеганое, а не стеженое; есть глаголы стегать и стязать, а глагола стезжать нет...» (М. Горький. Полное собрание сочинений в 25-ти томах. М. 1973, т. 16, стр. 271 (гл. XXI).

⁵⁶ Горький имеет в виду исторический роман Ел. Вельтман «Приключения королевича Густава Ириковича, жениха царевны Ксении Годуновой». Роман был опубликован в 1867 году в «Отечественных записках» (см. т. CLXX, № 1—2; т. CLXXI).

⁵⁷ ...стихи от Блока о розе, капусте и Брюсове были ответом на шуточное стихотворение Чуковского: «Ты ль это, Блок? Стыдись! Уже не роза, / Не Соловьиный сад, / А скудные дары из Совнархоза / Тебя манят». Стихотворение Блока, о котором идет речь в дневнике, называется «Чуковскому». Факсимиле этого стихотворения см.: «Чукоккала», стр. 219. В 8-томном собрании сочинений А. Блока стихотворение «Чуковскому» названо «Стихи о предметах первой необходимости» (т. 3, стр. 426).

⁵⁸ Строчка о Брюсове — «„Книг чтоб не было в шкапу ста!“ / Скажет Брюсов, погоди».

⁵⁹ Стихотворение называется «Продолжение «Стихов о Предметах Первой Необходимости». Факсимиле см.: «Чукоккала», стр. 221. Эти шуточные стихи Блока в его Собрании сочинений в 8 томах опубликованы без второй строфы и без блоковского примечания к ней (т. 3, стр. 427). Более полный вариант стихотворения см.: «Русский современник», 1924, № 3, стр. 145.

⁶⁰ Оба рисунка сохранились в рукописном альманахе. Рисунок П. И. Нерадовского см. в «Чукоккале» (стр. 255). Н е р а д о в с к и й Петр Иванович (1875—1962) — художник, хранитель художественного отдела Русского музея (1909—1932); Я р е м и ч Степан Петрович (1869—1939) — художник, историк искусства.

1920

¹ Ка п л у н Борис Гитманович (1894—?) — управляющий делами Петросовета.

² С а з о н о в Сергей Дмитриевич (1860—1927) — министр иностранных дел (1910—1916).

³ К р ю ч к о в Петр Петрович (1889—1938, расстрелян) — секретарь М. Ф. Андреевой, впоследствии секретарь М. Горького.

⁴ Ш и л е й к о Владимир Казимирович (1891—1930) — филолог-востоковед, муж Анны Ахматовой. Подробнее о нем см.: Тамара Шилейко, «Легенды, мифы и стихи...» («Новый мир», 1986, № 4).

⁵ 15 января 1920 года Блок записывает в своем дневнике: «...снятие блокады Балтийского моря, мир с Эстонией».

⁶ П я т и ц к и й Константин Петрович (1864—1938) — филолог-славист, переводчик.

⁷ Г е с с е н Иосиф Владимирович (1866—1943) — до революции редактор «Права» и «Речи», эмигрировал в 1919 году. За границей основал изд-во «Слово», редактировал газету «Руль», выпустил многотомный «Архив русской революции».

⁸ Ш т р а й х Соломон Яковлевич (1879—1957) — литературовед.

Подготовка текста, публикация и комментарии ЕЛЕНЫ ЧУКОВСКОЙ.

(Продолжение следует)

ПУБЛИЦИСТИКА

ЛЕВ СИМКИН,
доктор юридических наук

*

ПРАВОСУДИЕ И ВЛАСТЬ

Народ слова «право» никогда не употребляет. У них на языке его никогда нет.

Лев Толстой.

Вероятно, достойный суд есть самый поздний плод самого зрелого общества, либо уж надо иметь царя Соломона.

Александр Солженицын.

Случая жалобы знакомых судей на свою судьбу, не устаю удивляться повторяемости истории. Вот хотя бы случай, происшедший две тысячи лет назад на каменном помосте в Иерусалиме, где восседал правитель Иудеи Понтий Пилат. «Не знаешь ли, что я имею власть распять Тебя и власть имею отпустить Тебя?» — свысока бросил он представшему перед его судом Иисусу. Пилат выдавал желаемое за действительное. Иначе он отпустил бы Христа, когда не нашел в нем вины. Но его предупредили: «Если отпустишь Его, ты не друг кесарю». А тут еще вопли толпы: «Распи Его!» Обложенному со всех сторон судье не оставалось иного как «умыть руки».

В этом евангельском сюжете — извечная модель взаимоотношений государства, общества и правосудия. Во времена минувшие чаша государственных интересов в отечественной истории непременно перевешивала права человека. Не исключение и времена нынешние, когда все смещалось в юридическом доме и судьи то привычно встают навтыжку перед властью имущими, то позволяют помыкать собой какому-нибудь авантюристу, только потому что за его спиной слышен рев толпы.

Последствия зависимого и потому неправого суда хорошо известны. Неужели они никого ничему не научили? В поисках ответа на этот отнюдь не риторический вопрос попытаемся взглянуть в день сегодняшний. И если мы вправду движемся к правовому государству, попробуем разобраться, какая роль отведена суду в сценарии его построения.

Кому-то, быть может, сам разговор на эту тему покажется несвоевременным. До того ли, мол, нам сейчас, при пустых-то прилавках! Да, в не умеющем прокормить себя государстве вопросы экономики волей-неволей выходят на первый план. Но не все же время толковать о колбасе. Ничуть не менее нужно ощущение, что ты живешь в справедливом обществе, где есть суд, способный по правде разрешить твое дело. В конце концов чужих дел не бывает: когда правосудие подменяется произволом, судебный колокол звонит по тебе...

Многолетний опыт преподавания судьям позволил мне как бы изнутри соприкоснуться со многими болезнями нашей юриспруденции. Если воспользоваться медицинской терминологией, их анамнез составил бы многие сотни страниц, представляя интерес лишь для специалистов. Но состояние судебного организма способны охарактеризовать и самые общие сведения о синдромах неправосудия, сочетающихся в себе множество болезненных симптомов, у которых единый механизм возникновения, — внешнее вмешательство, результатом которого стало лишение судей независимости.

«Когда мы отрицаем принцип «независимости» судей в пролетарском государстве, — говорил А. Вышинский, — то мы отрицаем их независимость от пролетарского

государства, от рабочего класса, от его общегосударственной политики». Те, кто, прикрываясь словами о рабочем классе, окружил кавычками вековечный юридический принцип, были по-своему логичны. В выстроенной ими системе юстиции для независимого суда не могло быть и места.

Ныне мы толкуем не о пролетарском, а о правовом государстве и, может быть, оттого слова о судейской независимости чуть ли не стерлись от частого употребления. Об этом сказано столько, что, казалось бы, трижды руганные в печати факты вмешательства в правосудие должны уйти в прошлое. Но они не уйдут, пока существует райкомовский синдром (назовем его так). Из-за него судья ощущает себя прежде всего не служителем правосудия, подчиняющимся только закону, а проводником линии коммунистической партии, терпеливо снося вмешательство в судебную деятельность со стороны носителей партийной и государственной власти.

«Судьи независимы и подчиняются только.. райкому». Эта невеселая острота давно обросла бородой, заняв почетное место в юридическом фольклоре. Уверен, читателю хорошо известно, что за ней кроется. И все же рискну — для характеристики масштабов зла — рассказать о результатах проведенных мною опросов нескольких сот народных судей. Еще три года назад почти к 60 процентам из них обращались «сверху» с советами, касавшимися разрешения конкретных дел. С каждым десятком случалась неприятности, прямо связанные с неисполнением руководящих указаний. Кому не дали жилья или отсрочили его предоставление, кому многозначительно сделали замечание. По понятным причинам среди опрошенных не оказалось тех, кто рискнул ослушаться «начальства» и потому не был представлен к повторному избранию — в жизни таких фактов сколько угодно.

Нынче непрошенных советов стало вдвое меньше. Сказалась начатая наконец судебная реформа — в прошлом году принят ряд законов, призванных поднять престиж правосудия и статус суда. Отныне судьи избираются не в своем районе, под присмотром местных властей, а в вышестоящем Совете. Увеличен срок их полномочий, предусмотрено предоставление им жилья не позднее полугода после избрания.

Почему же тогда судьи по-прежнему вздрагивают в совещательной комнате от руководящего телефонного звонка? Он отличается по тембру от всех прочих — с райкомом зачастую соединяет особая телефонная связь. Почему начальственный окрик вновь заставляет кого-то забыть о судейском достоинстве? Дело в том, что судьи практически поголовно — члены коммунистической партии. Сам по себе этот факт не дает кому-либо права ими командовать, но фактически ставит их в известную зависимость. Тем более судьи, по оруэлловской формуле, члены внутренней партии или, иными словами, номенклатура. В переводе с новояза *сие* означает, что прежде чем чья-либо кандидатура будет выдвинута для избрания судьей, она должна быть утверждена в соответствующем партийном комитете. Упоминания об этом ни в одном законе нет, но такой порядок пока действует.

Как революционный шаг судебной реформы было представлено создание в 1990 году квалификационных коллегий, состоящих из одних судей. Только им отныне дано решать, быть или не быть кому-то допущенным к выборам. Правда, в большинстве регионов эти коллегии рассматривают лишь кандидатуры, одобренные все тем же вездесущим райкомом, ни на йоту не утратившим своей власти. Следовательно, неуправляемый и потому неудобный судья может отсеяться ранее, не будучи представлен к этой демократической процедуре. Хитро придумано, ничего не скажешь!

Судьи давно размышляют над выходом из тупика. Однако их вольнодумство не шло дальше предложений о постановке на партийный учет в вышестоящий партийный комитет (например, районных судей — в обком). Куда более радикальное предложение введено в дискуссионный оборот сравнительно недавно. На III Съезде народных депутатов СССР, конституционно закрепившем многопартийность, предложено было запретить пребывание в какой-либо политической партии работникам всех правоохранительных органов. Съезд поручил Верховному Совету рассмотреть этот вопрос при подготовке Закона о политических партиях и организациях. Тем временем в ряде республик деятельность партийных организаций в судах уже приостановлена. Аналогичные решения приняты и в странах Восточной Европы.

Думаю, такое решение вопроса специфично лишь для обществ, только высвобождающихся из тисков административно-командной системы. В Румынии, например, од-

ним из первых законодательных актов победившей демократии запрещалось работникам правовых органов пребывание в партии. При ином государственном устройстве принадлежность судьи к какой-либо партии вообще значения не имеет. Сошлюсь на международно-правовой акт: одобренные в 1985 году Генеральной Ассамблеей ООН «Основные принципы независимости судебных органов» вовсе не запрещают судьям пользоваться свободой слова и ассоциаций. Однако судьи при этом должны вести себя так, говорится в документе ООН, чтобы обеспечивать уважение к своей деятельности и сохранять беспристрастность и независимость.

Отечественные судьи, увы, не всегда выполняют подобное предписание — то, будучи вызваны для объяснений в высокие кабинеты, позволяют говорить с собой не самым уважительным тоном, то в выступлениях на разного рода активах и пленумах произносят все, что от них желают услышать. От того же, что судья на время выйдет из партии, власть партийных органов не уменьшится. Приверженный к командным методам секретарь райкома сумеет приструнить непокорного судью. Дать ему по рукам можно будет, если решится «коренной вопрос обновления партии — необходимость очиститься от всего, что ее связывает с авторитарно-бюрократической системой» (М. С. Горбачев). Когда партия найдет себе новое место в политической системе общества, освобожденного от пут 6-й статьи Конституции, тогда и только тогда партийные функционеры перестанут командовать правосудием. Когда же партий будет несколько, то непонятно, в райком какой из них станут вызывать судью «на ковер».

Свежо предание... Во-первых, на местах никто не спешит расстаться с властью. Сегодня иные секретари райкомов демонстративнее, чем прежде, стучат кулаком на служителей правосудия — дескать, пусть там, в Москве, идут разговоры о вашей независимости, а здесь все останется как было. А во-вторых, свято место пусто не бывает — если руководители советских органов пожелают проявить амбицию, в их руках осталось достаточно рычагов, чтобы заставить повиноваться судебный механизм.

Сколько мелких хозяйственных услуг и одолжений оказывается судьям по милости тех или иных руководителей — разумеется, если их связывают «добрые отношения». В противном случае исполком может отказать в необходимом суду топливе или ремонте здания-развалюхи. Половина помещений судов в стране требует если не замены, то ремонта. Да что здания, если судьи постоянно жалуются на нехватку пишущих машинок, бумаги и копирки! Есть о чем беспокоиться тем из них, кто не прислушался к руководящему мнению. А отсутствие путевок в санатории и дома отдыха, необеспечение местами в детских учреждениях! Все эти блага судьи могут получить ценой утраты независимости.

Желание судьи угодить кому-либо основано главным образом на страхе потерять место или, иными словами, быть неизбранным на новый срок. «Если я буду независим, выберут ли меня в следующий раз?» — посылке задумывается судья при каждом приближении новых выборов. Не стали исключением и судебские выборы 1990 года, впервые проходившие на сессиях Советов. Готовясь к ним, депутаты из самых благих побуждений предложили населению высказать претензии к тем или иным судьям. Стали спешно выяснять мнение на этот счет прокуроров и адвокатов, хотя и оно могло быть небеспристрастным. В результате суды оказались заваленными депутатскими бланками с просьбами по поводу разрешения конкретных дел.

Как ощущает себя судья под давлением тех, от чьего голоса зависит продолжение его работы? «Опасение быть неизбранным может побуждать его вступать в компромиссы с лицами, влиятельными на выборах, ко вреду для правосудия» — эти слова написаны известным русским юристом И. Я. Фойницким восемьдесят лет назад («Курс уголовного судопроизводства», СПб. 1912, т. I, стр. 234). А несколькими столетиями раньше было изобретено средство от этой болезни — несменяемость судей. Только несменяемость, как считал отец теории разделения властей Монтескье, дает судьям степень силы и независимости, достаточную для преследования высокопоставленных преступников, которые легко могли бы импонировать судье сменяемому.

У нас когда-то отказались от самого принципа несменяемости судей — за ненадобностью. Сегодня, наоборот, на полшага приблизились к существовавшей некогда практике, увеличив срок судебских полномочий с пяти до десяти лет. Думаю, к 2000-му году, когда он истечет у тех, кто избран в 1990 году, можно было бы полностью реализовать полузабытый у нас, но действующий во многих странах принцип. Ситуация складывается достаточно благоприятно. Прежде в большинстве союзных республик днем

с огнем невозможно было сыскать достойных претендентов на судейские должности. В суд шли скромные юрисконсульты, технические судебные работники, даже вчерашние студенты. Причина была сугубо земной — крайне невысокая зарплата. В самый критический момент, когда более трех тысяч народных судей (а это каждый четвертый из них) собирались расстаться с судебной системой и она готова была дрогнуть под напором уголовных дел, состоялось долгожданное решение: с нынешнего года зарплата судей возросла вдвое. Это можно было бы только приветствовать, если бы и здесь аппарат не опередил судебную систему, приравняв к судейской оплату труда среднего чиновника. И все же в какой-то мере запоздалое решение позволило обновить судейский корпус квалифицированными юристами. За период их полномочий выяснится: чья независимость выдержала испытание временем, те и смогут быть избранны.

Впрочем, предлагаемая новация не обязательно будет воспринята во всех союзных республиках, она может коснуться только вышестоящих звеньев судебной системы — верховных и областных судов, куда подбираются наиболее опытные кадры.

Многое, очень многое предстоит сделать, чтобы помочь судьям обрести независимость. Но немало зависит и от них самих, от их характера, твердости, непримиримости к любым воздействиям. Судейское кресло должен занимать человек с чувством собственного достоинства. Он должен уважать себя сам — в противном случае никакие законы об уважении к суду не помогут. Давно известно — к «телефонному праву» особенно чувствительны те, кто не тверд в знаниях и потому боится отмены своего будущего решения. Это, однако, не снимает с государства обязанности прежде всего поднять судей на должную высоту, положить систему, позволяющую безбоязненно вмешиваться в правосудие, а потом уже спрашивать с людей за неспособность противостоять административному нажиму. Прислушаемся к А. Ф. Кони: «К судье следует предъявлять высокие требования не только в смысле знания и умения, но и в смысле характера, но требовать от него героизма невозможно».

Говоря откровенно, ныне противостоять давлению извне куда труднее, чем прежде. Общество объявило войну преступности, покуда эта война идет с переменным успехом, и взгляды многих обращаются на суды — не они ли мешают бороться со злом? Объясняется это тем, что последние несколько лет заметно повысилась требовательность судов к качеству предварительного следствия, в хвосте у которого правосудие покорно шло долгие годы. Возросло число дел, направляемых на следствие, оправдательные приговоры перестали удивлять привыкшую ко всему судебную публику. Тогда-то немало следственных работников, восполняя недостаток собственного профессионализма, набросились на суды с серьезными претензиями — дескать, на смену «обвинительному уклону» пришел «оправдательный», а «лозунговое провозглашение» презумпции невиновности привело к уходу преступников от ответа. Подобные разговоры не могут не влиять на судейское сознание.

Судьи, участвовавшие в известном «чурбановском процессе», за несколько дней до удадения в совещательную комнату прочитали в «Московской правде» фактически обращенные к ним слова расследовавшего это дело следователя: «Мы направляем в суды дела, как правило, со множеством доказательств вины каждого участника преступной группы. Поэтому провокации в суде (выделено мной. — Л. С.) могут возникнуть лишь тогда, когда противоборство следствию с одной стороны и мафии и их покровителей с другой достигает наивысшего накала». Напомню читателю, что предъявленное Чурбанову обвинение в значительной части не подтвердилось, один из подсудимых оправдан, в отношении другого дело направлено на следствие. Председательствовавший на памятном процессе судья больше уже не судья...

Судьи издавна ощущали зависимость от коллег из других правовых органов. Видя необходимость оправдания, спускали дело на тормозах, возвращая его прокурору, или, не желая «портить отношения», пропускали через суд плохо расследованные материалы. А те милицейские или прокурорские чины, которые позволяли себе навязывать судьям свою волю, нередко делали это для прикрытия допущенных на следствии беззаконий.

Ссориться с милицией или прокуратурой вовсе не безопасно. Уроком для многих послужила история волоколамского судьи В. Полякова, конфликтовавшего с местной милицией и потому незаконно обвиненного во взяточничестве. Ночью его подвергали унижительным допросам и обыскам, а поутру отправляли вершить правосудие. Предотвратит ли такие случаи введенная в прошлом году гарантия судейской неприкосновен-

ности? Ведь теперь возбудить дело против судьи может лишь Генеральный прокурор или прокурор союзной республики, причем с согласия избравшего его Совета.

Согласен с недавним утверждением Председателя Верховного суда СССР Е. А. Смоленцева о том, что разговоры об «оправдательном» уклоне — это скорее старая озабоченность ведомственным престижем, чем забота о праведности... пора отказаться от мысли, что за обвинительным заключением должен обязательно последовать обвинительный приговор, как у нас было на протяжении десятилетий, когда оправдательный приговор расценивался как своего рода ЧП. За этой мыслью стоит синдром «общего дела», заключающийся в том, что судья ощущает себя звеном единого вместе с другими правовыми органами организма. Все они — как нас, юристов, долго учили — делают одно дело и потому должны идти навстречу друг другу. Такая постановка вопроса противоречит устройству судопроизводства, построенному таким образом, что одни из участвующих в нем органов контролируют другие. Прокурор надзирает за исполнением законов следователем, а суд проверяет обоснованность составленного следователем и утвержденного прокурором обвинительного заключения. Если же судья ощущает свою от них зависимость, какие уж тут гарантии законности. Суд всегда должен стоять особняком, его особая роль обусловлена уникальностью предоставленных ему полномочий.

Приведу пример судейской психологии, извращенной синдромом «общего дела». Один из судей, причастных к печально известному «витебскому делу», по которому за убийство безвинно осудили два десятка человек, так объяснял случившееся: «Кому я должен был верить — моему коллеге-следователю, бок о бок с которым мы боремся с преступностью, или малоприятному субъекту, сидящему на скамье подсудимых?»

Иные прокуроры — великие мастера набросить флер общественного мнения на «громкие» дела. Они первыми рапортуют местному руководству о раскрытии тяжкого преступления. В суде же порой выясняется, что и преступление не столь тяжкое, и обстоятельства его совершения не столь ясные, что особенно часто случается при рассмотрении хозяйственных дел. И тогда уже на судью сыплются обвинения, что он-де ставит палки в колеса делу борьбы с преступностью. Немало партийных и советских работников склонны верить таким заявлениям: прокурор чаще всего член бюро райкома партии, его авторитет там выше, чем судьи. На стороне прокурора обычно и трудовой коллектив, заранее, до суда информированный о преступлении следователем (разумеется, в его — следователя — интерпретации). Почему же такого рода «деятельность» прокуратуре ставится в заслугу? Можно ли за профилактику выдавать шельмование человека, по закону считающегося до суда невиновным? Что же тогда говорить о далеких от юриспруденции людях, которые, беря на веру слова следователя, принимают клеймить «преступника»?

Никак не могу прийти в себя от решения II Съезда народных депутатов СССР выслушать информацию Главного военного прокурора по поводу известных событий в Тбилиси. Когда шли дебаты о том, включать ли этот вопрос в повестку дня, народный депутат В. И. Семенов, председатель Ивановского областного суда, заявила: «Любое обсуждение вопроса по Тбилиси до рассмотрения дела в суде будет рассматриваться как давление на будущий состав суда. И суду будет очень сложно потом. Я не знаю, найдутся ли судьи, которые смогут в таком случае рассматривать это дело». Однако крик судейской души остался неслышанным, а прокурор поделился с присутствующими своими выводами по делу, следствие по которому еще не закончено. Что же это за выводы, высказанные публично до обвинительного заключения — единственного документа, где, в соответствии с законом, они могут быть сформулированы?

Но все меняется, и, не исключено, начало меняться отношение судей к прокурорам. Причиной тому, похоже, послужило то, что в новой редакции «Основ законодательства о судопроизводстве» полномочия прокурора обозначены лишь как участие в рассмотрении дел в суде, тогда как прежде в этом законодательном акте говорилось и о надзоре за исполнением законов при рассмотрении дел. Тем самым подчеркнуто, что правосудие вершит суд и никакого надзирателя тут быть не может. Но, думаю, законодатель вовсе не имел в виду уменьшить прокурорские функции — иначе он внес бы соответствующие изменения в процессуальное законодательство. В самом деле, никто не лишал прокурора права опротестовать в вышестоящей судебной инстанции любой приговор. Однако некоторые судьи сделали далеко идущие выводы — вплоть до отказа прокурору в истребовании рассмотренных дел.

Впрочем, прокурор свое возьмет. До сих пор в каждом районе, области существуют

ют так называемые координационные советы, где под руководством прокурора председатель суда и начальник милиции разрабатывают меры по борьбе с преступностью. По решению I Съезда народных депутатов судей включили во вновь созданные временные комитеты по борьбе с преступностью, где также велика роль прокурора. По опубликованному «Правдой» мнению юриста из Бурятии, комитеты вправе контролировать меры по пресечению преступлений и наказанию преступников. Значит, и суд оказывается под контролем входящих в комитет председателя исполкома и других должностных лиц? Весьма своеобразно понимают судейскую независимость в городе Хмельницком, — здесь временный комитет обязал судей дежурить на рынках на случай задержания мелких спекулянтов. Конечно, неплохо, когда правонарушение отделяет от наказания короткий отрезок времени. Но можно ли так унижать правосудие?

Что мы все о посторонних воздействиях? Как будто в судебной системе нет своих «источников повышенной опасности». А ведь есть еще и «судьи над судьями» — те самые, от кого зависит отменить или изменить вынесенный приговор. Боюсь, что без оглядки на эту инстанцию не выносятся ни одно решение — ведь работа судьи в первую очередь оценивается по «проценту отмены».

У страха (пусть и судейского) глаза велики. Но он отнюдь не бесоснователен. Фантастический призыв «без права на ошибку» применительно к судебной практике многими воспринимается буквально. Судья — живой человек. У него не может быть лишь права на заведомое нарушение закона. Между названными понятиями есть кое-какая разница. Вот почему в Законе о статусе судей в СССР (1989) записано, что отмена приговора сама по себе не влечет ответственности судьи, «если при этом им не были допущены преднамеренное нарушение закона либо недобросовестность, повлекшая существенные последствия». Однако в жизни любая отмена приводит судебное «начальство» в ужас, влечет партийную и иную ответственность, что не может не связывать судью при вынесении решения. Волей-неволей он приспособливает свою позицию к практике вышестоящих инстанций. Она же далеко не всегда идеальна — вспомним хотя бы недавнюю повсеместную практику осуждения инициативных хозяйственников или «шабашников».

Если судьи как от чумы бегут от непрошенных советов со стороны, то от вышестоящих судей принимают их с благодарностью. Более того, сами на них напрашиваются. 74 процента опрошенных мною судей при рассмотрении сложных дел по своей инициативе советуются с членами вышестоящего суда. Такие советы нередко приобретают характер прямого вмешательства в разрешение дела. Впоследствии дело поступает к судьям вышестоящей инстанции, и они в известной мере связаны мнением, высказанным без детального ознакомления с конкретными материалами. Отказаться от собственного мнения психологически нелегко.

Ситуация осложняется еще и тем, что в глазах партийных и советских органов именно областные и краевые суды несут ответственность за качество работы городских и районных. Следовательно, чем больше судебных ошибок они выявят и исправят, тем ниже будет оценка их деятельности. Поэтому каждый раз при необходимости отменить или изменить решение нижестоящего суда — как ни кощунственно это звучит — им приходится думать о показателях.

За показатели спрашивают с судей органы Министерства юстиции. Происходит это подчас в самых неожиданных формах. В некоторых областях председатели народных судов со всей статистической отчетностью в начале каждого квартала приглашаются в управления юстиции. Объясняться приходится за каждую цифру: почему такой-то процент отмены, отчего мало выездных сессий. Как все это соотносится с судейской независимостью?

В Основах законодательства о судоустройстве (1989) на Министерство юстиции СССР возложена новая функция — «разработка и осуществление мер, направленных на укрепление независимости судей». Ее реализация возможна, если ведомство откажется от прежних бюрократических привычек. Если поймет, наконец, немаловажное значение материальных гарантий правосудия, во многом зависящих от Министерства юстиции. Пора избавить судей от хождений с протянутой рукой в исполком и крупные предприятия за теми или иными материальными средствами, наладив централизованное снабжение всем необходимым. Ведь пока суды находятся на местном бюджете.

Лишь совсем недавно Министерство юстиции стало защищать судей от оказываемого на них давления и даже привлекать к ответственности виновных лиц. Но вряд ли

следует дожидаться судебных обращений (да и не у каждого хватит на это смелости), а с помощью опросов (возможно, анонимных) заблаговременно знать социальную ситуацию. Как, например, ту, что сложилась с рассмотрением дел о нарушениях Указа о порядке проведения митингов и демонстраций, который отдал решение большинства возникающих здесь вопросов на откуп местным властям, что в известной мере ограничивает конституционные права граждан. В случае разгона несанкционированных митингов их участники попадают в суд как правонарушители. Здесь-то судьи и начинают испытывать давление со стороны административного аппарата. Когда перед народным судьей Первомайского района города Фрунзе В. Омуралиевым предстали восемь журналистов городской газеты, привлеченные к ответственности за пикетирование горкома партии с лозунгами о свободе печати, то от него требовали по телефону из этого учреждения подвергнуть «нарушителей» аресту. Единственное, на что осмелился судья, назначить им меру воздействия, не связанную с лишением свободы. Оказавшись в аналогичном положении, свердловский судья (ныне народный депутат СССР) Л. Кудрин покинул судебную систему со словами: «Судите сами!»

Зная о такого рода случаях, Министерство юстиции должно не только поддерживать принципиальных судей, но и ставить вопрос о наказании их притеснителей. Ясно ведь, что при действующем законодательстве, не устанавливающим критериев законности митингов, вмешательство властей в правосудие практически неизбежно. Может быть, в данной ситуации министерству следовало бы обратиться с соответствующими предложениями в законодательные органы?

«Чем занимается министр юстиции?» — поинтересовалась однажды, как рассказывают, киноактриса Мэрилин Монро у занимавшего этот пост Роберта Кеннеди... «Я являюсь человеком, — ответил тот, — которого конгресс назначил для того, чтобы объяснять правительству Соединенных Штатов, в чем именно заключается закон». Почему бы и нашему Министерству юстиции не поступить подобным образом, разъяснив законодательным органам антидемократизм упомянутого выше указа?

Впрочем, судьи нуждаются в защите отнюдь не только «сверху». Абсолютно не защищенные, они могут вполне серьезно воспринимать участившиеся угрозы преступного мира в свой адрес. Кому как не Министерству юстиции позаботиться о том, как уберечь их покой?

Я остановился только на некоторых формах давления на суд, наработанных бюрократией за долгие годы. На деле их гораздо больше. Само их существование говорит о том, что до правового государства нам еще далеко. Нередко преодоление дикости в области права наталкивается на серьезное противодействие. Цепляющиеся за власть структуры не только не оставляют силовых приемов по отношению к правосудию, но и наращивают их по каждому удобному поводу. А поскольку опасность поворота вспять все еще существует, надо усвоить: направо пойдешь, вновь обретешь послушный, несамостоятельный суд. А налево пойдешь? Ответ на этот вопрос куда сложнее.

Движение к демократии сулит суду освобождение от крепостной зависимости. Но оно же подкладывает в фарватере новые подводные камни. Судье непросто жить в обществе с нарождающимся политическим сознанием, формирующимися противоречивыми интересами. Это общество начинает предъявлять претензии к судебной системе. Всегда ли они справедливы? «Люди боятся на улицу выйти, кругом коррупция, а преступники остаются безнаказанными» — в любом случае утверждения такого рода способны подогреть эмоции, далекие от правового чувства.

Интересно, что в этом пункте рассуждений смыкаются мнения демократически настроенных слоев общества со сторонниками твердой руки. Увы, и те и другие зачастую плохо представляют себе, для чего вообще нужен суд. Собственно говоря, бороться с преступностью можно и иными способами, например — расстреливать преступников на месте или предавать их самосуду. Изобличить и наказать виновного можно и без правосудия. Вот только защитить невинного без правосудия невозможно. В этом и состоит смысл выработанной столетиями судебной процедуры. Что предпочесть? Гуманистическая мысль давно ответила на этот вопрос — лучше оправдать десять виновных, чем осудить одно невинного.

Но эта великая формула плохо совместима с нашим воинствующим невежеством, помноженным на социально-правовую апатию, вызванную безрадостным для многих знакомством с правоприменительными органами. Благодаря общему недоверию к политическому режиму и к суду как его составной части люди начинают уповать на спра-

ведливость, не опирающуюся на право. Попытка же прорваться к справедливости минуя закон способна лишь разрушить социальную ткань, и ничего больше. Отсутствие правовой культуры сказалось на том, что в обществе возникают новые силы — антивласти, антиправа, способные толкнуть людей на все что угодно. Вот исток не менее опасного для правосудия синдрома толпы. В толпе человек не только приобретает повышенную внушаемость и агрессивность, но и испытывает потребность в простых решениях. Если судья идет на поводу подобных требований, ему трудно докопаться до сути — судебное решение редко бывает простым и тем более не может всех устраивать.

На последнем съезде народных депутатов один из народных избранников заявил о своей убежденности в скором приходе времени, «когда мы начнем привлекать к ответственности своих хонеккеров, своих чаушеску». Пусть так, может быть, у нас и есть свои чаушеску. Но больше всего мне бы не хотелось, чтобы их судили так же, как подлинного носителя данной фамилии, а именно к этому могут подтолкнуть подобные мало чем подкрепленные высказывания. Ведь победа демократии, бывает, соседствует с террором. Миллионы телезрителей видели этот чудовищный процесс, казалось бы, немислимый на исходе двадцатого столетия. Где обвинитель «тыкал» подсудимому и обзывал его подлецом, адвокат подтверждал виновность подзащитного, а трибунал в спешке назначил ему «конфискацию всего имущества и смертную казнь», да, именно в такой последовательности, вначале конфискацию имущества, а потом уже смертную казнь («АиФ», 1989, № 52). Ни один диктатор не заслужил того, чтобы его судили как в той сказке, где весь судебный процесс самолично ведет некий король. «Как прокурор,— говорит он подсудимому,— я требую смертной казни, как адвокат — не нахожу смягчающих обстоятельств, как судья — приговариваю тебя к смерти». Поистине право — лишь факультет ненужных вещей (Ю. Домбровский), о котором человечество забывает при каждом удобном случае!

Рост преступности пока остановить не удастся, и, следовательно, надо быть готовым к новому нажиму на судей. В каких формах? Подчас в самых неожиданных. Все чаще возбужденные толпы буквально атакуют суды, выдвигая свои требования, непосредственно связанные с решением конкретного дела.

Жители Набережных Челнов потребовали провести выездное судебное заседание по делу об убийстве и изнасиловании восемнадцатилетней девушки — не где-нибудь, а на стадионе. Когда Верховный суд Татарии отклонил их требование, последовала угроза забастовки на КамАЗе. В присутствии нескольких тысяч зрителей убийца был приговорен к исключительной мере наказания. Думаю, этот случай нуждается в специальном разборе. Требование открытого суда не что иное, как бумеранг, возвращение в судебную систему ее же собственных представлений, пусть и оставшихся в прошлом. В чем вообще смысл так называемых выездных сессий, культивируемых и всячески поощряемых юридическим начальством вот уже шесть десятилетий? В расширении гласности правосудия, в привлечении общественности к предупреждению правонарушений — так нынче светят на этот вопрос. В ответе скрыто известное лукавство. Возникали-то показательные процессы (так прежде они именовались) из принципиально иных соображений. Политические судилища тридцатых, проходившие в переполненном зале,— что это как не выездные сессии? А колонны, проходившие тогда мимо Дома союзов с лозунгами «Расстрелять контрреволюционную сволочь!» — это ли не общественность!

С тех пор выездные процессы — в заводских и сельских клубах, в цехах и на строительных площадках — прочно вошли в судебный обиход. В них стали разбираться дела о преступлениях, с которыми предписывалось бороться в конкретный исторический момент. Ведь суды у нас не просто рассматривали дела, отвечивая каждому по заслугам, а «вели борьбу» — то с хулиганством, то с пьянством, то с нетрудовыми доходами, то еще с чем-нибудь. Эта «борьба» заключалась в публичном наказании построже. Скажем, в конце шестидесятых так судили хулиганов — уличных, семейных, всяких. Земля горела у них под ногами, под аплодисменты публики их отправляли в места не столь отдаленные. В начале семидесятых они начали возвращаться оттуда, многое почерпнув у преступного мира, с которым прежде семейные дебоширы имели мало общего. Удельный вес рецидива (повторного совершения преступлений) вырос вдвое. До сих пор общественное мнение привычно связывает сам факт разбирательства дела не в судебном здании с наказанием «на полную катушку».

Вот почему челнинцы требовали судебный процесс на стадионе. Мог ли Верховный суд Татарии не пойти у них на поводу? Не уверен. Мне известны подобные случаи

и в других городах, где у судей просто не было иного выхода. Положение усугубляется еще и тем, что наши люди не очень-то верят нашему правосудию. Многие уверены, что все юридические органы заодно, в них процветают взяточничество и злоупотребления. В этих реальных условиях судьям остается лишь идти навстречу людям, разбирая дела в больших залах при стечении публики. Но на этом все уступки ограничиваются. Сам судебный процесс должен быть проведен как обычно, спокойно и непредвзято, ни на йоту не уступая возбужденному залу.

Судьи же бросаются из крайности в крайность. Еще недавно присутствующим на судебном заседании запрещалось и пальцем пошевелить. Всего лишь три года назад потребовалось принимать постановление Пленума Верховного суда СССР, чтобы разъяснить непонятливым судьям очевидное — присутствующие в суде имеют право пользоваться магнитофоном для записи процесса. Вспомним персонажа рязановской картины «Берегись автомобиля», обращавшегося к составу суда с призывом: «Свободу Юрию Деточкину!» Эти кадры вызывали смех в зрительном зале: уж очень были непривычны. Теперь судьям не до смеха. Суды заполонила иная публика — кричащая и размахивающая флагами при разбирательстве дел о забастовках, митингах и прочих бурных событиях нашей жизни. Судьи не очень-то реагируют на эти безобразия. Да, безобразия, ибо правосудие не терпит суеты. В любом случае судья обязан строжайшим образом следить за порядком судебного заседания, благо принятым в прошлом году Законом об ответственности за неуважение к суду предусмотрены штрафные санкции. Трудно вести за собой возбужденный зал, однако иного не дано.

Уважение к суду. С одной стороны, мы знаем о нем столько негативного, что вроде и уважать-то не за что, с другой — без уважения к правосудию невозможно поставить его на ту высоту, которая должна принадлежать ему в правовом государстве. В тех странах, где уважение к суду давно превратилось в историческую традицию, проблем судебной независимости практически не существует. Например, мало кто осмеливается задевать британскую Фемиду. В противном случае нарушителя ждет многотысячный штраф — скажем, за публикации, оскорбляющие судей.

Закон о статусе судей в СССР запрещает средствам массовой информации предрешать в сообщениях результаты судебного разбирательства по конкретному делу или иным образом воздействовать на суд до вступления решения или приговора в законную силу. Даст ли это свой результат? Не уверен. Можно и не называть в публикации преданных суду лиц преступниками, но все равно вызвать немалый ажиотаж. Прошлогодние киевские газеты рассказали о тринадцати случаях отравления, не предрешая выводов городского суда по только поступившему туда делу. Однако суд был завален многими тысячами писем с требованием смертной казни. Были, правда, и иные письма — наши зарубежные соотечественники просили отнестись к подсудимым гуманно...

Точно так же невозможно запретить, как часто предлагают судьи, публикации, подвергающие сомнению то или иное судебное решение. Не так уж редко журналистами вскрываются реальные судебные ошибки, впоследствии исправляемые. Однако судьи воспринимают их весьма болезненно. И не только потому, что неприятно признаваться в допущенном нарушении закона. Слишком долго практически любая критика в прессе влекла отмену судебного решения, законного или незаконного, и привлечение судьи к партийной или дисциплинарной ответственности. Мы давно привыкли получать от прессы не столько информацию, сколько установку на будущее. Нигде больше нет подобного реагирования на газетные выступления. Вот и реагировали...

Теперь зависимость от средств массовой информации все больше ослабевает. И если не исходить из подчинения судей печатному слову, вряд ли следует становиться в позу обиженного при каждой статье, выражающей недовольство тем или иным приговором. Как, например, члены Карагандинского областного суда, недавно отказавшиеся рассматривать в кассационном порядке дело об убийстве в связи с публикацией в местной газете, которая подвергла критике судебный приговор в первой инстанции за мягкость назначенного наказания.

Другое дело публикации, где критика правосудия несет в себе неуважительное к нему отношение. Автор может выражать сомнение в приговоре суда, но не вправе его опорочить. Как это делает В. Олейник в своих рассуждениях о «чурбановском процессе» («АиФ», 1989, № 50), полагая, что Яхъяев, в отношении которого дело возвращено на исследование, значительно более опасен, чем «дугая фигура» Чурбанова. «Чурбанову преступная система,— пишет он,— обязана меньшим. Полагаю, оттого и финалы у них разные». Такого рода намеки трудно квалифицировать иначе, как прямое оскорбление

суда. Кстати, они в данном случае оказались бы вообще невозможны, когда бы ход процесса полнее освещался средствами массовой информации. Если бы все заинтересованные этим делом могли воочию убедиться, как распалось здание предъявленного подсудимым обвинения. Между тем в печати и по телевидению освещалось лишь начало судебного заседания, а затем до приговора ничего не говорилось, что и дало почву для домыслов.

Что же касается публикаций иного рода, то с ними придется примириться. В конце концов печать лишь выражает те настроения, что есть в обществе. Невозможно запретить людям возмущаться зверским убийством и требовать для преступника самого сурового наказания. Вопрос в другом — судья должен чувствовать себя абсолютно неуязвимым. Быть настолько недосягаемым для общественных страстей, чтобы суметь при необходимости принять непопулярное решение.

Наш судья внутренне несвободен, и это не скроешь от общества. Особенно от новых, растущих как грибы общественных формирований. Казалось бы, что за дело судьбе до предъявляемых ими ультиматумов? Но взгляните только, к кому они обращены. Наши неформалы отлично понимают, как именно и через какие формальные структуры можно повлиять на правосудие.

В одном из районов Ворошиловградской области незаконно уволили двух завмагов за торговлю спиртным вопреки запрету стачкома во время забастовки. Когда те обратились в суд с иском о восстановлении на работе, стачком пригрозил райкому новой забастовкой в случае удовлетворения судом их требований. Воздействие имело точный адресат — тот орган, который способен надавить на судей. Остается повторить уже сказанное: только несменяемый судья спокоен за свое будущее и потому может вынести законное решение, ни на кого не оглядываясь.

Впрочем, возможен и иной выход. Вообще лишить судью права решать вопрос о виновности подсудимого, передав его на усмотрение суда присяжных. Кому тогда понадобится оказывать на него давление? Решать станут люди со стороны — в отсутствие судьи-профессионала. Вот почему эта модель правосудия, сравнительно недавно введенная в современный дискуссионный оборот, столь быстро проникла в общественное сознание. В период подготовки проекта Основ законодательства о судостроительстве его авторы отвергли предложение о введении суда присяжных, однако на сессии Верховного Совета СССР оно вновь было поднято и принято народными депутатами. Так вопрос, о котором веками спорили юристы, был решен в одночасье, без бурных дебатов, как нечто само собой разумеющееся.

Юристам давно известно, что «суд этот обладает такою независимостью суждений, которых не имеет суд коронный» (Случевский В. «Учебник русского уголовного процесса. Судостроительство». С.-Петербург. 1891, стр. 188). Но они же прекрасно понимали: суд присяжных «совершенно независимый, бесконтрольный и безответственный» (Познышев С. В. «Элементарный учебник русского уголовного процесса». М. 1913, стр. 124). В известном смысле это неплохо — когда надо противостоят диктату власти. В свое время именно на почве недоверия «третьего» сословия к коронным судьям — представителям правящих классов и возник суд присяжных, победное шествие которого по Европе началось после Великой французской революции.

Напомню результаты появления присяжных в России после судебных уставов 1864 года. Великая реформа открыла доступ в суд общественному мнению. Больше того, судебная трибуна стала его рупором. Оживилась политико-правовая мысль, неведь откуда появились выдающиеся судебные ораторы. Именно тогда из бутылки был выпущен Джинн, которого царскому правительству уже не удалось загнать обратно.

Однако независимость любого суда не может быть независимостью от закона, подчинение которому — аксиома правосудия. Присяжные же порой доказывали обратное. Вспомним дело неординарное, которое сегодня преподносится как пример «огромного духовного потенциала», — дело Веры Засулич.

Да, присяжные оправдали девушку, протестовавшую своим выстрелом против приказа петербургского генерал-губернатора Трепова выпороть политзаключенного. Тем самым они показали правительству — общество выступает против попрания человеческого достоинства. А теперь представим себе, что наши присяжные, возмущенные напившимися в советском обществе бесправием и несправедливостью, оправдали бы стрелявшего в современного самодура-чиновника. Назовем ли мы такой вердикт свидетельством «огромного духовного потенциала»? Или следует исходить из того, что

российский чинуша и его сегодняшней собрат — не одно и то же и для оправдания убийцы одного нужно подняться до высокого нравственного уровня, а для оправдания другого — наоборот, немного опуститься?

А. Ф. Кони, председательствовавший на этом судебном процессе, не был солидарен с вердиктом присяжных, хотя, надо полагать, был не ниже их по «духовному потенциалу». Он ожидал от присяжных вынесения обвинительного вердикта и одновременно признания необходимости снисхождения. Такой «обвинительный приговор, выражая слово порицания правовому самосуду», писал выдающийся юрист, смог бы продемонстрировать, что «есть суд, который... умеет достигать справедливых приговоров, не возмущая совести общества».

Известный в начале века адвокат Коммодов защищал нескольких крестьян, убивших «колдуна». Они искренне верили, что тот «портит» скотину, и потому защитник доказывал отсутствие их вины, особенно упирая на темноту и отсталость русской деревни. Присяжные убийц оправдали. После суда Коммодов разговаривал с одним из них — благообразным старичком.

— Что же у вас получается? Ведь могли вас и не оправдать, темь тут у вас не проглядная!

— Э брось, барин. Темь — это ничёго. Вот колдунов у нас много. Ну да теперь мы их всех изведем до последнего!

Юридический казус остался в далеком прошлом. А мы... мы вновь поверили в колдунов (например, телевизионных), вновь полны предрассудков (например, национальных), вновь вводим суд присяжных...

Разве современному обществу полностью удалось освободиться от предрассудков? Вряд ли будут избавлены от них и присяжные. В 1989 году Всесоюзный центр изучения общественного мнения по социально-экономическим вопросам (ВЦИОМ) провел опрос более чем двухсот тысяч читателей «Литературной газеты». 55 процентов из них отметили растущую напряженность между людьми разных национальностей. А теперь представьте себе перед местным судом народных представителей «лицо некоренной национальности». Незавидное положение будет и у оказавшихся на скамье подсудимых кооператоров, ведь именно они, по мнению половины опрошенных, извлекают максимальную выгоду из нынешних реформ. 54 процента опрошенных не считают свое существование благополучным и вынуждены ограничивать себя «самым необходимым» или «ееле сводят концы с концами». По мнению 37 процентов, лучше жить становится «махинаторам и жуликам». Не правда ли, им совсем нетрудно будет осудить любого обвиняемого в корыстном преступлении? Особенно если рядом не окажется судьи-профессионала, который всегда — плохо ли, хорошо ли — ориентируется на закон.

Жажда коренной реформы суда вполне понятна. Если уж мы столь решительно и далеко зашли в реформе политической системы, то общая тенденция все перестроить должна затронуть и правосудие. В этой обстановке не могла не возникнуть идея суда присяжных. Союзный законодатель допустил возможность его введения «в порядке, установленном законодательством союзных республик», для рассмотрения дел о преступлениях, за которые законом предусмотрена смертная казнь или лишение свободы на срок свыше 10 лет. Что ж, тут есть резон — у каждого народа могут быть свои особенности в организации правосудия.

И все же, полагаю, есть общие вопросы, с которыми всем Верховным Советам союзных республик неминуемо придется столкнуться, если они, конечно, вообще будут вводить у себя эту форму правосудия. Ведь применительно к наиболее серьезным делам придется перестраивать всю процессуальную процедуру. Дело первостепенной важности — предусмотреть в ней определенные механизмы, нейтрализующие стихийность в правосудии.

В любом случае не стоит подходить с наскака к изменению судебной системы. Почему бы прежде не изучить и не подвергнуть оценке все подводные камни, на которые то и дело натывается суд присяжных на Западе! И уж потом решать. Как формировать состав присяжных? Мы-то привыкли избирать народных заседателей в производственных коллективах, а в число присяжных входит любой взрослый гражданин, на кого выпал жребий. В США, например, правосудие буксует на длительной и часто неэффективной процедуре отбора присяжных. Ставить ли, как во многих странах, возможность рассмотрения дела таким судом в зависимость от воли подсудимого? Какую роль в процессе отвести профессиональным судьям? Вопросы можно множить. Но не ответив на них, вряд ли следует верить суду присяжных судьбы тысяч и тысяч людей,

И, пожалуй, главный вопрос: будет ли в законе предусмотрена возможность исправления допущенных присяжными судебных ошибок?

Английские юристы часто сетуют на то, что присяжные излишне подвластны эмоциям, не умеют оценивать доказательства. Недавно мне довелось побывать в Англии и убедиться, как некоторые из них удивлялись нашему интересу к возникшему шесть веков назад правовому институту. «Я бы не стал рекомендовать его тем, кто сегодня реформирует судебную систему», — сказал судья Эрик Краузер. — Преступления становятся все более сложными и запутанными, их разбирательство требует специальных познаний. В какое положение вы поставите юридически невежественных людей? Система, объединяющая судью и заседателей в единую коллегию, в наш компьютерный век более надежна».

Нам, увы, известно, чем чревата эта «надежность». Кому не приходилось видеть, как наши народные заседатели, напоминая декорацию, молча восседают по обе стороны судьи-профессионала и покорно кивают на обращенные к ним вопросы. В местах не столь отдаленных бытует обидное словцо «кивалы» — так припечатал молчалиников блатной жаргон.

Но следует ли выделить заседателей в самостоятельную коллегию? Или к тем же результатам приведет увеличение их числа? Возможность создания расширенной коллегии народных заседателей теперь предусмотрена законом. В отличие от двух нынешних они могли бы решительнее отстаивать свое мнение и в то же время иметь возможность свериться с мнением компетентного юриста. Надо лишь лучше обеспечить их права. Допустим, суд присяжных и вправду лучший путь к судебской независимости. Но по большинству дел правосудие будет по-прежнему действовать в прежнем процессуальном режиме.

Закон как будто гарантирует права народных заседателей: приговор выносится судебской коллегией большинством голосов. Если председательствующий остается в меньшинстве, в основу приговора кладется мнение заседателей. Но часто они знают свои права понаслышке, да и психологически легко положиться на мнение единственного в судебном составе юриста. Если же заседатель не согласен с приговором, ему все равно придется его подписать. Так гласит закон. А потом — пожалуйста, пиши так называемое особое мнение. Однако составить и аргументировать его способен далеко не каждый, и скорее всего оно так и останется ненаписанным.

Кто и зачем придумал это нелепое правило — подписывать документ, с которым ты не согласен? Дисциплина полезна в армии, но вряд ли уместна в юриспруденции. Что случится, если приговор подпишут два члена суда вместо трех, раз уж все равно он может быть вынесен большинством голосов?

Впрочем, заседатель, подписавший неправедный приговор, ничем не рискует. Об этом все равно никто и никогда не узнает. Больше рискует, как ни странно, тот, кто принципиально отстаивает свое мнение. У иного судьи отношение к заседателям напрямую связано с их — увы — покладистостью. И потому строптивый заседатель, убежденно стоящий на своем, может очень скоро возвратиться из суда в родной коллектив и больше в суд не вызываться. А его смиренный коллега будет пребывать в нем месяц-другой.

Позвольте, спросит знакомый с законом читатель, разве судье дано решать, кого из заседателей вызывать, а кого — нет? Верно, по закону заседатели привлекаются к осуществлению правосудия в порядке очередности. Но где и как фиксируется эта очередность, можно лишь догадываться...

Кому на руку подобные порядки? Только тем судьям, кто лишь на словах признает равноправие народных заседателей, на деле диктуя им свою волю. Даже если эта воля соответствует букве закона, она противоречит его духу.

Независимость народных заседателей необходимо оградить более четкими юридическими гарантиями: установить строгую очередность их вызова в суд, прекратить их использование на «подсобных» работах (свободное время они лучше проведут не на дежурстве, а за изучением назначенных с их участием дел). И, наконец, поставить вопрос об отмене обязательного подписания приговора всеми судьями — согласными с ним и не согласными.

Возможно, этими мерами удастся хотя бы в какой-то мере снять психологическую зависимость заседателей от профессионального судьи. А он бывает подвержен влиянию извне. По отношению же к присяжным «телефонное право» бессильно. Хотя кто знает,

не будет ли оно компенсироваться воздействием досудебных публикаций, к которым судьи прислушиваются в значительно меньшей степени.

Без «телефонного права», но и без права вообще... Как ни странно, немало судей поддерживает идею суда присяжных. Впрочем, ничего странного здесь нет — таким образом они «убивают двух зайцев», добываясь собственной независимости и снимая с себя ответственность за принимаемые судом решения. Кому придет в голову спросить с судьи за вынесенный другими неправосудный приговор? Так судьи обретут независимость, а суд... вполне может утратить ответственность перед обществом, возможную лишь в условиях законности. Надеяться же на ответственность присяжных можно только в сложившемся гражданском обществе, для членов которого характерно понимание своего долга.

Пусть читатель не воспримет позицию автора как однозначно негативную по отношению к суду присяжных. Как любое политико-правовое решение, это требует «взвешивания» его возможных преимуществ и дефектов. И, разумеется, оценки социального фона — вздыбленной страны с утраченными прежними и неустоявшимися новыми идеалами.

Синдром «первого ученика» лучше всего может быть понят, если вспомнить, как оправдывался персонаж шварцевской сказки, запянавший себя соучастием в тирании: «Если глубоко рассмотреть, я ни в чем не виноват. Нас так учили». В ответ он услышал: «Всех учили. Но зачем ты оказался первым учеником, скотина такая?» Это риторический вопрос, ответ на него подразумевается: первым учеником способен стать лишь плохой человек, «скотина». А как быть, если все отечественное правосудие оставалось верным слугой административно-командной системы на всех периодах ее становления и развития? Это неприятно признавать. Юристы всегда стараются уходить не только от такой постановки вопроса, но даже от самого разговора на эту тему. Даже применительно к временам сталинщины принято говорить о внесудебном произволе, подразумевая, что суды были как бы ни при чем. На деле же они служили тоталитарному режиму ничуть не менее ревностно, чем пресловутые «тройки», разве что с меньшей оперативностью. Так было и в сравнительно недавние годы, когда на скамье подсудимых оказывались то бескорыстные и инициативные хозяйственники, вынужденные преступать букву мертвых инструкций, то так называемые диссиденты, чьи крамольные речи куда безобиднее статей из нынешних газет. Да и сегодня синдром «первого ученика» срабатывает вновь и вновь. Только ли оттого, что пока не ушло в небытие «телефонное право»? Нет, это явно неполное объяснение. Независимость судей вещь, конечно, важная, но ее одной недостаточно, чтобы судебная система перестала бросаться в едином порыве исполнять любое желание власти.

Тут нужно нечто другое: сама судебная система должна почувствовать себя властью. Как это принято в правовом государстве, основной чертой которого издавна признано разделение власти — законодательной, исполнительной и судебной. Да, речь именно о судебной власти, хотя такое выражение пока для нашего уха звучит непривычно. «Ведущей тенденцией в развитии государства и других политических институтов, — читаем в программном выступлении М. С. Гобрачева «Социалистическая идея и революционная перестройка» («Известия», 28.11.89), — является... четкое разделение исполнительной и законодательной властей, независимость суда». Исполнительная и законодательная — власти как власти, а суд...

Однако хорошо уже то, что о судейской независимости сказано столь авторитетно. Без независимости о власти говорить не приходится. Зависимая власть уже не власть. Пока судебная система покорно склоняет голову перед отдельными людьми, она не способна стать равной целым политическим институтам.

В США президент принимает присягу перед председателем Верховного суда, олицетворяющим нечто святое, великое, перед чем склоняется исполнительная и даже законодательная власть. У нас же самые высокие судьи и те под Богом ходят. Напомню памятный диалог, состоявшийся на I Съезде народных депутатов между одним из руководителей Верховного Совета СССР и депутатом, по профессии следователем. Первый напомнил второму, как тот однажды высказал недоверие Председателю Верховного суда СССР В. И. Теребилову. Следующая фраза в этом диалоге весьма знаменательна: «Тельман Хоренович, я сдержал свое слово: Теребилов ушел на пенсию» («Известия» от 30.05.89). Может быть, это лишь неудачное выражение мысли. А может, и не случайная проговорка, отражающая подлинное отношение к суду власть предержащих.

Авторитарная система никакой судебной власти не допускает вовсе. Вот почему мы, ее наследники, так стесняемся этих слов.

Вряд ли следует стесняться заимствовать что-то из накопленных человечеством правовых ценностей. Конечно, если отойти от недавних представлений, квалифицировавших разделение властей как буржуазную выдумку. Может быть, это лучшее из всего придуманного человечеством в социальной сфере. Сама идея Монтескье исходит из того, что в государстве должны существовать три независимые власти, призванные сдерживать друг друга. Их соединение в одних руках ведет к забвению общих интересов, деспотизму и несовместимо с политической свободой и неотчуждаемыми правами личности.

В последнее время заговорили, будто у нас исполнительная власть подмяла под себя все остальное. На самом деле мы только приступаем к разделению властей. Иначе и быть не может, поскольку прежде правила бал, мешая проявиться иным структурам, одна власть — партийная, а точнее, единая партийно-государственная аппаратная структура, мало-помалу начинающая сдавать позиции. Суд рассматривался как один из проводников линии партии — соответственным было отношение к судебной системе.

Правда, пальму первенства у нее могли бы оспорить органы внутренних дел, государственной безопасности и прокуратура — вот кто, без сомнения, первые ученики, любимчики власти. Но они одновременно плоть от плоти полицейского государства, его органическая часть. Без них тоталитарная система вообще не способна обойтись. А без суда она обойтись может. Когда все подчинено проведению единой политической линии, право, юридический процесс становится декорацией. Будет суд, не будет суда — не столь важно. В конце концов можно поручить отправлять людей в тюрьму кому-нибудь другому. Да так оно и делалось, пусть и не совсем последовательно — сказывалось известное неудобство перед границей. «А просто неприлично государству совсем не иметь судов» (А. Солженицын). Между тем сам судебный процесс — помеха для режима. Ведь в нем заключены выработанные веками процедуры, не позволяющие без лишнего, с точки зрения власти, проволочек засудить кого бы то ни было.

Для тоталитарного государства не существовало каких-либо препятствий. Если закон мешал, тем хуже для закона, — его откладывали в сторону или заменяли другим, более удобным. Эта традиция не прервалась со смертью Сталина. Во время хрущевской оттепели и в годы брежневщины суды применяли политические статьи, преследующие людей за их убеждения. Кстати, хотя эти статьи убраны из Уголовного кодекса, осужденные по ним люди в большинстве своем не реабилитированы. Недосуг.

Это и многое другое тяжким грузом легло на совесть правосудия. Но вот парадокс — совесть судей чиста. Какой с них спрос, если они лишь применяли закон, всегда подлежащий неукоснительному исполнению? Как говаривал сказочный персонаж, «нас так учили». Юриста так учили, как никого другого. Мог ли он сомневаться в справедливости закона? Заклинания о «социалистической законности», ежедневно и ежечасно вбиваемые в наше сознание, сделали свое дело и убедили многих. Многих, но не всех. Иные, томясь духом, вынужденно жили двойной моралью, а кто-то чувствовал себя как рыба в воде.

А как сегодня чувствуют себя судьи, применяя несправедливые законы? Примерно половина опрошенных мною судей не всегда уверены в справедливости вынесенного ими приговора. Почему же тогда они его выносили? По свидетельству 45 процентов опрошенных — «таков закон». Остальные 55 процентов утверждают — «такова практика».

С трудом пробивает себе дорогу мысль о том, что закон и право не всегда синонимы. Бывают законы, где больше произвола, чем права. Я имею в виду юридические идеи и принципы, выработанные на протяжении тысячелетий и ставшие общечеловеческой ценностью. Один из участников февральского (1990 г.) Пленума ЦК КПСС заметил: «У демократии есть свои берега — государство, закон, право». Все верно, но только если эти слова изложить в обратном порядке. Когда во главу угла ставится государство, ущерб терпит личность. Когда же подчеркивается приоритет права, имеется в виду равенство личности и государства, их взаимная ответственность друг перед другом.

Право, закон, государство. Право как извечная справедливость, а вовсе не привычные нам запреты и ограничения. Закон, признающий примат права, а не являющийся произвольным предписанием государства. Государство, где общепризнано верховенство закона.

Все мы свидетели того, как законодательная власть становится на ноги и законы все больше приобретают социальную и экономическую обусловленность. Но полностью

антагонизм права и закона снимается лишь в правовом государстве. Покуда же «неправовые законы» встречаются. Каким же образом правосудие, применяя действующее законодательство, сможет почувствовать себя с ним на равных?

Во-первых, судебной системе пора обрести свой собственный взгляд на закон, сверенный с нравственными критериями. И в необходимом случае, используя право законодательной инициативы, ставить вопрос о его отмене. Сегодня кто угодно, но только не суды, протестуют против антидемократического и, значит, неправового законодательства.

Во-вторых, суд при рассмотрении дел руководствуется не только законом, но и многочисленными нормативными актами, нередко ему противоречащими. Всем известно, например, как предусмотренные Гражданским кодексом правомочия покупателя перечеркиваются инструкцией торгового ведомства. Тем самым судьи попадают в западню, расставленную им системой, которая традиционно стремилась подправить закон, сделать его рамки каучуковыми. Суд не может больше поворачивать закон «как дышло» Его задача — защита закона и лежащих в нем базовых фундаментальных ценностей от любых, в том числе нормативных форм его нарушений. Все права граждан должны иметь судебную защиту — вот альфа и омега правового государства. Следовательно, суд должен иметь право проигнорировать любой подзаконный акт и руководствоваться непосредственно законом. Может быть, не каждый суд, а судебная система в целом — в лице Верховного суда СССР и Верховных судов союзных республик?

Легко сказать! А если речь идет о постановлении правительства? А если об указе Президента? Напомним, что при введении у нас президентского правления у многих возникало опасение, не приведет ли оно к новой твердой руке? Это опасение небесполезно лишь в том случае, если новая мощная структура исполнительной власти не сопровождается усилением контрольных полномочий власти судебной.

В США противовесом исполнительной власти служит Верховный суд. Он может объявить незаконными решения любого должностного лица, включая самого президента. В 1952 году, когда американцы воевали в Корее, профсоюз металлургов объявил национальную стачку. Поскольку это препятствовало бесперебойному снабжению армии боеприпасами, Гарри Трумэн передал правительству управление сталелитейными заводами. Верховный суд, однако, признал его действия неправомочными, поскольку военные полномочия находятся исключительно в ведении конгресса и президент не вправе вмешиваться в управление какой-либо отрасли. Этот случай хотя и весьма показателен, но достаточно уникален. Американские суды, как правило, неохотно решают вопросы, связанные с внешней политикой, зато безотказно рассматривают дела, требующие от правительства гарантий конституционных прав.

У нас нет аналогичного контрольного органа, его прообразом является Комитет конституционного надзора вкупе с Верховным судом СССР. В соответствии со статьей 124 Конституции СССР комитет по поручению Съезда народных депутатов и по предложению Верховного Совета СССР дает заключение о соответствии указов Президента СССР Конституции СССР и законам СССР. Достаточно ли этого? А если суд при рассмотрении конкретного дела усмотрит расхождение указа Президента с Конституцией или каким-либо законом? Чем в этом случае должны руководствоваться судьи? Думаю, они могли бы тогда обратиться в Верховный суд страны, которому должно принадлежать последнее слово в толковании законодательства. Покуда же из-за отсутствия четкого статуса он порой толкует его с оглядкой на власть преобладающую. Любой закон допускает различное толкование — например, расширительное или ограничительное. Вот тут-то наступает звездный час для той самой «практики», на которую ссылаются судьи, объясняя факт существования несправедливых приговоров.

Многим запомнилась бюрократическая комбинация вокруг статьи 11¹ Закона об ответственности за государственные преступления, открывавшей широкий простор для преследования за критику. Народные депутаты СССР не попали в расставленную ловушку и на своем первом Съезде отменили принятую Президиумом Верховного Совета СССР антидемократическую норму. Между этими двумя событиями не прошло и полутора месяцев. Однако именно в этот промежуток Верховный суд страны успел дать руководящее разъяснение новоиспеченного закона, тем самым благословив его применение нижестоящими судами.

Правда, разъяснение было весьма осторожным. Чего не скажешь о другом постановлении высшего судебного органа, посвященном аналогичному по своей направленности акту, — Указу Президиума Верховного Совета СССР о порядке проведения митин-

гов и демонстраций. Индивидуальные пикетчики, которых всё чаще можно встретить у иных парадных подъездов, приравнены им к участникам несанкционированных митингов со всеми вытекающими отсюда последствиями. Пусть это и противоречит здравому смыслу. Но уж очень непригляден сам вид протестующих людей для начальственного взора.

Кстати, в связи с названным Указом немало квалифицированных судей попало нынешним летом в политическую западню, оставшись в результате выборов за бортом корабля правосудия. Демократически настроенные депутаты многих Советов предъявили претензии к тем из них, кто рассматривал дела о несанкционированных митингах и демонстрациях. Даже разделяя их чувства, нельзя признать эти претензии справедливыми. Невозможно требовать от судей, чтобы они не применяли антидемократический закон, покуда им такого права не предоставлено.

Почему судебная система по-прежнему демонстрирует тонкое понимание принимаемых властью решений? Почему с особым трепетом откликается на те из них, что весьма далеки от демократизма? Мне не раз приходилось сталкиваться с судьями, в недавнем прошлом рассматривавшими так называемые диссидентские дела. Никому из них не приходит в голову мысль о покаянии — ведь они следовали практике. Что с того, что даже для тех времен их практика была противозаконна — нельзя же в самом деле расценивать критические высказывания против Брежнева как антисоветскую пропаганду или в чтении произведений Солженицына усматривать подрыв Советской власти. Толкуя уголовный закон расширительно, они отлично сознавали, чей выполняют социальный заказ, направляя инакомыслящих в лагеря и психушки. Сегодня им нечего стесняться своего прошлого — у нас в стране не принято привлекать к ответственности исполнителей преступных приказов. В отличие от нюрнбергских судов над судьями ни один из режиссёров чудовищных сталинских процессов — ни главный судья, убийца Ульрих, ни другие — не ответил перед судом. Их наследники спокойно выносили в брежневскую эпоху неправомерные приговоры, игнорируя то, что это всегда расценивалось как уголовное преступление. И если, упаси Бог, на очередном зигзаге перестройки победят сторонники поворота вспять, им на помощь вновь придут послушные судьи, уверенные в своей будущей безнаказанности.

* * *

Официально объявленный в Платформе ЦК КПСС разрыв с авторитарно-бюрократической системой и переход к гуманному, демократическому социализму означает применительно к судам одно: пора наконец обрести правосудие с человеческим лицом. И, значит, самостоятельную судебную власть, способную противостоять кому бы то ни было и реально защищать свободу, демократию и права личности.

Для этого нужно довести до конца судебную реформу, дать ей материальную гарантию, в полной мере реализовав новые законы о статусе правосудия. Но одних этих мер недостаточно. Законодательная и исполнительная власти должны сами отнестись к судебной как к равной. Способен ли суд стать им противовесом, если он не наделен для этого необходимыми правами? Скажем, в отличие от многих других стран ему не доверяют пока функцию конституционного надзора, судебная доктрина не приравнена к источникам права.

А готовы ли суды взять власть? Те самые суды, в которых ещё столько апологетов послушного правосудия? Не уверен. Но твердо знаю — судебная система способна к саморазвитию, залогом чего является выработанная веками судебная процедура, ее незаемный демократизм. Гласность, коллегиальность, состязательность, множество надзорных инстанций — ни одна другая государственная структура не сравнима с этой, присутствие ей демократические элементы не удалось вытравить за десятилетия тоталитаризма.

Стать властью означает ещё и принять на себя ответственность. Главным образом в «позитивном» аспекте — как ее осознание перед народом и историей. Но существует и «негативный» аспект судебской ответственности — как обязанность держать ответ перед теми, кто в угоду иным властям творил произвол.

В сложный переходный момент, который мы переживаем, правосудию, как и обществу в целом, угрожают две силы — одни стремятся повернуть его назад, другие толкают к гражданской конфронтации. На фоне анемии высшей исполнительной власти порой кажется, что обе они смыкаются, ни во что не ставя независимый суд. Возможно, выходом из создавшегося положения было бы самое неожиданное решение. Вплоть

до создания новой системы союзных судов, параллельно действующей — по типу федеральных судов США. Федеральные судьи назначаются президентом и утверждаются сенатом. Конгресс может освобождать их от должности только в случае совершения преступления, да и то с помощью сложной процедуры импичмента. Они рассматривают дела, возникающие на основе Конституции, федеральных законов и международных договоров. Это «преступления против Соединенных Штатов» (государственная измена и прочее), дела, связанные с гражданами разных штатов или стороной, в которых выступает правительство или штат.

Наша судебная система, за исключением Верховного суда СССР и военных трибуналов, состоит из республиканских судов, формируемых на местах. Сегодня они рассматривают дела о всех преступлениях в той или иной союзной республике. В их числе те, в основе которых лежат межнациональные конфликты. По известным причинам значительную часть дел, связанных с Закавказьем, рассматривают российские суды — Верховный суд СССР охватить их просто не в состоянии. Насколько это соответствует суверенитету тех республик, где совершены преступления? Для разбора таких дел можно создать особую систему союзных судов, формируемых Верховным Советом СССР.

Движущей силой введения у нас института президентства была надежда на то, что он обеспечит стабильность общественного порядка, безопасность граждан. Но президентская власть нуждается в надежно функционирующей судебной системе. Президент наделен широкими полномочиями — например, принимать правовые акты, связанные с введением чрезвычайного положения, но решать судьбы конкретных лиц ни он, ни подчиненные ему должностные инстанции не вправе. Если им все же принимается индивидуально-правовой акт (когда, например, он лишает кого-либо государственных наград за «порочащие» действия), такое решение должно подлежать обжалованию в судебном порядке. Новые, несменяемые судьи могли бы именем СССР выносить приговоры по делам о нарушениях общесоюзного законодательства, и в частности тех, в основе которых лежат межнациональные конфликты.

Для обеспечения порядка нужны судьи, независимые от местных влияний. А их несменяемость послужит порукой тому, чтобы в необходимых случаях предпочесть букве акта государственной власти дух справедливости.

Разумеется, союзные судьи, замыкающиеся на Верховном суде СССР, могут быть созданы лишь с согласия всех советских республик, будучи предусмотрены в новом Союзном договоре. Но каким бы ни было наше будущее, чтобы устоять в схватке социальных сил, правосудию предстоит излечиться от опасных синдромов, вызывающих то безотчетный страх перед начальством и непреодолимое желание стать первым учеником, то зависимость от коллег по «общему делу» и ужас перед толпой...

Из истории русской общественной мысли

КНЯЗЬ Е. Н. ТРУБЕЦКОЙ
(1863—1920)

*

О ХРИСТИАНСКОМ ОТНОШЕНИИ К СОВРЕМЕННЫМ СОБЫТИЯМ

Статьи. Письма

Что больше — философское творчество, откровений потустороннего на земле через духовный к нему подъем или ни к чему не приводящие хлопоты об университете? Что выше — пифагорова «музыка сфер» или политическая деятельность и публицистика? Есть минуты в истории, когда самая постановка таких вопросов есть фальшь. Пусть не приводит ни к чему вся эта борьба публициста и политика за бесконечно любимое и дорогое. Если бы этой борьбы не было — не было бы самого главного, чем дорог человек, не было бы сердца у его внутренней музыки.

Е. Н. Трубецкой, «Из прошлого» (1917),

Князь Евгений Николаевич Трубецкой — необычная, одинокая фигура в калейдоскопе философских исканий русской интеллигенции начала XX века. Он никогда не был близок ни к марксизму, ни вообще к каким-либо революционным доктринам, соблазнявшим многих, очень разных мыслителей. В юности его не манили красные знамена социального переворота, увлекавшие Бердяева, Булгакова, П. Струве, С. Франка; в кровавых закатах русских революций ему не мерещились пурпурные зори грядущего духовного преобразования России, как то виделось порой Мережковскому и Вяч. Иванову; не впадал он в соблазн религиозных исканий, держался в стороне от реставраторов гионисийских мистерий, от адептов «великого доктора» — Рудольфа Штейнера, от пророков «третьего завета» и «мистического анархизма». Словом, Е. Трубецкой оказался чужд тому, что принято называть декаданством или модернизмом — в религии, философии, искусстве, политике: «новые веяния», протянувшиеся сквозь русскую культуру в конце минувшего века, а в начале нынешнего смешавшие в головокружительном вихре традиционные ценности, не поколебали духовный строй его личности, воспитанный во многих поколениях предков.

Е. Трубецкой родился спустя два года после отмены крепостного права, но его детство прошло в обстановке, мало чем отличавшейся от той, что знакома нам по страницам «Войны и мира». В старинной подмосковной усадьбе, в огромном доме — стиль ампир, архитектурный шедевр начала XIX века! — жизнь все еще не струнлась с места. Владелец Ахтырки князь Петр Иванович Трубецкой «любил, чтобы по утрам внучата приходили згоровать, показывал всегда одну и ту же игрушку — сигарочницу, деревянную избушку с петушками, причем внуки должны были целовать руку»¹. Казалось, вдохновлявший поэтов и художников усадебный, аристократически-

Составление, вступительная статья, публикация архивных материалов и примечания АЛЕКСАНДРА НОСОВА.

¹ Трубецкой Е. Н. Из прошлого. Вена. 1925, стр. 9.

барский быт установился здесь на века: многочисленные сыновья князя заведенным порядком определялись в Пажеский корпус, откуда тем же заведенным порядком выходили в лучшие гвардейские полки. Через службу в Преображенской гвардии прошел и отец будущих братьев-философов — князь Николай Петрович. И хотя впоследствии семейство Трубецких не избегло грустной судьбы российского дворянства — «упрошения быта» (Ахтырку пришлось продать из-за, как тогда выражались, «растойства дела»),— аристократизм домашнего обихода сохранился и в поколении внуков. Сергей Евгеньевич, старший сын Е. Трубецкого, в своих воспоминаниях (совсем недавно и, хочется сказать, очень кстати выпущенных издательством YMCA-PRESS) воссоздает картину семейного быта накануне XX столетия: «Ровно в 12 часов, минута в минуту <...> Иван докладывал Папа и Мама: «Ваше Сиятельство, кушать погано!» Иван был в черном сюртуке и белых перчатках — значит, завтрак (или обед) был простой, домашний, иначе он был бы во фраке. <...> И это еще была «простота»: у Дедушки люди подавали в синих ливрейных фраках на желтой подкладке, пуговицы на ливреях были с гербами»².

Поколение Трубецких, к которому принадлежали братья Сергей и Евгений, первым вступило на поприще науки и общечеловечности. Вместо Пажеского корпуса выбор пал на юридический факультет Московского университета — юриспруденция представлялась для отпрысков старинного рода занятием более приемлемым, нежели философия, к каковой в аристократической среде все еще сохранялось настороженное отношение. Даже «потомственная няня Трубецких» Феодосия Степановна (с теллой любовью помянутая Е. Трубецким и его младшим братом Григорием в их позднейших мемуарах), узнав о намерении своих воспитанников связать свою жизнь с философией, не могла скрыть разочарования и обиды: «Знаю эту вашу философию! Это значит — нет ни Бога, ни царя, ни няни. <...> Нет, уж вы это оставьте! Вот у меня племянник был, ни за что пропал от этой философии. Уж сколько его отец ложкой по голове бил, а он все свое. Все опровергает; плохо жил, плохо и кончил»³.

Беспокойство няни имело серьезное основание: юность братьев, Сергея и Евгения, протекала в тот период русской истории, когда общество еще переживало «смену двух катехизисов» и, по выражению В. С. Соловьева, «обязательный авторитет митрополита Филарета был внезапно заменен столь же обязательным авторитетом Людвига Бюхнера». Братья были моложе Соловьева на десять лет, но «фазы отрицания» в своем духовном развитии не миновали. «Помню, как мы с братом увлекались попыткой Бокля преобразовать историю путем внесения в нее методов естественно-научного исследования,— вспоминал Е. Трубецкой.— Мы зачитывались 'Дарвином и Спенсером, пытались ознакомиться с анатомией человеческого тела по купленному братом анатомическому атласу. Помнится, моя мать, с тревожною следившая за нашими умствованиями, внушала нам мысль, что нехорошо жить одним умом, надо жить больше сердцем, на что мой брат отвечал: «Что такое сердце, мама, это полый мускул, разгоняющий кровь вниз и вверх по телу»⁴.

Детскими болезнями лучше переболеть в раннем возрасте: тогда они протекают без осложнений, и в зрелости человек приобретает к ним устойчивый иммунитет. Переболев нигилизмом в гимназический период, братья Трубецкие подобно В. Соловьеву уверенно стали на «путь к истинной философии».

В больших русских дворянских семействах воспитание дети получали преимущественно домашнее (гимназический и университетский курсы часто сдавались экстерном), причем материнское влияние было преобладающим. Софья Алексеевна, урожденная Лопухина, женщина глубоко религиозная, отдавала детям все силы и всю душу. В то время, когда ее старшие сыновья штудировали анатомию, а их отец, вероятно, еще не утратил надежды увидеть их в гвардейском мундире, она в одном из частных писем высказала желание, чтобы сыновья стали миссионерами⁵. И желание ее исполнилось — наследие С. Н. и Е. Н. Трубецких звучит сегодня как слово нравственной проповеди в мире, все еще пребывающем вне света истины и добра...

Хорошо известно, что творчество Е. Трубецкого испытало сильное воздействие философии Соловьева — еще Н. О. Лосский называл его имя первым в ряду прием-

² Трубецкой С. Е. Минувшее. Париж. YMCA-PRESS. 1989, стр. 17.

³ Трубецкой Е. Н. Из прошлого, стр. 64—65.

⁴ Трубецкой Е. Н. Воспоминания. София, 1921, стр. 45.

⁵ См.: Трубецкой Г. Н. Облики прошлого. ОР ГБЛ, ф. 743, к. 13, ед. хр. 1, л. 87.

ников выдающегося философа⁶; однако учение Соловьева значило для Е. Трубецкого гораздо больше, нежели предшествующий, пусть очень важный, этап в движении философской мысли. С того момента, когда, читая в «Русском вестнике» «Братьев Карамазовых», гимназист Трубецкой заинтересовался главами из «Критики отвлеченных начал» (работа печаталась в журнале одновременно с романом), учение Соловьева все сильнее и сильнее захватывало его личность, накладывая отпечаток не только на ранние статьи по истории философии и церкви, но и на образ мыслей, чувствований, определяло направление его общественной и политической деятельности. Переписка Е. Трубецкого с М. К. Морозовой (содержащая не одну сотню писем, являющихся, без сомнения, выдающимся памятником эпистолярного жанра начала XX века) поражает неизменным присутствием соловьевских идей, постоянной — может быть, даже навязчивой, но глубоко необходимой — соотнесенностью всех, даже самых что ни на есть интимных, переживаний с теми «духовными основами жизни», что составляют самую сердцевину мироощущения Соловьева.

Потомок древней фамилии Трубецкой и внук московского священника Соловьев прошли разными жизненными путями, но духовное их родство несомненно: для них мир «созерцаний и умозрений» был и ярче и реальнее мира окружающей действительности. Современники поразились способности Соловьева неожиданно погружаться в умственное созерцание в самых неподходящих житейских ситуациях; эта же черта была присуща и Е. Трубецкому. «Уходя к себе в кабинет заниматься, Папа как будто покидал землю и уходил в какие-то другие, неземные области, — вспоминал его сын. — Иногда это случалось с ним и не в кабинете, и тогда он делался совершенно отсутствующим, что порой смущало мало знавших его людей. Для нас это было обычно, и мы прекрасно понимали, когда Папа с нами, а когда он уходит в какой-то таинственный для нас мир...»⁷

Встреча философов состоялась в первых числах августа 1886 года в старинном особняке на Гагаринском, уютно расположившемся в тихих извилистых переулках старой Москвы, «навверху в мезонине, в крошечной комнате», где жил друг юных лет Соловьева философ А. М. Лопатин (дом сохранился; теперь это № 15 по улице Рылеева). Здесь собиралась маститая профессура и узкий кружок философов, к которому примкнул и недавний выпускник университета, часто наезжавший в Москву Privat-доцент Демидовского ярославского лицея Е. Н. Трубецкой.

Главный философский труд Трубецкого (двухтомное сочинение «Мирозозерцание Владимира Соловьева», работе над которым автор посвятил несколько лет) — не только до сих пор наиболее глубокий и обстоятельный разбор философии Соловьева: в нем отчетливо выразились метафизические предположения и мирозозерцание самого Трубецкого. «В моей собственной теории познания открылось мне новое и ясно легло на бумагу, — писал он М. К. Морозовой в июле 1910 года. — Тут я решительно отделяюсь от Соловьева; но и относительно его многое вижу ясно, что прежде ускользало... Вижу, словом, то, от чего нужно во что бы то ни стало освободиться, чтобы не только понять Соловьева, но и сделать от него шаг вперед»⁸. Начав работу, Трубецкой сразу же понял важность своего труда для выяснения духовного смысла всей своей деятельности, для разрешения не столько теоретической, сколько жизне-строительной задачи. «Соловьев у меня опять сильно двинулся, и всегда я в этой работе нахожу утешение, потому что она — плод всей моей духовной жизни и потому что она затрагивает весь смысл моих с тобой отношений, всю их духовную сущность...»⁹

Русская культура породила странный тип философа: с одной стороны, погруженного в мистические созерцания, с другой — не только не сторонящегося мирских забот, но, напротив, энергичного общественного деятеля в самом широком смысле этого слова. Литературоведы спорят, послужил ли Соловьев прототипом Алеши Карамазова; но дело в другом: Достоевский как художник почувствовал появление именно этого типа, ярко воплотившегося впервые в Соловьеве, уже в ранние годы пришедшего к убеждению, что «теперь пришло время не бегать от мира, а идти в мир». Позднее Соловьев сравнил свою публицистическую деятельность с монашеским послушанием, необходимым отвлечением от молитвы для расчистки территории

⁶ См.: «Путь», 1926, № 3, стр. 14.

⁷ Трубецкой С. Е. Минувшее, стр. 15.

⁸ ОР ГБЛ, ф. 171, к. 6, ед. хр. 4а, л. 47.

⁹ Там же, ед. хр. 4б, л. 14.

монастыря от мусора. Образ монаха-послушника (более точный, нежели блоковский романтизированный «рыцарь-монах») очень точно передает существо русских «философов-общественников» П. Струве, С. Булгакова и особенно Е. Н. Трубецкого.

Он считал для себя невозможным уклониться от активной общественной борьбы в тот период истории, когда решалась судьба страны и народа, хотя ему и трудно было найти единомышленников в партиях, выступивших на арену политической жизни России после 1905 года. Поначалу с немногими близкими людьми Трубецкой составил небольшую «партию мирного обновления», органом которой, по сути, стал «Московский еженедельник»; однако влияния эта партия не получила, и большинство мирнообновленцев, в их числе и сам Трубецкой, вошло в партию Народной свободы. Союз с кадетами был внешне вполне закономерен — но можно предположить, что и здесь Трубецкой последовал примеру Владимира Соловьева, который в свое время тоже решил сотрудничать с петербургскими либералами во имя общности ближайших целей, невзирая на «метафизическое разномыслие».

Будучи глубоко религиозным, церковным человеком, мечтающим об уходе от мира, чтобы посвятить оставшуюся жизнь молитвенному уединению на Афоне, Трубецкой прожил жизнь, полную общественного послушания. Он всего себя отдавал студентам — в Ярославле, Киеве, Москве; почти четыре года редактировал «Московский еженедельник», где напечатал около трехсот передовых статей — откликов на самые горячие события тех лет (и каких лет: 1906—1910!); деятельно участвовал в работе калужского земства; выступал и на религиозно-философских собраниях, и на съездах кадетской партии; накануне февраля 1917 года заседал в Государственном совете, а после революции был избран товарищем председателя Всероссийского Поместного Собора по восстановлению патриаршества...

В XX веке Трубецкой являл пример последовательного борца с национальным мессианизмом и нередко шел на прямые столкновения с наиболее близкими ему философами — Бердяевым, Булгаковым, Эрном (некоторые материалы этой полемики публикуются в настоящей подборке). Но любил он Россию не меньше своих оппонентов; после октября 1917-го Е. Трубецкой не стал дожидаться решения новых властей об участии «непередовой» философии в стране, совершающей скачок в царство свободы: деятельное начало его личности увлекло его на юг, в Добровольческую армию. В сентябре 1918 года он по фальшивому паспорту покинул революционную Москву...

В июне 1919 года, в разгар военных успехов Деникина, когда падение большевиков казалось неминуемым, Трубецкой завершил в Кисловодске рассказ о своих скитаниях по окваченной гражданской войной России. Он писал о том, что ожесточение войны не может уже пройти бесследно для страны, что ярость классовой борьбы наложила отпечаток на нравственный облик всего народа. Он предостерегал от пролития потоков крови «после восстановления порядка».

«Самая опасная черта современности заключается в том, что кодекс междоусобной войны, привитый нам большевиками, стал обычным; его усвоили не только взрослые, но и дети. Расширенность всех нравственных правил, разнузданное своеволие, привычки к хищению и жестокость — таково ядовитое наследие смутной эпохи, которое оставит свои следы в душе народной на многие годы. Черты большевистского типа сохраняются в русских администраторах, военных и общественных деятелях из черносотенцев даже в то время, когда о большевиках в собственном смысле мы забудем и думать»¹⁰.

Е. Н. Трубецкой не хотел покидать родину. Он скончался от тифа при эвакуации Добровольческой армии, и тело его покоится в земле России.

ВСЕОБЩЕЕ, ПРЯМОЕ, ТАЙНОЕ И РАВНОЕ

З а последнее время мне неоднократно приходилось ездить из Киева в Петербург через Москву. Это — тот самый исторический путь, который прошла Россия в процессе своего развития. И по пути мысль невольно обзревала весь этот процесс, который привел нас к нашему печальному положению.

Из окна вагона я не видел ничего, кроме всеобщего, прямого и равного. Это, если можно так выразиться, закон нашего равнинного существования. На протяжении всего пути картина почти не менялась: я видел все ту же ровную, прямую

¹⁰ Трубецкой Е. Н., «Из путевых заметок беженца» («Архив русской революции», Берлин, 1926. № 18, стр. 205).

поверхность и кое-где еле заметные бугры, которые почти не нарушали однообразия пейзажа. По привычке к четырехчленной формуле взор мой стал искать тайного; тут спустился туман над полями; потом ночь скрыла все очертания равнины, и я увидел тайное. Когда я проснулся, предо мною красовалось кладбище, это классическое выражение всеобщности, равенства и тайны смерти, прямой жребий, предстоящий каждому из нас. А над кладбищем возвышалась церковь — тоже всеобщее, прямое, тайное и равное, но только в ином, лучшем значении этого слова.

Прислушаемся к этому немому языку символов: он поведает нам, что четырехчленная формула как в положительном, так и в отрицательном своем значении не есть что-либо новое в русской истории: в затаенной глубине нашего народного духа всегда боролись две тенденции, два противоположных понимания всеобщего равенства: из них одно находит свое воплощение в христианстве, другое приводит к всеобщему кладбищу; одно выражается в признании образа Божия во всяком человеке, как таком, всеобщего нравственного достоинства; другое, напротив, уравнивает всех в общем ничтожестве.

Равнинный, степной характер нашей страны наложил свою печать на нашу историю. В природе нашей равнины есть какая-то ненависть ко всему, что перерастает плоскость, ко всему, что слишком возвышается над окружающим. Эта ненависть составляет злой рок нашей жизни. Она периодически сравнивала с землей все то, что над нею выросло.

Когда начала расти Киевская Русь, степь стала высылать против нее рать за ратью полчища диких кочевников; и они уравнивали, то есть жгли, истребляли, резали; в конце концов татары все уравниали, то есть все превратили в развалины. И когда на южной равнине окончательно воцарилось равенство смерти, над развалинами севера стала медленно подниматься из развалин московская Русь.

И в ней сказалась та же равнинная тенденция. Чтобы бороться против угрожающих извне уравнительных стремлений татар, царская власть сама должна была стать единственной возможностью в стране и превратить в плоскость все то, что над нею; она покорила и поглотила отдельные княжества, превратила бояр в холопов; чтобы они не гневались, Иоанн Грозный рубил им головы. Деспотизм стремился всех уравнивать в общем ничтожестве рабства. Но, создав общее для всех иго, он не упразднил неравенства состояний. Над равниной уцелело много возвышенностей.

И вот в XVII веке против них ополчился Стенька Разин. Он хотел упразднить различия между богатыми и бедными и перестроить управление государством на началах всеобщих выборов. По-своему он «всех уравнивал», то есть жег, грабил, вешал всех вообще дворян и богатых. Когда же сам он стал слишком заметною возвышенностью, его в свою очередь «уравнивали» московские палачи. В XVIII столетии Пугачев теми же способами делал то же дело и в заключение подвергся той же участи. —

Переселимся в нашу эпоху, и мы увидим повторение того же самого. Опять наша равнина освещена ярким заревом пожара: огонь грозит поглотить всю ту скромную культуру, которая над нею выросла. В нашей народной душе еще жив дух Стеньки Разина: об этом свидетельствуют погромы, аграрные движения, междуусобная война, происходящая в разных местах России. И самые способы уравнивания теперь — те же, что и в дни Разина: поджог, грабеж, насилие над личностью. Наконец, теперь мы видим то же распределение ролей между «уравнителями»; сначала стали уравнивать преемники Разина; теперь их самих уравнивают преемники московских палачей.

Если мы расширим круг наших наблюдений, мы увидим, что теперь разрушается не одно только народное богатство, но и сама духовная культура: гибнет университет, рушится средняя школа; стихийное массовое движение грозит смести с лица земли самое образование. И если до этого дойдет, то отрицательная всеобщность и равенство осуществляются у нас в виде совершенно прямой и ровной поверхности: то будет равенство всеобщей нищеты, невежества и дикости в связи с свободой умирать с голода.

Не такова цель совершающегося у нас освободительного движения; чтобы четырехчленная формула осуществилась у нас в ином, лучшем значении слова, нам нужен необычный подъем всех наших духовных сил. Горит только то, что тленно. Противостоять всеобщему разрушению может только то, что стоит на вечной, неизблемой духовной основе.

Над кладбищем стоит церковь — олицетворение вечно воскресающей жизни. На нашей равнине это — та единственная возвышенность, которую смерть доселе не мог-

ла сровнять с землею. Среди переживаемых русскою жизнью периодических разрушений церковь одна выходила целою из пламени и вновь собирала воедино распавшееся на части народное тело. Деспотизм и ее подводил под ранжир всеобщего рабства; но он не мог нанести ей окончательного, смертельного удара. Духовная жизнь в ней помертвела, но не угасла. Теперь, когда рушится бюрократизм, державший Христа в оковах, и церковь готовится выйти на волю из тяжкого векового плена, она вновь должна стать средоточием нашей народной надежды.

Чтобы быть на высоте этой задачи, церковь сама должна освободиться от временных исторических наростов и явить миру во всей его первообразной чистоте христианский общественный идеал. Это — прежде всего — идеал положительной всеобщности и равенства, ибо во Христе нет различия между иудеем и эллином, между рабом и господином; в христианстве выражается и высшая тайна человеческого существования, и тот прямой путь, который ведет к спасению.

Это — путь спасительный не только для отдельных лиц, но и для целых народов. То анархическое движение, которое на наших глазах разрастается, не может быть остановлено никакой внешней, материальной силой. Вещественное оружие бессильно, когда падет в прах весь государственный механизм. Только сила нравственная, духовная может положить предел всеобщему разложению, резне, грабежу, анархии общественной и анархии правительственной. Христианство — та единая и единственная нравственная сила, перед которою у нас склоняются народные массы; иной у нас нет. И если русская демократия не определится как демократия христианская, то Россия погибнет бесповоротно и окончательно.

Для русского освободительного движения характерно то, что оно дорожит равенством более, нежели самой свободой. Оно готово предпочесть рабство частичному освобождению: между всеобщим равенством рабства и всеобщим равенством свободы оно не допускает середины. Оно не может мыслить иначе как в форме всеобщности. Черта эта составляет одно из проявлений того универсализма русского гения, который столько раз отмечался великими русскими писателями, в особенности Достоевским. Этот универсализм тесно связан с особенностями русской физической природы; здесь нет тех естественных преград, которые бы обособляли человека от человека: где нет гор, там нет и замков, — вот одна из причин, почему в России не было и нет почвы для образования сильной аристократии.

Универсализм русского гения и его демократизм — два выражения одной и той же сущности. Форма всеобщности и потому самому демократические формы жизни составляют для нас историческую необходимость. От нас зависит только вложить в эти формы то или другое содержание, сделать выбор между массовым деспотизмом и демократическою свободою, между господством силы и господством права. Самый выбор всецело зависит от того, насколько сильны в народном сознании привитые христианством нравственные начала.

Есть два типа демократизма, два противоположных понимания демократии. Из них одно утверждает народовластие на праве силы; с этой точки зрения народ не ограничен в своем властвовании никакими нравственными началами: беспредельная власть должна принадлежать народу потому, что народ — сила. Такое понимание демократии несовместимо со свободою: с точки зрения права силы не может быть речи о каких бы то ни было неприкосновенных, незабываемых правах личности. Если сила народа является высшим источником всех действующих в общегитии норм, то это значит, что сам народ не связан никакими нормами: жизнь, свобода, имущество личности зависят всецело от усмотрения, или, точнее говоря, от прихоти, большинства. Таким образом понятая демократия вырождается в массовый деспотизм; о том, насколько он у нас силен, свидетельствует ряд фактов нашей общественной жизни, и в особенности — то изумительное пренебрежение к свободе слова, которое составляет печальную особенность наших нравов.

Другое понимание демократии кладет в основу народовластия незабываемые нравственные начала, и прежде всего — признание человеческого достоинства, безусловной ценности человеческой личности как таковой. Только при таком понимании демократии дело свободы стоит на твердом основании; ибо оно одно исключает возможность низведения личности на степень средства и гарантирует ее свободу, независимо от того, является ли она представительницей большинства или меньшинства в обще-

стве. Весь пафос свободы не имеет ни малейшего смысла, если в человеке нет той святости, пред которой мы должны преклоняться. Но признавать в человеке святую можно только с точки зрения определенного философского и религиозного мирозерцания. Если человек есть только временное, преходящее сочетание атомов материи, то проповедь уважения к человеческой личности, к ее достоинству и свободе есть чистейшая бессмыслица: об уважении к человеку можно говорить только в том предположении, что человек есть сосуд безусловного, носитель вечного, непреходящего смысла жизни.

Христианство учит, что человек есть «образ и подобие Божие». В сознании наших народных масс самое понятие о достоинстве человеческой личности неразрывно связано с этим христианским учением: поэтому спасение России всецело зависит от того, насколько этот принцип прочно утвердился в народном сознании. Только такое одухотворенное понимание демократии может совлечь с нее образ звериный и сообщить святость ее делу.

Впервые опубликовано: «Московский еженедельник», 1906, № 2; вошло в сборник «Два зверя» (М. 1918). Публикуется по последнему прижизненному изданию.

В заглавие статьи вынесена известная «четырёхчленная формула избирательного права» (иронически называвшаяся также «четырёххвостка»). «Эти четыре крылатых слова выражают собою самые дорогие гражданские упования у громадного большинства культурного человечества...— писал В. Н. Сперанский в специальной брошюре.— Эти четыре лозунга воплощают собою все идейное завоевание новейшего времени в области общественной справедливости. Они всего более достойны быть «написаны большими буквами» на знамени правового государства. Теперь они звучат для нас бодрящим призывом» («Выборы в Государственную Думу и четырёхчленная формула избирательного права». СПб. 1906, стр. 5).

ПО ПОВОДУ АГРАРНОГО ЗАКОНОПРОЕКТА

I

Год с лишним тому назад, обсуждая аграрный вопрос, съезды земских и городских общественных деятелей остановились на мысли о дополнительном наделении малоземельных крестьян путем прирезки им казенных, удельных, кабинетских и частновладельческих земель. Уже в то время на съездах раздавались отдельные голоса в пользу национализации земли. Но они оставались в меньшинстве¹.

Теперь партия «народной свободы», включившая в себя почти весь состав земско-городских съездов, внесла в Думу проект, основанный на частичной национализации земли. Под проектом имеются подписи лиц, бывших еще недавно решительными противниками национализации².

В § 2 проекта прямо говорится, что отчуждаемые земли поступают в государственный земельный запас, откуда они передаются нуждающемуся в них населению. По смыслу § 6 они могут передаваться не в собственность, а только в долгосрочное пользование — «без права переуступки».

Понятно, что слово «прирезка» исчезло из лексикона к. д. партии. Прирезать землю можно общине или отдельным лицам, но не государству и не целому народу. В связи с этим и субъект наделения теперь уже не тот, что год тому назад; тогда говорили об увеличении площади землепользования малоземельных крестьян; теперь партия признает «руководящим началом земельной политики передачу земли в руки трудящихся».

Чем же объясняются эти резкие изменения в аграрной программе партии?

Очевидно, прежде всего тем недавно сложившимся убеждением, что только при условии национализации отчуждаемые земли могут служить той цели, для которой они предназначаются. Земли, передаваемые в частную собственность, могут на другой же день перейти в другие руки путем покупки, они могут послужить материалом для образования новых латифундий или средством для легкой наживы в руках спекулянтов, пользующихся земельной нуждой. Чтобы закрепить землю в руках населения, действительно в ней нуждающегося, необходимо иммобилизовать ее, изъять ее из гражданского оборота. Чтобы не быть предметом купли-продажи, отчуждаемая земля не должна быть передаваема в частную собственность.

Разумеется, национализация не есть единственный способ иммобилизации земли. Та же цель может быть достигнута путем передачи земли крестьянским общинам без

права отчуждения. Но при этом условии весь проект земельной реформы принял бы узкосословный характер. Передавать общине неотчуждаемые земли — значит прикреплять общину к земле и отдельного крестьянина — к общине. Это значит вместе с тем усиливать то самое зло сословного обособления, от которого страдает Россия.

Передача земли крестьянским общинам без права отчуждения была бы нарушением начала всеобщего гражданского равноправия. Поэтому партии народной свободы оставалось обратиться к другим способам обобществления отчуждаемых земель. Она решила образовать из них неприкосновенный государственный фонд, который может быть передаваем не в собственность, а только в пользование.

Соответственно с этим и самое понятие субъекта наделения утратило свой первоначальный сословный характер: под трудящимися, которым предполагается передать землю, могут подразумеваться не только крестьяне, но и мещане, а также — рабочие.

Нетрудно убедиться, что этот проект дополнительного наделения, как и многие другие, не выдерживает критики. Прежде всего он не достигает той цели, которая признается в нем руководящим началом, — действительной передачи земли в руки трудящихся.

Долголетний опыт общинного землевладения достаточно убедительно доказал, что общинная земля даже там, где она имеется в достаточном количестве, не служит препятствием к образованию сельского пролетариата. Беднейшие крестьяне-общинники зачастую оказываются только фиктивными пользователями общинной земли: действительное пользование нередко сосредоточивается в руках зажиточных крестьян, и в особенности — кулаков, держащих в кабальной зависимости беднейших односельчан. Общинное землевладение не исключает возможности запродажи будущего урожая с отведенного крестьянину участка земли, ни даже фактической передачи участка в другие, более сильные руки.

Те же явления, само собою разумеется, будут повторяться с государственным фондом земель. Земли, передаваемые крестьянам в долгосрочное пользование без права переуступки, будут уступаемы в обход закона. Государство, отдавая землю в пользование того или другого лица, бессильно предупредить этот фактический переход земель от экономически слабых к экономически сильным. Юридический пользователь легко может превратиться в батрака, работающего на отведенной ему земле для действительного пользователя; а действительным пользователем может оказаться кулак, ссудивший крестьянина за ростовщические проценты семенами, деньгами или необходимым инвентарем.

Национализация земли при сохранении частной собственности на орудия производства не может предотвратить этого результата. Земля будет естественно переходить в руки тех, кто располагает необходимыми для ее обработки средствами. Кабальная зависимость сельского населения от сельских капиталистов-кулаков, понятное дело, не уменьшится, а возрастет после ликвидации частного землевладения. В числе тех, кого законопроект предполагает наделить землею, есть разряд лиц, заранее обреченный на кабалу: это — безземельные батраки. Не имея земли, они, понятное дело, не имеют и инвентаря, а следовательно, должны будут войти в долги, чтобы его приобрести. Так как они будут наделены по скромной продовольственной норме, они никогда не будут в состоянии выплатить этих долгов. Поэтому никакой государственный и земский кредит не спасет их от кабальной зависимости. Можно с уверенностью предсказать, что фактически большая часть из них останется вечными батраками.

По этим причинам надо полагать, что форма землепользования, созданная частичной или всеобщей национализацией, вряд ли окажется прочною. Фактическому положению вещей присуща тенденция превратиться в юридическое. Фиктивный пользователь земли — сельский пролетариат, — рано или поздно утратит интерес к земле и при возможности уйдет на отхожие промыслы будет не прочь с нею разделаться. Напротив, фактические пользователи — зажиточные крестьяне и кулаки — всегда будут стремиться юридически закрепить за собою свои фактические владения. Рано или поздно частное землевладение восстановится вопреки законодательным преградам. Наконец, и самый закон о неотчуждаемости государственного фонда может быть упразднен одним почерком пера, когда жизнь обнаружит его несоответствие с интересами населения. Помещики будут заменены зажиточными крестьянами и кулаками. Вместо упразднения частной собственности на землю произойдет только перемещение собственности из одних рук в другие. К этому и сведется конечный результат «передачи земли в руки трудящихся».

Проектируемая партией народной свободы частичная национализация не принесет ожидаемой от нее пользы; вместо того она может причинить неисчислимый вред. Прежде всего она не только не внесет умиротворения в население, но создаст новые и чрезвычайно острые конфликты.

Защитники национализации земли очень любят ссылаться на формулу — «земля Божья», якобы выражающую наше народное воззрение. В последнее время, однако, было достаточно выяснено, что народные воззрения на землю значительно разнятся по местам; поэтому теперь часто приходится слышать, что приведенная формула, отрицающая частную собственность на землю, выражает собою воззрение великорусского племени, воспитанного в преданиях общинного землевладения.

Однако и это утверждение лишено всяких оснований. Выражение «земля Божья» в устах крестьян обыкновенно прикрывает не соответствующее ему притязание определенного села на совершенно определенную землю соседней помещицкой экономии. Права других, не соседних сел, а тем более права всего русского народа при этом вовсе не имеют в виду. Если бы та или другая помещицкая земля, отчужденная в национальный фонд, была вслед за тем предоставлена в пользование каким-либо переселенцам из других губерний или уездов, они были бы приняты крайне враждебно местным населением. Последовательно проведенный проект национализации должен признавать одинаковое право на землю всего населения независимо от места жительства. Но в этом виде национализация повлечет за собою гражданскую войну между крестьянами.

Партия народной свободы отчасти предвидела это затруднение. Поэтому в § 7 разбираемого законопроекта мы читаем: «Из государственного земельного запаса отводятся земли сначала местному малоземельному и безземельному населению». Переселенцам отводятся земли, остающиеся «за удовлетворением потребности местного населения».

Весь этот параграф проекта носит на себе явную печать иллюзии. Раз вопрос о субъекте наделения будет в конце концов разрешаться местными землеустроительными комиссиями, не подлежит сомнению, что по крайней мере в пределах Европейской России будет наделено только местное население. Комиссии всегда предпочтут приберечь остающиеся свободные земли для своих земляков про запас, на черный день. Поступить иначе — значит подвергать величайшей опасности как переселенцев, так и самих членов комиссии.

Отдавать земли переселенцам в тех губерниях, где местное население нуждается хотя бы в небольшом дополнительном наделении, совершенно невозможно. Спрос на землю в каждой местности всегда превышает размеры потребительной нормы. Теперь приходится часто наблюдать, что этот спрос искусственно повышается в связи с ожиданием предстоящей земельной реформы. Крестьяне, совершенно обеспеченные землей и имеющие даже крупный душевой надел, бросаются покупать землю из опасения, как бы она не досталась другим, менее обеспеченным.

Крестьянам, даже в достаточной мере обеспеченным, естественно подумать о земельной тесноте, грозящей ближайшему поколению, их детям. И уже этого одного может оказаться достаточно, чтобы принять с колымами пришлых людей.

Дополнительное наделение вообще может послужить к умиротворению населения лишь при том условии, если оно будет производиться в форме прирезки земель к соседним селениям. Иначе оно вызовет новую, неслыханную доселе смуту.

Этим еще не исчерпываются опасности, связанные с новым проектом национализации. Н. Н. Львов в своей прекрасной речи основательно указал на ту новую деспотическую власть государства, которая создается этим проектом³. В руки государства передается огромный фонд земли, который дает государственной власти возможность держать в зависимости от себя миллионы населения. Государство распределяет между ними блага, служащие жизненным условием их существования, согласно потребительной норме, которая прежде всего должна быть гибкою, а потому не может быть твердой и устойчивой. Она может быть различной не только для соседних уездов, но даже и для различных местностей одного и того же уезда. Наконец, она должна быть изменчивой во времени, ибо она устанавливается в зависимости от ряда непостоянных, изменчивых величин: от средней урожайности, которая меняется вместе с развитием культуры, и от прочных промысловых доходов, которые также меняются в зависимости от бесчисленных условий, общих и местных.

Не ясно ли, что та власть, которая будет устанавливать эту норму и сообразно с нею распределять участки, станет властью деспотической? Неужели же этого одного недостаточно, чтобы прийти к заключению, что внесенный в Думу проект земельной реформы никуда не годится даже для великорусских губерний! Что же сказать о нем как о проекте, общем для всей Империи?

Тут нам остается только присоединиться к ряду заявлений депутатов наших западных окраин'. Повсеместное проведение принципа национализации земли было бы ярвым проявлением жестокого деспотизма центральной власти и нарушением той свободы «культурного самоопределения национальностей», которую к. д. партия выставляла на своем знамени.

II

В последней моей статье я далеко не исчерпал всех опасных сторон выработанного 42 членами Думы аграрного законопроекта.

Характерная черта этого проекта — государственная опека над сельскохозяйственным населением. Чтобы предотвратить безземелье крестьянства, составители этого нового плана аграрной реформы хотят ограничить свободу земледельца распоряжаться отведенной ему землею. Они наделяют его участком, который он не может ни продать, ни заложить.

Тут, как и всегда, государственная опека окажется вредной прежде всего для самого опекаемого.

Мы уже видели, что национализация земли сама по себе не в состоянии предотвратить кабальной зависимости беднейшего сельскохозяйственного населения от сельских капиталистов-кулаков.

Есть веские основания думать, что эта зависимость будет гораздо прочнее и тяжелее при национализации, чем при передаче отчуждаемых земель в частную собственность.

Национализация ставит кулака в привилегированное положение. Она делает его единственно возможным частным кредитором в деревне.

Собственник, желающий воспользоваться кредитом под обеспечение своей собственности, может обратиться для этого не только к любому частному лицу, но и к любому кредитному учреждению. Для него открывается источник дешевого кредита, которого совершенно лишен пользователь. Последний, не располагая на законных основаниях реальным кредитом, окажется в несравненно более затруднительных условиях.

Он может, правда, воспользоваться государственным или земским кредитом; но этот последний не может быть так широк, как реальный кредит, даваемый под обеспечение частной собственности. Он рискует оказаться недостаточным в случае хронического неурожая, болезни или увеличения количества тех «едоков», на которых рассчитана отведенная пользователю «продовольственная норма» земли.

В этом случае пользователю останется обратиться к услугам местного капиталиста — кулака. Последний, разумеется, использует отсутствие конкуренции кредитных учреждений и невозможность законным способом продать или заложить неотчуждаемый участок казенного земельного фонда. Кулак ссудит своего клиента деньгами за ростовщический процент и фактически приобретет в собственность его участок. Приобретая земли от обедневших землевладельцев в обход закона, кулаки, само собой разумеется, будут вознаграждать себя премией за риск незаконной сделки.

При этих условиях фиктивный пользователь окажется в значительно худшем положении по сравнению с безземельным батраком. Последний, по крайней мере, может переменить хозяина, между тем как первый будет лишен этой возможности. Прибавим к этому, что класс фиктивных пользователей возникнет немедленно после аграрной реформы благодаря злоупотреблениям, для которых проект сорока двух открывает широкий простор. Кулаки несомненно с самого начала будут приобретать в большом количестве земли государства через подставных лиц; безземельные батраки, не имеющие средств обзавестись инвентарем, послужат им для этого удобными орудиями.

Вообще собственность по сравнению с пользованием представляет ту выгоду, что она привлечет капитал к земле; благодаря сравнительной дешевизне реального кредита собственнику будет гораздо легче, нежели пользователю, обзавестись инвентарем и вводить в свое хозяйство необходимые улучшения. В тех случаях, когда собственник будет иметь возможность занять за небольшой процент деньги под залог земли, поль-

зователю придется вне закона заложить не только свое право пользования, но и свою мускульную энергию.

Собственность несомненно будет иметь своим конечным результатом обезземеление беднейшей части сельского населения. Но ведь и пользование приведет к тому же результату — через кабалу. При собственности экономически слабая часть крестьянства, быть может, скорее уйдет на фабрики и вообще на отхожие промыслы. При пользовании те же крестьяне, прежде чем уйти, промучаются в течение более или менее продолжительного времени в тисках у кулаков. В этом заключается несомненное преимущество собственности.

Раз обезземеление представляется во всяком случае неизбежным, национализация теряет всякий смысл. А что обезземеление неизбежно, в этом можно убедиться из следующего.

Кажется, не нужно доказывать, что для земледелия кроме рабочих рук требуется еще и капитал. Поэтому при сохранении частной собственности на орудия производства передача земли в руки трудящихся во всяком случае увенчается новым торжеством капитала. При национализации земли, как и при передаче мелких участков в частную собственность, земли рано или поздно перейдут к зажиточным крестьянам. Никакие усилия законодателя не в состоянии остановить процесса пролетаризации деревни и перехода земель в руки тех, кто имеет средства их обрабатывать.

В этом направлении нас толкают изменившиеся условия современного хозяйства. В настоящее время можно считать общепризнанным даже среди сторонников принудительного отчуждения, что дополнительное наделение землею — не более как паллиатив: оно не спасет население от голода, если оно не будет сопровождаться коренным изменением самого способа ведения хозяйства. Наше спасение заключается в интенсификации земледелия. А для этого необходим прилив капитала к земле.

Хозяйство нуждается в интенсификации. Иными словами, это значит, что соха должна быть заменена несравненно более дорогим плугом; нужны вообще новые, более совершенные орудия производства; нужно значительное увеличение количества скота. Иначе говоря, земледelec, чтобы не кончить рано или поздно голодной смертью, должен располагать большим, против прежнего, капиталом. Экономические условия сами собой установят для самостоятельного земледельческого хозяйства определенный имущественный ценз.

В силу укоренившейся привычки мы и тут продолжаем рассчитывать на наше излюбленное средство — государственную опеку. В государстве мы склонны видеть то providence, которое снабдит крестьянина недостающими ему орудиями производства. Но не станем убажывать себя иллюзиями. В нашей бедной капиталами земледельческой стране государство может создать тот огромный капитал, который требуется для земледелия, только за счет того же самого земледелия. Лучше раз навсегда отказаться от этой вредной мысли об опеке. Опека убаюкивает энергию в населении, приучая его во всяком затруднительном положении ждать помощи свыше. Поэтому она сугубо вредна в минуту, когда для населения России требуется величайшее напряжение всех ее производительных сил.

Тут мы снова убеждаемся в огромном преимуществе собственности по сравнению с пользованием. Мелкая земельная собственность неопценена по своему влиянию на народную психологию. Она воспитывает в массах то сознание независимости, которое не может быть свойственно арендатору казенной земли. Собственник сознает себя устройтеlem своих судеб, виновником собственного благосостояния и благополучия. Между тем пользователь воспитывается в привычке ждать благодеяний от государства, которое может дать или не дать землю, ссудить или не ссудить необходимыми для ее обработки средствами.

Народный голос требует «земли и воли». Не будем же убивать в народных массах того чувства ответственности, которое должно быть связано с действительным обладанием землею и с действительной волей.

III

При национализации земли государственная опека не сводится к одному только ограничению права пользователя распоряжаться его землею. Государство неизбежно должно вмешиваться в самое хозяйство землепользователя, руководить самым процессом земледелия.

Государству не может быть безразлично, как ведется хозяйство на его земле. Оно должно вменять в обязанность пользователю ведение рационального земледелия. Оно должно следить за правильностью севооборота, требовать, чтобы пользователь не истощал земли, чтобы он вносил в нее чрез известные промежутки времени необходимого удобрения.

И это тем более, что именно пользованию, в отличие от собственности, свойственно истощать землю. На это уже неоднократно указывали противники национализации. Арендатор казенной земли вообще менее, нежели собственник, заинтересован в увеличении ее производительных сил: срочному пользователю нет дела до того, в каком виде он передаст землю своим преемникам. Он заинтересован в том, чтобы в течение арендного срока вытянуть из земли все соки.

Против этого недавно возражал в «Русских ведомостях» профессор А. А. Мануилов.

Он думает, что арендатор при надлежащей гарантии его интересов, так же как и собственник, заинтересован в улучшении своего хозяйства и в увеличении производительных сил земли: арендатор, обеспеченный продолжительным сроком пользования и уверенный в том, что произведенные им улучшения не повлекут за собою повышения арендной платы, будто бы не будет вести хищнического хозяйства.

Доводы эти вовсе не убедительны. Раз для ведения правильного хозяйства, кроме указанных проф. Мануиловым правовых условий, необходимы еще и материальные средства, пользователь, лишенный этих средств, неизбежно будет истощать землю и по приведении ее в полную негодность возвратит ее в государственный фонд.

Разница между пользователем и собственником тут очень велика. Собственник, лишенный необходимых средств для обработки земли, уменьшает ценность своего участка, если он плохо ведет свое хозяйство, разоряет его и истощает землю. В случае продажи он рискует за это жестоко заплатить. Он заинтересован в том, чтобы продать землю, пока она еще не обесценена. Напротив, пользователь, истощающий землю, ничем не рискует. Как раз наоборот; если ему недостает необходимых для правильного хозяйства средств, он заинтересован в том, чтобы превратить свой участок в пустыню: ему нет расчета перебросить землю государству ранее полного ее истощения.

Тут необходимо принять во внимание еще следующее. После принудительного отчуждения в пользование крестьян поступит значительная часть хорошо удобренных помещичьих земель. Для того, кто не хочет или не может делать затрат для поддержания производительных сил земли, тут открывается соблазнительная перспектива использовать эту землю, снять с нее пять-шесть хороших урожаев и затем уйти на отхожие промыслы.

Тут уже государство будет вынуждено вмешаться: чтобы земли не были превращены в пустыни, принцип опеки должен быть выдержан и проведен до конца.

Государство, сказали мы, должно следить за тем, чтобы его земли обрабатывались как следует, иначе оно обречет на голод не только земледельцев, но и неземледельческое рабочее население.

Отдадим же себе отчет в том, что это значит. Чтобы обрабатывать землю как следует, нужно иметь орудия и скот; чтобы сносно унавозить в год одну десятину пахотной земли, нужно иметь по меньшей мере четыре головы крупного скота, а крестьянину нужно, кроме того, много навоза для огорода.

Требовать от пользователя, чтобы он вел правильное хозяйство,— значит поэтому предписывать, чтобы он вкладывал в землю известный капитал. Иначе говоря, это значит требовать, чтобы пользователь обладал известным достатком.

Кажется, этого достаточно, чтобы убедиться в неизбежности перехода земель в руки зажиточных крестьян при пользовании, как и при наделении в собственность.

IV

Депутат С. А. Котляревский на днях говорил в Государственной Думе: в настоящее время «речь идет не о создании нового строя и нового социального быта, а о крупном перемещении собственности, богатств и о социальном перемещении отдельных элементов русского народа»⁴.

Я обеими руками подписываюсь под этими словами. Процесс перемещения собственности действительно происходит на наших глазах; и пытаться остановить его — так же безумно, как пытаться запрудить Волгу!

Сохранение латифундий стало невысказанным; если земли не будут так или иначе отчуждены, раздроблены и переданы крестьянам, они рано или поздно будут захвачены. Мы должны считаться, с одной стороны, с земельным голодом, вызвавшим стихийное движение среди нашего крестьянства, а с другой стороны — с невозможностью при современном упадке промышленности найти для него достаточное количество заботок вне земледелия.

Дополнительное наделение крестьян землею стало неизбежным в качестве необходимого условия социального мира. Но, приступая к отчуждению земель, необходимо с полною ясностью сознавать тот конечный результат, к которому оно приведет. Переход земель к крестьянам и образование среди крестьянства нового зажиточного класса, фактически владеющего землею, — вот к чему мы идем. Это — две стороны одного и того же стихийного исторического процесса, который не может быть остановлен никакими человеческими усилиями.

Все вышеизложенное говорит в пользу непосредственной передачи отчуждаемых земель в частную собственность. Раз переход земель в руки зажиточных крестьян во всяком случае неизбежен, собственность имеет по крайней мере то преимущество, что она, в противоположность пользованию, не влечет за собою необходимости сосредоточения земель в руках худшей части зажиточного крестьянства — кулаков. Собственность вообще облегчит процесс перехода земель, сделает его менее мучительным и болезненным.

Вместе с тем, раз земля попадет в руки зажиточных крестьян, облегчится и ускорится и самый процесс интенсификации хозяйства, что будет иметь последствием необходимое для всего народонаселения удешевление хлеба. Напротив, закреплять землю за теми, кто располагает одними голыми руками для ее обработки, — значит готовить голод и для них, и для всего русского народа.

Вообще образование нового, могущественного класса мелкой сельской буржуазии будет в конце концов благотворным не для нее одной, а для общего подъема благосостояния. По мере роста и обогащения этого класса будет усиливаться потребление товаров, что послужит толчком к развитию фабричной промышленности. А рост фабричной промышленности даст заработок той части сельского населения, которая за неимением оборотных средств и орудий производства будет принуждена покинуть землю.

Странники национализации земли делают ту же ошибку, что их противники — члены нынешнего кабинета министров. Как те, так и другие задаются задачей предотвратить исторически неизбежное.

На наших глазах растет новый класс общества — зажиточное крестьянство, и Россия переживает болезнь этого роста. Этот основной факт нашей современной истории игнорируется справа и слева. Как члены кабинета министров, так и сторонники национализации земли пытаются задержать искусственными преградами этот исторически необходимый процесс. Одни противятся отчуждению земель, другие стремятся остановить обезземеление бумажным проектом национализации. И странное дело, в проекте, составленном членами партии народной свободы, ясно сказываются черты, унаследованные от того самого приказного строя, против которого они борются. В этом проекте сквозит крайнее недоверие к народным массам, над которыми учреждается опека, и крайнее доверие к той бюрократии (государственной или земской — все равно), которая будет опекать земледелие.

Само собою разумеется, что как старые, так и новые бюрократические преграды рухнут под напором жизни. Поток народного движения вскоре прорвет первую обветшавшую плотину. И тогда будет безумием пытаться противопоставить ему вторую.

Доктринерство может оказаться в конце концов так же вредным, как и упорство бюрократии.

Печатается по единственной публикации: «Московский еженедельник», 1906, № 13, 14.

Написано в связи с дебатами в Государственной думе по аграрному предложению фракции кадетов (так называемый проект 42-х, внесенный 8 мая 1906 года).

¹ Аграрный вопрос обсуждался на съезде земских деятелей в Москве 24 и 25 февраля и затем на специальном совещании землевладельцев и общественных деятелей 28 и 29 апреля 1905 года (см.: «Аграрный вопрос». Сборник статей. М. 1905. Т. I, стр. 299).

² Вероятно, имеется в виду М. Я. Герценштейн, выступивший в совещании с развернутой аргументацией против национализации земли (см. указанное сочинение, стр. 84).

³ Н. Н. Львов выступил в заседании 19 мая (см.: «Государственная Дума. Стенографические отчеты. 1906 год. Сессия I». СПб. 1906, т. 1, стр. 477—480).

⁴ Депутаты от Прибалтики и Польши (барон Ропп, Рютли, Стецкий и другие) выступали против проекта кадетов.

⁵ Цикл статей А. А. Мануилова под общим заглавием «Об аграрной реформе» см.: «Русские ведомости», 1906, № 139, 145, 155.

⁶ С. А. Котляревский выступал в заседании 27 мая (см.: «Государственная Дума...», стр. 720).

СТАРЫЙ И НОВЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕССИАНИЗМ*

I

Едва ли найдется какое-либо другое человеческое чувство, которое бы в наши дни подвергалось более глубоким изменениям, чем чувство национальное. После целого ряда огненных испытаний, через которые оно прошло, мы переживаем его совершенно иначе, чем прежде. Оно не уменьшилось в силе и глубине; во внутреннем существе своем оно осталось целым; но вместе с тем оно изменилось в чем-то основном и чрезвычайно важном. И оттого-то все старые формы, в которых оно прежде выражалось, кажутся нам глубоко неудовлетворительными. Поблекли старые национальные мелодии, и мы находимся в ожидании новых, которые должны явиться им на смену.

Всего нагляднее это сказывается в подлинном царстве мелодии — в музыке. Помнится, в начале восьмидесятых годов молодые люди моего поколения не видели пятен в «Руслане», слушали с энтузиазмом «Жизнь за царя» и испытывали восторг от ранних произведений Чайковского. А теперь постыло почти все, что тогда радовало. В «Руслане» многое представляется нам окончательно устаревшим. «Народ» в «Жизни за царя» кажется нам уже не крестьянами, а пейзажами; а в мнимо народных мотивах ранних произведений Чайковского слышится невыносимая для уха фальшь. Добрая треть, если не половина нашей национальной музыки состоит из увядших мотивов, которых теперь невозможно слушать. Мотивы эти, очевидно, отражают собою какие-то давно пережитые национальные иллюзии, которые современному образованному человеку совершенно чужды.

То же явление замечается и в других сферах национального творчества, в особенности же в области мысли. Здесь тоже есть своя «музыка прошлого», которая не имеет будущего, свои увядшие мотивы, окончательно неприемлемые для современного уха. И в их числе одно из первых мест занимает тот, о котором я поведу речь сейчас, — идея русского национального мессианизма.

Я помню, в дни молодости моей она заставляла биться сердца совершенно так же, как музыка «Жизни за царя». А теперь, когда приходится слышать новейшие вариации на ту же, некогда любимую тему, испытываешь мучительное чувство неловкости, как будто в одно и то же время совестно и больно: точно какая-то очень глубокая внутренняя святыня оскорбляется неподходящей и неуместной формой выражения. К великому нашему счастью, нам здесь дано распознать фальшивую ноту, которой наши предки не чувствовали.

В известном народном пересказе беседа Христа с Самарянкой передается буквально так: «Она Ему говорит: как же я Тебе дам напиток, когда Ты — Еврей; а Он ей в ответ: врешь, говорит, я чистый русский». Рассказ этот всегда неизменно вызывает снисходительную улыбку по адресу темного, безграмотного простого народа. Между тем он выражает собою самую суть той национально-мессианской психологии, которая, быть может, еще в большей степени увлекала людей высокообразованных и культурных.

Так или иначе русский национальный мессианизм всегда выражался в утверждении русского Христа, в более или менее тонкой русификации Евангелия. В талантливой книге об А. С. Хомякове Н. А. Бердяев совершенно правильно считает признаком национального мессианизма утверждение исключительной близости одного народа ко Христу, признание его первенства во Христе. В этом он совершенно справедливо полагает отличие мессианизма от миссионизма. Народов с каким-либо призванием или миссией, в частности с миссией религиозной, может быть много. Между тем народ-Мессия может быть только один. Как только

* Реферат, читанный на собрании Религиозно-философского общества 19 февраля 1912 года.

мы допускаем, что народов-богоносцев, призванных спасти мир, существует не один, а хотя бы несколько, мы тем самым разрушаем мессианическое сознание и становимся на почву миссионизма. Существенная черта национального мессианизма заключается в национальной исключительности религиозного сознания.

В этом и есть причина, почему в наши дни этот мессианизм принадлежит к числу мотивов увядших. Увядание есть роковая судьба всякого растения, оторванного от корня. Бытовой корень нашего национального мессианизма скрывается в отдаленном прошлом русской жизни, в таких настроениях и чувствах, которые уже давно и безвозвратно канули в вечность.

Раньше нас были другие времена и другие поколения, которые не чувствовали противоречия в идее «русского Христа». Этой иллюзией дышала допетровская Русь. Было время, когда наши предки жили мечтою о третьем Риме, призванном спасти и обновить мир. Эта мечта зародилась в настроении эпохи, которую В. О. Ключевский удачно характеризует как эпоху «затмения вселенской идеи». После падения второго Рима — Константинополя — «третий Рим» — Москва возомнила себя единственным в мире убежищем правой веры и истинного благочестия. В то время православная Русь считала себя единственной обладательницей Христа и христианства; греков она презирала, а инославные вероисповедания ставила на одну доску с язычеством. Говоря словами В. О. Ключевского, органический порок древнерусского церковного общества заключался в том, что «оно считало себя единственным истинно правомерным в мире, свое понимание Божества исключительно правильным, Творца вселенной представляло своим собственным русским Богом, никому более не принадлежащим и неведомым» (т. III, 383)¹.

Традиционное благочестие, унаследованное славянофилами от предков, содержало в себе сильную примесь этого «органического порока». Правда, как совершенно верно указывает Н. А. Бердяев, в сознании Хомякова мессианизм еще боролся с миссионизмом; однако и в его настроении черты старомосковского мессианического самомнения были выражены достаточно ясно: он считал Россию избранным народом, утверждал ее первенство во Христе и верил в ее призвание — спасти все народы:

И станешь в славе ты чудесной
Превыше всех земных сынов,
Как этот синий свод небесный,
Прозрачный Вышнего покрова?.

Поятно, что и тут в основе национального мессианизма лежало «затмение вселенского». Хомяков мог верить в Россию как единственную в мире спасительницу народов, лишь поскольку он проводил знак равенства между вселенским и «православным», а на место «православного» так или иначе подставлял русское. Однако у Хомякова в этом отношении были колебания; стертая граница между вселенским и русским у него от времени до времени восстанавливалась. Она исчезла окончательно у Достоевского, который должен быть признан наиболее типическим выразителем русского национального мессианизма.

Для него западные вероисповедания — выражение веры нехристианской; в особенности римский католицизм, говоря его словами, — «не Христа проповедует, а антихриста». По Достоевскому, он, в сущности, даже и не вера, а продолжение западной римской империи. Этим-то и определяется призвание России. — «Надо, чтобы воссиял в отпор Западу наш Христос, которого мы сохранили и которого они не знали». Обновление человечества в будущем совершится «одною только русской мыслью, русским Богом и Христом». Именно в России совершится новое пришествие Христова. Народ русский есть «на всей земле единственный народ-богоносец, грядущий обновить и спасти мир именем нового бога», — ему одному «даны ключи жизни и нового слова» *.

Вероисповедная и национальная узость этой формы «мессианизма» была основательно разоблачена В. С. Соловьевым. Утверждать, что Церковь св. Бернарда, св. Франциска, Фра Беато и немецких мистиков не знала Христа и что нам предстоит впервые явить Его Западу, после этих разоблачений стало невозможным; также невозможною стала горделивая мысль, будто все западное христианство уклонилось в язы-

* См. речи кн. Мышкина в «Идиоте» и Шатова в «Бесах».

чество, а христианство восточное осталось свободно от этих уклонений. К сожалению, сознание грехов и противоречий старого славянофильства не спасло самого Соловьева от того же рокового увлечения. В другой форме и у него воскресла старая традиционная мечта о третьем Риме и о народе-богоносце. Он вообразил, что из всех народов в мире один народ русский есть народ теократический или царский, призванный утверждать на земле Царствие Божие в форме святой государственности и общности.

Мы имеем здесь иллюзию, которая умерла и не воскреснет. Я не говорю о тех бесчисленных посрамлениях, которым подвергалась и доселе подвергается русская государственность: одних эмпирических фактов недостаточно, чтобы поколебать веру, которая по самой природе своей есть «уповаемых извещение». Но в данном случае потерпела крушение не какая-либо «эмпирическая данность», не какая-либо конкретная величина, а самая идея святой государственности. Теократия как таковая была изобличена и развенчана; в этом пришлось убедиться самому Соловьеву. К концу жизни он понял, что государственности как такой нет места в Царствии Божием, что Царствие Божие даже в земном своем осуществлении не теократично, а анархично*. Тем самым рухнула мечта об особой мессианической задаче русского государства. Но вместе с тем пала и последняя опора русского национального мессианизма. Теперь совершенно непонятно, на чем он держится.

Каковы бы ни были недостатки старорусского национального мессианизма, у него по сравнению с мессианизмом новейшим было одно несомненное преимущество — преимущество цельности и последовательности: его сторонники могли дать ясный отчет в своем уповании. На вопрос, чем удостоверяется особое избрание и особая близость России ко Христу, наши отдаленные, допетровские предки могли отвечать словами инока Филофея³, обращенными к великому князю Василию, отцу Грозного: «Соборная Церковь наша в твоём державном царстве одна теперь паче солнца сияет благочестием во всей поднебесной; все православные царства собрались в одном твоём царстве; на всей земле один ты — христианский царь».

Так же и Хомяков и Достоевский могли совершенно ясно ответить, почему для них «народ православный» — «превыше всех сынов земли». Равным образом и Соловьев, в средний период своего творчества, мог обстоятельно и точно объяснить, почему солью земли и народом царским он считает именно народ русский.

Как раз этой ясности недостает современным поборникам национально-мессианской идеи, и это — по той простой причине, что у них эта идея оторвана от всех своих исторических корней. Они не могут отождествлять православного с вселенским, потому что это значило бы вычеркнуть из своего образования Соловьева. Также невозможна для них стала пережитая и отвергнутая самим Соловьевым вера в теократическую империю, в мессианское русское царство.

Сильнее, чем теократическая проповедь Соловьева, звучит его пророческое предостережение:

Смирится в трепете и страхе,
Кто мог любви завет забыть,
И третий Рим лежит во прахе,
А уж четвертому не быть.

Чтобы извлечь наше национальное мессианство из-под этих развалин, в наши дни требуется большая отвага и величайшее напряжение творчества. Обрушились не только стены старого горделивого строения. Самый его фундамент по ветхости своей и узости пришел в негодность и стал окончательно неприемлем для современного религиозного сознания. На чем же утверждаются новейшие национально-мессианские чаяния?

II

Тут перед русской религиозной мыслью, как в сказке об Иване Царевиче, открываются три дороги. Изберет она средний путь, поедет прямо перед собою — будет ей и холодно и голодно и никуда она не доедет. Поедет она направо — сама погибнет, но зато конь останется целым. К счастью, есть еще и третий, спасительный путь — налево: тут приходится пожертвовать любимым коньком. Зато сама религиозная мысль останется целой.

* См. мою статью «Крушение теократии в творениях Соловьева», Русская Мысль, январь 1912 г.

Два первых пути уже испробованы. Средним путем поехал С. Н. Булгаков, который предлагает некоторый компромисс между вселенским идеалом и старой славянофильской концепцией. С одной стороны, от его внимания не ускользнул тот факт, что Достоевский верил не в религиозное призвание только, а в «исключительную миссию»⁵ русского народа*. С другой стороны, однако, в его собственном религиозном сознании против этой исключительности восстает вселенская христианская идея. Чтобы выйти из этого затруднения, он решил пожертвовать исключительностью, смирить гордость национального мессианства посредством «аскетического урегулирования»⁶ национального чувства**. Но эта попытка найти средний путь между Сциллой и Харибдой вселенского христианства и языческого национализма старого славянофильства не послужила на пользу ни религиозной мысли, ни ее любимому коню. С одной стороны, от «национального аскетизма» национальному мессианизму стало и холодно и голодно. Он похудел и побледнел до неузнаваемости, почти совершенно утратил свою физиономию. С другой стороны, изголодавшаяся по вселенскому христианству религиозная мысль не получила той новой пищи, которая могла бы ее насытить: она не достигла цели и не подвинулась вперед, потому что не решилась расстаться с любимым конем.

Решение, к которому пришел С. Н. Булгаков, одинаково неудовлетворительно и с точки зрения последовательного национального мессианства, и с точки зрения последовательного христианства. Он ясно видит, что национальный мессианизм легко переходит в то, «что обыкновенно называется национализмом». По его словам, «идея избрания слишком легко вырождается в сознание особой привилегированности, между тем как она должна родить обостренное чувство ответственности и усугублять требовательность к себе». «Национальный аскетизм должен полагать границу национальному мессианизму, иначе превращающемуся в карикатурный отталкивающий национализм»***.

В этих словах обнаруживается самая слабая точка всего построения С. Н. Булгакова. «Ограниченный мессианизм» есть кричащее внутреннее противоречие. Одно из двух: или данный народ есть воистину народ-Мессия, единственный в мире народ, призванный явить спасение всему миру, или он не Мессия вовсе. Мессианическое призвание «избранного» народа не может быть ни ограничено, ни разделено им с каким-либо другим народом. В этом можно убедиться на примере того единственного национального мессианства, истинность которого с христианской точки зрения представляется вполне достоверною. Если бы евреи в Ветхом Завете не были единственным избранным народом, призванным родить Христа, если бы Ветхий Завет вообще не был заключен Богом с одним Израилем, в отличие от прочих народов, Израиль не был бы народом-богоносцем и народом мессианическим.

Ограничивать исключительность национального мессианства значит просто-напросто уничтожить его. В этом отношении мессианическая теория С. Н. Булгакова в высшей степени поучительна. По его толкованию, «славянофильское выражение «русский Христос» можно понимать, между прочим, и в смысле констатирования того факта, что разные народности, как реально различные между собою, каждая по-своему воспринимает Христа и изменяется от этого принятия. В этом смысле можно говорить (вполне серьезно и без тени всякого кощунства) не только о русском Христе, но и о греческом, об итальянском, о германском так же, как и о национальных святых»****.

Это истолкование во всех отношениях и со всякой точки зрения неприемлемо. Достоевский, который в самом деле думал, что мир должен быть спасен неведомым Западу русским Христом, увидел бы в признании немецкого и итальянского Христа полное ниспровержение своей веры в «народа-богоносца» и был бы прав, потому что весь смысл этой веры в том, что одному народу русскому «даны ключи жизни и нового слова». С другой стороны, совершенно неудовлетворенным остается и вселенское, христианское сознание.

Идея «русского Христа», как понимает ее С. Н. Булгаков, тем более соблазнительна и опасна, что в ней заблуждение смешано с некоторою частицею истины, а потому не сразу бросается в глаза. Истина тут заключается в констатировании

* Два града, т. II, стр. 240.

** Подлинное выражение С. Н. Булгакова (Два града, т. II, стр. 290).

*** Два града, т. II, стр. 290.

**** Там же, стр. 298—299.

факта, что различные народности воспринимают Христа каждая по-своему. Заблуждение же заключается в возведении этого факта в принцип и норму. Это легче всего объяснить сравнением. Возможно, что различные народы по-разному воспринимают не только Христа, но и свет солнечный, так как не видят одинаково всех цветов спектра. Например, Древние греки называли море не голубым, а «фиалковым», вследствие чего существует предположение, что голубого луча в солнечном свете они не видели. Возможно, что существуют и теперь другие факты цветной слепоты, различные у различных народов. Не станем же мы, однако, на этом основании говорить о солнце греческом, германском или итальянском и утверждать, что нам всех ближе солнце русское. По словам С. Н. Булгакова, истинная религия, «будучи сверхнародна по своему содержанию, остается не безнародна по способу усвоения»*. Совершенно верно: но почему же, однако, нам кажется странным и даже смешным говорить об истине немецкой, итальянской или русской; почему это очевидно во всех других случаях нарушение единства истины вдруг перестает быть очевидным, когда речь идет о высшем откровении безусловной Истины — о Христе? Во всех других случаях для нас на первом плане сама Истина в ее полноте. Зачем же нам в Христе прежде всего искать и утверждать нашу «Святую Русь», наш несовершенный национальный угол зрения с его неизбежной ограниченностью и цветной слепотой? И действительно ли эту цветную слепоту превращать в определение самой истины, т. е. в данном случае — самого мессианства! Христос русский, итальянский и немецкий — ведь это все равно что фиолетовое, зеленое или голубое солнце.

По С. Н. Булгакову, «способность совершенно особого восприятия божественной полноты, выделения из нее особого луча из божественной плеромы и есть то, что для религиозного воззрения представляется в природе национальности наиболее ценным и важным»**. Тут-то и бросается в глаза роковой недостаток всей разбираемой точки зрения. Ведь божественная плерома объединяет в себе все лучи спектра, всю ту бесконечно многообразную радугу цветов, которая составляет содержание духовной жизни всех национальностей. Неужели же в природе национальности самым важным и ценным представляется ее способность воспринимать один только свой особый луч? Не значит ли это возводить в идеал и норму национальную ограниченность? Это несправедливо прежде всего в отношении самой национальности. Совершенно верно, что у каждой национальности есть свой «особый луч»; но самое важное и ценное в ней не ее способность отделяться и замыкаться в этой своей особенности, а ее призвание — объединять этот луч со всеми другими лучами в единстве плеромы, ее способность видеть их всех в единстве белого солнечного луча. Этим окончательно ниспровергнут «национальный мессианизм» в смягченной булгаковской его форме. Национальным может быть лишь тот или другой ограниченный угол зрения на мессианство, но отнюдь не оно само. На случай, если сказанное по этому предмету покажется недостаточно убедительным, я позволю себе напомнить, что точка зрения С. Н. Булгакова за много веков до него была известна апостолу Павлу и вызвала с его стороны протест столь же горячий, сколь и убедительный.

По словам С. Н. Булгакова, «нам, русским, ближе и доступнее именно наш русский Христос, Христос преп. Серафима и преп. Сергия, нежели Христос Бернарда Клервосского, или Екатерины Сиенской, или даже Франциска Ассизского»***. С точки зрения чисто фактической это, разумеется, так же верно, как и то, что католикам ближе христианство Петрово, а протестантам христианство Павлово. Но фактически нам, может быть, еще ближе христианство Обломова. Вот почему, если мы попытаемся наше фактическое возвести в нормальное и должное, — мы встретимся с категорическим запретом апостола Павла.

Тот факт, что Истина вселенская и общенародная усваивается людьми по-своему и что в христианстве существуют различные углы зрения, разумеется, не укрылся от его внимания. Он знал, что есть христианство Петрово, Павлово и Аполосово. Но он с решительным осуждением высказался о тех, кто принимает эти различные способы восприятия истины за окраску самой истины.

«Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы вы все говорили одно и не было между вами разделения, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях. Ибо от домашних Хлоиных сделалось мне известным о вас,

* Два града, т II, стр. 298.

** Там же, стр. 299.

*** Там же.

братья мои, что между вами есть споры. Я разумею то, что у вас говорят: я Павлов, я Аполлосов, я Кифин, а я Христов. Разве разделился Христос? Разве Павел распялся за вас, или во имя Павла вы крестились?» (I Кор. I, 10—13).

То же отвечал бы апостол Павел и тем, кто думает, что нам всего ближе Христос св. Серафима и Сергия и что это свое, особенное «близкое» в национальности с религиозной точки зрения всего ценнее. Апостол советует всем христианам без различия национальностей соединиться в одних мыслях о Христе. И в этом заключается та разграничительная черта, которая отделяет истинного Мессию от ложного партикулярнистического «мессианизма».

Подлинный Христос соединяет вокруг себя в одних мыслях и в одном духе все народы. Он везде, где собираются двое или трое во имя Его. Но кто же соберется во имя Христа русского? Он оттолкнет не только немцев и итальянцев, но даже и самих русских. Верующие соединятся с неверующими в живом против него протесте. И это оттого, что настоящий сверхнародный Мессия и нужнее и ближе подлинному религиозному сознанию, чем ограниченное национальное божество. Тот истинный Христос, в которого мы готовы верить, поднимает нас над нашими национальными немощами, а не утверждает нас в них. Затмению вселенской идеи пришел конец, и национальному мессианству суждено такое же забвение, как осужденному апостолом Павлом христианству домашних Хлоинных.

III

Другая попытка воскресить его принадлежит Н. А. Бердяеву, который решительно избрал путь направо; он утверждает национальное мессианство во всей его чистоте и целостности, без всякого компромисса с какими-либо новейшими течениями. Тут конь остается целым, но зато гибнет всадник; для религиозной мысли этот путь — самый опасный, потому что здесь она неизбежно утрачивает свое вселенское содержание.

У Н. А. Бердяева этот антагонизм между национально-мессианским и вселенским сказывается в форме чрезвычайно яркой и определенной. Я уже отметил, что в мессианизме в противоположность миссионизму он видит исключительное призвание одного избранного народа — народа Божьего — в отличие от прочих. Об этом он говорит буквально так:

«Данный народ — избранный народ Божий, в нем живет Мессия. Всякий мессианизм коренится в мессианизме древнееврейском. Так, польские мессианисты верили, что польский народ есть Христос среди народов, что гибель Польши была распятием Мессии, что это — народ избранный и исключительный, призванный быть провозвестником новой христианской эпохи»*.

Н. А. Бердяев совершенно не замечает, что в этих словах его заключается злейшая критика на его собственную точку зрения. Если русский национальный мессианизм «коренится в мессианизме древнееврейском», то ясно, что он представляет собою возвращение к тому ветхозаветному образу мыслей, который в Новом Завете не может иметь оправдания и применения. Основное отличие Нового Завета от Ветхого именно в том и заключается, что последний есть национальный, тогда как первый — универсальный, общенародный. Мессианизм есть именно утверждение особого завета между Богом и каким-нибудь определенным избранным народом Божиим. Какие же основания есть у Н. А. Бердяева утверждать такой завет между Богом и Россией?

От эмпирического обоснования своей веры в «народ-богоснца» он отказывается, и в этом он, разумеется, совершенно прав: фактами вообще невозможно ни обосновать, ни опровергнуть религиозную веру, тем более в данном случае, когда вследствие великого множества фактов отрицательных вера в «народ-Мессию», по признанию ее собственных сторонников, подвергается «огненному испытанию».

Вместо того Н. А. Бердяев мечтает об обосновании мистическом. По его словам, «дух народа воспринимается лишь мистической и художественной интуицией. А религиозное призвание его зависит от пророчеств»**. «Нельзя обосновать никакого мессианизма на вере как на историческом и этнографическом факте, т. е. на вере как объекте исторического познания; мессианизм можно обосновать лишь на вере как факте внутреннего откровения и прозрения, на вере как субъекте познания»***.

* А. С. Хомяков, стр. 209.

** Там же, стр. 178.

*** Там же, стр. 151.

Н. А. Бердяев относится с чрезмерным доверием к внутреннему откровению, или мистической интуиции. Судя по его «Философии свободы», он склонен даже считать интуицию неподсудною дискурсивному мышлению. Опасность такой точки зрения уже давно указана в известном сказании о святом, которому явился бес в образе ангела света. Угодник не рассмотрел, что у него петушиные ноги, и поклонился ему; а бес подхватил его и стал кружить в пляске. Из сего следует, что прежде, нежели доверяться «интуиции», надо тщательно рассмотреть, на каких ногах она держится. В том же направлении предостерегает другой, уже совсем не легендарный источник, который должен был бы обладать безусловной достоверностью для Н. А. Бердяева. Апостол Иоанн говорит: «возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они: потому что много лжепророков появилось в мире» (I Посл., IX, 1). Апостол тут же дает дискурсивной мысли критерий для испытания духов и пророчеств: «от Бога — только тот дух, который исповедует Христа, пришедшего во плоти; всякий же другой дух — не от Бога, а от антихриста» (I, Иоанн, IV, 2,3).

Испытывая с этой точки зрения «внутреннее прозрение» Н. А. Бердяева, приходится убедиться в полном его противоречии с объективным явлением Христа, пришедшего во плоти. В объективном откровении не только нет каких-либо следов русской точки зрения, но она прямо исключается и Духом и буквой Евангелия. Решительно умалчивая о каком-либо исключительном отношении Христа с каким-либо одним народом, оно ясно и категорически говорит об общем призвании их всех.

«Итак, идите, научите в с е народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа, уца их соблюдать все то, что Я повелел вам» (Матф., XXVIII, 19, 20).

Вот почему на почве Нового Завета так ясно обнаруживается несостоятельность взаимно друг друга уничтожающих мессианических притязаний различных народов, все равно — русских, польских или португальских, о которых было недавно сообщено в одной из наших газет.

С точки зрения чисто человеческой вполне понятно и естественно это притязание, чтобы свое родное, домашнее или народное заняло первое место в Боге или после Бога. В основе всякого национального мессианства лежит одна и та же до сих пор не умирающая и всегда одинаково неосновательная претензия матери сынов Зеведеевых. Христос говорит ученикам о смерти своей и воскресении. А она спешит прицепить к вечным обетованиям свое земное, материнское, языческое пожелание. «Скажи, чтобы сии два сына мои сели у Тебя один на правую сторону, а другой по левую в царстве Твоем» (XX, 21). В общем наш национальный мессианизм выражает собою довольно близкое к этому пожелание, чтобы наша мать Россия сидела в Царствии Божием по правую руку Спасителя. Существо дела, разумеется, не меняется от того, для сынов или для матери мы домогаемся этой чести. Ответ Спасителя остается все тот же.

«Князья народов господствуют над ними и вельможи властвуют ими. Но между вами да не будет так, а кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом» (Матф., XX, 25—27).

Где есть истинный Мессия, там, стало быть, нет места спорам о первенстве ни между людьми, ни между народами. Каждый народ, как и каждый человек, должен думать лишь о своих обязанностях и о своем служении, а не о своих преимуществах перед другими народами. Тем самым, вопреки Н. А. Бердяеву, оправдан не мессианизм, а миссионизм по отношению к нациям. У каждого народа свое служение, свое призвание и своя миссия в Царстве Божием. Иного решения не может быть с точки зрения религии универсальной, которая стоит на том, что в доме Отца Небесного обителей много.

Если Н. А. Бердяеву кажется, что именно мессианское национальное сознание есть сознание вселенское и религиозное, «проникнутое верою в Мессию» (цит. соч., 210), это именно и значит, что он не разглядел дерзновенного обмана переряженного языческого национализма. Опасность велика; национализм этот уже не раз кружил русские головы обманчивой личной правды; и дело всегда кончалось бесовским танцем.

У Н. А. Бердяева до этого еще не дошло, но уже и у него замечаются зловещие признаки головокружения, вызванного национальной гордостью. Так, например, он думает, что одни русские взыскуют Небесного Иерусалима, сходящего на землю. Этим будто бы «русские радикально отличаются от людей Запада, прекрасно устроившись и довольных, град свой имеющих» (цит. соч., 245—246). В сущности, ведь это значит

утверждать, что религиозность вообще есть исключительно русская черта, ибо что же вообще такое религиозность вне «искания града»? В своем патристическом ослеплении Н. А. Бердяев не замечает здесь ни блаженного Августина, ни Франциска Ассизского, ни Жанны д'Арк, ни немецкой мистики, ни всего того, что составляет религиозную идею и религиозную жизнь Запада *.

Но еще опаснее этого — ослепление на собственный наш счет, возвеличение наших национальных качеств, притом не только добродетелей, но и самых недостатков. Так, например, Н. А. Бердяев замечает внутренние противоречия славянофильского мессианизма, но он вменяет ему эти противоречия в заслугу, возводит двойственность в принцип.

По его словам, «в стихотворениях Хомякова отражается двойственность славянофильского мессианизма: русский народ — смиренный, и этот смиренный народ сознает себя первым, единственным в мире. Славянофильское сознание бичует грехи России, и оно же зовет Россию к выполнению дерзновенной, гордой задачи. Россия должна поведать миру таинство свободы, неведомое народам западным. Смирненное покаяние в грехах, самоуничтожение, национальное смирение чередуются у Хомякова с «гром победы, раздавайся». Хомяков хочет уверить, что русский народ — не воинственный, но сам он, типичный русский человек, был полон воинственного духа, и это было пленительно в нем. Он отвергал соблазн империализма, но в то же время хотел господства России не только над славянством, но и над миром» (стр. 220).

Казалось бы, отсюда следует только один возможный вывод: христианство не терпит таких противоречий, оно не совместимо с этой гордостью, которая возводит что-либо относительное, все равно — национальное или личное, в безусловное. Не так, однако, рассуждает Н. А. Бердяев.

По его мнению, «эта антиномичность мессианского сознания неизбежна, это сознание противоречиво по существу, и противоречивость эта не есть отрицание правды его. Нельзя рационалистически преодолеть противоречия славянофильского сознания, — нужно принять и изжить их. Самый смиренный народ — самый гордый народ. С этим ничего не поделаешь. С мессианским сознанием не мирится лишь (?) самодовольство и поклонение голому факту» (стр. 220).

Ввиду частых за последнее время злоупотреблений понятием «антиномизма» нелишним будет вспомнить, что под «антиномией» принято разуметь необходимое противоречие, с которым неизбежно сталкивается мысль при исследовании того или другого философского вопроса. С этой точки зрения приходится убедиться в отсутствии чего-либо похожего на «антиномию» там, где видит ее Н. А. Бердяев. Если тот или другой народ смиряется перед Богом и вместе гордится высоким призванием, которое он действительно имеет, то тут нет не только антиномии, но даже и противоречия, потому что «гордость» в данном случае называется не отсутствием смирения, а просто признание за собою достоинства, что вполне совместимо со смирением. Человек может признавать за собою царственное достоинство по отношению к низшей природе и вместе с тем смиряться перед высшим Божественным миром; тут смирение и гордость даже не сталкиваются между собою и не противоречат друг другу, потому что относятся к разным сферам бытия. Наоборот, в национальном мессианстве Н. А. Бердяева есть несомненное противоречие; но оно не заключает в себе антиномии, потому что представляет собою простую и легко устранимую ошибку. Тут «народ-богоносец» в одно и то же время самый смиренный, потому что он смиряется перед Мессией как высшим, и самый гордый, потому что он сам мнит себя народом-Мессией, стирает ту самую грань между низшим и высшим, во имя которой должно смиряться. Тут мы имеем действительно несовместимое со смирением самопревознесение. Народ, «смирненно мнящий себя Мессией» и в качестве такового гордящийся своим преимуществом перед другими народами, просто-напросто смешивает в своем лице черты Христа и Вельзевула. Нужна большая степень ослепления, чтобы не видеть здесь петушиные ноги у ангела и принимать их за антиномию.

Понятно, что наша эпоха пробуждения и подъема религиозного сознания является вместе с тем и критическим периодом религиозных искушений и неслыханных доселе соблазнов. Враждебные религии силы делают все возможное, чтобы для себя использовать новые источники воодушевления, навести туман на мысль, овладеть вооб-

* Это тем более странно, что в других местах той же книги о Хомякове он восстает против чрезмерной узости славянофильского национализма.

ражением и обмануть религиозное искание. Чтобы не стать жертвой обмана, когда грубого, а когда и тонкого, нужно удвоить бдительность и с величайшей критической осторожностью относиться ко всем религиозным учениям. В наше время объявилось много истолкований веры, которые, при глубоких принципиальных различиях в других отношениях, сходятся в общем стремлении локализовать Христа — подставить на место универсального Его явления что-либо местное, ограниченное. Одни утверждают, что «Он — здесь в потаенных комнатах», ведет тайные беседы с кружками посвященных. Другие возражают: нет, Он там — в Ясной Поляне; третьи отождествляют Его царство с революцией; они полагают, что Он в левых партиях и срывает аплодисменты на многолюдных собраниях интеллигентов⁷. Наконец, четвертые заявляют: нет, Он странствует по всему простору земли русской, дружит с бунтарями, но в общем смахивает на «дядю Власа»⁸.

Евангелие, как известно, рекомендует не верить всем этим заявлениям, что Христос «вот здесь или вот там», и ждать того всемирного явления Сына Божия, которое как молния прорежет небо из края в край.

В ожидании этого явления нам надлежит отказаться от всего, что ограничивает и суживает общенародное мессианство, в том числе и от мессианизма национального.

IV

Тут перед нами открывается единственно спасительный путь налево. Конь старого славянофильства должен быть отдан на съедение критике; но его гибель окажется спасительной для всадника. Пожертвовав этим земным пристрастием, он не только останется цел, но отделится от земли, поднимется выше лесу стоячего и найдет дорогу к жар-птице.

Здесь религиозной мысли не приходится изобретать чего-либо нового. Тот волшебный путь, который предстоит пройти нашему Ивану Царевичу, есть на самом деле давно проторенная и большая дорога, которая много превосходит древностью не только славянофильство, но и самую Россию. Она предуказана Спасителем, пройдена Его учениками и с изумительной яркостью изображена «апостолом языков». У него мы найдем христианское учение о национальности замечательно стройное, целостное и выраженное с исчерпывающей полнотой.

Последние слова Спасителя, обращенные к апостолам, ясно и вразумительно свидетельствуют о том, где после вознесения Христова надлежит искать истинного Мессии. Слова «и се Аз с вами до скончания века» (Матф., XXVIII, 20) непосредственно связываются с предписанием учить и крестить все народы и прямо дополняет его. Ясно, что Мессия и мессианство пребывают «до скончания века» — не в особом национальном способе усвоения Истины, а во всенародном учении и крещении. Здесь же, в этом единении всех языков во Христе, а не в выделении «особого луча» из божественной плеромы раскрывается положительный смысл и ценность каждой национальности.

Самое существование национального мессианизма возможно лишь благодаря забвению Пятидесятницы. Она не имела бы места, если бы апостолы чрез сошествие Св. Духа не отрешились от особой близости к национальному еврейскому мессианству. Апостолам подлинного мессианства на земле были одинаково близки все народы; и оттого-то их высшее религиозное вдохновение заговорило всеми языками в мире. Два великих чуда совершились в Пятидесятнице: во-первых, она собрала все народы земли во едином исповедании; во-вторых, она утвердила положительное призвание каждого народа через упразднение естественных границ между национальностями. Основное отличие между национальностями — язык тут не только не упразднился, но получил высшее утверждение и освящение. Каждый народ нашел в этом откровении всенародного Мессии свой особый огненный язык. Но в Пятидесятнице эти особые языки перестали быть границами для всенародного общения. Для продолжателей и преемников Мессии все языки земли стали одинаково прозрачны и понятны. «В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небесами. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их говорящих его наречием. И все изумлялись и дивились, говоря между собою: сии говорящие не все ли Галилеяне? Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились» (Деян. II, 5—8). Те, кто утверждает, что языки должны не соединять людей

во Христе, а разделять Христа на множество отдельных явлений по национальностям, явно заменяют Пятидесятницу вавилонским столпотворением.

В основе этого заблуждения лежит смешение естественных особенностей каждого народа с его мистической идеей, языка природного и языка огненного. Природный язык каждого народа отделяет и разлучает его от прочих. Напротив, его огненный язык не знает национальных преград; всем людям близкий и понятный, он обращается ко всем народам и всем сообщает высшие духовные дары. Не всем дано говорить этим пророческим языком народного гения, а только высшим его представителям и носителям — величайшим проповедникам, творцам искусства и мыслителям, коих вечная мудрость избрала своими глашатаями. Но как бы ни были малочисленны эти избранники Божии, их огненный язык, а не хаотическое людское просторечие, выражает смысл народной жизни. Не в обособлении, а в объединении всех звучит подлинный мистический язык каждой отдельной народности.

Совершенно верно, что всенародное не есть безнародное: в мессианстве народности не упраздняются, а объединяются между собою; но это именно и значит, что среди народов оно выражает собою начало объединяющее, а не обособляющее, в се е д и н ст в о, наполняющее их жизнью общей. Именно так изображает апостол Павел нормальное, должное отношение народов ко Христу. Человечество представляется ему в виде единого дерева, в коем корень — Христос, а отдельные народности — ветви. И с этой точки зрения он предостерегает народы против увлечения ложным мессианизмом. Единственный в мире избранный, мессианский народ отпал от Бога; значит ли это, что в Новом Завете какой-либо другой народ вместо Израиля должен стать избранным народом Божиим? На этот вопрос апостол языков отвечает категорическим отрицанием. — «Если начаток свят, то и ветви. Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносишься пред ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень — тебя. Скажешь: ветви отломились, чтобы мне привиться. Хорошо, они отломились неверием, а ты держишься верою; не гордись, но бойся. Но если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя» (Римл. XI, 16—21).

С точки зрения этого органического понимания взаимных отношений мессианского и народного ясно обнаруживается ложь всяческого национального мессианизма. Точка зрения Достоевского изобличается в том, что она принимает ветвь за дерево; а смягченный мессианизм, утверждающий особую к нам близость русского Христа, превращается в явно фантастическое суждение, будто во всенародном древе жизни отдельная ветвь нам больше корня.

V

В дополнение ко всему сказанному об отношении нашего национального мессианизма к сознанию религиозному, христианскому остается указать на тот вред, который он приносит самосознанию национальному. В нем мы находим основной недостаток всякой ложной идеализации: возводя наше относительное земное, человеческое в безусловное и безотносительное, он тем самым погрешает и против Безусловного и против относительного. В идее «русского Христа» в одинаковой мере извращается и образ Христов, и русская национальная идея. Быть может, именно благодаря этому искажению мы до сих пор о ней так мало знаем. Увлечение Россией воображаемой помешало нам рассмотреть как следует Россию действительную и, что еще хуже, русскую национальную идею; духовный облик России хронически заслонялся фантастической грезой «народа-богоносца».

Сказалось это как раз в наиболее крупных явлениях нашей религиозной мысли, у славянофилов, у Достоевского, у Соловьева. Славянофилы видели основное определение русского народного духа в том, что народ русский — народ православный. Но удалось ли им выяснить специфические особенности православия, те положительные черты, которые делают его ценным? Нет, и причина этой неудачи заключается все в том же первородном грехе, в роковом смешении русского, православного и вселенского.

Для Хомякова невозможна самая постановка вопроса о специфических особенностях восточного православного христианства, потому что, вопреки апостолу, оно для него — не ветвь, а целое дерево. Он не может признать православия особым, специфическим явлением среди христианства, потому что он отождествляет его с самим христианством. Православное или вселенское христианство для него — одно и то же.

Поэтому он определяет православие такими общими чертами, которые составляют свойство христианского церковного идеала вообще. Говоря словами Н. А. Бердяева, у него «вся святость вселенской церкви Христовой — свобода, любовь, органичность, единство, — все заключено лишь в восточном православии, в западном же католичестве ничего этого нет, есть одни лишь уклоны и грехи человеческие»*.

Соловьев справедливо восстал против этой вероисповедной узости. Но дал ли он сколько-нибудь удовлетворительное решение вопроса о религиозном значении православия и о религиозной задаче России? Все, что он говорил по этому предмету в первый и средний периоды своего творчества, глубоко неудовлетворительно. И причина тому — все то же увлечение национальным мессианством, хотя выразилось оно у Соловьева в совершенно иной форме, чем у Хомякова. Хомяков не понял местного, особенного в православии, потому что отождествлял его с вселенским. Наоборот, Соловьев отнесся к этим местным особенностям без должного внимания, пренебрегая ими, именно потому, что для него они были местные. Внимание его было поглощено мечтою об универсальном мессианизме России. Он отождествлял русскую национальную идею с воплощением самого христианства в жизни человечества, с осуществлением на земле Царства Божия во образе вселенской теократии. Но именно потому, что Россия была для него только народ Божий, народ мессианский, он отрицал всякие индивидуальные, особенные черты в русском народном характере. Индивидуальное, особенно у него, потонуло в абсолютном, универсальном.

А в результате, когда рухнула фантастическая постройка вселенской теократии, от соловьевских характеристик «русской национальной идеи» ничего не осталось. Мы и до сих пор чрезвычайно мало знаем о том, что она такое. Нас слишком долго держали в убеждении, что русский человек — не просто человек с определенными конкретными чертами расы и народности, а «всечеловек», объемлющий черты всех национальностей, что неизбежно ведет к утрате собственной национальной физиономии. Мы привыкли видеть в России целый мир и начинаем уже поговаривать о том, что нет в ней ничего местного, ибо она не запад и не восток, а «Востокозапад». Нам тщательно внушали мысль, что Россия — или народ-Мессия, или ничто, что вселенское и истинно русское одно и то же. Когда же рухнет эта дерзновенная мечта, мы обыкновенно сразу впадаем в преувеличенное разочарование. Присущий нашему национальному характеру максимализм заставляет нас во всех жизненных вопросах ставить дилемму — «или все, или ничего». Вот почему от чрезмерности возвеличения мы так легко переходим к чрезмерности отчаяния. Или Россия — народ-богоносец, или она — ничтожнейший народ, а может быть, даже и вовсе не народ, а бессмысленный механический конгломерат, колосс на глиняных ногах, который скоро рухнет от внешнего удара**.

От этого разочарования у нас только одно спасение — не поддаваться крайнему и ложному очарованию. Как только мы убедимся, что Россия не тождественна с домом Отца Небесного ни в действительности, ни в идее, мы поймем всю неуместность нашего отчаяния. Россия не осуществила вселенского христианства не потому, что она — ничтожный, презренный народ или «конгломерат», а потому, что в великом и обширном доме Отчем ей суждено занять лишь одну из обителей.

Русское — не тождественно с христианским, а представляет собою чрезвычайно ценную национальную и индивидуальную особенность среди христианства, которая несомненно имеет универсальное, вселенское значение. Отрешившись от ложного антихристианского мессианизма, мы неизбежно будем приведены к более христианскому решению национального вопроса. Мы увидим в России не единственный избранный народ, а один из народов, который совместно с другими призван делать великое дело Божие, восполняя свои ценные особенности столь же ценными качествами всех других народов-братьев.

Отрешение от национального мессианства для нас необходимое условие прозрения в наше действительное религиозное призвание. Наглядное доказательство тому — последний период творчества Соловьева. Именно благодаря крушению его горделивой мечты о третьем Риме у него открылись глаза на индивидуальное, специфическое и вместе бесконечно дорогое в православной и русской религиозности. В пророческом видении «Трех разговоров» он угадал духовный облик России; в кратком, вскользь брошенном намеке он высказал о ней больше, чем в многочисленных сочинениях преды-

* Цит соч., стр 94

** Любимое сравнение Соловьева в минуты отчаяния и гнева.

душей эпохи. В ярком художественном образе он раскрыл то, чего раньше никак не могли схватить ни его, ни чьи-либо другие теории.

В «Трех разговорах» нет и следа «народа-богоносца», а есть вместо того три ветви единого христианского ствола, которые необходимо восполняют друг друга, в равной мере подготавливая пришествие истинного Мессии. Есть христианство Петрово, или римское, христианство Павлово, или протестантство, и христианство Иоанново — православное и русское. Русский народ, олицетворяемый старцем Иоанном, тут — не в большей мере народ мессианический, чем Италия, родившая кардинала Симоне Барджини, и Германия, давшая миру профессора Паули⁹. Оставлена дерзостная мысль о том, что великий синтез вселенского христианства будет делом одной России. Этот синтез в «Трех разговорах» осуществляется не каким-либо народом, а всеми народами во Христе, сходящем с неба на землю. А России принадлежит более скромная роль: она осуществляет на земле не объединение всего христианского мира, а только одну необходимую особенность среди христианства. Это — то мистическое христианство, которое олицетворяется образом неумирающего апостола Иоанна, — христианство апокалиптических откровений с его прозрением в тайну воплощенного Слова, в тайну человека, обоженого во Христе и потому уже не могущего умереть. Соловьев по-прежнему думает, что церковь восточная, в отличие от западной, есть церковь предания; но теперь только он видит — в чем жизнь этого предания, в чем заключается то неумирающее, вечное слово, которое должна сказать миру православная Россия. И как просто, естественно и гармонично сочетается мистический образ апостола Иоанна с живой, ярко народной фигурой русского старца Иоанна — епископа, живущего на покое!

В этом старце Россия находит свой подлинный огненный язык, который бесстрашно разоблачает тайну беззакония, испытывая антихриста по способу апостола Иоанна — чрез исповедание воплощенного Слова. И тут же в пророческом предвидении философа возрождается чудо Пятидесятницы. Огненные языки не разделяют народы, а объединяют их. Христианство Петрово, Иоанново и Павлово объединяются в общем исповедании.

Тут есть, как и в Пятидесятнице, утверждение национальных особенностей, и вместе с тем преодоление национальных границ, потому что каждая особенность, как национальная, так и вероисповедная, дает свой необходимый вклад в общее христианское дело. В христианстве одинаково необходимы и нужны и «свет с Востока», мистическое прозрение в тайны последнего, запредельного откровения, и волевая, человеческая, римская энергия, и дух свободного исследования протестантской Германии.

Таково предсмертное откровение величайшего представителя русской религиозной мысли. Он намечал тот путь, которым нужно идти, чтобы проникнуть в сущность русской религиозной идеи. Первый шаг в этом направлении должен заключаться в отречении от русского национального мессианизма. Тогда только живые черты нашей национальной физиономии перестанут растворяться в Абсолютном и мы обретем нашу подлинную народную душу. Один и тот же закон действует и в жизни отдельных людей, и в жизни народов. Чтобы сохранить свою душу, народ должен не возлюбить, а возненавидеть ее в мире сем.

Текст печатается по журнальной публикации («Русская мысль», 1912, № 3).

В декабре 1911 года Трубецкой, присутствуя в Калуге «на заседании школьной комиссии и санитарного совета по животрепещущему вопросу о постройке школы» в его уезде (письмо к Морозовой. — ОР ГБЛ, ф. 171, к. 7, ед. хр. 1в, л. 23), сильно простудился, переехал в Москву и длительное время провел в постели. Среди книг, присланных ему Морозовой, оказалась и новая книга Н. А. Бердяева «А. С. Хомяков» (М. «Путь». 1912). «Читал с величайшим удовольствием Бердяева о Хомякове. Очень недурно написано». Через несколько дней он сообщает Морозовой, что собирается «писать рецензию на книгу Бердяева о Хомякове, рекомендовать книгу читателю, но кстати и восстать против русского „мессианизма“» (там же, лл. 38, 41). Работа очень увлекла Трубецкого, поскольку в ней затрагивались вопросы, недавно обдуманные в связи с соловьевской «теократией»: выходила «не рецензия для газеты, а большая и боевая статья для журнала», в которой вскрывались «разногласия правого и левого крыла «Пути» по всей линии» (там же, л. 47). Однако и этот вариант не удовлетворил автора: «Статью я решил переделать в более основательную разработку вопроса о мессианизме», — пишет он Морозовой в начале 1912 года, для чего просит срочно прислать ему книгу С. Н. Булгакова «Два града» (М. «Путь». 1911) (там же, ед. хр. 2а, лл. 2, 4). В течение десяти дней Трубецкой «совершенно раскассировал прежнюю статью, сделал одну очень большую... Эту

уже не критика на Бердяева, а рассуждение о мессианизме вообще» (там же, л. 20). О дискуссии, возникшей при чтении реферата в Религиозно-философском обществе, дает представление письмо к Морозовой от 26 февраля того же года. «Батюшка, мне возражавший, нашел, что я победоносно опроверг «мессианизм». Но он недоволен тем, что для меня православие — только часть христианства и не исчерпывает его полноты. В этом основной корень разномыслия с Булгаковым. На дому он говорил мне, что в православии — вся истина и что протестантизм — профессорская религия, от чего я отскочил как ошпаренный... В дальнейшем узкий конфессиализм будет еще менее мною удовлетворен» (там же, л. 27). Ср. статью С. Н. Булгакова «Профессорская религия» в сб.: «Тихие думы». М. 1918.

¹ См.: Ключевский В. О. Курс русской истории. Ч. 2, лекция XXVI.

² Заключительные строки стихотворения А. С. Хомякова «России» (1839).

³ Филофей — старец Псковского Елизарьева монастыря, в своих посланиях обобщивавший идею о «Москве—третьем Риме».

⁴ Заключительная строфа стихотворения В. С. Соловьева «Панмонголизм» (1894), в которой переосмысливается изречение старца Филофея «Москва—третий Рим, четвертому — не бывать».

⁵ В статье «Венец терновый. Памяти Ф. М. Достоевского».

⁶ Здесь и далее Трубецкой полемизирует с положениями статьи «Размышления о национальности».

⁷ Ср.: «Итак, если скажут Вам: «Вот, Он в пустыне», — не выходите; «вот, Он в потаенных комнатах», — не верьте...» (Евангелие от Матфея, 24, 26).

⁸ Персонаж стихотворения Н. А. Некрасова «Влас».

⁹ Действующие лица «Краткой повести об антихристе», вошедшей в состав «Трех разговоров», олицетворяющие соответственно православие, католичество и протестантизм.

О ХРИСТИАНСКОМ ОТНОШЕНИИ К СОВРЕМЕННЫМ СОБЫТИЯМ*

Вступая на кафедру, я испытываю понятное смущение. Слово, сказанное здесь, в Религиозно-философском обществе, должно быть не голосом политической страсти, не выражением какого-либо партийного мнения, а прежде всего и больше всего судом религиозной совести.

Готовы ли мы к этому суду, столь ответственному? Найдем ли мы в себе ту ясность ума и ту легкость духа, которые находим мы для того, чтобы подняться над уносящим нас бурным потоком событий? Но жизнь не ждет и не дает нам отсрочки, — не допускает никакой остановки для совестного суда. Совесть наша должна быть всегда готова судить — о том, что делается кругом, и о том, что сами мы должны делать. От нас требуется не воздержание от суда, а та осмотрительность и осторожность в суждениях, которые диктуются нашим благовоением к святыне.

Есть нечто несомненное, бесспорное, что должно лечь в основу совестного суда, и этим облегчается наша задача. — Мы присутствуем при полной переоценке всех политических ценностей: старые ценности рушатся, а новые возникают из развалин. Но для суждения об этих меняющихся ценностях есть у нас точка опоры в той вечной действительности, которая не возникает и не уничтожается.

По свойственной человеку слабости, это вечное иногда смешивается с временным. Тогда возникают те идолы, которые заслоняют от нас подлинную святыню. Когда идолы эти рушатся, в их крушении совершается то откровение праведного Божьего суда, которое освобождает человеческие души от тяжкого плена.

Такое откровение совершилось и в современных нам событиях. Отчего рухнуло царское самодержавие в России? Оттого, что оно стало идолом для русского самодержца. Он поставил свою власть выше церкви, и в этом было и самопревознесение, и тяжкое оскорбление святыни. Он безгранично верил в субъективное откровение, сообщаемое ему — помазаннику Божию — или непосредственно, или через посланных ему Богом людей, слепо верил в себя как орудие Провидения. И оттого он оставался слеп и глух к тому, что все видели и слышали. Отсюда эта армия темных сил, погубившая его престол, и вся та мерзость хлыстовщины, которая вторглась в церковь и государство. Повреждение первоисточника духовной жизни — вот основная причина этого падения.

В крушении старого порядка, которое было этим вызвано, выразился суд Божий не над личностью несчастного царя, а над тем кумиром, которому он поклонялся.

Кумир этот — не им создан: церковь издавна находилась в плену у самодержавия. Цезарепатизм — изначальный грех нашего церковно-государственного строя. Мы

* Речь, сказанная на заседании Религиозно-философского общества 15 апреля 1917 года.

привыкли к этому рабству. Отсюда сложившаяся веками привычка связывать православие с самодержавием, представлять его членом триединой формулы — «православие, самодержавие и народность», — формулы кощунственной, ибо она ставит вечное и временное на одну доску. Отсюда и ходячая клевета противников нашей церкви: будто для нее самодержавие в некотором роде — догмат веры, без которого и самое православие существовать не может.

Клевета эта распространяется и держится единственно благодаря нашему удивительному невежеству, в особенности благодаря незнанию нашей отечественной истории. На самом деле православие в Древней России не только совмещалось с республиканским бытом северорусских народоправств — Новгорода и Пскова, — более того, именно на этой республиканской почве осуществилось одно из величайших культурных достижений.

Не случайно то, что именно великий Новгород стал «русской Флоренцией». Именно там наше великое религиозное искусство нашло нужную для него атмосферу духовной свободы. Духовная свобода великого религиозного и художественного замысла для этого искусства — самое характерное. Надо всем этим творчеством поставлена одна центральная мысль — идея нерукотворного, мирообъемлющего храма, который должен наполнить собою все — земное и небесное. Весь мир должен войти в этот храм — и в нем преобразиться — человек и низшая тварь, — святители, цари земные и их народы. И ничего на свете, кроме царя Небесного, нет над этим храмом. Никаким силам мира он не подчиняется и не служит.

Новгородский иконописец именно тем и велик, что только силам небесным служит его творчество. В XVI веке, когда, после крушения новгородского народоправства, центром иконописи вместо Новгорода становится Москва, религиозное искусство попадает в атмосферу царского двора и тем самым искажается. Икона становится украшением царских палат. И с этой минуты начинается падение великого искусства, ибо оно начинает служить целям, посторонним как религии, так и красоте. Икона мало-помалу превращается в предмет роскоши, становится подобием ювелирного искусства. Возникают так называемые царские, палатные письма. Внимание иконописца устремляется уже не на религиозный замысел как такой, а на украшение одежды святых, на роскошь престола, на котором сидит Спаситель, и на другие тонкие, но несущественные подробности. Угасает искра Божия, и в конце концов живопись совершенно закрывается золотом — икона становится темным пятном среди богатой ризы. Она гибнет оттого, что, вместо сил небесных, начинает служить силам земным.

В судьбе религиозного искусства сказывается судьба церкви, утратившей свою духовную свободу и подчинившейся поставленному над ней кумиру. Царская Русь поступила с церковью совершенно так же, как с иконой; она заковала ее в золото, закрыла фальшивым царственным блеском великий духовный замысел Божьего домостроительства. Церковь сама стала подобием потемневшего лика среди золотого оклада.

Духовное порабощение церкви тут зависит, разумеется, не от монархической формы правления как такой; оно обусловлено превращением светской монархической власти в кумир, возносящийся над церковью.

И вот теперь, когда, вследствие крушения этого кумира, мы ощутили нашу духовную свободу, мы должны прежде всего дорожить этой свободой. Мы не должны связывать нашей святости ни с чем преходящим, и в частности ни с какими политическими ценностями. Наша первая забота должна выражаться в словах апостола: «Дети, храните себя от идолов» (I Иоанн, V, 23).

Наша первая обязанность — высказать, что с идолами, правыми или левыми, монархическими или республиканскими, наша вера не имеет ничего общего. И не только вера в собственном смысле слова, — все те религиозные упования, которые связываются для нас с мыслью о России. Идея «святой Руси» выражается в особенности тем образом нерукотворного мирообъемлющего храма, которым вдохновлялись наши иконописцы. Никакие политические перевороты не могут ни однойiformы убавить от этой святости и ни одного штриха к ней прибавить. Ни с какой формой правления она для нас не связывается и ни от какой политической величины она не зависит. Наше благоволение к этой религиозной идее побуждает нас прежде всего восстать против соблазна религиозного политиканства.

Есть и другой соблаз в настоящее время не менее для нас опасный, это — соблазн религиозного аполитицизма. Если религиозная мысль должна возвышаться над политикой — это не значит, чтобы в такую ответственную и опасную для родины минуту она имела право уходить от политики. Говоря о религиозном аполитицизме, я разумею то направление, которое свысока смотрит на политическую борьбу и деятельность как на занятие, не то не подобающее христианскому чувству, не то уже превзойденное христианским сознанием.

Тут ошибка заключается в неправильном истолковании одной из глубочайших истин христианства. По сравнению с идеалом христианского всеобщего единомыслия и единства всех в любви, та область, где происходят политические споры, есть область низшая. Как же помирить этот идеал с деятельным участием в политической борьбе, которая немислима иначе как при условии вступления христиан в различные и враждующие между собою политические партии? Вопрос этот решается различно, но на некоторых наших религиозных собраниях мне уже приходилось слышать мнение, что вступление в какие-либо политические партии для духовенства безусловно недопустимо.

Тут есть прежде всего очевидная непоследовательность: если вступление в политическую партию считается актом, противоречащим христианскому идеалу, то оно должно считаться недопустимым не только для духовенства, но и для мирян. Но кроме непоследовательности в данном рассуждении, есть и другая ошибка: она заключается в распространении требования единомыслия на ту область, где она вовсе не обязательна.

Христианство требует от нас единомыслия относительно основной цели жизни, а вовсе не относительно средств и способов ее осуществления. Бог есть любовь, а потому любовь должна осуществляться во всех человеческих делах. Вот цель, в стремлении к которой мы должны быть единомысленны; но в вопросе о средствах, о способах осуществления этой цели не существует каких-либо общеобязательных рецептов. Тут открывается величайший простор индивидуальным мнениям.

Мы должны помочь нуждающемуся, в этом христиане должны быть согласны между собою. Но как и чем помочь, в этом вопросе могут быть разногласия, тут самое любящее отношение к ближнему совместно с величайшими разногласиями. Один, положим, находит, что бедняку нужно оказать денежную помощь; другой думает, что полезнее для данного лица — дать ему возможность самому заработать хлеб; третий полагает, что тут нужен просто добрый совет или педагогическое воздействие, — все эти способы осуществления любви могут быть сложны, но при этом — каждое из спорящих мнений может диктоваться искренним человеколюбием.

Тем более спорным является вопрос христианской политики — как помочь народным массам. С христианской точки зрения бесспорно одно — я должен любить мой народ; но каким способом я должен осуществлять эту любовь — должен ли я ради нее требовать монархии или республики, обобществления земли или индивидуальной земельной собственности, — на это христианство никаких общих рецептов не дает. Тут все зависит от спорных оценок условий места и времени, которые всецело предоставлены свободе индивидуальной совести. То же христианское откровение, которое ставит перед нами любовь как цель жизни и как безусловную заповедь, говорит нам о способах осуществления этой цели: «Многообразен милостивый образ и широка заповедь сия».

Отсюда видно, что и спор о способах осуществления деятельной любви не нарушает обязательного для христиан единомыслия относительно целей жизни. Мы можем сколько угодно спорить об этих средствах и, поскольку спор касается политики, делиться на партии и все-таки оставаться верными христианскому идеалу. Противен любви не этот спор, а скорее уход от политической борьбы в минуту крайней опасности для родины, и в особенности — для торжества правды в общественной жизни. В спокойные, тихие времена «политика» может быть предоставлена профессиональным политикам; но в такие минуты, как нынешняя, должна действовать всеобщая политическая повинность, нравственно столь же обязательная, как и повинность воинская. Вы помните народную легенду о двух святых, Кассиане и Николе. Оба шли в рай в светлых ризах. Повстречался им по пути мужик, увязший в трясине с телегой. Кассиан прошел мимо — пожалел свою светлую ризу. А Никола пожалел мужика, полез в грязь, ризу запачкал, но телегу с мужиком из

трясины выворотил. Пришли в рай, отворил им св. Петр врата райские и рассудил их судом праведным. «Тебе, Кассиан, за то, что пожалел ты светлую ризу, оставляется та риза незапачканною и назначается праздник раз в четыре года один. А тебе, Никола, за то, что пожалел мужика, оставляется твоя риза запачканная, но назначается по четыре праздника в год».

Есть только один уход от деятельности и политической борьбы, который оправдывается во всякое время, при всяких условиях, это — всецелый уход от мира, от его соблазнов и радостей, ибо такой уход в свою очередь может быть величайшим актом любви, той любви, которою мир спасается. Уход от мира святых отшельников и подвижников, которые высоко возносятся над землею в молитвенном подъеме и других за собой поднимают, есть высший подвиг любви, ибо в их жизни осуществляются слова Спасителя: «Когда вознесусь от вас на небо, всех привлеку к себе»¹. Сидение Марии у ног Иисуса есть явление высшей духовной красоты. Но если, не имея духовной высоты Марии, человек уходит от любящих забот о своем народе, оправдывая свое бездействие нежеланием походить на Марфу, он этим обнаруживает холодное сердце, то есть отсутствие того самого, что в человеке всего дороже². Тут вспоминается дорогой всем нам образ покойного В. С. Соловьева. Его религиозно-философское творчество было для него высшим наслаждением, но по долгу совести он посвятил много времени и сил на борьбу политическую и публицистическую. Он сравнивал это свое политическое служение с трудом послушника, выметающего сор из монастырской ограды³. Как бы ни было нам тяжело заниматься политикою — бывают дни, когда любовь к родине делает такое послушание безусловно обязательным.

Сердце человека — высшее его сокровище, и именно это сокровище он должен отдавать своей родине. Остальное — второстепенно. Сказано: «Ищите прежде всего царствия Божия, а остальное приложится вам»⁴. Но царствие Божие выражается не в государственных учреждениях, не в политическом или социальном строе, а именно во внутренней красоте человеческого сердца и в его жертве. Когда эта жертва принесена, самый вопрос о политическом успехе или неуспехе становится второстепенным. Открылась духовная красота сердца, полного благодатью, царствие Божие явлено. А раз оно явлено, все остальное приложится человеку и человечеству.

Как мы должны осуществлять требования деятельной любви по отношению к родине, об этом красноречивее всяких слов говорит один великий исторический образ.

Святой собиратель земли русской — преподобный Сергей — поставил среди основанной им обители собор св. Троицы, дабы, взирая на явленное в св. Троице единство в любви, люди побеждали в себе страх перед ненавистным разделением мира. Что может быть прекраснее этого духовного созерцания? Но в любви главное — не созерцание, а творческое дело.

В те дни, когда строился этот собор, родина была в опасности. И что же, св. Сергей в созерцании триединства почерпнул силу, чтобы явить деятельную любовь в мире. Он благословил на ратный подвиг Дмитрия Донского и послал ему в помощь двух иноков-витязей.

Прошли века, снова наступили для родины дни величайших испытаний и опасностей. В эти скорбные дни всякий выступающий на брань и против внешнего врага, и против внутренней разрухи да ощутит на себе благословение св. Сергия. Пусть в эти дни громче всего раздастся призыв лаврского колокола, который вещает миру: «Больше сия любви никто же имать, да кто душу свою положит за други своя»⁵.

Печатается по публикации в еженедельнике П. В. Струве «Русская свобода», 1917, № 5.

¹ Евангелие от Иоанна, 12, 32; цитируется неточно.

² Трубейкой использует популярный евангельский сюжет о Марфе, «заботящейся и суетящейся о многом», и Марии, «избравшей благую часть» (от Луки, 10, 38—42). В этих образах нередко усматривалась аллегория западной и восточной церкви (см., например, у Гоголя в «Выбранных местах из переписки с друзьями»).

³ В статье «Спор о справедливости» (1894) (см.: Соловьев В. С. Сочинения в 2-х тт. М. 1989, т. 2, стр. 509).

⁴ Евангелие от Матфея, 6, 33; цитируется неточно.

⁵ Евангелие от Иоанна, 15, 13.

ИЗ ПИСЕМ К М. К. МОРОЗОВОЙ

Берлин. 23 декабря 1910

<...>Вчера в день приезда в Берлин пошел с мальчиками шататься по улицам,— от нечего делать. Зашли в театр синемаграф, и там неожиданно я получил такое впечатление, что даже заболела грудь, напала тоска и до сих пор я не могу отдышаться от кошмара.

Среди плоских немецких витцов* и добродетельных мелодрам вдруг одна правдивая и реальная сцена. Просто — внутренность аквариума — жизнь личинки хищного водяного жука, а потом самого жука,— все это увеличенное во сто раз, так что личинка (с надписью sehr gefräßig**) имела вид огромного живого дракона, который с четверть часа пожирал всевозможные живые существа — рыб, саламандру и т. п., которые отчаянно бились в его железной челюсти.

Я не могу представить себе более наглядного и ужасного изображения бессмыслицы естественного существования. Это та неумышленная, беспощадная и бесплодная борьба за существование, которая наполняет всю жизнь природы с тех пор, как есть животный мир. Ты не можешь себе представить, как сильно я в эту минуту ненавижу пантеизм и хотел убежать из этого мира. Редко так сильно ощущал «афонское» настроение. Может ли быть клевета на Бога гнуснее той, которая утверждает, что это божественно!

Когда на другой день после этого Боос прописал мне вегетарианский режим, то это было словно продолжение того же назревшего хода мыслей. Точно организму вредно то, что ненавистно душе! Между прочим, и Соловьев был вегетарианцем.

Вообще ужасен этот мир. Как только начнешь его утверждать, так сейчас же станешь этим самым водяным жуком, будешь безжалостно жрать и уничтожать чужие жизни, и животные и людские! Вообще «любовь к миру» — противоречие; между настоящим любовью и этим миром нет ничего общего. Любовь — такой сдвиг, который ничего не оставит на месте в этом мире. В самом своем умопостигаемом корне она ему противоположна! Правда, моя дорогая? Все разрешение жизненной задачи в этом огромном и мощном повороте жизни в любви к любви. Вся ценность любви — в мире ином! Но Боже мой, как это трудно! Какого подвига требует любовь; и какая ложь — любовь без подвига. Какая правда в том, что Зигфрид должен подыматься в гору, чтобы достать из огня свою Брюнгильду! Вагнер несомненно ощущал ту любовь, которая на границе здешнего.

Милая и дорогая моя Гармося, не бойся подвига и не страшись этого огня, хотя бы он сжег и многое, что кажется дорогим!

Не тоскуй, моя родная: чем больше он в нас сожжет здешнего, тем ближе мы будем друг к другу. Пусть соединит нас и спаяет нерушимое вечное. Христос с тобой.

Целую тебя крепко.

Печатается по автографу (ОР ГБЛ, ф. 171, к. 6, ед. хр. 46, л. 38—40).

С М. К. Морозовой Трубецкой связывали долгие творческие и очень сложные личные отношения. Она финансировала издание «Московского еженедельника» и деятельность книгоиздательства «Путь», устраивала заседания Религиозно-философского общества. Письмо отправлено из Берлина, где Трубецкой остановился на короткое время по пути в Италию, куда выехал с семьей — женой Верой Александровной (урожд. княжной Щербатовой), сыновьями Сергеем и Александром и дочерью Софьей, — получив в университете отпуск на второй семестр. Во время пребывания в Италии пришло известие об уходе в отставку группы профессоров Московского университета (С. Вулгаков, В. Вернадский и другие) по политическим мотивам. Трубецкой очень дорожил студенческой аудиторией, но решил поддержать протестующую сторону и отправил прошение об отставке. «...Подумай, какая у меня теперь может быть деятельность после разрушения Университета? — писал он М. К. Морозовой. — Ведь ни с правыми, ни с левыми я идти не могу сейчас не только в политике, но и в культуре» (ОР ГБЛ, к. 7, ед. хр. 1а, л. 33—34). Вернувшись в Москву, Трубецкой взял семинар в университете Шанявского.

<Рим.> 12 января 1911
<...>У меня тут сильные переживания — как-то вдруг и Рим и работа о Соловьеве сошлись в одно, и не случайно. Пишу я как раз про соединение церквей и папизм Соловьева и все вспоминаю, что он не был в Риме. А между тем какое откровение Рим о католицизме, как тут каждый камень вопиет о его духе. Вижу я тут громадные храмы — Петра, Павла, Maria Maggiore — все без малейшего религи-

* От немецкого der Witz — шутка, острота. (Прим. ред.)

** Очень прожорлива (нем.). (Прим. ред.)

озного настроения — мраморно-золотые, великолепные дворцы, выстроенные папами для Бога. На всех сводах — папские гербы — сочетание «ключей царствия Божия», вошедших в герб, — с гербами римских аристократических фамилий, из коих папы выбирались. Обхожу дворцы этих фамилий — Borghese, Colonne Daria — Pamfili — и узнаю в них тот же мрамор и золото, тот же стиль и дух, те же гербы, как во храмах. Выстроили для Бога дворцы, а Бог в дворцах не живет, и народ это почувствовал. Отсутствие молящихся гнетущее, давящее. Сегодня был в соборе Павла в день доминирования обращения Павла. Храмовый праздник, торжественное богослужение. И что же — не было и сотни молящихся, меньше, чем у нас в захудалой деревенской церкви в воскресенье, и все больше любопытные из туристов. А собор в 1½ раза больше нашего храма Спасителя, и в нем — торжественный парад духовенства — без верующих. Вот что сделала «Теократия» и та внешняя власть, которую Соловьев считал условием действующего христианства.

Сколько раз я убеждал Соловьева поехать в Рим, но он, кажется, просто боялся. А будь он здесь — гораздо раньше кончилась бы его «Теократия» и глубже бы он оценил православие, которое сделало одно великое дело: положило грань между мистическим и здешним, не дало ему слиться с мирским, презрело храмы-дворцы и ушло на Афон — созерцать свет горы Фавора — тот самый, что ни в дворцах, ни в хижинах Петровых не умещается.

И этим спасло веру. Ибо что же остается от веры, если вынуть из нее мистическое? Кто поверит в царствие Божие, — если ключи к нему — принадлежность папского и аристократического гербов? Вот тебе вкратце, душа моя, мои последние впечатления. Ах, хотелось бы тебе показать все это, чтобы ты это со мной пережила. <...>

Печатается по автографу (ОР ГБЛ, к. 7, ед. кр. 1а, л. 9—10).

В Италии Трубецкой интенсивно работала над книгой «Миросозерцание Владимира Соловьева» (М. «Путь». 1913), значительная часть которой посвящена критике соловьевской концепции о соединении восточной и западной церкви через соглашение царя с папой и создание теократического государства.

«Рим.» 24 января 1911

Милая и дорогая Гармося!

За последнее время ко всем прочим моим душевным тревогам примешалась еще одна — неполучение писем от тебя. Это меня мучило тем более, что последнее твое письмо было какое-то непрозрачное: души твоей там не видать, хотя снаружи все очень хорошо. За то сегодня получил от тебя письмо, которое меня утешило.

Говоришь ты как будто об отвлеченном — о Григории VII¹, о Риме, о католицизме, православии и Афоне. Но это «отвлеченное» для нас с тобой — такое живое, что в каждой строке твоей чувствуется трепет твоей души — ты в с.я. Вот это-то меня и обрадовало, а еще больше то, что мы, будучи так далеко, до такой степени переживаем то же самое. Странное дело, я еду в Рим, а ты читаешь моего «Григория», т<о> е<сть> не думая о том, что и для чего ты делаешь, — совершаешь неожиданно для себя такую же поездку в Рим — окунаешься в те же переживания, которые отталкивают меня от католицизма. Совершилось это совершенно нечаянно; и доказательство тому то, что смысл «Григория» только теперь тебе стал ясен. Только теперь ты увидела в нем то «мое», что отделяет меня от Соловьева и католицизма, т<о> е<сть> почувствовала верным твоим чутьем, что это — подготовительная работа, коей смысла и разгадки в теперешней моей работе о Соловьеве. Так оно и было на самом деле. Ведь этот «Григорий» был зачат в борьбе против Соловьева; это попытка, удавшаяся мне только теперь, — отмежеваться от него. Следовательно, это не мое «хорошее, среднее», а мое, но недоделанное, недосказанное.

Сейчас много новых впечатлений. Знакомство с Рамполлой и с Пальмери! Первое много не дало само по себе, а дало много ценных указаний и справок. Я открыл четыре французских статьи Соловьева, неизвестных в России и очень важных. Вскоре их найду. Уверен, что получу в руки и мемуар С<оловьева> о соединении церквей, переданный через Рамполлу Льву XIII. Р<амполла> указал мне, как это сделать. Приобретаю ход в Ватиканскую библиотеку².

Крайне интересное знакомство и приобретение Пальмери (священник и монах) — поклонник Соловьева, пламенный сторонник соединения церквей, лучший знаток нашей русской церкви и по воззрениям со мной — почти единомышленник, чита-

тель и поклонник «Московского еженедельника», переводящий на итальянский одну из моих статей. Из того, что я пишу о нем, ты ничего не рассказывай, т<ак> к<ак> если дойдет до Рима — может быть ему страшный вред.

Из разговоров с ним и многих других впечатлений я почувствовал еще больше жизненную ошибку Соловьева. Здесь — ужасающая католическая реакция; папа — простоватый попик, знающий один только свой венецианский diocese* и воображающий себя свыше вдохновенным орудием Бога; в результате ужасающий гнет и удущие всякой живой мысли. Пальмери был а предан суду по обвинению в схизме (хоть и оправдан) за то, что осмелился назвать православных — des frères séparés**. Система всеобщего шпионства и доноса. Панический страх перед модернизмом, который делает то, что никто ничего пикнуть не смеет. Никто из духовных писателей не может участвовать в нашем сборнике о Толстом, потому что они имеют право его только ругать, а не оценивать. Пальмери дает надежду на одного Фогаццаро и дал мне его адрес (он живет в Пиаченце). Вот нынешний католицизм! Можно ли с этим соединиться! Предстоит еще ряд интересных знакомств из католического мира, о коих при первой возможности буду писать.

То, что ты пишешь об Афоне и о деятельном христианстве в мире, не только верно, но это — та основная христианская задача, из-за которой раскололся запад с востоком. Один Христос смог быть совершенным человеком, т<о> е<сть> зараз — совершенным и в пассивных восприятиях Божества, и в деятельном осуществлении в мире. А человечество этого идеала доселе не совместило и не осуществило. Одни были только пассивны и ушли на Афон, потому что не были в силах в миру побороть свои злые страсти; другие — были деятельны в мире, но заплатились способностью мистически воспринимать и переживать Божественное; и мирское для них закрыло горнее. Это — православные и католики. Мир разъединился пополам из-за неспособности вместить в себя совершенство Христово. Кто же может исцелить мир? Конечно, Христос, совершенный и в переживаниях своих и в деятельности. Но надо помнить одно — этого совершенства Христос-человек достиг через страдания. И переживания Его и деятельность одинаково к этому приводят.

О нашей жизни могу сказать одно. Легче сейчас, хоть и очень трудно. Но в Бога я верю. Ах, дай нам Бог сил на все хорошее.

Крепко тебя целую.

Печатается по автографу (ОР ГБЛ, ф. 171, к. 7, ед. хр. 1а, л. 15—17).

* Работа Е. Н. Трубецкого «Религиозно-общественный идеал западного христианства в XI веке: Идея Божественного царства в творениях Григория VII и публицистов его времени» (Киев, 1897). Причину своего интереса к фигуре этого римского папы (1073—1085) Трубецкой объяснял во вступлении: «...благодаря изумительной цельности своего характера он представляет собою одно из наиболее ярких олицетворений того святительного, папского идеала, которому он служил в течение всей своей жизни; в его произведениях находят себе выражение притязания папства во всей их полноте» (указанное сочинение, стр. V).

** Во второй половине 80-х годов Соловьев активно искал сближения с католической церковью, подолгу жил в Европе, через кардинала Рамполлу пытался получить аудиенцию у папы. Тогда же напечатал несколько сочинений на французском языке; их русский перевод был выполнен Г. А. Рачинским и вышел в издательстве «Путь» в 1911 году.

<апрель 1911>

<...> Целых два твоих письма полны тревоги за «Путь» и мое к нему отношение. Спешу тебя уверить, что тревога — совсем неосновательная... Когда я писал, что с таким предисловием Булгаков и комп. могут выступать сами от себя — без меня, я подразумевал, что это выступление должно быть не в «Пути», а где-нибудь еще. Что же касается «Пути», то он мне дорог и его я им отдавать не собираюсь вообще, тем более — без боя.

Предисловие же Булгакова взволновало меня как признак большой опасности, угрожающей делу. Не подумай, что я хочу «швыряться» людьми. И разрываться с ними я вовсе не намерен. Но все-таки скажу, что друзья иногда бывают опаснее врагов. Никакой враг не мог бы так потопить «Пути», нанести ему такой непоправимый удар, как это расплывчатое, слащавое, а главное, пошлое предисловие.

* Епархия (лат.). (Прим. ред.)

** Отделенными братьями (фр.). (Прим. ред.)

Подписаться под ним — значит сказать, что Соловьев напрасно жил и работал. Это — частью возврат к досоловьевскому славянофильству, против которого он боролся, частью повторение в карикатурном виде его собственных заблуждений. Так вот я и боюсь как огня тех друзей, которые добросовестно подносят вам собственную вашу карикатуру или еще хуже — карикатуру вашей святости и уверяют, что это она сама. Право, Струве, Хвостов и Котляревский менее опасны. Этому они не сделают.

Посуди сама. Когда славянофилы и Достоевский утверждали, что русский народ — «народ-богоносец», в этом был ясный и определенный смысл. Они понимали, что только у нас истинная церковь, что католичество и протестантство даже не церковь. Кроме того, они верили в религиозную мысль самодержавия и в религиозное значение нашего сельского общинного быта.

Теперь все это — давно разбитые мечты. Соловьев доказал, что не у нас одних церковь, но и у католиков. Самодержавие оказалось сосудом дьявола. Об общине всякий неуч знает, что она свойственна многим первобытным культурам и ничего ни русского, ни христианского не представляет.

Потом мечта о «народе-богоносце» возродится в форме теократии Соловьева; но и она разбита вдребезги; ни Булгаков, ни Бердяев, ни Эрн в нее не верят. Говорить о святости русской общественности теперь, когда Россия создала самую безобразную государственность на свете, когда в сфере общественности она вечно колеблется между жандармкратией и пугачевщиной, — просто неприлично! Значит, в устах наших друзей слова «народ-богоносец» — старая разбитая скорлупа без старого, да и без нового смысла, мертвая формула. Котляревский не может слышать ни одной фразы Булгакова и Бердяева, чтобы не сказать, что это мертво. Тут, я согласен, есть и несправедливость. Но как мне обидно, когда он бывает прав.

Мне глумление Хвостова и других над «Путем» не менее обидно, чем тебе. Поэтому благодари меня за то, что я спас «Путь» от этого предисловия: будь оно напечатано, глумление было бы основательное. А я был бы в ужасном положении. Появился оно даже не в «Пути», а где-нибудь еще, я бы должен был бы его разнести как одну из тех вредных благоглупостей, которые компрометируют святое и хорошее дело своим трупным запахом! А к тому же стиль Козьмы Прутков. Соловьев в гробу перевернулся бы, если бы, пародируя его мысль, кто-нибудь назвал бы Россию «востокозападом».

«О «народе-богоносце» я скажу вот что! Ветхий Завет был действительно заключен с одним народом — еврейским, но после того, сколько мне известно, особого завета с Россией Бог не заключал. Новый Завет — не национальный, а вселенский, а потому никакого особого народа-богоносца быть не может. Богоносцами и должны быть все народы; игнорировать это — значит подменивать христианское русским. Изю всего славянофильства наши друзья выставляют вперед как знамя именно самое ядовитое и вредное, что в нем было. Этот национализм надо отдать Пуришкевичу и Маркову II-му.

Боюсь я друзей, когда к тому же и ты грозишься отделиться от меня и довести с ними дело до конца! Заведут в море пошлости, узости и квасного патриотизма в немецком Владимир-Францевском стиле! Будут петь по-русски — «Deutschland, Deutschland über alles»¹ и уверять, что в этом заключается «истинное сыновство». Не допущу я такого торжества Хвостова и такой растраты твоих сил духовных!

Что сказать о себе? В Болонью я не поехал, — не тянет. И, судя по газетам, не особенно там интересно, выступать мне, когда на доклад дается 8 минут, — бессмысленно. Не знаю, радоваться ли тому, что ты осталась в Ялте. Уж очень пошла гостиничная обстановка в этой банально курортной гостинице «Россия». В Алушке, по моему, уютнее. Может быть, ты познакомилась с священником Щукиным?² Он бы тебе понравился. Он священник Аутской церкви в Ялте. Ах, счастливые те, кто тебя теперь видит. А вот теперь скоро увижу и я. Ах, как это будет хорошо! Как надоело говорить письмами и как нужно, нужно тебя видеть, говорить и не наговориться с тобой, моя ненаглядная.

Очень крепко тебя целую.

Печатается по автографу (ОР ГБЛ, ф. 171, к. 7, ед. хр. 1а, л. 69—71)

В письме отразился конфликт Трубецкого с путейцами в связи с подготовкой сборника статей о В. С. Соловьеве. С. Булгаков написал предисловие, имевшее программный для издательства «Путь» характер и одобренное Н. Бердяевым, Г. Рачинским и В. Эрном. «На днях пошлем тебе предисловие к сборникам, написанное Булгаковым. Он толь-

ко что был и читал его,— писала М. К. Морозова в начале марта.— Это будет как бы программной статьей «Пути», т<ак> ч<то> ты отнесись со всем вниманием, напиши, что думаешь и как находишь нужным выразить то, с чем не согласен» (ОР ГБЛ, ф. 171, к. 3, ед. хр. 3, л. 28). Трубецкой ответил 25 марта из Флоренции: «Предисловие Булгакова ужасно Безвкусный шовинизм с допотопным славянофильским жаргоном, притом крайне размазан и бездарен. Что мне оставалось делать. Писать свое предисловие — во-первых, для них обидно, а может быть, мое для них столь же неприемлемо, как ихнее для меня Поэтому я взял из их же предисловия все приемлемое для меня, сделал полстраницы из трех и в заключение целиком взял булгаковскую последнюю страницу, где излагаются намерения «Пути» относительно последующих изданий. Вышло сухо и бесцветно, но для предисловия от общего и меня достаточно: то, в чем мы сходимся — признание религиозной христианской задачи России,— выражено совершенно ясно в одной фразе и этого довольно» (там же, к. 7, ед. хр. 1а, л. 65). В то же время Трубецкой отправил и письмо путейцам, охарактеризованное им как «чрезвычайно ласковое по форме, но весьма решительное по содержанию». Приводим его ниже по автографу с небольшими сокращениями (там же, к. 9, ед. хр. 6):

«К сожалению, я совершенно не могу подписать присланного мне предисловия, и не только подписать, но и взять на себя за него ответственность. Верю в религиозное призвание России, но «народом-богосцем» назвать ее не решусь, считая это совершенно недозволительной и ничем не оправданной национальной гордостью, если только не признать «богосцами» все вообще христианские народы «Покорность преданию» и «историческое сыновство» без очень ясных оговорок для меня неприемлемы, ибо у нас есть два и даже три предания — от Бога, от диавола и от человека. Я должен ясно сказать, которому преданию я верен, а в кратком предисловии этого нельзя. Верность свою православию могу подчеркивать только при одном условии — ясно отделив историческую скорлупу, которую я отбрасываю, от вселенского зерна, которому я верен. «Искаженный облик Христа» считаю не конфессиональным, а сверхконфессиональным и окончательно отказываюсь верить, что Он в православии менее искажен, чем на Западе. Только у каждого искажение свое. <...>

Я прилагаю при этом письме измененный проект редакции, в котором я умышленно не вношу ничего своего, а беру только то, что для меня приемлемо из присланного проекта. <...> Но пространное предисловие и не нужно. Ведь вопросы о призвании России, о ее будущем и значении православия и т. п. будут неоднократно ставиться и решаться каждым из нас в отдельности. Зачем же заранее в предисловии предрешать, что мы будем говорить. Не достаточно ли в предисловии в одной фразе выразить, что мы верим в христианскую задачу России. А затем уже каждый из нас будет решать эту задачу за своей ответственностью и под собственной подписью! <...>

Вообще же думаю, что всем нам как можно больше нужно делать и как можно меньше обещать как за себя, так и за Россию. Нужно осуществлять религиозное призвание России, а не трубить о нем заранее. Иначе повторится ошибка Соловьева, который ведь был больше нас всех: обещал за Россию Третий Рим, всемирную теократию, а вышел мыльный пузырь, который лопнул, причем сам же Соловьев его проколол. <...>».

В ответ на послание Трубецкого С. Булгаков сообщал 31 марта М. К. Морозовой в Ялту (ОР ГБЛ, ф. 171, к. 1, ед. хр. 7, л. 1—2):

«Глубокоуважаемая Маргарита Кирилловна!

Одновременно с этим письмом Вы получите и письмо кн. Евг. Ник., и измененный им текст. Как я и опасался, выработать общее pronunciamiento нам не удалось, причем здесь сказались неудобства нашей разноместности: если бы мы все были вместе, нащупать различие оттенков можно было бы уже в стадии предварительного обсуждения. Обсудив положение, мы, т<о> е<сть> В. Ф. <Эрн>, Н. А. <Бердяев> и я, единогласно постановили, конечно, при условии, если Вы, а также и Гр. Ал. <Рачинский> к нам присоединитесь, принять текст Евг. Ник. <...>».

¹ Автор текста «Песня Германии» (начинающейся цитированной Трубецким строчкой) — Гоффман фон Фаллерслебен (1798—1874), мелодии — Ф. Хайден. Текст написан в 1841 году, песня пользовалась большой популярностью в период объединения Германии в XIX веке; в 1922 году была утверждена в качестве официального гимна. (Благодарю за справку Дагмар Ассманн, ФРГ.)

² О. Сергей Щукин (1873—1931) — замечательная, но забытая фигура русской культуры XX века Друг семьи Чехова, он стоял на приходе Успенской церкви в Ялте, преподавал в местной гимназии закон Божий; позднее сблизился с С. Булгаковым, вошел в круг сотрудников издательства «Путь», где выпустил книгу «Около церкви» (1913). Подробный рассказ о нем см.: Игуменя Евдокия, «Воспоминания об о. Сергии Щуктине» («Вестник РХД», 1977, № 122.)

ПИСЬМО К А. Ф. КОНИ

1 ноября 1917

Глубокоуважаемый Анатолий Федорович!

Переписка наша оборвалась вследствие навалившейся на меня груды дел, из-за которых иногда есть вовремя не успеваешь. Но все время думал о Вас с признательностью за духовное общение с Вами, в котором почерпнул я так много хорошего, ж.

мечтал найти досуг написать Вам. Досуг явился в самой неожиданной форме. Взгляните на дату этого письма и Вы поймете: досуг явился потому, что я сижу отрезанный от всего мира без возможности выйти из дому, вспоминая под звуки пулеметной и ружейной пальбы всех, с кем связан узами глубокого сочувствия и кто, как Вы, любит истерзанную, несчастную, глубоко падшую, но все же бесконечно дорогую Россию.

Теперь эта любовь не ослабляется ее падением, а только становится бесконечно мучительной. Я вижу нередко людей, которые до того разочаровались в России, что мечтают порвать с ней всякие узы и ничего не имеют к ней в душе, кроме презрения и озлобления.

Меня глубоко огорчает столь неглубокое к ней отношение. Если Россия — это рассеянные в пространстве лица, говорящие по-русски, но предающие родину или несчастное, обманутое серое стадо, висящее на трамваях, грызущее «семячко», а ныне восставшее за Ленина, то России, конечно, — нет. Нет ее вообще для людей, которые не верят в невидимую, духовную связь поколений, связующую живых и мертвых во единое целое. Но я, как и Вы, верю в духе. Отец и мать у меня есть; они похоронены в Москве, и их могилы напоминают мне о моей духовной связи с землей, где они похоронены. А когда в Кремле я вижу другие могилы святителей и молитвенников за Россию, я чувствую, что это — земля святая. Одни ли могилы? Нет, каждый камень в Кремле говорит о великом, святом, не умирающем, чего нельзя отдать и что переживет все нынешнее беснование. А об этом бесновании, знаете ли, что я думаю. На днях я выразил образно мою мысль одному высокопреосвященному из нашего собора, и он ее одобрил. — Я сказал, что легион бесов, сидевший недавно в одном Распутине, теперь после его убийства переселился в стадо свиней. Увы, это стадо сейчас на наших глазах бросается с крутизны в море: это и есть начало конца русской революции.

Все стадии разочарований уже пройдены, кроме одной: народ должен еще разочароваться в большевиках. Естественно сомнение: останется ли тогда в России что-либо не разрушенное, что еще можно спасти? — Я человек верующий и для меня несомненно: святое духовное, что есть в человеке и в народе, не сгорает в огне, а выходит из него очищенным. Верю, что это будет с Россией; верю, когда вижу, какие духовные силы явились в святом, мученическом подвиге наших юнкеров и офицеров.

Крепко жму Вашу руку.

Ваш кн. Е. Грубецкой.

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ГАЛИНА ГОРДЕЕВА

*

СВОБОДНАЯ ТАЙНА, ИЛИ ДАВАЙ УЛЕТИМ

Контурь «ленинградской» литературы: наблюдения и догадки

А кошка отчасти идет по дороге,
Отчасти по воздуху плавно летит!

Лилия Хармс.

...я не должен был бы наде-
яться, но я надеюсь.

Р. Конквест.

Эту статью я задумала давно. Но трудно было представить печатное издание, которое заинтересовалось бы столь «несерьезной» темой. Некуда было с ней деться. Да и идеи, в сущности, не было — так, наблюдения, догадки, заметки на полях прочитанных книг и ненаписанных рецензий.

Время переменилось, перевернулось, как платок в руках фокусника. Неожиданно сбнаружилось, что тихой гипотезе о существовании в нашей литературе ленинградской школы тоже придется нести на себе некий знак — плюс или минус, это уж кто как посмотрит. Впрочем, сначала надо объяснить, о чем, собственно, речь.

Читатели, небезразличные к нашим критическим баталиям, помнят, быть может, как с легкой руки Игоря Дедкова был решительно развеян «лирический туман» вокруг громко объявленной Владимиром Бондаренко московской школы, объединявшей, по его мнению, целый ряд прозаиков, в ту пору сорокалетних (или около того). Существовала ли школа на самом деле и во всем ли был прав разоблачитель мифа о ней — теперь, за давностью, сразу не решишь; может, и стоило бы разобраться похладнокровнее. Но несомненно, что озвученная полемика надолго отбила у критиков охоту разыскивать в нашей литературе какие бы то ни было школы, общности, гнезда — иначе говоря, направления. Предполагалось, что деления внутри литературы могут быть только по отделам, по ведомствам, как в обкоме или редакции газеты: партийная жизнь, промышленность, сельское хозяйство, агитация и пропаганда...; роман производственный, из жизни колхозной деревни, военный, исторический; можно и чуть поживее — проза деревенская, городская, историческая, военная, жизнь замечательных людей, пламенные революционеры... Поэзия? Пожалуйста: громкая, она же эстрадная, тихая лирика и — книжная, которая как бы и не совсем поэзия. Согласимся, что направлениями эти подразделения уж никак нельзя считать. Хотя бы потому, что «графы» и «клетки», на которые была разбита литература, по определению никуда «направляться» не могут — их дело прочно стоять на месте и заключать в себе неосторожно попавшее в них содержимое.

Между тем литературы без направлений, течений и школ попросту не бывает. И значит, оставалось предположить одно из двух: либо у нас нет литературы, либо направления и школы все-таки есть. А так как без литературы человеку с филологическим образованием, да еще пишущему, оставаться совсем невозможно, пришлось вглядываться пристальнее, читать внимательнее. Начали набегать общие признаки, обязательные приметы, слышаться сходные интонации — и постепенно, с миру по нитке, по строчке, по стихотворению, по новелле, по автору стало собираться то зыбкое, с ме-

няющимися очертаниями целое, что я для себя и начала называть ленинградской школой. По моим наблюдениям, в нее входят и прозаики и поэты, хотя и не только они. Совсем не все живущие и пишущие в Ленинграде авторы к ней принадлежат, и вообще ленинградская прописка, будучи фактором сугубо внелитературным, обязательным признаком не является. Напротив, есть авторы, живущие, скажем, в Москве, но во многом соприкасающиеся в своем творчестве с ленинградской школой. Есть и просто переехавшие из младшей столицы в старшую; да и не только в пределах отечества ныне обитают «выпускники» этой школы... У нее, как заведено, есть лидеры — вполне неформальные, но несомненные. Есть мэтры, к школе непосредственно не принадлежащие, но являющие собой суть направления в ее просветленном, очищенном уже от внешних примет виде. Есть создатели канонических в пределах этого литературного образования жанров. Есть новобранцы, эпигоны, вульгаризаторы, дезертиры. В этой школе есть писатели знаменитые, авторы популярные и почти вовсе неизвестные — как правило, не из-за слабости художественного дарования, а по другим, менее мистическим причинам.

При этом оценивать писателей я здесь не стану. По простой причине: отличительные знаки направления, как ни странно, обычно отчетливее видны на тексте эпигонском, вторичном. Я не буду оценивать степень талантливости и мастерства, хотя от демонстрации личных симпатий вряд ли смогу удержаться. Это не значит, конечно, что для меня несущественна качественная разница между Валерием Поповым и Валентином Тублиным, Вадимом Шефнером и Александром Житинским, Виктором Голявкиным и Зоей Журавлевой, Александром Кушнером и Николаем Голем, Еленой Шварц и Натальей Галкиной, Борисом Сергуненковым и Радием Погодиным, Вячеславом Рыбаковым и Борисом Вахтиным, Андреем Битовым и Лидией Гинзбург, Валерием Алексеевым и Юрием Ковалем, Иосифом Бродским и Евгением Рейном, Александром Городницким и Евгением Клячкиным... Пары подобрались почти случайно, подчиняясь скорее ритму, чем смыслу, и не о всех я успею сказать даже вскользь.

Эти авторы представляются мне входящими — в разной степени и различными сторонами — в стилевую общность, обозначенную здесь (крайне условно) как ленинградская школа. Они-то могут со мной и не согласиться, кое-кто рядом с другими и стоять не захочет. Спротивляться такого рода объединению — неотъемлемое право художников, с этим и спорить ни к чему. Но и увидеть в них, столь разнообразных и разнородных, нечто общее — тоже право, право критика. «А ошибусь — мне это трын-трава, я все равно с ошибкой не расстанусь» — да простят мне эту цитату из Пастернака реценители строгой научности. Ведь и из ошибки можно извлечь что-нибудь дельное...

Я пишу о ленинградской школе с надеждой, что, споря со мною, и другие почувствуют необходимость заняться проблемой направлений в нашей литературе. И может быть, кто-то заново опишет московскую школу, а кто-то — сибирскую... А иной, отринув географические деления, провозгласит «новую натуральную» или, напротив, «школу абсурда». И это поможет разглядеть реально существующий на разных уровнях, движущийся, живой литературный процесс.

Ни одно утверждение в этом тексте не претендует на абсолютную истинность. Автор примет все поправки, уточнения и опровержения с вниманием и уважением. Этому его научила все та же ленинградская школа — стихами, прозой, отношением к человеку и взглядом на мир.

«Невской прозе», создаваемой многими из помянутых авторов, присуще, мне кажется, игровое отношение как к миру реальности, так и к миру слова. Игровая стихия пронизывает ее на всех уровнях — от языкового до композиционного (строительного, зодческого), — перестраивает и проникает отношения между автором и героями, автором и читателями. Ленинградский прозаик почти всегда собственной персоной входит в свою прозу: то ли спрятавшись под маской рассказчика, то ли открыто, не таясь, иногда даже демонстративно, при этом как огня избегая напыщенности. Поэзия давно заметила за прозой это обыкновение:

Прозаик прозу долго пишет.
Он разговоры наши слышит,
Он распивает с нами чай.
При этом летят такие пули!
При этом как бы невзначай
Глядит, как ты сидишь на стуле

Он, свой роман в уме построив,
Летит домой, не чуя ног,
И там судьбой своих героев
Распоряжается, как бог.
То судит их, то выручает,
Им зонтик вовремя вручает,
Сначала их в гостях сведет,
Потом на улице столкнет,
Изобразит их удивленья.
Не верю в эти совпадения!
Сиди, прозаик, тих и нем.
Никто не встретился ни с кем

(А. Кушнер)

Нисколько не смущаясь тем, что ее профессиональный секрет раскрыт, ленинградская проза продолжает и углубляет эксперименты по введению авторского голоса во все уровни повествования. Автор, как у В. Попова, может быть сквозным персонажем своих новелл, текучим и узнаваемым, умирающим (как в новелле «Автора!») и воскресающим в очередной детской книжке, но уже в облике мальчика, подростка (как в «Темной комнате» и в «Слишком сильном»). Автор может отнять повествование у персонажа, может, как в новелле «Хелло, Долли», перевести рассказ из третьего лица в первое, и эта нехитрая лингвистическая операция позволит ему поднять читательское восприятие на градус выше. Новелла транспонирована в другую тональность: то и тогда происходило с ним, это и сейчас происходит со мной. Авторское «я» у Попова поставлено так, чтобы максимально открыть возможность для читательского проникновения в него, оно излучает энергию, втягивает, засасывает внутрь бесконечного пульсирующего сюжета, то и дело вспыхивающего фантастическими поворотами. Попов — веселый писатель не потому, что склонен смеяться по всякому поводу, а потому, что его автор-герой гарантирован от неподвижности, однообразия жизни, даже от одиночества: ведь все свои приключения он переживает и преодолевает вместе с читателем. Проза Попова намеренно авантюрна, но не легкомысленна — в ней то и дело возникают островки серьезности, непоказной и глубокой. Один пример: герой, проснувшись от неурочного сна в непривычный час, вдруг замечает «длинные тени от крупинки под обоями». Эта микроскопическая подробность вовсе не хвастливая дань наблюдательности, ее смысл куда как серьезен. Крупинки под обоями — это крахмальный клей. И тут вспоминается, что действие происходит в Ленинграде, в городе, пережившем блокадный голод, что такой клей, быть может, помог отсрочить чью-нибудь смерть... Взгляд рассказчика движется по линии, возникшей из взглядов других, неизвестных ему, давно исчезнувших людей. Его рассудок ничего не знает об этом, но в зрении хранится память. Не случайно же, не только по ходу сюжета, появляется — сразу вслед за эпизодом с крупинками — сцена утоления голода: хлеб, вздыхающий под рукой, любовно описанный стакан чая с лимоном. Простые радости, отбрасывающие длинные — в глубь времени — тени.

Так — на мгновение — сквозь быт проступает история.

А вот у В. Голявкина автор ведет себя в точности так, как сказано в стихотворении Кушнера: «Он говорит: — Это вы втянули меня в рассказ, а я сам никогда бы не влез в него и не подумал бы этого делать. — Я ему говорю: — Надоедливый вы человек!» («Он говорит — я говорю»). Содержание этой иронической миниатюры как раз и есть препирательство автора с героем на всем ее пространстве — демонстрация приема с одновременным его пародированием. Проза Голявкина вообще изначально пародийна, непочтительна к традиционным способам создания и восприятия персонажа, сюжета, композиции. Здравому смыслу в ней отведен тесный уголок, но все же отведен, и на это место никто не посягает. Оно и понятно: мини-абсурды Голявкина могут быть остро и свежо восприняты лишь на добротном, привычном, надоевшем фоне «обыкновенных дел», как названа одна из детских книг Голявкина.

У В. Шефнера же автор может быть (например, в «Лачуге должника») персонажем, возникающим на периферии повествования и выполняющим роль того кристаллика, который бросают в перенасыщенный раствор, чтобы началась кристаллизация. Сам Шефнер в «Лачуге...», пресерьезно ссылаясь на вымышленного литературоведа Альфреда Ренга, излагает его «„теорию яйца“, согласно которой каждый роман отныне должен состоять из «белка и желтка», то есть из двух повествований, ведущихся в двух разных стилевых и хронологических планах, но объединенных единым замыслом («скорлупой»).

Ренга поддержал известный критик Замечалов, попутно не без ехидства напомнив в своей статье, что один русский писатель, живший и работавший в Ленинграде, уже в последней четверти двадцатого века осмелился предпринять нечто подобное». Отнеся командирский тон («...каждый роман отныне должен состоять...») на счет еще одного рассказчика, военного по специальности, отдадим должное точности, с какой Шефнер изложил принцип построения своего «романа случайностей, неосторожностей, нелепых крайностей и невозможностей» (таков подзаголовок «Лачуги должника»).

Автор, наконец, может, как в повести Б. Дышленко «Что говорит профессор», врут обнаружить, что он и его товарищи-«экстрасенсы» давно стали персонажами романа, написанного профессором, их подопечным,— героем этой повести. Зачем-то им, ленинградцам, все время нужен этот свободно перемещающийся через границу между действительностью и вымыслом персонаж. Зачем-то им важно все время напоминать читателю о взгляде автора — испытующем или печальном, удивленном или насмешливом. Им необходимо показывать читателю, что перед ним не точная копия действительности, но авторское видение ее. Так, старые художники любили поместить свой портрет в толпе пришедших поклониться новорожденному Иисусу — или в толпе бесов, увлекающих грешников в ад. Так у Блока: «Лишь, как художник, смотрю за роду...».

Конечно, в разговоре о сложных взаимоотношениях автора с героем, становящихся и темой, и сюжетом, и смыслом произведения, никак не обойти «Пушкинский Дом» Андрея Битова. И потому, что автор его — несомненный лидер ленинградской школы, в потому, что художественная репутация романа вне сомнений, хотя и не вне критики. «Пушкинский Дом» — действительно наиболее важное и представительное произведение ленинградской прозы 70-х годов. Но... о Битове уже написаны и пишутся книги, и моя скороговорка здесь бесполезна. Скажу только, что опыт битовского романа очень важен именно потому, что не случаен: он стал плодотворен не только в силу своих вершинных качеств, но и потому, что, как выясняется, постоянно корреспондировал с параллельно и, может быть, независимо от него ведшимися поисками. «Пушкинский Дом» мне еще понадобится здесь не раз — «как солнце — как маятник — как календарь», как символ и образец...

Пора хотя бы просто перечислить те черты общности, которые позволяют мне выделять ленинградскую школу как нечто целое. Итак...

Обостренное чувство смешного — в широчайшем диапазоне: от светлого веселья до хмурой сатиры, но чаще и излюбленнее всего — ироническая интонация. Дарованная иронией и виртуозно культивируемая склонность к фантастике и абсурду, проступающим сквозь быт. Игра как с героем, так и со словом: речевыми штампами и клише, канцелярской, идеологической и жаргонной лексикой. Привычка включать в состав прозы стихи — не как цитату или иллюстрацию (хотя часто встречается и это), но для того, «чтоб слово ровное нам ветерком загнуло, и мы увидели его ворсистый смысл» (А. Кושнер). Обязательное присутствие — в стихе ли, в прозе ли — некой мерки, безусловной и неоспоримой ценности, задающей одновременно точку отсчета и масштаб. Мотив тяготения вверх, полета, неба — вытянутость по вертикали. И — совсем из другой области: многовариантность литературной деятельности, способность написать стихи, прозу, детскую сказку, лирическую новеллу, литературоведческое эссе, песню, притчу, не снижая уровня, не отказываясь от любимой мысли...

Еще одно наблюдение: нигде чаще, чем у ленинградцев, не попадались мне двойные названия. «Человек с пятью «не», или Исповедь простодушного», «Потерянный дом, или Разговоры с милордом», «Имя для птицы, или Чаепитие на желтой веранде»... Это пристрастие к «или» — что оно значит? Нерешительность? Неточность знания? А может быть, желание оглядеть, охватить изображаемое и мыслимое не с одной, а с нескольких сторон, увидеть его объем («для восполнения объема» — подсказывает строчка Кושнера), его «крутую тайну»?

Мне все думается, что ленинградцы (условные, конечно, а не географические) отличаются от москвичей (в том же смысле условных) более всего тем, что столь же условно я могу назвать идеализмом. Герой ленинградской школы живет с представлением, что от него в ходе жизни («нормальном ходе», по слову Валерия Попова) хоть что-нибудь зависит, что вина за беду, неудачу, преступление, коли они случаются, на

нем, но зато и счастье, удача, подвиг — его заслуга. Московский герой (например, у Маканина или Курчаткина) склонен объяснить свои жизненные перипетии (то ли от мягкости душевной, то ли по трезвости взгляда) все больше стечением обстоятельств, давлением среды, а то и волею судеб. Отсюда, быть может, пристрастие «московских» к живописанию быта и их несомненные, иногда очень яркие удачи в этом занятии.

Бытовизм москвичей двулик. Он хранит быт, подножную и подкожную жизнь как то единственно достоверное и, возможно, плодоносящее, что доступно чувствам и разуму обычного человека. Но он же и сводит такого человека и его свободную волю к набору бытовых обстоятельств, к самому всепожирающему быту. Сводит судьбу — к обстоятельствам.

Ленинградцы же, отнюдь не пренебрегая бытом, не позволяют ему проникать в сердцевину человека, не позволяют своим героям всецело оправдывать себя тяжестью, наличного существования. Ленинградцы знают о существовании ада и не отказываются спуститься в него, не отворачиваются презрительно. Но всякий, кто сходит в ад, — для них Орфей. Именно его, бесстрашного певца, умеют они разглядеть там, где иной взгляд не видит ничего, кроме ада, да еще самого тягостного — повседневного, кухонного, пошлого. Ничего, кроме коммунальной преисподней, не видят в творчестве, например, Людмилы Петрушевской многие критики и читатели. А ленинградец Валерий Попов увидел иное: «У нее всегда такой страшный материал и с таким блеском все сделано! Это знаете кто? Орфей спускается в ад. И остается Орфеем. Такая сила духа, такое стремление к совершенству, к гармонии!» И неудивительно, что Попов разглядел Орфея в адском мраке. Орфей хорошо знаком ленинградцам, их зрение воспитано так, чтобы различить его в любой тьме, их слух внемлет его пению в любом грохоте. Вот и недавний цикл стихотворений Кушнера («Знамя», 1990, № 1) называется «Новый Орфей». Новый — потому что опять вернувшийся и опять готовый к спуску в еще более гибельный ад: «...всех ему ближе Орфей, когда тот пошел, камнея, к Харону вторично».

Видеть Орфея на полупрозрачных улицах своего «самого умышленного на земле города» — эта способность унаследована нынешней ленинградской литературой не только от великих предшественников, классиков прошлого века. Той же способностью в уникальной степени обладали те, кого мы знаем как обэриутов, — Хармс, Введенский, Олейников. Но более всего — в пределах нашего разговора — Константин Вагинов. Его романы сейчас переизданы, и теперь легче, чем раньше, убедиться в том, что вопрос о творце и творении (и о твари) литература русская умела и считала возможным решать даже тогда, когда главным казался (и, в общем-то, вправду был) вопрос о хлебе насущном.

В «Козлиной песни», в «Трудах и днях Свистонова» предметом изображения и осмысления является акт творения, проходящий на наших глазах все стадии: от собирательства до преображения. Верный насмешливому духу иронии, не терпящему «тяжести недоброй» (Мандельштам) пышных словес, Вагинов не говорит о происходящем «трагедия» — он вспоминает, что в переводе это «козлиная песнь», «Труды и дни» он одалживает у Гесиода, чтобы одарить этим звучным именем «прекратительную жизнь» человека со смешной, нисколько не торжественной фамилией Свистонов. Вагинов сопоставляет не неподвижные образования, он поворачивает слова относительно друг друга, он заставляет их бросать тени и отблески. И так же в обоих романах он сталкивает и поворачивает своих героев, сотканных из оживших слов; так же с болью и восторгом наблюдает он их текущую по ведомым и неведомым ему путям жизнь: «Сейчас третий час ночи. Любимый час моих героев. Час расцвета неизвестного поэта, его способностей и видений. Я снова вижу: сквозь лютый мороз, по снежным ухабам улиц, под ужасающий ветер, от которого омертвевает лицо, он ищет опьянения, не как наслаждения, а как средства познания, как средства ввергнуть себя в то священное безумие... в котором раскрывается мир, доступный только прорицателям...» Кто этот неизвестный поэт — Блок? Мандельштам? Есенин? Хармс? Не надо гадать — это всегда Орфей.

Вагинов — посвященный, он в совершенстве постиг те опасности и страдания, что подстерегают творца, создающего живое из живого, книгу из реальности: «Чем больше он раздумывал над вышедшим из печати романом, тем большая разреженность, тем большая пустота образовывалась вокруг него. Наконец он почувствовал, что он окончательно загерметизирован в своем романе. Где бы Свистонов ни появлялся, всюду он видел своих героев... Таким образом Свистонов целиком перешел в свое произведение».

Об этой опасности знает, ведает ее и Битов, тоже чуть было не поселившийся в своем «Пушкинском Доме», тем более что лучшего убежища трудно было сыскать. Но у него хватило отваги выйти, и одна из последних книг его называется «Человек в пейзаже» — то есть на свободе.

Мне по душе неисправимый «идеализм» ленинградских авторов, их «заблуждение», их вера в не до конца земную суть человека. И вот почему. Размышляя о природе и причинах отчаяния, что-то слишком часто вторгающегося в наше нынешнее восприятие жизни, я вдруг поняла, что именно спасало среднего российского интеллигента, позволяло ему дышать во времена безнадежно неподвижной, затхлой несвободы. Человеку почему-то казалось, что его неудачи, беды, неприятности, невезения не связаны ему извне какой-то равнодушной к нему силой, а всего-навсего результат его собственных лени, неумелости, нерасторопности, недостатка ума, образованности, энергии... Казалось, что, делай ты свою работу лучше, будь внимательнее к людям, талантливее и организованнее, и добьешься поставленной цели, облегчишь жизнь близким, избавишься от жгучего стыда за бессмысленное прозябание. И если нет — то сам виноват! То есть существовало представление о личной ответственности за жизнь в ее целом; представление почти непобедимое, потому что абсолютно (во в этом-то я более чем уверена) необходимым для полноценной жизни и достойной смерти всякому человеку. Как и многие, я предпочитаю отвечать за свои удачи и неудачи, и мне лучше чувствовать свою вину, чем перекладывать, списывать ее на время, режим, среду, обстоятельства... В этой отсылке, в этом кивании на другого и на другое есть что-то бесконечно унижительное и безнадежное — рабское, если уж добираться до точного слова. И когда теперь, оглядываясь на прожитое, понимаешь, что на самом-то деле лично от тебя; от твоей личности, не зависело ничего, что весь насквозь был ты определен, ограничен и обусловлен миром, в котором пытался существовать, когда отчетливо видишь, что твоя единственная судьба подменена навязанной, что никакие твои трепыхания ничего бы не изменили и не сдвинули — разве что крути пошли бы по толстому слою ряски... Как же не раскроются ворота отчаянию?

Ленинградцы дорожили догадкой об ответственности человека за мир и за себя, не давая ей исчезнуть и обесцениться. Их персонажи не только трепыхаются — они все время пытаются взлететь, и потому это иногда удается им. Я недаром поставила в эпиграф отчасти летящую хармсовскую кошку. Мотив полета у ленинградцев принимает различные облики: то воплощается в техническом приспособлении (как в «Запоздалом стрелке» Шефнера), то прикидывается детским фантазированием (как в «Книжке о Гришке» Погодина), то врывается в прозу и стихи шелестом настоящих птичьих крыльев. «Тучка, ласточка, душа! Я привязан, ты — свободна» — так у Кушнера, чья поэзия переполнена взмахами крыльев — птичьих, бабочкиных, ангельских. А иначе — у еще почти неизвестного читателям поэта Николая Голя.

Голь не был бы поэтом ленинградской школы, если б не тяготел к полету, не ощущал себя одновременно и птицей («Я сокол! Я сокол! — хочу и летаю!»), и изучающим ее орнитологом, если бы не знал и в себе присутствия закрепощающей силы, отнимающей возможность полета у вольной души. В одном из «Монологов орнитолога» птичка жалуется на свою судьбу:

Как припомню — жили предки
на свободе —
так заплачу.
Я на жизнь в железной клетке
жизнь желанную потрачу.
Я дитя лесных окраин,
вид квартиры мне противен,
отпусти меня, хозяин...

Но «орнитологу» нечем ответить пленнице, кроме:

«Чик-чирин, — ответу пташке,
фьють-фьють-фьють», — замечу птичке.

А вот чистый голос тоски, открытая лирика без иронической маски:

О, вечное небо, которого цвет
в пространстве затерян!
Чудес не бывает, и каждый предмет
статичен, трехмерен.

А помнишь — когда-то, тогда, не потом,
до боли прозренья,
мы жили в четвертом, шестом, не таком.
таком измеренье!

У Голя к взлету способно многое и многие — от парикмахера («Парикмахер, парикмахер, ты великий дирижер, ты зачем в чудесном взмахе руки дивные простер? В белом зеркале летаешь — выше неба, ниже крыш...») до «кораблика над Невой» («Солнце — утром, ночью — тучи, мы плывем... Куда ж нам плыть, мой веселый, мой летучий, мой голландец, может быть») и души («...а вот душа еще не отлетела... Лети, душа! Унылая, пор!»). Но эти полеты грустны: «То ли реквием сыграешь, то ли оземь угодишь... Может быть, слишком мала высота — «на пядь от земли» всего лишь — и, чтобы выжить, надо взлететь высоко, выше возможного?

Я цитирую стихи Николая Голя, а не кого-нибудь из более известных поэтов, чтобы показать, как тема «полета в небеса» (так, кстати, назван составителями недавний том стихов и прозы Хармса) пронизывает всю ленинградскую литературу — от самой популярной и заслуженно знаменитой до той, которая до времени скрыта от читательского взора (книга стихотворений Николая Голя, например, по сию пору лежит в издательстве, и неизвестно, когда выйдет, так что я цитирую по рукописи).

Тема полета, как всякая живая и полная смысла метафора, претерпевает изменения, переходя от автора к автору. Изменения эти иногда очень печальны: в повести Вяч. Рыбакова «Не успеть!» («Нева», 1989, № 12) способность к полету оказывается жестокой, не зависящей от воли наделенного ею человека необходимостью. Герою, фамилия которого недаром Пойманов, приходится воевать (увь, снова воевать...) сразу и со сковывающей действительностью, и с освобождающей невероятностью. Он поражен загадочной болезнью, уже принявшей в нашем отечестве характер эпидемии (время и место действия повести — очень различимое будущее нашей страны): у Глеба, бывшего нонконформиста, читателя «тамиздата», а ныне талантливого ученого, отрастают крылья, которые, созрев, неминуемо унесут его вон из ставшего почти чужим, враждебным, но болезненно любимого города, от беспомощных без него жены и сына, от тяжелой, но все-таки единственной действительности. Рост крыльев нельзя остановить или предотвратить: при попытке их ампутации человек гибнет. Но гибель ждет новоявленных Икаров и в небе, точнее — в «земле обетованной»: иные страны, боясь распространения эпидемии, сбивают непрощенных гостей, не давая им приблизиться к себе. Глеб, в полном отчаянии, бессильный одолеть надвигающуюся на него и его семью беду, мечтает, чтобы крылья подняли его в стратосферу, где он задохнется. Так невыносима мысль о грузе невольного предательства, который он должен будет влечь за собой (вместо отвалившихся по окончании полета крыльев) всю оставшуюся жизнь. Но и тут от него ничего не зависит — он обречен.

Счастье полета оказывается омрачено не только мучительной болью, сопровождающей созревание крыльев, но и тем, что этот «дар напрасный, дар случайный» отторгает героя от прозаического существования помимо его воли и желания. И что с того, что Поймановым теперь распоряжаются не нежно опекавшие его до последних минут «органы» (им-то он по мере сил и довольно успешно противостоял), а некая органическая сила, холодно-точная в своем прицеле (крылья отрастают только у людей природно творческих)? Круг возможностей Пойманова неотвратимо сужается: всего-то он и может теперь — попытаться добраться до дому, чтобы вытащить из опустевшего холодильника заледеневшую курицу и любым способом доставить ее на дачу. Да и то вряд ли успеет — зародыши крыльев зреют стремительно. А талонов на электричку нет, а таксисты не везут за город, а магазинные полки пусты, а жена с большим сынишкой уже давно живут тем, что им по доброте уделит дачная соседка, тоже еле сводящая концы с концами... Так что дело уже не в крыльях — свет сошелся клином на курице, бескрылой птице...

На примере повести Вяч. Рыбакова видно, что фантастика для ленинградских писателей почти всегда служит оболочкой для «морали и поучения». Так что в этом смысле «Не успеть!» вполне может быть поставлена в ряд с шефнеровскими «сказками для умных», в которых всегда есть «добрым молодцам урок» — ненавязчивый, не скучный, но четко просматривающийся.

Поэтическая репутация Вадима Шефнера, негромкий и твердый голос поэта вызвали неизменное уважение Шефнер-прозаик, несмотря на частые публикации и вообще удачную издательскую судьбу, отчего-то обойден вниманием критики (но не

читателей). То ли область литературы, которой он отдает свои прозаические досуги — ироническая полусказочная фантастика, — не располагает к серьезному анализу; то ли пенителей изысканной речи смущает язык его повестей — на первый взгляд тусклый, донельзя засоренный канцелярскими оборотами, выветрившимися штампами, посреди которых в невероятном количестве торчат какие-то самодельные стишки; то ли авантюристность его сюжетов недостаточно остра, а герои недостаточно героичны; то ли приземленность фактуры в сочетании с необузданной фантазией отталкивают... Бог вест.

Между тем проза Шефнера, с моей точки зрения, заслуживает серьезного и доброжелательного внимания. Начать с того, что именно Шефнер дал имя излюбленному жанру «невской прозы». Как, впрочем, в числе первых и утвердил в ней этот жанр. Шефнер пишет «сказки для умных», лукавые и грустные сказки, только прикидывающиеся к фантастикой, то бытовой сатирой. Патетика его иронична, ирония легка и уступчива, а его излюбленный герой — как правило, неудачник, тихий чудак, «человек с пьютью „не“», «запоздалый стрелок», «простодушный». Чудеса с его персонажами происходят все какие-то неэффективные, а то и вовсе несурзадные: то бедолага зеленой шерстью обрастет, то крылья изобретет, когда они уже не нужны; а если «пришельца» встретит, то не иначе как маясь зубной болью. И даже нечаянно обретенное бессмертие не идет неприкаянному персонажу впрок, не принеся ему ничего, кроме бесконечной тоски и столь же бесконечного раскаяния в невольной вине, как это происходит в «Лачуге должника» с Павлом Белобрысовым.

Проза Шефнера населена изобретателями и экспериментаторами, переполнена техническими и механическими чудесами. Но в этой технике нет ничего торжествующего, ничего ликующего и победного — она полезна и удобна, и только. Герои, пытающиеся с помощью технических чудес властвовать — над природой, людьми, временем, судьбой, — у Шефнера, как правило, гибнут. Одним гибель достается высокая, героическая, другим — комическая, даже фарсовая. Но жить остается тот, кого Шефнер назвал в одной из ранних повестей — «скромный гений».

Стоит оценить обаятельный юмор, сопутствующий сложным темам в прозе Шефнера, и лирическую интонацию, возникающую в самых неожиданных местах.

В повести Вяч. Рыбакова, о которой речь шла выше, Глеб Пойманов, только что узнавший о своей обреченности, смотрит в окно: «Далекий сверкающий купол Исаакия висел над волнами крыш, с этого расстояния он казался невесомым, он парил, отбрасывая золотые, тонкие, как раскаленные нити, блики невидимых отсюда граней...» Мысль о расставании с этим куполом вызывает у Глеба такую же режущую боль, как мысль о покидаемой навеки семье. Купол Исаакия и миф об Икаре — вот те два знака культурной памяти, в виде которых выступает в этом произведении обязательная составляющая ленинградских текстов, вне зависимости от того, удачны они или неудачны. Эта составляющая — из ряда ценностей, образующих «незыблемую скалу», о которой говорил Мандельштам.

Ленинградская школа исповедует единство, тождество красоты и добра. «Чему стихи нас учат? Строю. Точнее — стройности Добру». Эту формулу Кушнер «добыл» много лет назад, и этой находкой он столько же обязан себе самому, природе своего поэтического дара сколько городу, который он любит, и культурной традиции, хранимой этим городом. Дворцы и статуи Ленинграда, «Невы державное течение» и золотая игла Адмиралтейства, весь уникальный облик ни на что не похожее на земле города исподволь, неприметно воспитывают глаз и душу художника, задают уровень вкуса и меру достоинства:

И эти могучие медные складки,
Прилипшие к телу, простите, к мундиру,
В таком безупречном ложатся порядке,
Что в детстве внушают доверие к миру,
Стремление к славе.

(«Как клен и рябина растут у порога...»)

Спасибо за цветы на лестничных перилах!
Гирлянды и ягугы чугунные за милых
Наставников сойти в младенчестве смогли,
Воспитывая глаз, и все, что было в силах,
Все делали для нас, в ущербе и пыли.

(«Наш северный модерн...»)

Знак красоты, не подверженной сомнению, ставят на своих произведениях почти все ленинградские авторы. Мне, например, не показалась удачной повесть Бориса Иванова «На отъезд любимого брата». Но потребность обозначить абсолютный масштаб сказалась и в ней — прямо в названии, повторяющем название знаменитого баховского каприччио. Наиболее же всеобъемлющим образом эта необходимость открытого присутствия ценностного идеала выражена в названии и тексте «Пушкинского Дома», где Пушкинским Домом названа вся доставшаяся нам в наследство русская культурная традиция, великая русская литература. (Какие мы наследники и по какому праву рстачаем — вопрос горький. Поиски ответа на него — важнейшая задача «Пушкинского Дома». На него пытаются ответить разными способами почти все авторы ленинградской школы.)

Эрмитаж, ставший уже почти расхожей метафорой красоты, оказывается неисключим из жизни даже таких персонажей, которые, как у В. Попова, дальше гардероба в нем не пошли, да и там затеяли драку. Недаром знаменитая сатира «В греческом зале» стала известна всей стране с голоса прославленного ленинградского артиста. Недаром античность в ее петербургско-ленинградском изводе нигде не занимает столько места, сколько в ленинградской лирике. «Когда на сердце тяжесть и холодно в груди, к ступеням Эрмитажа ты в сумерки приди», — звала песня Александра Городницкого, наивно, быть может, но памятно. Одисеем себя, а свой город дивной покинутой Итакой видит Иосиф Бродский. И Елена Шварц пишет свои стихи от имени древнегреческой поэтессы Кинфии, от которой почти ничего, кроме имени, не осталось. Но — остались звук, знак, очертанье, и они бессмертны, пока жив город и его поэты.

Ленинградская школа всем корпусом своих текстов напоминает внимательному читателю о том, что мы постоянно живем в присутствии поэзии. «В нашу прозу с ее безобразьем» поэзия входит не спросясь, мужественно не считаясь с кажущейся неуместностью своего появления. Уже отмечены те сто лет, что протекали со дня рождения сначала Ахматовой, затем Пастернака. Впереди те же вековые даты Мандельштама и Цветаевой. И уже совсем близко — страшно сказать! — двести лет со дня явления Пушкина. У русской поэзии давно сложились свои святцы: каждый день может быть отпразднован как день рождения поэта или создания стихотворения. Поэзия напоминает нам о неотменимости своего существования и горькими днями прощания — давно ли мы скоронили Тарковского и Самойлова. А безмянные еще для нас мальчики и девочки снова и снова пишут стихи, не умом, так душой понимая, что поэзия не должна остановиться, застыть, умереть. Что без ее взгляда на жизнь мы будем одноглазы, а то и слепы, будем видеть лишь одну сторону жизни — в узелках и лохмотьях, и никогда не увидим на другой стороне мерещащегося узора гармония. Помнится, в ранней повести Зои Журавлевой «Чистое дело» мальчик рисует верблюдов как нежные алые цветы. Мальчик, конечно, поэт, сумевший преобразить жизнь, потому что верблюдов на его рисунке узнать все-таки можно. Так и большие поэты, не чураясь прозы, глядя ей в лицо, выводят наружу светящийся в ней свет поэзии. Для меня это один из самых дорогих уроков, которые можно извлечь из чтения книг. И в большой мере — книг, написанных ленинградцами.

Если согласиться, что ленинградская школа существует, то для меня, убежденной в реальности этого литературного феномена, становится ясной причина возникновения той ощутимой разницы в общественной атмосфере, которая имеется между московской и ленинградской писательскими организациями. Это я и имела в виду, когда говорила, что предположение об особом характере создаваемой в Ленинграде литературы не сможет остаться просто предположением, трактующим о материях слабо эстетических.

Мое пристрастие к ленинградской школе может быть истолковано (если кому придет такая охота) как предпочтение одного направления и пренебрежение и недооценка другого. Однако я вовсе не собираюсь раздавать места и устанавливать табель о рангах. Просто в литературе ленинградцев, в литературе, помнящей о постоянном присутствии в мире красоты и гармонии, мне легче увидеть следы надежды. Надежды на сбыточность идеала. Я хочу верить, что любой человек (и я тоже) — в принципе, в замысле — свободен. Литература, создаваемая в городе, где горит академическая библиотека, где затопляются архивы, где рушатся прекрасные дома, где учеников целыми классами учителя водят на шовинистические сборища, в городе, который судил своих

поэтов судом неправедным... Так вот, его литература все еще находит в себе мужество для сказки, улыбки и рифмы:

Друзья мои, держитесь за перила,
За этот куст, за живопись, за строчку,
За лучшее, что с нами в жизни было...

(А. Кушнер, «Рудны»)

Из записей 1970—1980 годов Лидии Яковлевны Гинзбург:

«— ...Теперь бессмыслица стала незатухающим переживанием, свинцовым психологическим фоном.

— А кто говорил, что жизнь прекрасна? Не только ужасна, но прекрасна!

— Да. Но свинцовый привкус у меня не проходит».

Александр Кушнер, стихи 1975 года:

Заснешь и проснешься в слезах от печального сна.
Что ночью открылось, то днем еще не было ясно.
А формула жизни добыта во сне, и она
Ужасна, ужасна, ужасна, прекрасна, ужасна.
.
А ветер за шторами горькую* пену взбивает!
И эту прекрасную, пятую, может быть, часть,
Пусть пятидесятью, пестует и раздувает.

Из записей Л. Я. Гинзбург тех же лет:

«На днях разговор <...> с Алешей Машевским (ему 24 года). Он говорит, что для него есть направление; следовательно, отношение к жизни. Что направление соотносится со стихами Кушнера и в конечном счете с тем, что делаю я в моей прозе».

Я обмолвилась, что у этого направления есть мэтры. Вот — Лидия Яковлевна Гинзбург**. Возразят, что уж ее-то проза свободна от всяческих игр с персонажем и со словом, строга и трезва. И никаких крыльев и перьев нет и не может быть у ее героев. Все это так, игры кончились, но всепоглощающее внимание к человеку и его слову осталось. Осыпались блески, и остались чистые структуры, постигаемые гуманитарным, доведенным до зеркальной точности знанием. И в конечном счете, как сказал поэт из «племени младого», направление существует. Следовательно, существует отношение к жизни.

Какого же еще искать свидетельства?..

Чебоксары.

* Разрядна моя. — Г. Г.

** Л. Я. Гинзбург скончалась 15 июля сего года. Рецензию на ее последние книги см. в этом номере журнала. (Прим. ред.)

СО Д Е Р Ж А Н И Е

*

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Александр Агеев. Скепсис и надежда Леонида Добычина. — Ю. Кублановский. Аналитическая исповедь Лидии Гинзбург. — А. Чуданов. «В России надо жить долго».

ПОЛИТИКА И НАУКА

Александр Доброхотов. Ряд мозаичный и прерывистый...

Литература и искусство

СКЕПСИС И НАДЕЖДА ЛЕОНИДА ДОБЫЧИНА

Леонид Добычин. Город Эн. Рассказы. М. «Художественная литература», 1989. 222 стр.

Не думаю, что эта книга станет популярной. Проза Леонида Добычина (1896—1936), впервые за полвека с лишним собранная и изданная, — мучительное чтение. Но и ни один настоящий читатель, если уж попадетсЯ ему эта книжка карманного формата, не отложит ее в сторону, даже ничего не зная о трудной судьбе писателя. Не отложит потому, что эта странная проза обладает мощной тягой, она всасывает прикоснувшегося к ней, как турбина.

«Как это сделано?» — конечно же, первый вопрос, который приходит на ум профессионалу, и неудивительно, что при жизни у Добычина была стойкая репутация формалиста, за что и приходилось ему терпеть поношения малограмотной критики. Войдет ли он «формалистом» или «авангардистом» (с учетом перемены знака, совершившейся за последние годы) и в сегодняшнее литературное сознание? Очень не хочется, чтобы — так.

Да, конечно, уникальность стиля Добычина на виду, она осязаема и наверняка порождает у многих азарт разгадывания и «декодирования». Думаю, что каким-нибудь из доступных современному литературоведению методов все это можно описать — вычленив стиливые закономерности, учесть варианты композиции, классифицировать словарь и синтаксис и т. д. и т. п. Это заманчивая научная задача, и литературоведы не преминут в свое время ею заняться. Мне же хотелось бы поговорить о менее оче-

видном и бесспорном — о самом смысле Добычинского взгляда на мир, взгляда, аналогии которому трудно подыскать в ближайшем писателю литературном контексте.

В сущности, проза Добычина не открывает нам какого-то нового, неизведанного материка. Место действия его рассказов и маленького романа «Город Эн» — русская провинция, о которой кто только не писал и в пред- и в послереволюционные годы. Всякой видели ее писатели — экзотически-красочной, полнокровной, но и уныло-бесцветной; уютно-патриархальной, но и засасывающей в свою трясиину все яркое и сильное. Ее воспевали, ею ужасались, но почти всегда она изображалась как весьма плотный, тесный, избыточно телесный, органически природный мир.

Добычин же рисует мир невыразимо бедный, худосочный, дробный, мир, где от человека к человеку, от предмета к предмету надо пройти целую пустыню, мир, в котором от события до события, от зрелища до зрелища, от мысли до мысли — бездна стоячего времени. Эти пустоты в прозе Добычина не заполнены ничем — ни рассуждениями автора, ни рефлексией героев, — и, как ни плотно друг к другу стоят короткие добычинские фразы с выпяченным нищим глаголом, вы все равно ощущаете между ними бессмысленные, а вернее, наполненные гнетущим, смертным смыслом дыры. Эти-то дыры и создают специфическую тягу прозы Добычина, в них

и свистит космический ветер, хотя ничего ни абсурдного, ни просто необычного в рассказах и в романе не происходит.

Мне кажется, что секрет «нейтрального письма» (так называет стиль Добычина в своем предисловии Виктор Ерофеев) заключается в том, что Добычин сделал попытку взглянуть на захолустрие не извне, как это всегда было, а изнутри. Взгляд извне на любой специфический мир всегда организует увиденное по законам другого мира, того, в котором пребывает созерцатель. Взгляд литературы всегда был взглядом из мира культуры, из мира осмысленного и целесообразного, провизанного «теплом телеологии», как сказал однажды Мандельштам. Такой взгляд из связанного мира культуры способен наделять душой и то, что ею, может быть, не обладает. Отсюда опасность искажения, утешающей неправды, которая особенно высока, когда за дело берется художник с мощной организующей идеей, социальной или религиозной, а таковы были почти все крупные русские писатели. Особняком стоит в этом ряду лишь Чехов, и недаром он сразу же вспоминается, когда начинаешь думать о Добычине. Но у Чехова было сильнее внутреннее чувство естественной нормы, высокой гармонии, и оно упорядочивало его художественный мир, может быть, даже успешнее любой религиозно-нравственной идеи. У Добычина же ничего не стоит между реальностью и текстом. Точка зрения его повествователя — это точка зрения жителя захолустья, его коренного обитателя. Писатель «не знает», «не чувствует» ничего сверх того, что доступно «маленькому человеку». Поэтому, между прочим, в прозе Добычина переход от «объективного» к «личному» повествованию решительно ничего не меняет — достаточно сравнить роман «Город Эн» или рассказ «Портрет», где повествование ведется от первого лица, с любым другим рассказом.

Конечно же, неизбежно сопоставление Добычина и Зощенко, который тоже ведь бился над феноменом «маленького человека», изображал и постигал его, моделируя его речь. Разница, однако, принципиальная. Активный и напористый герой Зощенко завоевывает и переделывает «под себя» прежде не принадлежавший ему мир. Это сильный герой, который вызывает потребность ему противостоять. Зощенко все-таки много сил отдал тому, что Горький называл социальной педагогией. Множа и множа социальные маски своего героя, он тем самым формировал вполне определенное отношение к нему у читателя. К тому же

при всей гоголевской, метафизической тоске, сконцентрированной в подтексте, в его рассказах звучит многие проблемы разрешающий, избавляющий от страха смех.

Добычин никогда не смеется. Зощенковский герой попадает и в его поле зрения, но остается всегда на периферии художественного пространства — это какой-нибудь бойкий рабкор Павлушенька из рассказа «Савкина», состоятельный жених из рассказа «Пожалуйста» или сознательная проститутка Чернякова из рассказа «Сад». Даже бездарный сочинитель Ерыгин из одноименного рассказа, притом что его многое роднит с зощенковскими персонажами, не столь однозначен.

Главный герой Добычина — мечтатель и влюбленный, главная проблема его прозы — одиночество. Конечно, это мечтательность и влюбленность не Татьяны и Онегина, даже не Макара Девушкина и Варвары Алексеевны, это влюбленность и мечтательность в условиях эмоциональной нищеты бесвязного мира: они тоже бессвязны и едва могут себя выразить. А одиночество в том мире, который изображает Добычин (это уже коммунальный мир «вороньих слободок»), осознается как невнятное томление по чему-то неведомому, тоска по общению с какими-то другими людьми.

Почти в каждом рассказе Добычина есть образ «другой жизни» — картинка на флаконе одеколona «Вуайаж», которой любит Зайцева в рассказе «Лидия», кадры американского фильма в рассказе «Савкина» и во многих других рассказах, матрос в «Лешке», иноземные имена, вещички и картинки в рассказе «Конопатчиков» и т. д. Только в таких случайных осколках большой мир присутствует в малом. Почти всегда их связь с реальным, окружающим героя строем жизни совершенно нелепа, абсурдна, но тем вернее они возбуждают его бедное воображение. Вот, например, из какой реальной ситуации вдруг рождается в рассказе «Сорокина» образ иной жизни. Сорокина и Мильонщикова гуляют (все герои Добычина во всех рассказах гуляют — это форма существования). «Светился погребок. Пошатываясь, вылезли конторщики:

— Ваня, не падай.

— Кто это?

— Не знаю. Вылитая копия Дориана Грэя — как вы полагаете? Этого достаточно, чтобы героиня начала томиться по неведомому Ване, чтобы она пошла в библиотеку наконец и взяла книгу. «Дориан, Дориан», там и сям было напечатано в книге, «Дориан, Дориан».

Томительная скука, царящая здесь, подчеркивается обилием общественных, развлечений — концертов, спектаклей, танцев. Кажется, что вся жизнь проходит под музыку духового оркестра и дребезжание балалайки, рядом с каруселью и танцплощадкой. На каждое маломальское событие посреди этого перманентного карнавала сбегаются все — настолько велик эмоциональный голод, так бедно воображение: «Матрост! Со всех сторон сбегались. Плававшие вылезли. Валявшиеся на песке — вскочили» («Лешка»).

Но особое место среди развлечений отведено утопленникам, самоубийцам, похоронам, поминкам. «Стал слышен похоронный марш, и показались черные знамена. Сбегались» («Конопатчикова») — это типичная ситуация в рассказах Добычина. Мир, изображаемый им, зыбок, непрочен, его ветхая и редкая ткань постоянно рвется, почти каждый из героев писателя, подобно «исключенной за неустойчивость самоубийце Семкиной» из рассказа «Сиделка», — кандидат в самоубийцы. В более поздних вещах появляется еще один связанный с этим мотив: все новое, иноприродное не приживается здесь. Так, в начале рассказа «Портрет» «тень аэроплана пробежала по столам, и мы поговорили, сколько получают летчики», в середине — «кошка, глядя вверх, следила за аэропланами», а в конце «на улице Москвы толпились — ожидали похороны летчика». На фоне этого «аэропланного» пунктира идет любовный сюжет — лирическая героиня ищет «того, в кепке». Чем поразил он ее воображение? «В толкотне у двери он ощупывал меня». Несколько раз обманувшись, она наконец находит своего героя, но кончается все, как и началось, пошлым, циничным жестом. Однако уровень человеческого самосознания героини таков, что на оскорбление она реагирует довольно вяло: «Я удалялась величаво. Лев рычал. Пронзительно играя, похороны двигались, невидимые, за рекой». Круг замкнулся.

Конечно, рассказы Добычина — не сатира на послереволюционную действительность, на «гримасы нэша», как справедливо говорит в предисловии Виктор Ерофеев. Его захолустье, его провинция расползены не в пространственно-временных координатах, не в физическом, а в духовном пространстве. Доказательством тому может служить роман «Город Эн», где время действия отнесено к дореволюционной эпохе. Это ничего не меняет ни в стилистике повествования, ни в психологии персонажа. В ней просто ~~эти~~ ряд механически соеди-

ненных предметов меняется на другой. Никакой ценностной иерархии нет ни в рассказах, ни в романе. Зато и там и там есть тоска по дружбе, по любви, по человеческому общению. Сюжет романа «Город Эн» — поиски друга, цепочка складывающихся и распадающихся дружб. Характерно, что в детстве, прочитав «Мертвые души» (оттуда и взято название романа), герой обратил внимание только на то, что имеет отношение к пафосу его жизни, — на мечты Манилова о дружбе с Чичиковым.

Конечно, дружба и влюбленность у Добычина, как я уже говорил, искажены, они лишь мертвые формы того, что в нормальном человеческом обществе принято считать высокими чувствами. Они существуют как намерение, как настойчивый оклик из другого мира. Они единственный знак того, что и этот мир — человеческий.

Несколько отвлекаясь от конкретного факта выхода книги, можно, наверное, сказать, что проза Добычина в целом — одна из немногих на советской почве более или менее адекватных реакций на кризис гуманизма, начало которого совпало с эпохой войн и революций, с появлением на исторической арене масс и «массового человека». Гул крушения гуманизма услышал в 1919 году Александр Блок. В знаменитом одноименном докладе он попробовал осмыслить это событие с позиции трагического стоицизма: ренессансный человек, человек-личность и созданный им культура завершили свой исторический путь. Культура выродилась и омертвела, она превратилась из динамичного, творящего организма в панцирь цивилизации, сковавший темные, но творческие силы стихии. Революция — неизбежный взрыв стихии, освобождение ее и разрушительных и созидательных потенциалов, начало новой культуры, итогом которой будет «человек-артист».

Советская литература в ее массовом русле не ответила Блоку, она просто сняла его трагический пафос, двинувшись по пути рационального конструирования идеологических мифов, имевших к реальной судьбе человека в мире весьма приблизительное отношение; ее поэтому даже нельзя всерьез обвинить в антигуманизме.

Проза Добычина снимает пафос Блока совсем на другом, гораздо более насущном для нас сейчас уровне. К священным романтическим категориям Добычин подошел без всякого пиетета и разложил, в частности, «стихию» на составляющие, испытывав при этом глубочайшее сомнение в ее творческих потенциях. Исследовав психо-

логию «массового человека», пришедшего в мир в качестве основного деятеля, Добычин открыл себе и нам малоприятные для человеческого рода истины. Например, ту, что сознание «массового человека» организуется как бы извне. Чем больше разумных предметов (следов цивилизации) в поле зрения такого человека, тем он определеннее, тем больше у него шансов включиться в какую-то разумную связь с остальным миром, то есть в культуру. В отсутствии же цивилизации (или в условиях ее фрагментарного, бессвязного и бессмысленного присутствия, как в рассказах Добычина) «стихий» не способна ничего создать, и «новый человек» обречен на одиночество среди подобных себе таких же одиночек.

Добычин мучительно ищет в аморфной душе своих героев точку опоры, то зерно, из которого способна при каком-то ином устройстве мира произрасти культура. Единственное, что он находит, — тяга одного человека к другому. Его герои упорно и почти бессознательно стремятся реали-

зовать ее в формах, заданных книгой, кинематографом, случайной картинкой. В пределах изображенного мира эта энергия тратится вхолостую, она уходит в пустоту, и в этом смысле Добычин, конечно, пессимист. Но в каждом очередном рассказе он упрямо воспроизводит все тот же конфликт, еще и еще раз заводит свой сюжетный «двигатель» в какой-то детской надежде на то, что он все-таки куда-то что-то сдвинет...

Все это опыт, чрезвычайно важный для современной нашей литературы, совсем недавно вдруг обнаружившей у нас «массового человека» и весь сонм сопутствующих ему проблем. Уже есть писатели, которые задумались над этими проблемами всерьез, и они, конечно, не должны пройти мимо прозы Леонида Добычина. А она равно предостерегает и от романтического оптимизма, и от искушения окончательно отказать этому миру в осмысленности. Скепсис и надежда — вот два полюса исканий Добычина.

Александр АГЕЕВ.



АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИСПОВЕДЬ ЛИДИИ ГИНЗБУРГ

Лидия Гинзбург. Литература в поисках реальности. Л. «Советский писатель». 1987. 397 стр.

Лидия Гинзбург. Человек за письменным столом. Л. «Советский писатель». 1989. 607 стр.

Продуктивно искусство, которое стремится показать эстетическую возможность жизни, хотя бы и в обстановке катастроф XX века.

Л. Гинзбург.

Младшая современница и ученица таких классиков российской филологии новейшего времени, как Эйхенбаум, Тынянов, Шкловский, Лидия Яковлевна Гинзбург благодаря значительным цензурным послаблениям последних лет смогла опубликовать свои воспоминания и дневниковые записи 1920—1980 годов, ценное свидетельство о возможности мужественной, добросовестной и высокоинтеллектуальной деятельности в эпоху, казалось бы, не оставляющую человеку лазеек.

Вот как виделась реальность 20-х годов из эмиграции Бунину:

«У новых людей — повадки, манеры резки, грубы, особенно неприятна молодежь. Неравенство растет. Школы в неопишущем состоянии, университеты мертвы. Время хищничества, зависти, бессердечия к чужим страданиям. По всей России великое обнищание, острый недостаток обуви, одежды, медицинской помощи. Все разращены платой за шпионство — у одной московской чрезвычайки на службе 30 000 филеров». Бу-

нин прав в целом: происходила генетическая мутация, — но приближителен в мелочах: культурная, филологическая, научная работа в университетских кругах и культурных центрах в эти годы кипела и не уступала уровню мировому. «Нам казалось, — вспоминает Гинзбург 20-е годы в 80-е, — что мы начинающие деятели начинающегося отрезка культуры».

Чем же объясняется морально полноценная жизнь интеллигенции в 20-е годы — время симбиоза напманской пошлости и чекистских застенков — на фоне только что случившейся глобальной исторической катастрофы? Л. Я. Гинзбург указывает, что «культурная революция» начала XX века, дав новую эстетику и свежий взгляд на природу культуры, мало изменила, собственно, идеологию интеллигенции («Вехи» в этом смысле остались периферийным явлением). «Сочетание народнических, даже народофильских традиций с авангардизмом, модернизмом» приводило к тому, что «весь русский авангард заглядывал в революцию».

«Когда мы, поколение начала века, стояли еще на пороге событий, в наших умах царил гигантская путаница. Была она следствием скрещения двух эпохальных веяний — веяния революции, не затухавшего в России от Радищева до 17-го года, и веяния русского модернизма». (Эту психологическую модель превосходно иллюстрирует «Полутораглазый стрелец» Бенедикта Лифшица.) «Несогласие с существующим, — замечает Гинзбург, — было опытом всей русской культуры. Все мыслящие были против и в, так или иначе, — и славянофилы, и Достоевский, и Владимир Соловьев. Один Леонтьев был за. Поэтому он — со своим эстетизмом — в сущности очень нерусский».

Но есть против — и против. Есть против ради приведения реальности в соответствие со здравым смыслом и государственным принципом. И есть против разрушительное, террористическое, принципиально идеологическое... В силу последнего у воспитанной в Одессе в гимназической освободительной идеологии Гинзбург «в месяцы Февральской революции детский максимализм сработал естественно. Мимо презираемых кадетов, мимо Керенского... относилось все дальше влево».

Очевидно, это «влево» и позволило молодой энтузиастке, наращивавшей все 20-е годы свой культурный и научный потенциал с упорством, какое и мужчине не снилось, сделать — таки в 1930 году дневниковую запись, свидетельствующую о мировоззренческой сметке: «Время сообщило поколению уважение к душевному и физическому здоровью, к действию, приносящему результаты; интерес к общему; восприятие жизни в ее социальных разрезах... Предпринятая сейчас идеологизация труда содержит первостепенной важности условия для человеческого счастья». Рецидивы этого «влево» сказываются и в таких устойчивых словосочетаниях, как «самодержавно-полицейский режим», «свинцовые тучи реакции», «российские условия насилия и рабства» и другие клише, от которых не сумели избавиться ни Л. Я. Гинзбург, ни Ю. М. Лотман, ни многие другие выдающиеся филологические умы традиционной закалки.

И все-таки, несмотря на вышеупомянутые мировоззренческие издержки, добросовестность и здравомыслие уже в 20-е годы позволяли Гинзбург иначе, чем это предписывалось вульгарной социологией и таким мясником нашей истории как М. Покровский, смотреть на освободительные процессы прошлого века:

«Даже в тех случаях, когда русским политическим деятелям и мыслителям бывала

свойственна умеренность требований и целей, — они не знали умеренности средств и тона. Многие из декабристов желали не очень крутых политических изменений, но «умысел царубийства» их не ужасал (даже Артамон Муравьев вызывался совершить этот акт). То же и Герцен. Герцен в 50-х годах ожидал добра от правительства, готов был жить в худом мире и твердил в «Колоколе» о том, что царь одною мыслью об освобождении крестьян с землей поставил себя в ряду величайших деятелей человечества. Но каким тоном все это говорилось; как Герцен стоит лицом к лицу с Александром II: поощряет его, понукает, одобряет или страшит неудовольствием «образованного меньшинства».

Между прочим, Покровский утверждает, что народолюбцы были довольно умеренны в своих политических вождениях; «они считали нужным ориентироваться на поддержку передовой буржуазии и не хотели отпугивать ее внесением откровенно социалистических требований в свою программу. Очевидно, они считали, что видом взлетающим на воздух сановников русскую буржуазию не отпугнешь».

Лидия Гинзбург так определяет три «социально-психологических механизма», помогавших интеллектуалам адаптироваться к 20-м годам.

Во-первых, «прирожденная традиция русской революции, та первичная ценностная ориентация, на которую наслаивалось все последующее». Уже на что «Ахматова, казалось бы, от этого в стороне, — замечает Гинзбург, — но Ахматова с оттенком удовольствия рассказывала мне о том, что ее мать в молодости была знакома с народолюбцами... «Мама очень гордилась тем, что как-то дала Вере Фигнер какую-то свою кофточку — это нужно было для конспирации». <...> От самых неподходящих как будто людей протягивались связующие нити, и не к каким-нибудь там реформаторам, а прямо к бомбометателям».

Во-вторых, «желание жить и действовать со всеми его сознательными и бессознательными уловками. Тогда было много талантов и силы, и сила хотела проявляться». Позднее к этому прибавилась «завороженность» атмосферой 30-х годов. Эта замороженность заставляла, например, такого выдающегося ученого, как Б. М. Энгельгардт, именовать Сталина «всемирно-историческим гением», она же обусловила мироощущение мутации позднего Мандельштама, искреннее, по мере сил примирение с действительностью Пастернака и проч.

И наконец, третий «социально-психологи-

ческий механизм совместимости» — «чувство конца старого мира... Новый, ни на что прежнее не похожий мир... есть единственная непререкаемая данность, реальность, в которой нужно жить иначе, чем жили, чем живут сейчас за ее пределами». То есть советская реальность — навсегда; уяснив себе это, надо было продолжать жить дальше со всеми вытекающими отсюда последствиями.

...Лидия Гинзбург — мастер формулировок, описаний, лаконичных и выразительных до предела. Ее ориентированная на фрагмент проза, вмещающая разом несколько жанров — от обрывка услышанного разговора до философских пролегоменов, — проза повышенной концентрации, большого давления и — порою — «неслыханной простоты». Кажется, трудно, например, лучше и проще сказать о Чехове, чем «обронила» Гинзбург: «Чехова можно читать потому, что печаль жизни он изобразил именно ту, которую мы в себе несем».

Картина похорон Кузина навсегда останется в нашем сознании связанной с вечером того же дня, когда «у Пунина пили водку. Я припоминала, сбиваясь:

Как люблю я стены посеревшие
Белого зрительного зала,
Сукна на сцене серевшие,
Ревности жало...

Анна Андреевна сказала: этой ночью не мы одни читаем его стихи...

Больная, она не пошла на похороны. Это ее расстроило, потому что она терпеть не могла покойника <...>, и ей приятно было показать свое беспристрастие.

Она сказала:

— Николаша вас почему-то не видел.

— Я не дошла до кладбища.

— Николаша последние дни все время рычал. А сегодня пришел с кладбища в таком чудном настроении. Говорит, что чудные похороны: так, под дождем, хоронили французских импрессионистов.

— Да, да, — сказал оживленный Николай Николаевич, — почему вы не пошли на кладбище? Жаль. Все там подходило ко мне, спрашивали об Анне Андреевне У меня все время было такое чувство, что они еще что-то хотят мне сказать.

— Вероятно, — сказала Ахматова, — они хотели вам сказать: передайте А. А., что когда умрет — мы тоже придем на кладбище».

Вот так умеет организовать Гинзбург имевший место быть в реальности диалог — в прозу. Эта дневниковая запись сработана на века. Даже если Гинзбург записала

тот разговор по памяти сразу по возвращении домой, то есть с максимальной «синхронностью», элемент художественной обработки тут налично, и обработка эта, выявляющая интонационные переливы, превосходна.

Проза Л. Я. Гинзбург живет именно в тесном слиянии с прямою документальностью. Когда Гинзбург пытается «абстрагироваться», писать о неких Эн, Игрек, заведомо безымянном в качестве персонажа старике и т. А., тогда страницы ее повествования начинают с трудом читаться: слишком оно сконструировано, неорганично и неспонтанно. Зато щемяще точны ее наблюдения: «Белыми ногами прохожие выглядят неестественно. Днем у идущего по улице человека есть назначение; настоящей ночью у человека на улице есть особая свобода, облегченность движений, которая дается сознанием собственной невидимости, отдыхом от чужого взгляда. Белой ночью люди нецелесообразны и в то же время несвободны».

Гинзбург часто возвращается к своему атеизму, чувствуется, что это для нее достаточно драматично: «Мы — атеисты, — конечно, всю жизнь говорим о бессмыслице. Но это мы говорим, чувствуем же ее только припадками. А теперь (в старости.— Ю. К.) бессмыслица стала незатухающим переживанием, свинцовым психологическим фоном. <...> Моя тема: как человек определенного исторического склада подсчитывает свое достояние перед лицом небытия».

В сущности, «новые люди» 20-х годов (интеллектуалы, опоязовцы, технократы и другие) были в своем мироощущении рудиментарны по сравнению, скажем, с высланными из России в 1922-м Веяния религиозного ренессанса их не коснулись, церковь была вне их сознания (молящийся опоязовец, как и... «плачущий большевик», непредставим). Это были позитивисты, рабочим энтузиазмом, лафосом науки заменявшие духовную онтологию, подходившие к культуре технично (Л. Гинзбург без тени юмора записывает за Н. Тихоновым в 1925 году: «Я на Пастернаке загубил около двенадцати стихотворений. Потом понял, как это делается,— бросил»).

Тип этот получил впоследствии большое распространение — вплоть до структуралистов и культурологов наших дней. Работоспособность, преданность делу (служение культуре), научная добросовестность — вот положительные черты его. Обратная сторона медали тут: безразличие к моральной сути изучаемого предмета, отношение к

культуре, ж творческому продукту как к продукту игры, условности. Трагедия уступает иронии, идеологию заменяет релятивизм (тоже, кстати, своего рода идеология). Ноуменальное ежели и присутствует, то лишь в качестве пикантной приправы.

Конечно, Л. Я. Гинзбург слишком умна, глубока, талантлива, ее умение на протяжении лет поддерживать неослабную интеллектуальную форму слишком героично, чтобы она могла удовлетвориться этой дорогой. Ее слова об этической возможности жизни, вынесенные нами в эпиграф, свидетельствуют об этом. И все же...

С годами в своих вкусах Л. Я. Гинзбург все дальше уходит от футуристических пристрастий молодости. Впрочем, еще в 1929 году она записывает: «Я говорю сейчас... об опасности для писателей, которые не умеют оставлять вещи в покое, которых вещь мучает до тех пор, пока они не загонят ее в метафору. Это — опасность безответственных сравнений, фальшивых масштабов, кунсткамерности и остроумия».

Завышенная метафоричность — род литературного инфантилизма, всегда на грани с безвкусным. «Вещь в метафору» тогда загонял Олеша. Еще опаснее загонять в метафору идею, выдавая результат этого за притчу («романтические» поделки Горького и т. п.). Такого рода метафоричность — вечный соблазн авангардизма (например, театра абсурда), и надо обладать гением Кафки, чтобы выстроить на этом полноценное творчество.

...Жизнь Л. Я. Гинзбург пришлась на, в общем, иррациональное время. Тем пронзительнее и трогательнее, скажем, такая запись: «Понятие круговой поруки фактов для меня основное. Я охотно принимаю случай-

ные радости, но требую логики от поразивших меня бедствий. И логика утешает, как доброе слово».

«Мое поколение, — суммирует Гинзбург, — в молодости видело людей, служивших целям, которые были им дороже жизни, своей и чужой. Оно прошло потом через пустыню страха <...> и слепого желания выжить, которое обеспечивает спасительную непрерывность разрешаемых задач (какая глубокая, чисто гинзбургская мысль, как это нередко у нее бывает, вместившаяся в придаточный оборот! — Ю. К.). Потом мы посылно поучаствовали в ренессансе, а в 70-х годах дожили до общества потерянных целей».

...В 70-е годы члены «общества потерянных целей» собирались на московских и ленинградских кухнях и читали свое, обреченное лишь на «эзотерическое» звучание. И Л. Я. Гинзбург читала тогда в узком кругу свои записки и мемуары, конечно, не предполагая в достигаемом будущем увидеть их напечатанными.

Но вот проза ее обнародована благодаря тому, что вдруг исторический ход убыстрился — к неизвестной развязке. И если суждена будущему культура, то и наследию Л. Я. Гинзбург суждена долгая жизнь. О ее прозе можно сказать ее же словами, резюмирующими наследие Пруста: «Искусство — найденное время, борьба с небытием, с ужасом бесследности. Обретенная предметность, ибо всякий предмет — остановка во времени. Творческий дух одержал величайшую свою победу — остановил реку, в которую нельзя ступить дважды».

Ю. КУБААНОВСКИЙ

Мюнхен.



«В РОССИИ НАДО ЖИТЬ ДОЛГО»

В. Каверин. Эпилог. Мемуары. М. «Московский рабочий». 1989. 543 стр.

Литературная судьба Вениамина Каверина внешне как будто сложилась удачно: десятки книг, три собрания сочинений (последнее в восьми томах), Сталинская премия, кино- и телеэкранизации, титул «одного из основоположников советской литературы».

На самом деле все было далеко не так благополучно. Почти каждое произведение Каверина вплоть до середины 50-х годов было встречаемо разносной, грубой критикой — теперь в этом может убедиться всякий читатель, поглядев в заботливо подобранные автором «Приложения». Для героев

«Скандалиста», писалось в одной из статей, характерны «мещанский индивидуализм, идеология саботажа»; в повести «Художник неизвестен», утверждала другая, «Каверин выступает глашатаем этой буржуазной непримиримой, враждебной пролетариату идеологии». Отрицательные отзывы сопровождали даже «Двух капитанов»; шестнадцать ругательных рецензий собрала первая часть «Открытой книги».

Он предпринял большие усилия, чтобы не стать трагической фигурой, к чему имелись все основания, если принять во внимание его литературные взгляды и вкусы, те;

мы, окружение. В 1925 году, оставив своих любимых алхимиков, схоластов и средневековых монахов, он написал роман «Девять десятых судьбы», в котором изображалось взятие Зимнего дворца и говорилось о «звоне часов революции». Спустя пятьдесят лет, в «Эпизоде», он скажет: «Мой роман был прямой измной собственным убеждениями. В 1931 году, уже известным писателем, он выпустил книгу путевых рассказов «Пролог», описывающих будни зерносовхоза «Гигант», где пытался воспеть «смелый разбег, заставивший «стронуться» с места всю Россию». Воспеть опять не вышло — из-под красной шапки торчали уши. «Эпизод» рассказывает о том, как не состоялся «Пролог».

Он не перековался, но и не замолчал и не стал писать в стол. Он избрал четвертый вариант судьбы; в «Двух капитанах» ему удалось невозможное: работая с такими мифами эпохи, как покорение Арктики, советская наука, советская авиация, остаться в рамках нормальной этики.

Ничто не могло отбить у него всепоглощающего интереса и преданности литературе. «Писатели всецело заняты собой,— говорит он в последней своей прижизненной книге «Литератор»,— и никогда не думают об интересах литературы в целом. Это — черта сравнительно новая, крайне вредная и совершенно не свойственная русской литературе». Сам он не только в поте лица вспахивал свое поле — он постоянно думал именно о литературе в целом. Он был первым, кто (на Втором съезде писателей) заговорил о Булгакове; много лет он был занят наследием Л. Луца. Участвуя в пятилетней борьбе за книгу статей Тынянова (шедшей с «небывальным напряжением», сказано в «Эпизоде»), я увидел вблизи, сколько времени и сил в свои закатные годы Каверин тратил не на свою литературу — вернее, именно на свою, потому что всю русскую литературу он считал таковою.

Литературных мемуаров о советском периоде, то есть таких, где бы речь шла не только, употребляя странное, но привычное словосочетание, о политике в области литературы (завуалированно или открыто), но о восприятии самой словесности, движении ее жанров, языке, сюжете,— таких мемуаров у нас почти что нет. К писанию мемуаров такого рода Каверин был подготовлен всей своей биографией — питомца Петербургского университета, ученика академика Перетца, формалистов, с юнос и «начавшего лепетать на взыскательном языке Опояза» («Петроградский студент»). И он рано начал писать их. Подход был научный. Задумав очерк об Институте истории искусств

(1914—1929), Каверин списался с его основателем графом В. П. Зубовым, жившим тогда в Париже, разобрал записи институтских докладов и семинарских занятий, целые дни проводил в доме на Исаакиевской площади, где институт когда-то располагался. Начав писать о детстве, долгие часы просиживал в псковском архиве, листая дела своей гимназии.

Филологическая выучка, привычка смотреть на все глазами историка литературы, не раз объявлявшиеся главными недостатками каверинской прозы, оказались важными достоинствами при писании прозы мемуарной. В книгах его воспоминаний будущий автор исторической поэтики русской литературы XX века найдет ценные свидетельства современника, внимательно вглядывавшегося в самую ткань литературы, размышлявшего над ритмом и сюжетом «Записок чудака» Андрея Белого, сказом Зоценко, манерой Л. Добычина, писавшего об «оптике и геометрии» Ю. Олеши, о внутреннем монологе в современном романе. В «Эпизоде» этот чисто литературный взгляд есть. Например, в характеристике прозы Федина с ее «талантом воспроизведения, а не созидания», плохой композицией и стилистической бедностью. Или в оценке «Задалью — даль» Твардовского: «Это — компас, без которого не обойдется исследователь, задумавшийся над сознательным возвращением в русскую поэзию разговорного, обиденного, прозаического слова после триумфальных побед символизма и футуризма».

Однако в целом книга эта написана совсем под другим углом зрения. К ней скорее обратится не исследователь стилей и манер советской литературы, а тот, кто заинтересуется способами уничтожения разнообразия этих стилей и манер. Собственно литературные проблемы в ней сильно притеснены «соседним рядом», как сказали бы учителя Каверина,— историей отношений власти к писателям, а писателей к власти, той, что над ними, и к своей собственной над другими писателями.

«Заранее должен предупредить,— предвзывает свое повествование автор,— что эта книга написана в начале семидесятых годов», то есть в период так называемого «застоя!». Большинство других книг его воспоминаний написано в тот же период. В отличие от них «Эпизод» тогда издан не был и на издание не был рассчитан. Поэтому «Эпизод» — книга дописываемая. Того, о чем он так мало писал в предыдущих книгах воспоминаний. Автор откровенен: «Это умолчание было легко для меня. Литературные интересы всегда заслоняли от меня интересы полити-

ческие». Но «нельзя было оставить в забвении, темноте, в немоте» то страшное, о чем не было рассказано там, потому что обо многом «в наши дни уже никто, пожалуй, кроме меня, не сможет этого сделать». Эти слова сказаны в связи с Зощенко. О нем Каверин писал не раз. В «Эпилоге» наконец досказана вся его горестная судьба.

Еще в «Собеседнике» (1973) о Добычине глухо и кратко сказано, что он покончил с собой в 1936 году. В последней книге подробно рассказано о той организованной травле, которая к этому привела.

Комментируя (и цитируя) прежние свои писания о жизни Тынянова, автор разъясняет: «Здесь многое зашифровано, многое недосказано из боязни, что все равно будет срезано цензурой. Что значит «хлопоты за друзей»? Это значит хлопоты за арестованных друзей, за моего старшего брата Льва, за Ю. Г. Оксмана, за Н. А. Заболотского». Впервые рассказано о трудной семейной жизни Тынянова, о его попытке самоубийства.

Дописано и о Л. Лунце, хотя раньше, в «Освещенных окнах», радуется автор, «удалось рассказать о Лунце больше, чем можно было надеяться... Мне удалось воспользоваться коротким периодом «ослабления режима» в середине 60-х годов».

Автор нашел в себе силы все это дописать, а истории было угодно, чтобы это увидело свет.

Впервые без утайки рассказана история переписывания — порчи — своих книг и под давлением редакторов, и по подсказке «внутреннего редактора». Одним из первых советских писателей Каверин заговорил о «взвешенной лжи» и степени неправды в своих собственных произведениях. Хочется думать, что эти его строки со вниманием прочтут обожатели прошедшего времени.

Откровенные признания, нелестные автохарактеристики и такие же высказыванья о нем других можно найти и в прочих книгах его воспоминаний (в «Петроградском студенте», например, рассказывается, как Зошенко после одной из серапионовских суббот вынужден был сказать двадцатилетнему Каверину: «Нельзя лезть в литературу, толкаясь локтями»; а Шкловский положил в карман его пальто записку из одного слова: «Сволоченок»). В «Эпилоге» градус откровенности выше. Мы найдем здесь беспощадные к себе слова о том, что Тынянов спас его «от душевного распада, от компромиссов, от возможности «легкой карьеры» в литературе», признания в «рабском чувстве» при разговоре с работниками НКВД, рассказ о том, как он «храбро спрятался», не пойдя на слет, где клеймили

«Доктора Живаго», и многое другое. Трудно припомнить мемуары — современные, — где б автор наговорил о себе столько плохого.

Уже приходилось слышать, что «Эпилог» отменяет и заменяет прочие мемуарные работы Каверина. Это неверно главным образом потому, что хотя к «Эпилогу» автор обратился во всей зрелости ума и таланта, в целом его подцензурные воспоминания написаны с большим литературным блеском. Объяснить это можно, мне кажется, тем, что в «Эпилоге» Каверин столкнулся с чуждым его авторской личности материалом. Героев надо любить, говорил Булгаков; видимо, и изображаемую жизнь тоже надо любить. Все самое необычное, близкое, радостное, милое, все начала были описаны в других книгах Каверина, и лучшие страницы этой взяты оттуда, а лучшие новые — о тех же 20-х годах («Засада»). На долю этой остались концы.

Вместо странной, новой, стремительно меняющейся, перенасыщенной событиями, встречами, внезапными разлуками жизни, радостно очерчиваемой быстрым пером мастера острого сюжета, — конец тяжелых 30-х, неопределенные 50-е и неподвижно-предсказуемые 70-е.

Вместо эпизодов талантливого серапионовского братства — картины ожирения некогда стремительного автора «Баллады о синем пакете», измены Слонимского, раздвоения и предательства Фекина.

Легкая, всегда молодая манера Каверина-беллетриста была плохо приспособлена к описанию медленного убийства Зощенко.

Замечательным достижением прозы Каверина была счастливо найденная позиция и интонация рассказчика в «Двух капитанах» — детски-наивная, окрашенная как-то диккенсовским юмором и серьезная вместе. Лучшие страницы главного его мемуарного сочинения — трилогия «Освещенные окна» — написаны в этом ключе.

В «Эпилоге» изредка мелькнет прежний рассказчик с его неиссякаемой благородной наивностью, изумляющийся грубости постановления 1946 года, не привыкший к ней за десятки лет, или всерьез удивляющийся тому, что «у современных коммунистов редко можно встретить собственные убеждения». Но здесь нужен был повествователь другой, и он явился — умудренный жизнью моралист, отчасти даже философ и социолог. Успех не сопутствовал здесь Каверину. Пример не удавшегося реального воплощения этой моралистической позиции — глава о Шкловском «Я поднимаю руку и сдаюсь» (окрашенная к тому же сильным личным

чувством; но история их шестидесятилетних отношений — особая тема). Во многом автор прав. Шкловский, член боевой организации эсеров, человек невероятной храбрости, в 30-е годы действительно стал другим — он уже в 20-е годы становился другим, когда жил в чинном Берлине и сам удивлялся: «Езжу в трамваях и не хочу перевернуть их» («ZOO»). Он был единственным из опоязовцев, кто печатно каялся, и не раз (устно Виктор Борисович объяснял это тем, что у него были «большие хвосты»: эсэровское прошлое). И все же.

У Чехова в письмах говорится, что один из сыновей Ноя заметил только то, что Ной был пьяница. А Ной был гениален, он построил ковчег. В книге Каверина утрачено ощущение масштаба фигуры Шкловского, который, думаю, был одной из заметнейших личностей нашего столетия. Сдача Шкловского не была прямой сдачей и отречением. В его поздних книгах читатель найдет многое из прежних опоязовских идей, главные из которых он никогда не считал научной ошибкой. Гораздо более точные слова о Шкловском принадлежат самому Каверину в книге, написанной на десять лет позже «Эпилога». В ней Каверин написал о своем старом учителе, что он жил, «многократно изменяясь и оставаясь самим собой, вводя в литературу новые понятия и зачеркивая старые, двигаясь вперед вместе с историей нашей культуры, сдаваясь, когда не было ни малейшей возможности обороняться, и снова нападая, когда возможность или видимость этой возможности вновь появлялась» («Литератур». М. 1988).

Морализаторский налет ощущается и в оценках книги Солженицына «Бодался теленок с дубом» как «нескромной», где автор «сосредоточился на себе самом».

В книге «Здравствуй, брат. Писать очень трудно» Каверин вспомнит: «Когда-то, в начале тридцатых годов, мне казалось, что для того, чтобы изобразить то необычное время, в которое мы живем, и изобразить так, чтобы читатель понял и принял книгу, нужно отказаться от задач чисто литературных». В «Эпилоге» снова главной станет не литературная, а свидетельская задача, слово свидетеля и необыкновенного труженика литературы, несмотря ни на что, написавшего в послесловии к этой книге о любви людей, «понимающих друг друга с полуслова (подчас незнакомых), вкладывающих глубокий разносторонний смысл в понятие «порядочность», которая исключает предательство и подлость», о «потаенной нити, незримо связывающей тех, кто действует в подлинной, немакетной литературе».

Каверин любил это рассказывать и повторил в «Эпилоге»: «Когда я бывал у Корнея Ивановича Чуковского в Переделкине, он не провожал меня до выходных дверей (надо было спускаться по лестнице), а выходил на балкон, провозглашая с неизменным, поучительным выражением: „В России надо жить долго. Долго!“».

Он жил долго. Он дождал и рассказал то, о чем мог и хотел рассказать он, Вениамин Александрович Каверин, последний Серапимон.

А. ЧУДАКОВ.

*

Политика и наука

РЯД МОЗАИЧНЫЙ И ПРЕРЫВИСТЫЙ...

Московский университет в воспоминаниях современников (1755—1917). М. «Современник». 1989. 735 стр.

Вспомним «Скучную историю», один из самых печальных чеховских рассказов: голос разочарованного во всем профессора Николая Степановича приобретает неожиданно теплые интонации и даже благоговейность всякий раз, когда он говорит о своих студентах и об университете. Сентиментальность старого ученого? Тот же Чехов записал легенду о Фете, который якобы не мог проехать мимо университета без того, чтобы не плюнуть в его сторону. Странная причуда поэта? Недоумения вызваны скорее всего тем, что мы утратили непосредственную связь с этим не таким уж дав-

ним временем. Нас часто обманывает одноименность реалий и институций прошлого века и нашего: «литература», «интеллигенция», «суд», «цензура»... Вот и университет — чем он был в прошлом веке?

Сборник воспоминаний, пожалуй, дает все необходимое для ответа. Составитель выбрал правильный путь, смешав и официальные документы, и частные письма, и случайные заметки, и обстоятельные мемуары. Среди свидетелей университетской истории и гордость национальной культуры (А. И. Герцен, И. А. Гончаров, К. С. Аксаков, В. О. Ключевский, А. А. Фет, Я. П. По-

лонский, С. М. Соловьев...), и люди практически безвестные. Равное внимание к го- лосам «больших» и «малых» и делает сбор- ник многоцветной картиной жизни образо- ванной Москвы. Философские и политиче- ские рассуждения, литературные пассажи, выразительные портретные зарисовки, дра- гоценные мелочи, много говорящие о быте и нравах старой России,— все это не толь- ко утоляет жажду любителя истории, но и складывается в нечто целое, сообщающее читателю гораздо больше, чем просто сово- купность документальных фрагментов. На- пример, выстраивается ряд основных исто- рических событий в биографии Московско- го университета, ряд мозаичный и прерыви- стый, но зато без унылой псевдообъектив- ности. Возникают общие контуры универ- ситетской научной жизни (здесь особенно повезло исторической науке, о которой рас- сказывает значительная часть воспомина- ний).

Конечно, есть за что упрекнуть состави- теля. Ю. Н. Емельянов безусловно прав, от- казываясь от погони за полнотой и выбирая, по его словам, принцип яркости свиде- тельств, но все же общий тон сборника мог бы быть менее юбилейным. История Мос- ковского университета драматична, полна вы- вихов и изломов (что отражено в помещен- ных здесь воспоминаниях как бы между прочим). Сейчас, когда хочется восстановить в памяти все, что сделало нашу историю, по выражению Чаадаева, «важным уроком для отдаленных поколений», этот исторический опыт, может быть, нужнее, чем перечень триумфов университетской науки. Бедно представлены в сборнике предреволюцион- ные десятилетия, так что последняя хроно- логическая граница — 1917 — оказывается чистой условностью. Вряд ли можно обви- нить составителя в недооценке этого пери- ода. Основная часть книги демонстрирует историческую интуицию Ю. Н. Емельянова. Скорее всего он решил облегчить себе за- дачу, лишь обозначив эту невероятно насы- щенную событиями и идеями эпоху.

«Оптимизм» сборника во многом объяс- няется тем, что едва ли не половина его объема отдана воспоминаниям о 40-х годах прошлого века, когда университет пережи- вал духовный расцвет. Вот что пишет И. А. Гончаров: «Наш университет в Моск- ве был святилищем не для одних нас, уча- щихся, но и для их семейств и для всего общества. Образование, вынесенное из университета, пенилось выше всякого дру- гого. Москва гордилась своим университе- том, любила студентов, как будущих самых полезных, может быть громких, блестящих деятелей общества. Студенты гордились

своим званием и дорожили занятиями, ви- дя общую к себе симпатию и уважение... Эти симпатии вливали много тепла и света в жизнь университетского юношества... Свободный выбор науки, требующий созна- тельного взгляда на свое влечение к той или другой отрасли знания, и зарождающе- еся из того определение своего будущего призвания — все это захватывало не толь- ко ум, но и всю молодую душу».

Неужели перед нами николаевская Рос- сия? Действительно, и подъем националь- ного самосознания, и активная интеллекту- альная жизнь московских кружков, и осо- бая атмосфера становления великой лите- ратуры — все это способствовало процве- танию университета. «И слава богу: умное было начальство»,— добавим словами И. А. Гончарова, к которым присоединяют- ся и многие другие мемуаристы. С. С. Ува- ров, министр народного просвещения с 1833 по 1849 год, сумел, искусно маневрируя, создать в Московском университете остро- вок относительно духовной независимости. И хотя комментарий к сборнику ставит на место восторженных мемуаристов, напоми- ная, что Уваров был автором реакционного курса «официальной народности», прихо- дится признать, что уваровское министер- ство было, возможно, самым мудрым пок- ровителем университета за всю его историю. Вот еще одно свидетельство: «В то время, когда я вступил в Московский университет, он находился в самой цветущей поре свое- го существования. Все окружающие его ус- ловия, и наверху и внизу, сложились в та- ком счастливом сочетании, как никогда в России не бывало прежде и как, может быть, никогда уже не будет впоследствии... Стремление к знанию, одушевление мыслью носились в воздухе, которым мы дышали. Самые порядки, господствовавшие в уни- верситете, были таковы, что нам жилось в нем хорошо и приятно. Это действительно была *alma mater*, о которой нельзя вспомнить без теплой сердечной призна- тельности... Московский университет сде- лался центром всего умственного движения в России. Это был яркий свет, распростра- нявший лучи свои повсюду, на который обра- щены были все взоры». Это слова Б. Н. Чи- черина, одного из умнейших людей своего времени, наследника традиций Грановского.

Как ни парадоксально, светлые времена университета закончились тогда, когда об- щество в целом вступило в эпоху освободительных реформ. Великий замысел Ломо- носова и Шувалова, усилия дипломатичного Уварова — все это не выдержало натиска инертной русской реальности, с одной сто- роны, и революционной стихии — с другой.

Крупные университетские деятели позднейшего времени уже не могли противостоять этим силам: Б. Н. Чичерин был вынужден покинуть университет в знак этического протеста, С. Н. Трубецкой до последнего дня вел изнурительную борьбу за свободу университета... Ширинский-Шихматов, сменивший Уварова на посту министра, запретил философию, произнес знаменитую фразу: «Польза философии не доказана, а вред от нее возможен». Если кому-то его тезис покажется курьезом, пусть вспомнит, что принцип этот действует и по сей день, если только не считать философией то «безвредное», что преподается с наших официальных кафедр.

И все же идея университета как духовного центра общества, отделившись как-то образом от своей социальной плоти, оставалась живой еще долгое время (и хочется надеяться, что может ожить снова). Не этим ли объясняется тот внешне ничем не детерминированный расцвет научно-педагогической деятельности вокруг группы московских и петербургских профессоров, который спровоцировал их выссылку в 1922 году? Ведь их новой аудиторией была разбуженная революцией молодежь «из народа», которая не торопилась сделать выбор и искала истину вне идеологических понуканий. Принцип «всесловности», заложенный еще Ломоносовым, проявился здесь стихийно, но не без связи с традицией, закрепленной в лучшие годы университета.

Сейчас нам нужны определенные усилия, чтобы понять, чем университет отличается от других «учреждений», чем он может стать и чем должен быть в обществе. XX век стал для самой идеи университета веком испытания (не только в нашей стране), и многие аксиомы Просвещения не кажутся теперь столь уж безусловными. Пожалуй, университет выдержал это испытание. Он показал, что может стать уникальным духовным социумом, где занятия наукой сочетаются с обучением молодежи, где различные науки находят «модус вивенди», трудно достижимый в чисто теоретических формах, где замкнутость корпорации не противоречит открытости миру и времени, где, наконец, община учителей и учеников самим своим существованием становится моральной и тем самым политической силой, облагораживающей общество. Разумеется, речь идет об идеальной модели, но именно она оказывается иногда более реальной силой, чем иная прочно коренящаяся в обыденной почве действительность. Это находит подтверждение в книге.

Кажется, современное общество в известной мере подготовлено к возрождению

идеи университета. Мы легко соглашаемся с тем, что фундаментальные исследования в конечном счете оказываются выгодней чисто прикладных; что, говоря словами Ф. Бэкона, светоносность эффективнее плодоносности. Мы понимаем, что узкая специализация грозит не только научными, но и моральными, если не антропологическими, утратами. Попытки гуманитаризации высшего образования и (весьма редкие) попытки ликвидации естественнонаучной безграмотности гуманитариев, предпринимаемые сейчас, говорят о созревшем ощущении неполноценности «подготовки специалистов». Уже почти реабилитировано слово «элита», и мы начинаем понимать, что демократии противоречит кастовость, а не элитарность (более того: элита нужна именно демократии, потому что априорные привилегии несовместимы с ней, а свободный отбор требуемых и культивируемых качеств ей необходим). Однако многие ценности университетской культуры по-прежнему встречают какое-то сопротивление в нашем сознании.

Конечно, Московский университет XIX века не был ни «храмом науки», ни «республикой ученых». В этом отношении ему далеко до средневековых университетов XIII века. Постоянное вмешательство властей, тотальная слежка, жесткий контроль цензуры, консервативность и невысокий культурный уровень значительной части профессуры, интриганство... Все эти следствия внутренней и внешней несвободы были присущи университетской жизни; да и не могли застарелые болезни русского общества миновать университет. Тот список сияющих имен ученых, который университет мог бы предъявить в свое оправдание, появился скорее вопреки, чем благодаря. Но при всем этом наличествовала, так сказать, субстанция университета. Сущность была извращена, но она по крайней мере существовала. Нам же приходится восстанавливать саму идею университета как особой формы духовного бытия, и вряд ли здесь стоит надеяться на быстрые успехи.

Потребуется труд, опыт и время для того, чтобы понять необходимость автономии университета. Ведь он не может иначе выполнять свое предназначение — искать новое, а не перерабатывать заранее известное. Автономные университеты так же необходимы современному обществу, как независимые монастыри были нужны для духовного здоровья средневекового общества. Не скоро будет ясно осознано и то, что свободо-мыслие, этот драгоценный плод человеческой истории, нужно не подавлять, а культивировать, ибо оно не угрожает обществу,

а защищает его от одержимости абстракциями и от рабской тупости, и что студенческая община — самый благодатный предмет для таких забот. Основательно забыто то, что было известно еще авторам древних Упанишад: знание есть результат индивидуального общения учителя и ученика, а не безличной передачи информации, и, следовательно, не надо жалеть сил и времени на подлинные формы обучения. Такие явно враждебные духу высшей школы принципы, как изоляция от Запада, поощрение политической пассивности и покорности, формальная и содержательная унификация мышления, вот-вот уйдут в прошлое. Но еще не осознано (и едва ли скоро будет осознано) особое призвание университета к сохранению чистоты незаинтересованного теоретического взгляда на мир. Где как не

в университете воспитывать эту столь же моральную, сколь и научную способность отличать идеи от идеологии, беспристрастность от безразличия, полемику от перепалки?

Как знать — может быть, сборник воспоминаний об университете окажется в этом смысле полезнее и важнее, чем педантично написанная его история? В слове «воспоминание» есть что-то говорящее о незаключенности, о продолжении жизни в памяти, окрашенной личным отношением к былому. Читая эти мемуары, многие, наверное, приобретут немного эпического спокойствия или, что то же самое, почувствуют себя менее одинокими.

Александр ДОБРОХОТОВ,
кандидат философских наук.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Публикация в прошлом году на страницах нашего журнала в рубрике «Из редакционной почты» эссе В. Н. Тростникова «Научна ли «научная картина мира»?» («Новый мир», 1989, № 12) вызвала многочисленные отклики читателей. Притом спектр читательских оценок этого материала, содержащихся в нем идеей оказался весьма широким: от однозначного и даже восторженного приятия позиции автора до столь же однозначного резко негативного к ней отношения. Думается, это закономерно, поскольку проблемы места науки в современном обществе, ее взаимоотношений с духовным миром человека, затронутые В. Н. Тростниковым, уже сами по себе достаточно сложны и неоднозначны.

Ознакомив В. Н. Тростникова с большинством читательских отзывов, мы выбрали для настоящей публикации несколько писем, представляющих, на наш взгляд, наиболее конструктивную часть почты. Их авторы, в чем-то не соглашаясь с В. Тростниковым, полемизируя с ним, дополняя, корректируя и даже оспаривая многие высказанные им положения, тем не менее поддерживают его попытку пересмотреть некоторые фундаментальные мировоззренческие постулаты, на которых долгое время основывалась «научная картина мира».

КРАЙНОСТИ СХОДЯТСЯ

Огромное спасибо Вам, Виктор Николаевич, и «Новому миру» за начало разговора об основных вопросах философии.

Вопрос о том, научна ли «научная картина мира», едва ли не самый малозаметный в нашем бурно спорящем обществе, а ведь без его решения почти бесполезно спорить обо всем остальном, ибо это остальное мыслится основанным на науке. Вы обратили внимание на то, что под единой вывеской «наука» разместились два совершенно разных «предприятия» — исследование и мировоззрение, причем последнее сконструировано путем профанации первого. Множество бед и преступлений творится поэтому от имени науки, которая при этом далеко не всегда виновна. Сам факт Вашего почтенного замечания, но, увы, реализован он так, что его результаты, боюсь, оттолкнут от Вашей исходной идеи многих читателей. Дело в том, что под вывеской «мировоззрение» Вы тоже разместили два разных «предприятия» и, имея в виду одно, то и дело критикуете другое, поэтому ваши выводы остались во многом голословными.

Справедливо выявив три «философские презумпции» науки, давшие основание научному мировоззрению — редукционизм, эволюционизм и рационализм, — Вы столь же справедливо заметили, что их перенос в философскую литературу, как правило, производят не ученые, а идеологи, причем на уровне научно-популярных книг. Казалось бы, признав это, Вы должны были свое собственное построение сделать иначе — на других «презумпциях» и на другом уровне, — но в целом этого не получилось. Во-первых, Ваше построение основано на самом крайнем редукционизме («Все законы природы суть не что иное, как уравнения Шредингера» и т. п.); во-вторых, оно основано на расхожем знании («Наш кинолог А. Т. Войлочников догадался сделать то, что прежде никто не делал», — пишете Вы, излагая вопрос, еще при Дарвине широко обсуждавшийся как «проблема гибридов» и т. п.); в-третьих и в главных, мировоззрение Вы трактуете только как нечто навязываемое идеологами массам, тогда как есть еще мировоззрение самих ученых-исследователей, неявно играющее в Ваших рассуждениях главную роль (в частности, именно исследователи, а не идеологи замалчивают проблему гибридов, замалчивают еще с тех пор, когда идеология была в обществе совсем другая).

Будучи историком науки, я несколько покоробен той легкостью, с какой Вы распространили свои «презумпции» на оси времени: «Редукционизм был подсказан ньютоновской физикой», «Эволюционизм был подсказан космогонической теорией Лапласа», «Рационализм был подсказан программой создания универсального алгоритма вычисления истины Лейбница». В действительности все это много старше. и все три «презумпции» легко усмотреть у Декарта. Важно это потому, что критикуемое Вами мировоз-

зрение вовсе не набор отдельных «презумпций», оно целостно и вошло в науку с Декартом, то есть с середины XVII века, за полтораста лет до Лапласа. Оно не противоречит религиозному взгляду на мир, но являет собой почти забытый читающей массой вид религиозного миропонимания — деизм (он утверждает, что Бог задал законы природы и не вмешивается в их реализацию). Наоборот, монады Лейбница (которые Вами сближаются с пси-функциями квантовой физики) предполагают Бога активного, управляющего, то есть предполагают теизм, приближаясь к его разновидности — пантеизму (где Бог растворен в природе). Пантеизм достаточно далек от защищаемого Вами канонического христианства, и Вы должны были это сказать, чтобы не вводить читателей в заблуждение: ведь современный натуралист часто бывает вполне согласен принять пантеизм, если ему объяснить, что это такое. Наоборот, традиционное христианство он вряд ли примет легко...

Впрочем, главная Ваша цель, по-видимому, не миссионерская, а скорее гностическая: Вы довольно прямо провели ту мысль, что нынешний научный прогресс открыл новые пути к богопознанию. Она обычна у западных богословов, но Вы, как мне представляется, обосновали не ее, а свою уверенность в неизбежности этики Откровения. Спорить на эти темы бессмысленно, но вряд ли стоит выдавать свою априорную уверенность за нечто доказанное опытом. Ведь как раз для критикуемого Вами дарвинизма самое характерное — выдавать априорную убежденность во всемогуществе отбора случайных вариаций за установленный исследователями феномен.

Потратив в свое время много сил на целенаправленное изучение специальной литературы, я смог убедиться, что все примеры фактического обоснования идеи отбора построены на подмене понятий: фактически описывается либо приспособленность, но без увязки с предшествующим отбором, либо становление нового свойства, но без увязки с приспособленностью, либо отбор готовой конструкции, но без всякой связи с ее становлением. Соединение этих трех описаний в единую теоретическую схему проводится всегда на основе убежденности, носящей идеологический характер (на это постоянно указывал замечательный биолог-теоретик А. А. Любищев, 1890—1972). Это была идеология самих биологов, которую идеологи-профессионалы лишь взяли на вооружение. Вы правы, говоря, что дарвинизм был отвергнут крупнейшими биологами времен Дарвина, но не правы, полагая, что «чем меньше человек разбирается в биологии, тем тверже он верит в дарвинизм», — нет, сто лет (примерно с 1880 по 1980 год) в него верили почти все биологи. Последствия этой веры, распространившейся на все общество, были чудовищны — апофеоз классовой борьбы, борьба с природой, расизм. В СССР добавилась еще и лысенковщина — самый уродливый вариант дарвинизма. Нынешние дискуссии умалчивают, что в знаменитой августовской сессии ВАСХНИЛ 1948 года по обе стороны сражались дарвинисты, поскольку всем прочим заткнули рты много раньше — либо они погибли (Н. И. Вавилов), либо писали в стол (А. А. Любищев), либо ушли из биологии (Л. С. Берг). Дарвинизм был единственным языком эпохи во всем мире (даже, пусть и не столь четко, во Франции, где силен ламаркизм). Лишь самым ярким умам удавалось встать выше языка эпохи (Любищев, П.-П. Грассэ) или выражать ламаркистские взгляды в терминах дарвинизма (И. И. Шмальгаузен).

Сейчас идеологическая суть дарвинизма стала ясной для многих, если не для большинства, но произошло это, по-моему, вовсе не в силу лучшего «знания материала», чем в прошлом веке, как пишете Вы. Среди приведенных Вами «новых» аргументов нет ни одного, который не обсуждался бы во времена Дарвина. Изменилась как раз идеология: глобальный кризис исподволь привел к осознанию невозможности борьбы как средства развития. Идеологи и натуралисты повсеместно берут на вооружение идею сотрудничества в качестве исходной, а это делает постулаты дарвинизма (борьбу за существование и отбор) непривлекательными. Тут только и становится очевидной та идеологическая основа, которую сто лет считали объективной истиной, выведенной из фактов.

Вы используете термин «эволюционизм» для обозначения дарвинизма, хоть и даете сноску, что есть еще другой эволюционизм, Берга — Тейяра. Стоит ли говорить, что в серьезной дискуссии так не делается и что сноска тут не спасет: во-первых, эволюционизм со времен Берга и Тейяра далеко ушел, а во-вторых, подменив термин, Вы смешали и понятия. Вы отвергаете идею эволюции как таковую (для Вас нелепы фразы «Закономерное восхождение от дикости к цивилизации» и «Человек произошел от обезьяны»), тогда как Ваша ниспровергающая аргументация касается лишь дарвинизма. Вот если бы Вам удалось разбить эволюционизм Вавилова — Любищева — Мейена...

Кстати, у С. В. Мейена (1935—1987) есть работа «Проблема редукционизма в биологии»¹; где и редукционизм предстает вовсе не таким мальчиком для порки, как у Вас (хотя сам Мейен был противником редукционизма). По Мейену, всякое познание включает редукцию как рабочий метод и поэтому возникновение редукционизма во всякой науке вполне понятно; но оно обязательно ведет к большим просчетам, если редукционизм претендует быть универсальным методом познания.

Именно такой просчет, по-моему, и совершаете Вы, заменяя редукционизм Ньютоновой физики на редукционизм квантовый. Волновое уравнение Шредингера хорошо описало атом водорода, но для тяжелых атомов и для молекул потребовались уже приближенные методы, а в физике ядра квантовые числа вообще не удается рассматривать в форме собственных чисел волновых операторов. Идеология пси-функций вовсе не столь всеобъемлюща, как Вы пишете, даже в физике. Что же касается биологии, то тут кванты полезны скорее как воляная метафора. Примерно так же биологам XVIII века были полезны тогдашние представления о гравитации и электричестве — они помогли тогда хоть как-то организовать разрозненный физиологический материал, а позже уступили место собственно физиологическим постулатам.

Так называемые точные науки приводят вовсе не к точному и достоверному знанию, а лишь к моделям. Казалось бы, этот вывод методологов должен быть симпатичен Вам как религиозному философу с математическим образованием, но Вы, наоборот, сочли за достоверное знание такие же неограниченные экстраполяции, какие характерны для отвергаемой Вами «научной картины мира». Как обычно, крайности смыкаются, и мне остается вспомнить, что в архиве Любищева осталась работа «О сходстве селекционистов и богословов». И селекционизм (то есть дарвинизм) и догматическая религия являются идеологиями, что позволило Любищеву провести между ними ряд параллелей: и тут и там отсутствует поиск истины, подменяемый нескончаемым потоком доводов в пользу собственной веры, и тут и там доводы за трактуются расширительно, а доводы против едва упоминаются как «давно известные» или просто умалчиваются. Такое сходство вполне естественно, если вспомнить, что в начале века, когда формировалась нынешняя идеология дарвинизма, имел место кризис теории познания (гносеологии) и Н. А. Бердяев писал в книге «Философия свободы»: «Современная отвлеченная гносеологическая философия и есть секуляризованное схоластическое богословие... Новейшая гносеология есть, в сущности, схоластическая апологетика — апологетика науки». Но теперь, через восемьдесят лет, все мы знаем, что для освобождения от догматических пут мало поменять местами положительные и отрицательные оценки. Нужно освобождать сами познавательные установки.

Увы, Ваши познавательные установки отличаются от критикуемых Вами в основном сменой плюсов и минусов. Вы уверены, что написав «чем обширнее фрагмент Вселенной, тем истиннее его пси-функция», Вы предъявили читателям «чистейший принцип антиредукционизма»; что из одного частного факта об изотопах серы следует истинность акта творения²; что прояснение разницы между доказательством-проверкой и доказательством-выводом (круг идей Гёделя) открывает «абсурдность рационализма» и т. д. Перечитайте это спустя год по написанию — и, надеюсь, Вы сами увидите, что дали не аргументацию, а лишь эмоциональную оценку неприятного Вам (и мне тоже) мировоззрения, дали ее с позиций рационального редукционизма, не многим лучшего, чем критикуемый Вами. Что поделать, совсем отделаться от эмоций не удастся никому, но изумляешься, прочтя в конце у Вас: «К истине надо идти не только разумом и чувством, но и жизнью». Позвольте, Вы перед этим громили только три «презумпции» разума, убеждены же, что покончили с редукционизмом, эволюционизмом, рационализмом и примкнувшим к ним чувством.

Если не разум и не чувство, то что же тогда ведет к познанию? Религиозный опыт, полагаете Вы и утверждаете это так, будто до Вас этого уже не заявляли многие. В частности, так же писал в упомянутой «Философии свободы» молодой Бердяев, ссылавшийся на Киреевского и Хомякова, но он был последовательнее Вас, ибо не пытал-

¹ В сб.: «Диалектика развития в природе и научном познании». М. ИНИОН. 1978. Там же моя статья «Новое в проблеме факторов эволюции организмов».

² Вы пишете: «...анализ изотопного состава древней серы подтвердил, что общая масса всех живых существ Земли миллиарды лет тому назад была точно такой же, как и сегодня. Это значит, что живая природа возникла сразу во всем своем объеме и многообразии, ибо иначе она не могла бы выжить». Что же показали изотопы — постоянство массы, постоянство разнообразия или постоянство аргументации антидарвинистов? Замечу, кстати, что анализ ископаемого углерода показал резкое колебание массы биосферы,

ся выдать свое убеждение за научно доказанную теорию. Он прямо отрицал связь научного и религиозного: «Для познания научного я утверждаю прагматический позитивизм, для познания высшего — мистический реализм, для критической гносеологии (для традиции Канта.— Ю. Ч.) — этой дурной метафизики — не остается места». За гносеологией он признавал лишь «функции лакейские и полицейские», а потому считал себя вправе «не драться на дуэли с чинами полиции», то есть отказаться от всякой аргументации. Что объединяло его с Вами, так это агрессивность тона: «Скептицизм, рефлексия, вечная оглядка на себя да будут признаны позорными и волею к новой организационной эпохе да будут вытеснены с лица земли». И все потому, что Кант выражал для него позицию чуждой конфессии, «неизбежный момент развития протестантизма».

К чему привели подобные религиозные распри, мы слишком хорошо знаем — не к религиозному просветлению, а к партийным философиям, каждая из которых претендовала на единospасающую доктрину и помыслить не могла на темы «вправе ли я?», «откуда я это знаю?», то есть на темы рефлексии. Словечки «уклон», «буржуазный», «лакейский», «полицейский», «противозаконная деятельность», «тащит в участок», «паразит» и т. п., рассыпанные в книге Бердяева, были тогда в ходу у разных партий и вскоре стали политическим лексиконом, этической нормой. Пафос Бердяева — подчинить логику вере и счесть это свободой — был на восемьдесят лет усвоен его политическими противниками и во многом способствовал зарождению того, что сам же он в 1924 году назвал новым средневековьем.

Сейчас этическая обстановка иная: общество все больше задумывается над тем, как оно дошло до всеобщей ненависти, где оно оказалось не право, то есть общество рефлексивует. Отрицающий всякую рефлексию прагматический позитивизм, породивший весь тот спектр учений, что связаны с дарвинизмом, вновь уступает место Канту. Ученые самых разных специальностей поняли, что круг идей Гёделя ставит крест на дедуктивизме (прегндовавшем вывести все истины из аксиом), но, кажется, никому, кроме Вас, в голову не пришло, смешав дедуктивизм и рационализм, отказаться от логики вообще. «...ролью строгой логики в деле познания можно просто пренебречь», — пишете Вы и тем вынуждаете задать не очень вожливым вопросом: что это за «нестрогая» логика, роль которой в познании Вы пренебречь не согласны, — женская, диалектическая или еще какая-нибудь?

Если отбросить шутки, то речь, по-видимому, должна здесь идти об индуктивной логике, о логике обобщения. Что и говорить, способность ума к обобщению загадочна и действительно связана с той «актуальной бесконечностью», о которой чуть упомянули Вы (ничего, впрочем, нам не объяснив, да, вероятно, и не ставя себе этой цели). Существующая сейчас в англоязычной логической школе тенденция сблизать индуктивную логику с логикой вероятностных предсказаний действительно ведет к апофеозу нестрогих рассуждений и нечетких высказываний, но как раз эта «логика» пока что не дала для познания почти ничего и полезна, по-моему, лишь как метафора, как первое приближение к проблеме. Вторым приближением мне представляется разграничение функций формальной логики (доказательство истинности или ложности утверждения, каким-то путем найденного, то есть доказательство-проверка) и индуктивной логики (обобщение частных примеров в общее утверждение, которое затем предстоит проверять на истинность). В последнем случае значительную роль играют аналогии, одну из которых привела и Вы, сопоставив математическую бесконечность с «бесконечно мудрым Словом».

Я вполне согласен с Вами, что полноту наследственной информации исследователь скорее сможет познать «путем мистического с ней соединения», чем «путем освоения ее своим сознанием», но не надо этот будущий (и лишь предполагаемый) успех биолога объявлять уже свершившимся. Здесь еще предстоит огромная работа ума и духа.

Разумеется, как религиозный человек Вы можете сказать, что главное — не познать, а приобщиться, но приобщение к иудейско-христианской идее господства человека над природой явно не спасет нас от глобального кризиса, а именно от него надо сейчас искать спасения. Ваша оптимистическая уверенность, что наука стала «медленно, но верно возвращаться к тому миропониманию, которое когда-то было дано человечеству через Откровение», имеет большой и благородный смысл, но там, где роль науки минимальна (семья, благотворительность и т. п.). Если же говорить не о личном спасении души, а о спасении Земли и людей на ней, то остается искать рациональные пути

и руководствоваться другой (тоже древней) идеей: новое время — новые песни. Папа римский, недавно посетивший до предела перенаселенную Африку и призвавший ее жителей отказаться от противозачаточных средств, вызвал этим лишь улыбки сожаления. Ведь его «вечные истины» были сформулированы тогда, когда детская смертность была в 20 раз выше нынешней, а население Земли было в 10 раз ниже нынешнего и почти не росло. Волей или неволей, с религией или без нее, но ограничивать численность населения приходится теперь всюду.

Вы правы, надо помнить старые идеалы, надо возвращаться к ним, отказываясь от трагических ошибок наших дедов. Одна из них — поспрание иных воззрений. А ведь Ваши нападки на рационализм (который Вы прямо назвали абсурдным) ничем не лучше. В истории подобное случалось не раз и приводило только к господству мракобесия. Довольно шарахаться из одной крайности в другую. Вы предлагаете тотальный отказ от эволюционизма, хотя именно новый эволюционизм начал наконец-то предлагать какие-то шаги в преодолении глобального кризиса. Этот эволюционизм хотя и берет у Дарвина мало, но признает его важную роль как первого эволюциониста, сумевшего быть услышанным. Кстати, молодой Дарвин понимал естественный отбор как сознательную селективную деятельность, постоянно проводимую Всевидящим Существом, и лишь позже социальная мода викторианского общества обратила отбор в бессознательную статистическую процедуру.

Словом, разграничить науку-исследование и науку-идеологию непросто. Но стремиться к этому так или иначе надо, и за Вашу попытку, Виктор Николаевич, еще раз Вам спасибо.

Ю. ЧАЙКОВСКИЙ

(Институт истории естествознания и техники)

Москва.

СТОИТ ЛИ ОТКРОВЕНИЕ ПОДКРЕПЛЯТЬ НАУЧНЫМИ ДОВОДАМИ?

В своем письме В. Тростников, рассматривая «научную картину мира», приходит к выводу, что она основывается на трех принципах: рационализме, редукционизме и эволюционизме, — а затем утверждает, что все эти принципы опровергнуты современной наукой. Значит, неверна и сама «научная картина». Опровержению трех названных принципов на основании научных данных посвящена большая часть статьи. Не вдаваясь в вопрос о правильности «научной картины мира», рассмотрим конкретные доказательства автора.

Под рационализмом В. Тростников понимает утверждение о безграничных возможностях человеческого разума. По его мнению, оно опровергнуто рядом математических теорем (теоремы Гёделя, Тарского и т. д.), а также необходимостью использовать в математике понятие «актуальной бесконечности». Действительно ли теорема Гёделя (и ей подобные) устанавливает некий предел для человеческого разума, преупить который он не в силах?

Эти теоремы относятся к системам так называемой формальной математики. В таких системах используется понятие формального доказательства, которое представляет собой цепочку символов, построенную по четко определенным правилам. Если можно строго по правилам построить такую цепочку, которая заканчивалась бы некоторой формулой, то эту формулу называют доказуемой (выводимой). Если правила формальной системы допускают использование обычных математических символов, то и полученные формулы могут иметь математический смысл, а формальные доказательства могут служить математическими доказательствами. Однако из теоремы Гёделя следует, что не все математически правильные формулы могут быть получены как результат формального доказательства.

Означает ли это, что возможности человеческого разума ограничены? Нет — ограничены только возможности формальных доказательств. Ситуация здесь напоминает классические «задачи на построение». Известно, что задача о квадратуре круга (построение стороны квадрата, имеющего ту же площадь, что и круг данного радиуса) неразрешима, если пользоваться только циркулем и обычной линейкой. Но ее легко решить с помощью, например, логарифмической линейки. Точно так же утверждения, формально недоказуемые по теореме Гёделя (например, непротиворечивость

арифметики), могут быть доказаны вне рамок формальных систем. Генцен доказал непротиворечивость арифметики, используя так называемый полуформальный метод. Могу заверить читателей-нематематиков, что это доказательство гораздо более строгое и логичное, чем все доказательства, встречавшиеся им в школе или институте.

На программу формализации математики в начале века возлагались большие надежды, поскольку ожидалось, что она избавит ученых от некоторых трудностей, а именно — от парадоксов, связанных с использованием «актуальных бесконечностей». Эти надежды, в общем, не оправдались. Однако математики научились обходить трудности другими методами. Во всяком случае, сейчас созданы математические системы, свободные от всех известных парадоксов. Правда, мы не гарантированы от возможности появления принципиально новых проблем. Таково, наверное, естественное состояние любой науки, да и не только науки. Подумайте: есть ли богословские системы, в которых полностью решены хотя бы уже известные парадоксы?

А широкое использование «актуальных бесконечностей» свидетельствует скорее в пользу рационализма, ведь с такими сложными, интуитивно непонятными объектами математики работают, опираясь на логику, на разум, а не на Откровение или авторитет. Получаются при этом вполне разумные и полезные результаты.

Итак, вера во всемогущество разума подорвана, быть может, историей XX века, отвергнута большинством литературных и философских школ, но математикой пределы для человеческого разума пока не обнаружены. Принцип рационализма отнюдь не исчерпал себя в математике, как и в других естественных науках.

Открылась ли физике ложность редукционизма? В. Тростников определяет его как «предположение, что низшие формы бытия более реальны, чем высшие его формы, которые могут быть сведены к комбинации низших», и утверждает, что квантовая физика опровергла редукционизм. Не совсем ясно, что здесь понимается под высшими и низшими формами бытия. Для современных естественных наук совсем не типичны оценочные характеристики высший — низший, хороший — плохой, развитый — неразвитый. Они достались нам в наследство от средневековых схоластов (кроме последней, добавленной гегельянцами), которые увлекались построением «лестницы форм»: растение выше камня, зверь выше растения, мужик выше зверя, маркиз выше мужика, а Бог выше всех. Еще в XIX веке такое иерархическое мышление было свойственно большинству ученых. Создатели «научной картины мира» отдали ему дань, выстраивая виды движения материи от низших к высшим: механический, физический, биологический, социальный. Любопытно, что В. Тростников, отвергая основные естественнонаучные принципы, пытается использовать «лестницу форм». Это, конечно, тоже наука, но совсем другая.

Вернемся к квантовой физике. Она действительно несводима к ньютоновской механике. А вот доказана ли, например, несводимость биологических явлений к физическим? Насколько мне известно, никаких особых пси-функций жизни, существующих помимо физических полей и частиц, физика не обнаружила. Нет данных, позволяющих утверждать, что пси-функция одухотворенного существа подчиняется иным физическим законам, чем пси-функция, описывающая движение электронов и нуклонов в вакууме.

В квантовой физике взаимодействие частей сложной системы описывается хитрее, чем в ньютоновской механике. Но и сейчас физики, желая описать атом, составляют уравнение Шредингера исходя из законов взаимодействия его частей (ядра, электронов), а затем пытаются упростить это уравнение так, чтобы его можно было если не решить, то хотя бы проинтерпретировать. Так что принцип редукционизма — сведение сложного к простому — остается в силе. Почему В. Тростников считает его ответственным за охлократию, решительно непонятно.

Об истинности или ложности теории естественного отбора мне не хочется спорить с В. Тростниковым — слишком комичен был бы спор двух математиков о биологии. Приведу лишь цитату из журнала «Scientific American» (русский перевод в журнале «В мире науки», 1989, № 9, стр. 54): «Исследования митохондриальной ДНК позволяют предположить, что все современные человеческие популяции появились в Африке, причем сравнительно недавно — от 50 до 250 тыс. лет назад». Здесь интересно характерное для современной биологии соединение эволюционной теории с молекулярной генетикой, по Тростникову абсолютно невозможное. Представления Тростникова о биологии (как и о математике) сложились, видимо, в конце 40-х годов

и с тех пор не менялись, несмотря на развитие этих наук. В этом можно усмотреть любопытную аналогию с «научной картиной мира».

Особенно тяжелое впечатление производит обвинение теории естественного отбора в том, что она служит основой расистских концепций. С точки зрения естественного отбора определить, какая раса, какая форма жизни «высшая», а какая «низшая», решительно невозможно, потому что все они развивались одновременно, приспособляясь к условиям окружающей среды. Те произвольные критерии, по которым одни народы объявляются передовыми, а другие отсталыми, происходят от обычного эгоцентризма («Уж я то, конечно, передовой, а вот вы...»). Эволюция здесь ни при чем. Скорее базой расизма может быть «лестница форм», о которой уже говорено.

Можно понять, почему во мнении многих научные принципы сильно дискредитированы. Ведь и впрямь немало есть людей, склонных укорять соседа происхождением от обезьяны, забывая о собственном зверообразии. Грядущим торжеством разума обосновывались коллективизация, перековка в ГУЛАГе, переброска рек. Даже самим естественным наукам специалисты по «научной картине мира» нанесли немалый урон. Это они, например, называли генетику расистским измышлением. Значит, плохи научные принципы?

Неудача с применением естественнонаучных принципов в областях, для которых они не предназначены, должна бы остеречь ревностных толкователей. Стоит ли подкреплять Откровение научными доводами? Хождение по водам невероятно ни по ньютоновской, ни по квантовой физике. Но ведь это чудо, сотворенное Богом, а разве Бог обязался выполнять физические законы? Зато непорочное зачатие теперь, кажется, допускается биологами: это называют партеногенезом и ссылаются на ящериц. А богословы отрещиваются от таких аналогий: «Мы имели в виду совсем другое...»

Научные принципы могут быть опровергнуты наукой же. Вот теорема Гёделя не опровергает рационализма. Не построить ли нам рациональное доказательство бытия Божия? Но вдруг завтра кто-то докажет теорему, опровергающую рационализм,— так что, менять веру?

Наверное, существование Бога не надо доказывать. В него нужно верить.

Р. Е. МАЙБОРОДА,

кандидат физико-математических наук.

НЕПРАВОМЕРНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА

В письме В. Н. Тростникова «Научна ли «научная картина мира»?» справедливо ставится под сомнение та картина мира, которую наша пропаганда преподносит как подкрепленную авторитетом науки. В. Н. Тростников осмелился открыто посягнуть на распространившееся убеждение в том, что атеизм оказывается неминуемым выводом из современных достижений науки. Честь и хвала ему за это.

Но именно заявленная автором письма и поддержанная редакцией готовность говорить во весь голос не только о том, что заранее идеологически одобрено, дает мне право столь же откровенно высказаться о своих несогласиях с некоторыми позициями этого письма, слишком, на мой взгляд, упрощающими проблему. Упрощение прежде всего состоит в признании самой альтернативы «наука или религия». Такая альтернатива неправомерна и нелогична. Да и само понятие научной апологетики требует уточнения.

У В. Н. Тростникова речь идет о выяснении соответствия выводов естественных и точных наук тем представлениям о мире, которые предлагает нам религия. Апологию здесь уместно понимать не как восхваление или обоснование, но в исконном древнегреческом смысле: защита. Научная апологетика — это защита религии от облыжных упреков в якобы несоответствии неким достоверным истинам науки. (Необходима, конечно, и апологетика науки — защита серьезных научных концепций от попыток поверять их укорененными в религиозной традиции мировоззренческими схемами, но все же сегодня гораздо более актуальна защита науки от идеологических требований.) Попробуем последовательно разобраться в поднятых этим письмом проблемах, не претендуя, впрочем, на сколько-нибудь окончательные суждения.

В. Н. Тростников пишет о том, что «под единой вывеской «наука» разместились два совершенно разных предприятия» — наука-исследование и наука-мировоззрение. Мне кажется, что Виктор Николаевич недостаточно разделил эти два «предприятия», у них и вывески-то общей нет, а имеет место незаконное присвоение некоторыми из возможных мировоззрений термина «научное». Автора можно понять так, что наука действительно есть основа или даже механизм выработки мировоззрения, явно отождествляемого с картиной мира. Беда состоит лишь в том, что нам от имени науки подсовывали не то, что она в действительности вырабатывает в качестве картины мира. Мне представляется такая точка зрения недостаточно решительной. (Прошу извинения у автора письма, если я вульгаризирую его мысль, но моя задача не спор с ним, но разъяснение расхожих заблуждений, которые его статья могла бы укрепить.)

Дело в том, что мировоззрение — это целостный взгляд на мир, присущий каждой конкретной личности. Этот взгляд лишь частично и далеко не всеми ясно осознается, или, как говорят философы, подвергается рефлексии. Думаю, что никто не в состоянии ясно и адекватно выразить словами, в чем заключается его мировоззрение. Чаще всего человек выражает явно не свое истинное мировоззрение, но то, каким оно, с его точки зрения, должно быть.

Мировоззрение человека в значительной мере формирует его культурная среда. Поэтому уместно говорить не только о мировоззрении личности, но и о мировоззрении, свойственном данной культуре. Одним из источников мировоззрения в культуре служит наука, но при этом и само отношение к науке оказывается неотъемлемой частью мировоззрения. И для конкретного человека в его мировоззрение входит взгляд на науку. Письмо В. Н. Тростникова интересно именно тем, что в нем выражен определенный взгляд на науку — и тем самым компонент мировоззрения, который в советской литературе доселе высказывать не полагалось. Ответить на это письмо мне захотелось уже хотя бы потому, что моя собственная точка зрения не во всем совпадает с изложенными в нем взглядами. Для меня картина мира целостна, а не состоит только в представлении о том, как устроен природный мир или общество. Для меня мировоззрение включает в себя представление о человеческой природе, месте человека во Вселенной и смысле нашего существования. Уже поэтому наука не может быть единственным и даже главным источником картины. «Роль науки можно сопоставить с ролью географической карты. Карта дает нам ценные указания при выборе дороги, по которой можно достичь цели, но не следует ожидать, что она укажет нам, куда следует идти»¹. Целостное мировоззрение присуще каждому человеку, в том числе совершенно далекому от научных интересов. Уже поэтому не стоит создавать впечатление, что мировоззрение есть «часть или сторона науки». С авторитетом науки нельзя не считаться, пока речь идет о предметах, входящих в сферу ее компетентности. Когда же речь заходит о тех проблемах, которые связаны с человеческими отношениями, ценностями (этическими и эстетическими) и вообще с областью проявления духа, то опора на достижения науки оказывается довольно шаткой, а ссылки на авторитет науки бездоказательными, ибо в этой сфере наука не работала никаких рекомендаций, хоть сколько-нибудь сопоставимых по значению и глубине с опытом мировых религий и философской мысли.

Осмысление места совести в человеческой жизни, выявление подлинных ценностей, на которые можно ориентироваться в жизни, открытие смысла человеческого существования — все это лежит вне пределов компетенции науки. У нее просто нет средств, чтобы обо всем этом рассуждать, ставить эксперименты или давать обоснованные рекомендации. Вряд ли отказавшись даже от презумпции редукционизма, эволюционизма и рационализма, наука способна хоть как-то обосновать религию. Мне представляется, что здесь автор письма смешал два понятия. Первое — это «научное мировоззрение», целостная картина мира (включая человека как активного участника мировых событий), основанная на выводах науки и научных методах, исследования реальности. Второе — это мировоззрение науки, картина того фрагмента мира, который подлежит научному исследованию. Эта картина необходима для плодотворных занятий наукой, в то время как «научное мировоззрение» есть бесплодная иллюзия.

В основе мировоззрения науки лежит представление о том, что добывание знания есть величайшая ценность. Спиноза писал даже о присущей науке «Amor Dei intellectualis» — божественной любви к истине, добываемой интеллектуальными средствами и подразумевающей необходимость обоснования результатов и критического отношения к ним. Однако попытка сделать мировоззрение науки (каким бы хорошим оно ни было) и добытое ею знание основой целостного мировоззрения означала бы поставить знание выше свободы, выше любви, выше благодати. По сути дела, это было бы возвращение к гностическим учениям (ереси с точки зрения христианства), ставящим превыше всего индивидуальное достижение знания. Для адепта гностических учений спасение достигается через получение знания, делающего его равным Богу, и тем самым отвергается необходимость религиозного Богообщения, любви к ближним и соблюдения нравственных заповедей.

Для гностика мир не творение Бога, обладающее своей ценностью, но зло, которое надо преодолевать. Поэтому гностики практиковали либо крайний аскетизм, либо безграничный разгул страстей. Попытки расширить научное мировоззрение так, чтобы наука смогла за счет размытия критериев научности легализовать знания, до сих пор считавшиеся паранаучными, сегодня связаны с неогностическими учениями, культивируемыми даже в некоторых университетских центрах США. Борьба с позитивизмом в мировоззрении науки и претензиями позитивизма на доминирование в мировоззрении часто ведет не к реабилитации христианской ортодоксии, но к возвращению к гностическим ересям, к разного рода суевериям, манипулированию человеческим сознанием, противоречащим христианскому учению о свободе воли. Вот почему следует с самого начала решительно отказаться от попыток выстроить целостное мировоззрение исключительно на мировоззрении науки (а в так называемой научной апологетике эта опасность присутствует с самого начала) и весьма тщательно отнестись к выяснению того, что представляет собой последнее.

Фактически В. Н. Тростников, рассуждая о науке, имеет в виду естественные науки и математику. Такое объединение правомерно, ибо математика — это кроме всего прочего язык естествознания, обладающий, по словам известного физика Ю. Вигнера, «непостижимой эффективностью». Не будем расширять предмет дискуссии и остановимся лишь на обсуждении естествознания и математики (хотя естественнонаучный метод в XX веке широко распространился и в сфере социально-экономических наук, и в области наук о человеке).

Центральным в письме является обсуждение названных выше философских презумпций, как не соответствующих реальным достижениям современной науки. Предмет обсуждения можно сформулировать так. Существует некое мировоззрение науки, основанное на презумпциях редукционизма, эволюционизма и рационализма. Отвечает ли подобное мировоззрение тому, что фактически происходит в науке? Автор письма отвечает на этот вопрос отрицательно и мотивирует свой ответ аргументами, взятыми из опыта самой науки.

Начнем с того, что мировоззрение самих ученых может достаточно широко варьироваться. В свое время я специально занимался выявлением познавательных установок, которые используют ученые в различных предметных областях науки. Отправной точкой для меня послужила идея известного математического логика С. Ю. Маслова, инспирированная его перепиской с А. А. Любищевым. Идея состояла в том, что многие познавательные установки (эвристики), принимаемые в науке как самоочевидные, имеют не менее полезные альтернативы, которые фактически используются в других областях науки. Мне удалось выделить 22 пары альтернативных познавательных установок, указав для каждой из альтернативных эвристик конкретную область науки, где она фактически принимается как необходимая и плодотворная мировоззренческая предпосылка². Таким образом, мировоззрение науки не есть однородная система из универсальных принципов, но набор взаимоисключающих философско-методологических представлений, высвечивающих отдельные фрагменты изучаемой наукой действительности. Усекновение альтернатив обеднило бы и возможности науки и формируемую в ней картину мира. Одна из этих альтернативных пар противопоставляла редукционизм системному подходу, другая — исторический (эволю-

² См.: Шрейдер Ю. А. «Сложные системы и космологические принципы» («Системные исследования. Ежегодник. 1975»). М. «Наука». 1976.

ционный) подход его противоположности, таксономическому подходу. Я думаю, что ни редукционизм, ни эволюционизм невозможно исключить из арсенала научных представлений без серьезных потерь для науки.

В. Н. Тростников подчеркивает, что «физике открылась ложность редукционизма». Если бы вместо слова «ложность» он написал «необязательность», то все было бы в порядке. Между прочим, даже грамматически говорить о ложности редукционизма не вполне корректно. Редукционизм — это не суждение, а познавательная установка. Последняя не может быть ни истинной, ни ложной, она лишь обязательна или не обязательна, применима или не применима. В. Н. Тростников вправе возразить, что он имеет в виду не установку, а учение. Но учение в целом неправомерно оценивать как истинное или ложное (разве что метафорически), но лишь как стимулирующее или гасящее сознание. Когда физик рассматривает тело, состоящее из многих атомов, но ведущее себя как целостная квантово-механическая система (например, сверхтекучая жидкость или сверхпроводящий кристалл), он выступает не как редукционист. Представление о единой Вселенной, образовавшейся в результате взрыва первоатома, это тоже не редукционистская картина. (Антиредукционистским является и упоминаемый Тростниковым принцип Паули.)

Однако из невозможности (в силу теоремы Неймана) свести квантовые явления к классической модели (редуцировать квантовую физику к классической) не вытекает неприменимость редукционизма в физике. Так же как отрицание ньютоновской концепции материи не означает, что материя — это иллюзия. Да, состояние квантовой системы (значит, фактически любой физической системы) описывается не наблюдаемой непосредственно волновой функцией (пси-функцией), а наблюдаются опосредованные характеристики, вероятности которых вычисляются через пси-функцию. Именно через пси-функцию задается эволюция физических систем, а «материя в них не фигурирует». Но материя не фигурирует и в учебнике классической механики, в уравнениях которой можно найти лишь математические конструкты. Конечно, в квантовой физике нет понятия материальной точки. Но это понятие не более чем математический конструкт, не осуществимый в природе хотя бы потому, что в такой точке действовали бы бесконечные силы притяжения. Такая точка оказалась бы ненаблюдаемой черной дырой, и это не связано с ее квантовыми свойствами.

Современный физик оказывается редукционистом, как только он пытается объяснить закономерности взаимодействия ядерных частиц (протонов, нейтронов и других), рассматривая их как составленные из кварков — не наблюдаемых в чистом виде особых частиц с достаточно странными свойствами даже для привыкшего к чудесам квантовой физики.

Видимо, для автора письма существенно, что центральным понятием квантовой физики служит не частица (в наглядно-чувственном смысле этого слова), но волновая функция, которая «является невещественной данностью». Однако, во-первых, волновая функция — это математическое (то есть невещественное) понятие, но центральным является не оно, а другое понятие — состояние физической системы, к которой эпитет «невещественный», пожалуй, неприменим. Во-вторых, так ли уж важно, к чему редуцируется сложный объект — к более простым материальным частицам или элементарным идеям. А. Ф. Лосев очень тонко подметил ближайшее родство (практически тождество) между атомами по Демокриту и идеями Платона. Тем самым нейтрализуется вдалбливавшееся нам в голову противопоставление линий Демокрита и Платона. Идеалистическая философия, сводящая бытие к идеям, не ближе к христианской ортодоксии (и вообще монотеизму), чем материалистическая.

Тем не менее В. Н. Тростников точно указывает, в чем квантовая механика, по сути дела, преодолевает классический редукционизм (хотя редукционистские представления отнюдь не изгоняются из нее): для квантовой физики целое реальнее своих частей.

Что касается утверждения о ложности эволюционизма, то здесь В. Н. Тростников допускает целый ряд неточностей. Я не принадлежу к числу поклонников теории естественного отбора, но вряд ли уместно говорить, что на фоне современных данных дарвинизм «выглядит просто-таки неприлично». В серьезном разговоре не стоит ссылаться на восторги широкой публики, обрадовавшейся простым объяснениям появления жизни на Земле. Хотя бы потому, что теория естественного отбора никогда не претендовала на объяснение происхождения жизни. Не стоит приписывать Дарвину намерения Опарина. Сегодня среди биологов наиболее широко признана синтетическая теория

эволюции (СТЭ), связавшая первоначальный дарвинизм с современной генетикой, роль которой сам В. Н. Тростников оценивает весьма высоко. В противовес СТЭ были выдвинуты эволюционные концепции П. Тейяра (конвергентная телеологическая эволюция), Л. С. Берга (номогенез или направленная эволюция), А. А. Любищева, С. В. Мейена и множество других. В этих концепциях, не выходящих за рамки научного подхода, не вводится (вопреки утверждению В. Н. Тростникова) никакого «творческого начала», но допускаются телеологические объяснения, то есть ссылки на цели (или финальные причины). Но без понятия цели (как максимума адаптации к внешним условиям) не обходятся и концепция естественного отбора, и даже вариационные принципы физики. Так что «ложность эволюционизма» означала бы просто отсутствие закономерного развития жизни, что плохо согласовалось бы с данными палеонтологии. (Сам автор признает такое развитие, но, по сути дела, полагает его объяснение выходящим за пределы науки.)

Что же касается СТЭ, то один из ее столпов, знаменитый «зубр» Тимофеев-Ресовский, в предсмертной статье писал о том, что биология не умеет объяснить возникновение более сложно организованных форм жизни через механизмы изменчивости, наследственности и естественного отбора.

Несопоставимость естественного отбора с искусственным довольно очевидна: во втором случае есть субъект, ведущий этот отбор и выводящий из популяции все отклоняющиеся от его цели особи.

Следует отметить ошибку автора в оценке эксперимента А. Т. Войлочникова со скрещиванием собак и волков. Дело в том, что граница между волком и собакой весьма размыта (многие, в том числе и К. Линней, считают их принадлежащими к одному виду). Поэтому принадлежность особи к волкам или собакам определялась просто: ближе к волку — значит, волк, ближе к собаке — собака. Промежуточные формы здесь и не могли быть обнаружены, ибо цель эксперимента состояла в опровержении факта менделевского расщепления признаков в пропорции 3 : 1. Вообще-то в науке решающие эксперименты (экспериментум круцис), просто невозможны (что хорошо показал П. Дюгем), а этот эксперимент никак не пристало сравнивать с опытом Майкельсона

Что же касается рационализма, то математика не открыла его абсурдность, но подтвердила его недостаточность. Но, заметим, совершила это чисто рациональными средствами, как и подобает честной науке. Да, не все истинные утверждения можно вывести из заранее заданного перечня аксиом. Но наука занимается и тем, что формирует новые перечни аксиом, выводы из которых согласуются с опытными данными. А кроме того, никакая наука не ставит целью вывод всех истинных утверждений. Ее интересуют лишь те из них, которые содержательно характеризуют предметную область. Следует различать также способы открытия учеными новых истин и способы придания им статуса научных утверждений. Последнее требует рационального обоснования с явной демонстрацией всех сделанных допущений. Без этого такие утверждения будут отвергнуты научным сообществом. То, что выходит за пределы возможностей разума, лежит вне пределов науки, хотя может играть первостепенную роль для человека. Но, как пишет В. Н. Тростников, «к истине надо идти не только разумом и чувством, но и жизнью».

3

В. Н. Тростников стремился показать, что с развитием науки природные объекты все в большей мере мыслятся не как материальные, но как идеальные. Достоверно здесь, во всяком случае, то, что объекты изучения науки все в меньшей мере оказываются доступными непосредственному чувственному опыту. Причиной этого может быть удаленность или слишком малые размеры объекта, а также скрытность проявления основных свойств. Однако недоступность прямому наблюдению еще не означает идеальности (нематериальности) данного объекта. Если мы можем опознать удаленного от нас человека лишь в мощный бинокль, то отсюда было бы преждевременно заключать, что перед нами призрак. Если субатомные или космические объекты обладают свойствами, весьма не похожими на свойства бильярдных шаров, то это тоже еще не дает основания говорить об их идеальности и тем более иллюзорности. Представление о материи как об иллюзии или майе годится для индустов, но плохо совместимо с монотеизмом, утверждающим, что природный мир сотворен Богом и потому заслуживает быть принятым всерьез. (Наоборот, гностики учили, что наш мир сотворен злым демургом и не заслуживает доброго отношения.)

Я все же думаю, что главное мировоззренческое противопоставление состоит не в соотношении материального и идеального, но в альтернативе между натуралистической детерминированной картиной мира и представлением о мире, где есть место проявлению духовной свободы, где возможны поступки, разрывающие предписанные строгой причинностью траектории в акте реализации свободной воли. Гегельянская картина мира основана на идеалистической философии, но в ней нет места свободному человеческому поступку, ибо свобода здесь лишь осознанная необходимость, следовательно, лишь видимость свободы. Не случайно, что эту картину мира удалось с помощью нехитрых манипуляций преобразовать в материалистическую, где развитие оказывается естественноисторическим процессом, не оставляющим пространства для реализации свободной воли личности. Вторичность сознания означает его предопределенность естественными материальными процессами. Тем самым сознание человека оказывается не творческим агентом, но лишь пассивным отражателем естественных материальных процессов. Столь же не свободно сознание, мыслимое как марионетка в руках «Абсолютного духа».

Я убежден, что такая концепция сознания не отвечает его реальной природе, что феномен сознания не укладывается в натуралистическую картину мира. Но В. Н. Тростников хочет показать недостаточность такой картины мира уже на уровне естествознания. Правда, физика ему не дает для этого нужных аргументов. Максимум, который ему удается извлечь из обсуждения квантовой физики, состоит в том, что основой физической картины мира можно с известным правом считать не материальные частицы типа атомов Демокрита, но идеи Платона. Как я уже говорил, особой разницы здесь нет. Главное то, что в мире физических явлений нет места ни свободе воли (разговоры о свободе воли электрона оказались не более чем метафорой), ни творческому (креативному) акту. Квантовая физика предлагает нам не менее натуралистическую картину мира физических процессов, чем классическая.

В области биологии дело обстоит сложнее ввиду меньшей разработанности ее теории; В. Н. Тростников фактически считает, что процесс развития живого (в том числе видообразование) не описывается натуралистической картиной, но требует для своего описания и объяснения вводить творческие факторы. Моя позиция здесь более осторожна. Мне кажется, что еще недостаточно проработаны эволюционные концепции Л. С. Берга, А. А. Любищева, П. Тейяра и других, чтобы высказывать слишком определенные суждения о невозможности натуралистической картины эволюции живого. Я не вижу пока явной необходимости отказываться от натуралистической картины биологических явлений, хотя эта картина должна опираться на категории целей как финальных причин. Не исключено, что витализм потребует использования в эволюционных концепциях всех четырех видов причин, о которых писал Аристотель. Не исключено, что будущая научная теория эволюции живого позаимствует у эволюционной космологии широко применяемый в ней «антропный принцип». Этот принцип состоит в том, что направление эволюции Вселенной шло так, чтобы обеспечить появление и существование человека. Но это отнюдь не должно привести к отказу от научного объяснения эволюции. «Всякий факт может и должен быть объяснен, но и всякий факт, как отблеск Предвечного, может возбудить по отношению к себе чувство благоговения. И действительно, настоящее чудо и должно состоять именно в таком рационально объяснимом в широком смысле (но не поспешно объясняемом) явлении»³.

Конечно, вывод о неудовлетворительности натуралистической картины мира живой природы, если бы он был надежно подкреплён, мог бы хорошо послужить научной апологетике религии, но стоит ли к этому стремиться даже с точки зрения интересов религии? Не сделало ли бы это акт веры более принудительным, чем это полезно для души? Христианская традиция настаивает на свободе этого акта, на возможности любого человека отказаться от веры. Принудительность акта веры — это скорее черта идеологических учений.

А. Р. Уоллес, современник и до известной степени единомышленник Дарвина, чья роль в создании эволюционной теории оказалась несправедливо затушеванной, писал о том, что Бог мог предпочесть не творить жизнь на Земле, в законченном варианте, но сотворить саморегулирующуюся систему, создающую естественными средствами многообразие живого. Призвание натуралистической картины мира в биологии

³ Флоренский П. А., «О суевении» («Символ», Париж—Медон, декабрь 1988, № 20, стр. 252).

не мешало Уоллесу оставаться верующим христианином. Столь же спокойно относился к натуралистическим концепциям эволюции поэт Алексей Константинович Толстой, писавший по поводу запрета издания Дарвина: «Способ, как творил Создатель, что считал он более кстати — знать не может председатель комитета о печати».

Сама религия требует отказа от натуралистической картины мира по крайней мере в сфере явлений духа. Но при этом естествознание вполне может ограничиться традиционными научными объяснениями подлежащих его компетенции явлений. Наука учит человека честному отношению к истине и готовности к самопроверке. Так что и с точки зрения Божественного промысла имело бы смысл оставить достаточно широкий фрагмент картины мира в качестве предмета для научного исследования. Там, где натуралистическая картина мира несостоятельна, фактически уже нет места для научных теорий, позволяющих предсказывать наступление тех или иных явлений. Я вполне согласен с тем, что натуралистическая картина мира неадекватна реальности, но эта неадекватность никак не проявляется в сфере неживой природы и вряд ли может быть надежно обнаружена в живой природе. Недостаточности натуралистической картины мира должно учить, как мне видится, не естествознание, но религия. Если можно было бы найти сферу свободы в природном мире, то для выработки правильной картины мира религия оказалась бы необязательной. Однако еще Блаженный Августин четко разделял знание, получаемое из религии и из естественных наук, когда писал, что Священное писание учит, как попасть на небо, а не о том, как небо обращается вокруг Земли.

Разницу между участием в природном и духовном мире очень верно выразил и о. Яцек Салий: «Бог сотворил нас без нас, но он слишком нас уважает, чтобы спасти нас без нас»⁴. Опыт участия в общехристианской задаче спасения — вот наиболее верное средство не принять натуралистическую «научную картину мира» в качестве полной картины реальности. При этом, конечно, нужно понимать, что наука не имеет средств для доказательства универсальности такой картины.

Ю. ШРЕЙДЕР,

*доктор философских наук,
кандидат физико-математических наук.*

⁴ Yasek Salij OP. Tajemnica Emmanuela dzisiaj. Poznań. «W drodze». 1989, 5. 110.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Главному редактору журнала «Новый мир»
тов. Залыгину С. П.

Уважаемый Сергей Павлович!

В повести «Чернобыльская тетрадь» (автор Г. Медведев), опубликованной в журнале «Новый мир» № 6 за 1989 год, содержится грубое искажение действительности. Считая вначале, что это случайная ошибка или неграмотность автора, я не стал посылать Вам протест по этому поводу, однако указанный факт перепечатан в других журналах («Знамя», «Смена» и др.), то есть получил широкое распространение, да еще оброс различного рода клеветническими измышлениями и обвинениями в мой адрес. Речь идет о следующем разделе (цитирую по тексту, стр. 36):

«Подводя предварительные итоги, скажем, что активность в районе аварийного энергоблока составляла от 1000 до 15 тысяч рентген в час. Правда, были места в удалении и за укрытиями, где активность была значительно ниже.

Зампред Совета Министров СССР Б. Е. Щербина, председатель Госкомгидромета СССР Ю. А. Израэль и его заместитель Ю. С. Седунов на пресс-конференции 6 мая в Москве заявили о том, что радиоактивность в районе аварийного энергоблока Чернобыльской АЭС составляет всего лишь 15 миллирентген в час, то есть 0,015 рентгена в час. Думаю, такая, мягко говоря, неточность непристелина» (разрядка моя.— Ю. И.).

Не вдаваясь в полемику относительно цифр, сообщая:

первое — что Госкомгидромет СССР не осуществлял измерений в районе энергоблока на ЧАЭС, на территории самой станции и гор. Припять, здесь

измерения осуществляли дозиметристы ЧАЭС, физики-атомщики и военные (Госкомгидромет СССР осуществлял и осуществляет измерения на всей территории СССР за пределами этих объектов), и

второе — что я вообще не присутствовал на указанной пресс-конференции, которая действительно состоялась в Москве 6 мая 1986 года (в пресс-центре МИДа) и была посвящена чернобыльской трагедии, а следовательно, не мог делать на ней каких-либо заявлений.

(Кстати, на данной пресс-конференции вообще никем не назывались уровни радиации в районе аварийного энергоблока.)

Начиная с 30 апреля 1986 года я непрерывно работал в Чернобыле с выездами в Киев (где располагались самолеты-радиометристы Госкомгидромета СССР), и первый раз с коротким докладом выехал в Москву лишь 14 мая, после чего снова вернулся в Чернобыль. В связи с этим я рассчитываю на публикацию моего письма в журнале «Новый мир».

Председатель Государственного
комитета СССР по гидрометеорологии
Ю. А. ИЗРАЭЛЬ.

14 февраля 1990 года.

ДОЗЫ ПРАВДЫ И СОВЕСТИ

В письме Ю. А. Израэля выдвинуты конкретные возражения. Столь же конкретно ответу на каждое из них (цитирую по тексту письма Ю. А. Израэля).

Первое. «Госкомгидромет СССР не осуществлял измерений в районе энергоблока на ЧАЭС, на территории самой станции и гор. Припять...»

Ответ. На пресс-конференции в МИД СССР 5 июня 1986 года («Правда», 6.06.86) Ю. А. Израэль на вопрос журналиста о радиационной обстановке в зоне аварии сказал, что «тщательная съемка радиационной обстановки ведется регулярно с первого дня...». Ю. А. Израэль не уточнил, кем именно ведется съемка, стало быть, надо понимать, что съемка велась силами Госкомгидромета. Далее он продолжил: «Вопрос о том, как скоро вернуться люди для постоянной работы на территорию, прилегающую к аварийному блоку, пока остается открытым...»

Однако месяцем раньше, на пресс-конференции в Москве 9 мая 1986 года, Генеральный директор МАГАТЭ Х. Бликс, проинформированный руководителем Госкомгидромета, а также руководителями Госкомитета по использованию атомной энергии СССР, Госатомэнергонадзора СССР, Минздрава СССР («Известия» 10.05.86), сообщил, что «отмечается последовательное снижение уровня радиации, а значит, и вероятной угрозы здоровью людей в зоне, непосредственно примыкающей к станции. Не вызывает беспокойства и состояние водной и воздушной среды в поселке Чернобыльской АЭС». Таким образом, в течение месяца, как мы видим, оценка радиационной опасности в г. Припять сменилась на противоположную. Если обстановка в Припяти «не вызывает беспокойства», то почему же Ю. А. Израэль утверждал месяцем позже, что «вопрос о том, как скоро вернуться люди для постоянной работы на территорию, примыкающую к аварийному блоку, пока остается открытым»?

10 мая 1986 года, уже на пресс-конференции в Вене, Х. Бликс заявил: «Нам была предоставлена возможность (8 мая 1986 года.— Г. М.) осмотреть с вертолета место аварии и убедиться в том, что в настоящее время уровень радиации там является небольшим» («Правда», 11.05.86.). Эта оценка не может не базироваться на информации, полученной от Ю. А. Израэля и Б. Е. Щербины.

Второе. «Я вообще не присутствовал на указанной пресс-конференции, которая действительно состоялась в Москве 6 мая 1986 года (в пресс-центре МИДа) и была посвящена чернобыльской трагедии, а следовательно, не мог делать на ней каких-либо заявлений».

Ответ. Текст повести (стр. 36) и не утверждает факта присутствия Ю. А. Израэля на пресс-конференции. Речь в нем идет об огласке резко заниженных данных (в миллион раз) по уровню радиации. Эти ложные данные об уровне радиации на территории, непосредственно примыкающей к аварийному энергоблоку, обнародованы на пресс-конференции Б. Е. Щербиной, А. М. Петросьянцем и первым заместителем председателя Госкомгидромета Ю. С. Седуновым. Седунов сделал заявление

от имени Госкомгидромета СССР, стало быть, от имени его руководителя Ю. А. Израэля. Ведь Ю. А. Израэль опровержения на этот счет не сделал ни тогда, ни позднее. Слова же «сделать заявление» не означают присутствовать. Заявление можно сделать письменно через прессу, например, через своего полномочного представителя, каковым и являлся Ю. С. Седунов. Что касается обыгрывания слов «в районе энергоблока», «в зоне аварии» и т. д., то могу лишь сказать, что в центральной прессе сразу же после пресс-конференции 6 мая 1986 года давались перепечатки прозвучавших там оценок радиационного фона в зоне аварии. Например, газета «Аргументы и факты» от 13 мая 1986 года в статье «Вокруг Чернобыля» сообщала: «Максимальные уровни радиации достигли в районе станции 27 апреля (1986 года.— Г. М.) 10—15 миллирентген в час».

Зампред Госкомитета по использованию атомной энергии СССР Б. Семенов в «Литгазете» 11 июня 1986 года (в статье «Чернобыль: общая беда, общая надежда») сообщил: «Уровень радиации в районе, прилегающем к зоне аварии, здесь поднимался до 10—15 миллирентген в час».

Третье. «На данной конференции вообще никем не назывались уровни радиации в районе аварийного энергоблока».

Ответ. См. «Правду» от 7 мая 1986 года, материалы пресс-конференции: «Повышенные уровни радиации отмечались на территории, прилегающей непосредственно к месту аварии, где максимальные уровни радиации достигли 10—15 миллирентген в час».

Итак, уровни радиации 10—15 миллирентген в час прозвучали как на пресс-конференции 6 мая 1986 года, так и позднее в ряде источников массовой информации. Однако не забудем, что первоисточник во всех случаях был один и тот же.

Вот уже более четырех лет минуло со дня чернобыльской катастрофы, но мы все еще испытываем дефицит правды о постигшей нас беде, еще не до конца знаем о понесенных потерях. Продолжают занижаться дозы радиации в пространстве и времени. Будто возникли какие-то новые временные и пространственные протяжения помимо известных нам, и то и дело неведомо откуда, как НЛО из одиннадцатого измерения, появляются вновь и вновь потрясающие нас данные об уровнях радиации в лесах и водоемах родимой отчизны, о глубине поражения здоровья и жизни в ней.

Сколько талантов и гениев, возможных спасителей человечества в будущем, потеряли мы, искромсав гениальный аппарат сотен тысяч детей в радионуклидной мясорубке! Сколько десятков миллиардов рублей утаили казначей отечества от современной милосердной помощи облученным миллионам наших собратьев! Неизмеримо велика цена столь жестокой утайки. И все это ради сохранения чести мундира, должностей и привилегий. Сколько таких облаченных высокой государственной ответственностью людей властвует над информацией о степени чистоты нашей земли, воздуха и живительных вод! Как же, как же! Им ведь до сих пор хочется доказать нашему народу и всему миру, что чернобыльская катастрофа хотя и не имеет аналогов в истории человечества (здесь явно выпирает гордость: и тут мы первые!), но зато уровни радиации при таком неслыханном бедствии вполне сносные, жить вполне можно, и даже здоровее, чем без радиации, что дозы в 35 бэр за жизнь — чуть ли не взбадривающая процедура в пансионате высшей категории.. И вместе с тем информация о степени заражения радионуклидами водоемов и земли три года спустя после чернобыльской катастрофы тщательно пряталась Госкомгидрометом СССР, и лишь только после опубликования фрагментов из «Чернобыльской тетради» в журнале «Коммунист» (1989, № 4) Ю. А. Израэль решился выступить в «Правде» со своей картой радиоактивного загрязнения земель Белоруссии, Украины и России, будто до того он ничего об этом не знал. Но ведь знал и молчал. И, значит, способствовал лжи и углублению беды.

Дозирование правды и совести оставляет после себя лишь миллионы изуродованных судеб.

Г. У. МЕДВЕДЕВ.

КОРОТКО О КНИГАХ



МАРО МАРКАРЯН. Из огня любви и печали. Книга стихов. Перевод с армянского. М. «Советский писатель». 1989. 159 стр.

Один из сквозных мотивов новой книги стихов Маро Маркарян — тяжесть прожитых лет: «...жизнь, пылавшая когда-то, быть на белом свете устает. Свет души — единственный итог...» Но это не столько жалоба на иссякающее время, сколько осознание обретенных сил, ибо у зрелого возраста свои преимущества, и главное из них — способность видеть мир без розового флера. Опыт, которым наделяет «скупой на счастье жизни грозный ход», не даст ошибиться, не позволит принять погребальную свечу за рождественскую. И еще одно преимущество возраста — знать, о чем стоит писать, а на что жаль тратить силы.

Образный ряд стихов Маркарян почти скуп — камень, вол, ручей, снег, туман, каменная дорога, летящие по ветру листья и лепестки цветов. Ее Армения сурова и скорбна. И так же звучит ее стих: «И каждый божий день — утрата. И что ни шаг — то боль и ярость...» В горечи этих строк не надрыв, а достоинство человека, прожившего непростые времена и обретшего мужество видеть мир без иллюзий. «Покоренье наше в инее... Лед пахали, в камень сеяли, все же вырастили суть». «...Боли есть в душе, которые выше радости и дороже любви...» — душа крепится к миру еще и болью, болью за судьбу народа, за ушедших. В книге — цикл стихов памяти Гургена Мааря, одного из самых веселых и светлых армянских писателей, прошедшего дорогами ГУЛАГа; цикл стихов памяти Паруйра Севака, памяти Марии Петровых.

В повторяемости тем и мотивов книги — сосредоточенность на главном, на сущностном. История тяжко прошла по судьбам поколения Маро Маркарян, продолжив ими общую судьбу народа. «История рода», «история Армении» — понятия очень личные для Маркарян. Мысль стихотворения «Что нам осталось от былого?..» с очень важными для поэта строками: «Осталось каменное горе. Осталась каменная вера, которую века железом каленым выжечь не смогли», — могла бы формулироваться и по-другому: вот что останется от нас.

Светом и гармонией исполнены в стихах только детские воспоминания автора, образы деревенской Армении. «Улегся вол на край гумна, и пахнет ладаном копна... Невестки вывели гумно, все подобрали до зерна и стелют белое рядно. А благодатная луна и хлеб омыла, и вола, и грудь невестки молодой в ложбинке, влажной от тепла. И, как улыбка, твщиела для всех сердец и всех судеб и твари божьей и земной. И люди сели у стола, вино и хлеб деял с луной». Эта картина крестьянской жизни грустна и торжественна, как грустен и тор-

жествен лунный свет в отличие от солнечного; по сути, это прощание — в ту жизнь нам уже не вернуться. Для сегодняшней Армении больше подходит другой образ — образ осиротевшей матери, оставленной в доме, где ставни сорваны и сгнили половицы, где от прежней жизни остались одни имена «да пугливое эхо: позиви сыновей — и в дому нежилом или в сердце моем — отзовется все то же: «Мы придем еще! Мы придем!» Автор постоянно возвращается мыслью к предкам, к «дедам» с вопросом: «Как — уцелев — не умерли от горя? Неутолимо зло. Добро наивно... Какую силу надобно иметь, чтоб сохранить от порчи и падеья народ — в четвертом поколеньи и впредь!» Что удерживает и хранит человека в этом мире, «что вечно в мире? Ожиданье. Желание добра — покауда влезает зло во все прорехи...». Это и есть та «каменная вера», о которой пишет Маркарян.

Ее стихи обычно коротки: две-три строфы, десять — пятнадцать строк. Мысль сжата. Для этой лирики подошло бы определение «философская», если бы не его некоторая холодноватость и предполагаемый сдвиг в сторону ratio от непосредственного чувства. А им полны стихи Маро Маркарян.

В воду лепестки
Персик осыпает;
Блеск зелено-синий в озере угас.
Загрустивший мир краски изменяет
В сумеречный час,
В сумеречный час.

(Перевел Д. Самойлов)

Что это? Тонкая зарисовка с природы? Попытка изобразить движение чувства? Или — движение мысли? И то, и другое, и третье.

...Переводная поэзия — это всегда отраженный звук, всегда эхо. Цитируя стихи Маркарян, я вынужден приводить строки, принадлежащие Самойлову, Леоновичу, Гелескулу, Мориц... И странное чувство испытываешь, когда в давно знакомых голосах этих разных поэтов обнаруживаешь новый звук, объединяющий всех их. Так обретает свое собственное звучание в русской поэзии голос Маро Маркарян. А это уже свидетельство несомненной силы самого источника звука.

Сергей Костырко.



МОЛОДАЯ ПОЭЗИЯ 89. Стихи, статья, тексты. М. «Советский писатель». 1989. 509 стр.

ПОРЫВ. Новые имена. Сборник стихов. М. «Советский писатель». 1989. 463 стр.

Можно ли в жестко заданном объеме трех страничек на машинке сказать что-либо существенное о двух однотипных поэти-

ческих книгах, где число страниц в сумме приближается к тысяче, а количество авторов — к двумстам? Невозможно — если пытаться сказать обо всех и обо всем. Стоит попробовать — если иметь в виду Коллективную Книгу молодых поэтов как некое самостоятельное явление.

Лет восемь назад в предисловии к аналогичному сборнику Михаил Дудин сравнил его авторов с юной рощей, питаемой соками родной земли и тянущейся к вешнему солнцу. Уже тогда это сравнение казалось несколько анахроничным. А сегодня? Если уж говорить о юной литературной роще, то лишь о такой, где ветки с подветренной стороны пожухли от дымов соседнего химкомбината, в некогда чистом ручье ржавеют консервные банки, а трава на опушках измята «протекторами разных марок». Мир, доставшийся в наследство нашим «молодым», — это, по их оценке, «эпоха черных дыр и белых пятен» (С. Белорусец), это мир, где победитель «стать новой жертвой обречен» (В. Кирюшин), где «отставной вертухай отбывает заслуженный отдых» (Е. Бунимович), где колонну новобранцев ведет «угрюмый сверхсрочник, не знающий цели пути» (В. Строчков), где сосед выходит на крыльцо, «до морды сконцентрировав лицо» (И. Знаменская), где «на фоне социального заката библиофила ест библиофил» (И. Иртенев). Короче, мир, в котором «и стыдно жить, и гибнуть глупо» (Н. Маркграф). Лишь изредка порадует глаз «темный бархат распаханной свежей земля» (В. Шуляковский), лишь изредка выпадет надежда «свежего воздуха снова вдохнуть» (А. Знатнов), лишь изредка «коснется души умиление» — «сын в коляске едет стоя, как министр обороны» (Е. Бунимович). В этой выборке — строки серьезные и ироничные, оригинальные и вторичные, талантливые и не очень. В данном случае важна общая тенденция. В былые времена за подобное мировосприятие поэтам сильно досталось бы. Теперь мы, слава богу, вспомнили старую истину, что поэт не столько скрипач, сколько скрипка, на которой играет время.

Кто же они, «молодые», как ощущают себя в этом, прямо скажем, неудобном мире? Мы, говорят они, те, кто родился «в сталинском доме во время хрущевской эпохи» (А. Шаталов), «племя ниоткуда» (Н. Нюкишина), те, что «выросли без родины, как пьяная трава» (М. Шелехов). Те, кто говорит о себе: «Мы не судьи с тобой. Мы — вина» (Г. Красников). «Иффарктники в тридцать» (Л. Латышева), в которых «дико мечется стрелка Души» (М. Белянчикова). «...сорок лет — я за все отвечаю, но, увы, ничего не могу», — признается В. Бережков, лишний раз напоминая об условности самого понятия «молодые». «А я мечтала исправить мир, но, слава богу, не знала, как», — пишет Е. Горбовская, ставя под сомнение такую известную добродетель, как «активная жизненная позиция». Но душа все-таки просит активности, и тогда рождается элегический вздох: «Эх! Мне бы маузер, хоть самый маховый, — общаться с мразями не только матерно!» (М. Мамаев). И — очень редко — строки о том, что «наша огненная вера заменит нам бронжилет» (А. Карпенко). Как ни странно, подобные мотивы в

основном встречаются у поэтов «афганцев», участников непопулярной, а ныне и осужденной войны. Этот феномен еще ждет осмысления. Еще одна характерная черта: огромное, просто колоссальное количество литературных реминисценций. Обгрывается, переосмысливается все: от знакомого с детства «Что вам надо? Шоколада?» (Е. Саран) до «Вставай, страна, вставай, огромная» (А. Лаврин), от «Цицерона не читал» (С. Белорусец) до «Рыбачка Соня как-то в мае...» (А. Еременко). Примеров сотни. Один поэт (В. Тучков) счел необходимым заново переписать хлебниковский «Зверинец», насытив его современными реалиями. Выходит, все же не так уж «ниоткуда» это новое племя, оно целиком «оттуда» — из предшествующей культуры, отталкивается от нее и от нее же зависит. Отталкивание — закономерный этап самоутверждения. Но за ним должна последовать выработка собственных ориентиров, собственных идеалов. Хватит ли сил, хватит ли мастерства? Пока что оно весьма неровно, подчас трудно отличить изыск от простой неумелости. А изысков — в отличие от прошлых лет — в этих двух книгах хватает: и обериутская парадоксальность, и многозначительные мини-верлибры, и не менее многозначительная стихопроза. Есть и «котангенсы простоты», и неологизм-деепричастие «офигея» (от «офигеть»), и стихи без запятых, и «векзаметры», придуманные Б. Каныльяновым, и даже такая вот строчка: «УХ УХ УХ УХ эх» (А. Левин). Читаешь, удивляешься многообразию — и вдруг обнаруживаешь, что оно, в сущности, довольно монотонно, и вдруг радуешься простым бытописательским строчкам: «Пилат старик со старухой дрова. Струйка опилок заметна едва» (В. Кирюшин). Потому что нет ничего более значительного, чем реалии человеческой жизни. «Все прочее — литература», — как говорил Верлен.

Илья Фояков.

*

Ю. В. ЕМЕЛЬЯНОВ. Заметки о Бухарине. Революция, история, личность. М. «Молодая гвардия». 1989. 320 стр.

В 1938 году трагически оборвалась жизнь Н. И. Бухарина. Полвека спустя казнь одного из первых советских партийных руководителей, жестокие репрессии в отношении его родных и близких были признаны незаконными. Верховный суд СССР полностью реабилитировал, а Комитет партийного контроля восстановил Бухарина (посмертно) в рядах КПСС. Этот акт послужил сигналом к появлению у нас многочисленных публикаций о Бухарине.

К слову, за рубежом изучением политического кредо Бухарина на профессиональном научном уровне занялись еще в 50—60-х годах. Крупнейшим в мире знатоком его биографии считается профессор Принстонского университета С. Козн, опубликовавший в 1973 году фундаментальный труд «Бухарин и большевистская революция» (в СССР эта работа увидела свет в переводе в 1988 году под названием «Бухарин. Политическая биография. 1888 — 1938»),

Ю. В. Емельянов на страницах своей книги не раз полемизирует с американским политологом, в чем-то с ним соглашаясь, на что-то возражая. Но главный спор здесь ведется с теми публикациями, авторы которых стремятся свести все трагическое, что было в нашей стране после Октября, к деятельности одного Сталина, умалчивают о разгоревшейся после смерти В. И. Ленина острой борьбе за власть среди тех, кто считал себя наиболее достойным его преемником, выдают многих из их числа лишь за жертвы обмана и произвола со стороны «вождя всех народов».

Не романтизм юноши, считает автор, а догматическая приверженность к упрощенной теории руководила Бухариным, когда он подвел теоретическую базу под жестокости «военного коммунизма». В своей книге «Экономика переходного периода» (1920) Бухарин с присущей тому времени патетикой провозглашал, что «пролетарское принуждение во всех своих формах, начиная от расстрелов и кончая трудовой повинностью... является методом выработки коммунистического человечества из человеческого материала капиталистической эпохи». И не осознание порочности этих методов, а понимание их неэффективности сделало Бухарина со временем сторонником нэпа. Однако идеи гражданского мира в стране странным образом сочетались в нем с убежденностью, что единство партии может быть «обеспечено беспощадным преследованием всяких уклонений от ортодоксального боль-

шевизма». Находил он слова одобрения и курсу на сплошную коллективизацию, объявляя с трибуны XVII съезда ВКП(б) о превращении всей страны в «великую социалистическую фабрику с массовой переработкой людей» и требуя сплотиться «вокруг товарища Сталина как персонального воплощения ума и воли партии, ее руководителя и практического вождя».

Однако Ю. В. Емельянов не стремится только опровергать расхожее ныне представление о Бухарине как невинной жертве скорбных 30-х годов. Автор помещает читателя в атмосферу политических и личных амбиций, в которой вершилась наша история. Такое погружение в контекст времени позволяет понять, почему, например, несмотря на то, что Бухарин возглавил первую, наиболее мощную оппозицию в первые месяцы Советской республики, выступив во главе «левых коммунистов» против Брестского договора, а через несколько лет стал лидером «правого уклона», В. И. Ленин поддерживал этого «ценнейшего и крупнейшего теоретика партии» и вместе с тем говорил о его «левоглупии».

Личная трагедия Бухарина, по мнению автора книги, была обусловлена беспощадной волей революции с ее тотальным насилием, ее безжалостными законами, в обосновании и культивировании которых он сам активно участвовал.

А. Иглицкий,
кандидат исторических наук.

ТОЛЬКО ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «НОВОГО МИРА» В СССР НА 1990 ГОД

Издательский Центр «**НОВЫЙ МИР**» совместно с автором подготовил к печати Малое собрание сочинений **А. И. СОЛЖЕНИЦЫНА** в семи томах:

- «В круте первом», кн. 1,
- «В круте первом», кн. 2
- «Раковый корпус»
Рассказы
- «Архипелаг ГУЛАГ», кн. 1
- «Архипелаг ГУЛАГ», кн. 2
- «Архипелаг ГУЛАГ», кн. 3.

Диапозитивные пленки подготовила и предоставляет ассоциация «**БЛАГОВЕСТ**» Всесоюзного общества «Книга».

Всю работу по осуществлению этой издательской программы обязался выполнить в 1991—1992 гг. Информационно-коммерческий центр «**ИНКОМ-НВ**», учрежденный с участием политического еженедельника «Новое время».

Ниже публикуется обращение «**ИНКОМ-НВ**» к подписчикам «Нового мира» на 1990 год.

К СВЕДЕНИЮ ПОДПИСЧИКОВ «НОВОГО МИРА» НА 1990 ГОД

Информационно-коммерческий центр «**ИНКОМ-НВ**» организует только для подписчиков «Нового мира» в СССР на 1990 год выпуск и рассылку Малого собрания сочинений **А. И. Солженицына** в семи томах. Ориентировочная стоимость первого тома в ценах 1990 года 6 рублей.

Желающих приобрести это собрание просим пересылать почтовым переводом аванс в размере 12 рублей. Внесенный аванс будет зачтен при рассылке последних двух томов. Книги будут высылаться наложенным платежом и выдаваться по предъявлении квитанции на подписку журнала «Новый мир» на 1990 г.

Аванс пересылается по адресу: Москва, р/с 161502 МГУ Госбанка МОСИНКОМБАНК, МФО 201791, в/с 300345083, с пометкой «На издание собрания сочинений **А. И. Солженицына**».

После перечисления аванса заполните помещенный ниже купон и отправьте его до **1 февраля 1991 г.** в конверте по адресу: 109017, Москва, Ж-17, «**ИНКОМ-НВ**».

ИНКОМ-НВ

ПОДПИСНОЙ КУПОН

Прошу выслать наложенным платежом Малое собрание сочинений **А. И. СОЛЖЕНИЦЫНА** в семи томах по адресу:

почтовый индекс _____
_____ республика, край, область

_____ город, пос., село

Фамилия, имя, отчество подписчика _____

Взнос в размере 12 рублей перечислен « _____ » 199 г.
через _____ квитанция № _____

(В конверт с подписным купоном вложите квитанцию о почтовом переводе)

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

*

ПОЛИТИЗДАТ

А. Аврех. Масоны и революция. 350 стр. Цена 90 к.

Большевики: Документы по истории большевизма с 1903 по 1916 г. бывшего Московского Охранного Отделения. Изд. 3-е. 335 стр. Цена 85 к.

Сумерки богов. (Ф. Ницше и др.) («Библиотека атеистической литературы») 398 стр. Цена 5 р.

Шпионаж Дворца головоломом. Перевод с английского. 222 стр. Цена 90 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

А. Ахматова. Сочинения. В 2-х тт. Т. 1. Стихотворения. Поэмы. 526 стр. Цена 5 р. Т. 2. Проза. Переводы. 494 стр. Цена 5 р.

Н. Карамзин. Марфа-посадница, или Покорение Новгорода. Повести. Главы из «Истории государства Российского». («Классики и современники») 430 стр. Цена 2 р.

В. КрUPIн. Будем как дети. Рассказы. Повесть. Роман. 318 стр. Цена 1 р. 20 к.

В. Некрасов. В окопах Сталинграда. Повесть. Рассказы. 319 стр. Цена 1 р. 40 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

Е. Пастернак. Борис Пастернак. Материалы для биографии. 683 стр., с илл. Цена 2 р. 60 к.

А. Сахаров. Мир, прогресс, права человека. Статьи и выступления. («Новинка года») Л. 128 стр. Цена 1 р.

Узбекская народная поэзия. («Библиотека поэта. Большая серия»). Л. 655 стр. Цена 3 р. 10 к.

И. Чендей. Скрип колыбели. Перевод с украинского. 447 стр. Цена 1 р. 80 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

М. Валеев. На краю. Повесть, рассказы. («Компас») 286 стр. Цена 1 р. 10 к.

С. Мрожек. Хочу быть лошады. Сатирические рассказы и пьесы. Перевод с польского. 318 стр. Цена 1 р. 90 к.

В. Солоухин. Письма из Русского музея. Черные доски. Время собирать камни. 415 стр. Цена 6 р. 10 к.

Ю. Щербанов. Еще не проснувшийся день... Стихи. 48 стр. Цена 15 к.

«РАДУГА»

Г. Аудерская. Варшавская Сирена. Роман. Перевод с польского. 496 стр. Цена 3 р. 90 к.

С. Брант. Корабль дураков. Г. Санс. Избранное. Перевод с немецкого. («Литература эпохи Возрождения») 478 стр. Цена 4 р.

А. Грэй. Падение Кельвина Уокера. Небыль 60-х годов. Роман. Перевод с английского. 224 стр. Цена 75 к.

Долина красных тюльпанов. Современная афганская поэзия. Перевод с дари и пушту. 372 стр. Цена 1 р. 70 к.

«СОВРЕМЕННОК»

Д. Андреев. Русские боги. Стихотворения, поэмы. («Феникс») 397 стр. Цена 1 р. 50 к.

Из бездны вод. Летопись отечественного подводного флота в мемуарах подводников. («Память») 557 стр., с илл. Цена 2 р. 30 к.

М. Осоргин. Времена. Автобиографическое повествование Романы. («Из литературного наследия») 622 стр. Цена 3 р. 20 к.

А. Солженицын. Рассказы. 302 стр. Цена 1 р. 30 к.

«НАУКА»

Персидские народные анекдоты. Перевод с персидского. 223 стр. Цена 1 р.

Р. Скрытников. Самозванцы в России в начале XVII века. Григорий Отрепьев. («Страницы истории нашей родины») 237 стр. Цена 70 к.

В. Согрин. Джефферсон. Человек, мыслитель, политик. 280 стр. Цена 2 р.

Н. Халфин. Возмездие ожидает в Джагдалаке. Победные туры Майванда. Историческое повествование. 623 стр., с илл. Цена 2 р. 40 к.

МЕСТНЫЕ И ОТРАСЛЕВЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

В. Ерофеев. Москва—Петушки и пр. М. «Прометей», агентство «Тоза». 123 стр. Цена 3 р.

Ю. Нагибин. Срочная командировка, или Дорогая Маргарет Тэтчер... Повесть, рассказы. М. Киоцентр, КТПО «Экран». 272 стр. Цена 3 р.

Р. Рилье, Б. Пастернак, М. Цветаева. Письма 1926 года. М. «Книга». 256 стр., с илл. Цена 1 р. 50 к.

Николай Сафонов. Записки адвоката (Крымские татары). М. СП «Вся Москва». 170 стр. Цена 3 р. 75 к.

Редакция рукописи не рецензирует и объемом меньше 2 печатных листов не возвращает.

Всеми вопросами подписки и доставки журнала занимаются местные и областные отделения «Союзпечати».

Главный редактор С. П. Залыгин

Редакционная коллегия:

В. П. Астафьев, А. Г. Битов, В. М. Борисов, А. В. Василевский (ответственный секретарь), Ф. К. Видрашку (зам. главного редактора), Р. Г. Гамзатов, Д. А. Гранин, И. Я. Зиедонис, В. А. Костров (зам. главного редактора), Д. С. Лихачев, П. А. Николаев, Б. И. Олейник, И. Б. Роднянская, В. И. Селюнин, М. В. Тимофеева, Е. Л. Храмов, О. Г. Чухонцев, В. А. Ярошенко

Технический редактор А. Гинзбург.

Адрес редакции. 103806. ГСП. Москва К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29

Сдано в набор 20.04.90. Подписано к печати 09.10.90. Формат бумаги 70×108¹/₁₆. Бумага кн.-журн. Высокая печать. Объем 17 п. л. (23,8 усл.-печ. л. 24,0 усл. кр.-отт.). 27,02 уч.-изд. л.

Тираж 2 610 000 экз. (7-й завод 1 825 000—2 125 000 экз.). Зак. 4388 Цена 1 р. 20 к.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР» 103798. Москва К-6, Пушкинская пл., 5.

Набрано и сматрицировано в ордена Трудового Красного Знамени типографии «Известий Советов народных депутатов СССР». 103798, Москва, Пушкинская пл., 5. Отпечатано в типографии Издательства ЦК Компартии Узбекистана. ГСП, Ташкент, ул. Правды Востока, 26.

